

Н О В Ы Й  
М И Р

3

Н О В Ы Й  
М И Р

1976

3



1976



# НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 3

Март, 1976 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ДАВИД САМОЙЛОВ — Снегопад, поэма	3
ЛОРИНА ДЫМОВА — Двина, стихи	8
М. ГАНИНА — Услышь свой час, повесть	11
МАРИНА ТАРАСОВА — Снега России, стихи	67
АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК — Стойкий гуман, роман. Окончание	70
Ю. КУЗНЕЦОВ — Посещение, стихи	154
ВАЛЕРИЯ АЛФЕЕВА — Дом и сад, рассказ	157

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА — Повесть о Сонечке. Публикация и предисловие Анны Саакянц	170
---	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

МУРАД АДЖИЕВ — Самый большой, большой Таймыр	207
--	-----

### ПУБЛИЦИСТИКА

Б. СВЕТЛИЧНЫЙ — Горожанин и среда	218
-----------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛ. МИХАЙЛОВ — Ритмы семидесятых	233
У. ГУРАЛЬНИК — Правда истории, правда искусства. «Блокада»: роман и его критики	247

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	262
В. Боборыкин. Истина ради жизни.— М. Шаталин. Пульс времени.— Б. Гала- нов. Прощание с Византией.— В. Этов. Достоевский как издатель и редак- тор.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	275
<b>В. Якушев.</b> Системный анализ проблем управления.— <b>В. Молчанов.</b> Африка: средства массовой информации и идеологическая борьба.— <b>Б. Марушкин.</b> Из истории русско-американских отношений.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Дмитрий Ковалев.— Александр Целищев. Присягаю огню. Стихотворения и поэма. ♦ Б. Сарнов.— М. Львовский. Точка, точка, запятая... ♦ В. Шитова.— Э. Кузнецов. Пирсма-ни. ♦ Юрий Домбровский.— Эдуард Бурмакин. Балкон без перил. Повесть. ♦ В. Дунаевский.— Е. Шаповалов. Знамя парижских коммунаров. ♦ И. Юдин.— А. А. Леонов, В. И. Лебедев. Психологические проблемы межпланетного полета. ♦ Я. Поварков.— В. Давидович, Р. Аболина. Кто ты, человечество? Теоретический портрет	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

---

ДАВИД САМОЙЛОВ

★

## СНЕГОПАД

*Поэма*

Декабрь. И холода стоят  
В Москве суровой и печальной.  
И некий молодой солдат  
В шинели куцей госпитальной  
Трамвая ждет.

Его семья  
В эвакуации в Сибири.  
Чужие лица в их квартире.  
И он свободен в целом мире.  
Он в отпуску, как был и я.

Морозец звонок, как подкова.  
Перефразируя Глазкова,  
Трамвай, как официантки,  
Когда их ждешь, то не идут.

Вдруг снег посыпал. Клочья ватки  
Слетали с неба там и тут,  
Потом все гуще и все чаще.  
И вот солдат, как в белой чаше,  
Полузасыпанный стоит  
И очарованный глядит.

Был этот снег так чист и светел,  
Что он сперва и не заметил,  
Как женщина из-за угла  
К той остановке подошла.

Вгляделся: вроде бы знакома.  
Ах, у кого-то из их дома  
Бывала часто до войны!  
И он, тогда подросток праздный,  
Тоской охваченный неясной,  
За ней следил со стороны.

С ухваткой, свойственной пехоте,  
Он подошел:

— Не узнаете? —

Она в ответ:

— Не узнаю.

— Я чуть не час уже стою,  
И ждать трамвая безнадежно.  
Я провожу вас, если можно.

— Куда?

— Да хоть на край земли.

Пошли? —

Ответила:

— Пошли.

Суровый город освежен  
 Был медленно летящим снегом.  
 И каждый дом заморожен  
 Его пленительным набегом.  
 Он тек, как легкий ровный душ,  
 Без звука и без напряженья  
 И тысячам усталых душ  
 Дарил покой и утешенье.  
 Он тек на головной платок,  
 И на ресницы, и на щеки.  
 И выбившийся завиток  
 Плыл, как цветок, в его потоке.

Притихший молодой солдат  
 За спутницей следил украдкой,  
 За этой выбившейся прядкой,  
 Так украшавшей снегопад.

Была ль она красива? Сразу  
 О том не мог бы я сказать.  
 Конечно, моему рассказу  
 Красавица была б под стать!  
 Она была обыкновенной,  
 Но с той чертою дерзновенной,  
 Какую могут обрести  
 Лет где-то возле тридцати  
 Иные женщины.

В них есть  
 Смешенье скромности и риска.  
 Беспечность молодости близко,  
 Но зрелости слышнее весть.  
 Рот бледный и немного грубый.  
 Зато, как ровный жемчуг, зубы.  
 И затаенная душа  
 В ее зрачках жила стыдливо.  
 Она не то чтобы красива  
 Была, но просто хороша.  
 Во всяком случае, солдату  
 Она казалась таковой,  
 Когда была кругом объята  
 Летучей сетью снеговой.  
 (Легко влюблялись мы когда-то,  
 Вернувшись в тыл с передовой.)

Я бы еще сказал о ней.  
 Но женщины военных дней  
 В ту пору были не воспеты,  
 Поскольку новые поэты  
 Не научились воспевать,  
 А не устали воевать.  
 Кое-кого из их числа

Уже навеки приняла  
 Земля под сень своих просторов:  
 Кульчицкий, Коган и Майоров,  
 Смоленский, Лебский и Лапшин,  
 Борис Рождественский, Суворов —  
 В чинах сержантов и старшин  
 Или не выше лейтенантов —  
 Созвездье молодых талантов,  
 Им всем по двадцать с небольшим...

Шли по Палихе, по Лесной,  
 Потом свернули на Миусы.  
 А там уж снег пошел сплошной,  
 Он начал городить турысы  
 И даже застил свет дневной.

— Я здесь живу. А вам куда?  
 — Мне никуда. Но не беда —  
 Переночую на вокзале.  
 А там!.. Ведь есть же города,  
 Куда доходят поезда...

Они неловко помолчали.

— А можно к вам? —

Сказала:

— Да.

Прошли заснеженным двором.  
 Стряхнули снег. Вошли вдвоем  
 В ее продрогшую каморку.  
 — Сейчас мы печку разожжем,—  
 Сказала. И его восторгу  
 Пришел конец. Так холодна  
 Была каморка и бедна.

Но вскоре от буржуйки дымной  
 Пошло желанное тепло.  
 В окне, скрывая город зимний,  
 Лепились хлопья на стекло.  
 Какая радость в дни войны  
 Отъединиться от погоды,  
 Когда над вами не вольны  
 Лихие прихоти природы!  
 (Кто помнит: стужа, и окоп,  
 И ветер в бок, и пуля в лоб.)

Он отвернулся от окна,  
 От города, от снегопада  
 И к ней приблизился.

— Не надо,—

Сказала. Сделалась бледна.

Он отступился. Вот досада!  
 Спросила:

— Как вас звать? —

Сказал.

— А вас как? —

Отвечала:

— Клава.

В окне легко и величаво  
Варился зимний снежный бал.  
Кружила вьюга в темпе вальса,  
Снег падал и опять взвивался.

Смеркалось. Светомаскировку  
Она спустила. Подала  
Картошку. И полулитровку  
Достала. В рюмки разлила.

Отделены от бури снежной  
Бумажной шторкою ночной,  
Они внимали гул печной.  
И долго речью безмятежной  
Их ублажал печной огонь.  
Он в руки взял ее ладонь.

Он говорил ей:

— Я люблю вас,

Люблю быть может, навсегда.  
За мной война, печаль и юность.  
А там — туманная звезда. —

Он говорил ей:

— Я не лгу,

Вы мне поверьте, бога ради,  
Что, встреченную в снегопаде,  
Вас вдруг оставить не могу!..

Такой безвкусицей банальной,  
Где подлинности был налет,  
Любой солдатик госпитальный  
Мог растопить сердечный лед.

Его несло. Она внимала.  
Руки из рук не отнимала.  
И, кажется, не понимала,  
Кто перед ней. И поняла.  
И вдруг за шею обняла  
И в лоб его поцеловала.  
Он к ней подался. К ней прильнул.  
Лицом уткнулся ей в колени.  
И, как хмельной, в одно мгновение  
Уснул... Как так?.. Да так — уснул.  
Вояка, балагур, гусар.  
Спал от усталости, от водки,  
От теплоты, от женских чар.  
И руки его были кротки.  
Лежал, лицо в колени пряча,  
Худой, беспомощный — до плача.  
Подумала: куда в метель?  
И отвела его в постель.

Проснулся. Женское тепло  
Почувствовал в постели смятой.

Протер глаза. Был час десятый.  
И на дворе еще мело.

Записка: «Я вернусь к пяти.  
Если захочешь, оставайся».

Кружилась вьюга в темпе вальса.  
Успела за ночь замести  
Она Тверские и Ямские  
И все проезды городские,  
Все перепутала пути.

С пургой морозы полегчали,  
И молодой солдат в печали  
Решал — уйти иль не уйти?..  
Да и меня в иное время  
Печаль внезапно проняла  
О том, что женщина ушла  
И не появится в поэме.  
Хотел бы я ее вернуть,  
Опять идти под снегопадом...  
Как я хотел бы с нею рядом  
В тот переулок завернуть!

Как бы хотел, шагая с ней,  
Залюбоваться снегом, жестом,  
Вернуть и холод этих дней  
И рот, искусанный блаженством...

Я постарел, а ты все та же.  
И ты в любом моем пейзаже —  
Свет неба или свет воды.  
И нет тебя и всюду ты.

Что я мечтал изобразить?  
Не знаю сам. Как жизни нить  
Непрочная двоих связала,  
Чтоб скоро их разъединить?  
Нет, этого, пожалуй, мало.  
Важней всего здесь снегопад,  
Которым с головы до пят  
Москва солдата обнимала.

Летел, летел прекрасный снег,  
Струился без вдохновенья  
И оставался в нас навек,  
Как музыка и вдохновенье...

Учусь писать у русской прозы,  
Влюблен в ее просторный слог,  
Чтобы потом, как речь сквозь слезы,  
Я сам в стихи пробиться мог.

1975.





---

---

ЛОРИНА ДЫМОВА

★

## ДВИНА

Мы идем сквозь ветер ласковый  
без дороги, наугад...  
И огнями ярко-красными  
над Двиной горит закат.

Слышишь, тают льдины грозные  
в этом зареве огней.  
Проплывают ночи звездные,  
словно стая лебедей.

Ты молчишь... Но все понятно мне  
и слова тут ни к чему.  
Чьи-то сны летят невнятные  
сквозь коричневую тьму...

Разреши мне лишь надеяться,  
что не все навек пройдет.  
...Как мираж вдали виднеется  
белый-белый пароход.

Исчезает, появляется,  
тонет в зыбкой темноте.  
...Подожди еще печалиться,  
говорить слова не те.

Может быть, вовек не кончатся  
наши по снегу круги?..  
Ах, как верить в это хочется!  
Помоги ж мне! Помоги...

Может быть, на веки вечные  
этот сон подарен мне:  
над рекой — дорога млечная,  
город, спящий в тишине.

Может быть, еще мне вспомнится  
и обратно позовет  
эта белая бессонница,  
этот белый пароход...

\*.\*

Погасший черный лист  
под белым ветром стонет...  
Во всем есть высший смысл,  
но нами он не понят.

Трава весенним днем,  
зимой земля нагая  
нам говорят о нем,  
нас предостерегая,

что вот — цвели кусты,  
что вот — черны аллеи.  
Как просто провести,  
наверно, параллели...

...Твоих коснувшись глаз,  
твоим обжегшись взглядом,  
я думала не раз:  
разгадка где-то рядом

понятна и легка,  
как ветра дуновенье:  
что позади — века,  
что впереди — мгновенье.

Для долгого пути  
нам срок отмерен краткий,  
чтоб по земле пройти,  
не разгадав загадки...

\*.\*

На полночной улице  
мы с тобой расстанемся.  
Что со мною случится?  
Что с тобою станется?..

Фары скрылись в темени —  
два холодных круга.  
Хватит, хватит времени,  
чтоб забыть друг друга,

чтобы стало небылью  
глаз твоих сияние...  
Встреч-то даже не было —  
только расставание!

Птицы белокрылые —  
дни, недели, месяцы —  
пусть с другими милыми  
нам помогут встретиться.

Будем жить размеренно,  
в будущее веря.

Хватит, хватит времени,  
чтоб постичь потерю,

чтобы в ночи долгие,  
полные печали,  
эти фары желтые  
память обжигали.

\*.\*

Ночные стоны фонаря  
и тусклое его свечение —  
все это бы пропало зря  
и не имело бы значенья,  
когда б не знала:

и тебе  
не спится в белом мраке этом...  
И до рассвета на столбе  
горел фонарь волшебным светом.

### КОРАБЛИК

Под облаком-корабликом,  
солнцем золоченным,  
ты кидал мне яблоки  
с яблони зеленой.  
Яблоня сияла  
плодами горячо.  
А мне все было мало,  
и я тебе кричала:  
— Еще, еще, еще!

За горами-долами  
время молодое.  
Бегу я под веселыми  
брызгами прибоя.  
Стирает он усталость  
с глаз моих и щек.  
Но брызг зеленых, алых  
мне опять все мало:  
— Еще, еще!

Солнышко горячее  
в небе потускнеет.  
Волосы блестящие  
завянут, поседеют.  
Яблонею веткой  
смерть тронет за плечо.  
И жизни отлетающей,  
в холодном небе тающей,  
я прохриплю:  
— Еще...



---

М. ГАНИНА

★

## УСЛЫШЬ СВОЙ ЧАС

Повесть

Нас мало, избранных, счастливых праздных,  
Пренебрегающих презренной пользой,  
Единого прекрасного жрецов.

А. С. Пушкин.

1. Я прислушалась, шумит ли вода в ванной. Нет. И всплесков не слышно. Тихо.

— О любви. Конечно, о любви, все фильмы теперь о любви — иначе как же касса?.. Сюжет?.. Какой там сюжет, черт его знает, не помню... О любви. Теперь все любят: дети, подростки, средние... Героиня — мой возраст, сорок пять.

Мне немного больше, но я привычно скидываю год-два, как будто это имеет значение.

— Секундочку.

Я прислушалась. Вода в ванной не шумит уж минут двадцать.

— Папа, ты как там?

— А?.. Мокну. Что, деточка, тебе ванна нужна?

— Нет. Мокни.

Это я проверяла, жив ли он. Мне почему-то кажется, что сердечный приступ с ним случится непременно в ванне.

— Сашка тоже снимается, ради этого я и согласилась: вместе с ней в экспедиции побыть... (В ванной шелестит душ, утекает, поуркивая, вода.) Да нет, завтра уезжаю, приехала на два дня, дела. Я почти весь фильм в кадре, так что на два дня только и удалось вырваться. Устала... Приезжайте, будем рады, я не против умной рекламы, а ваши рецензии всегда читаю с удовольствием. До встречи.

Дверь ванной отворилась, дохнув сырым теплом, стучают ножки табуретки: обувается. Покашливает привычно, он, наверное, не замечает, что все время покашливает.

— Папа, цветную капусту будешь?

— А?.. Буду, я люблю, ты знаешь... Да ты, деточка, не возись из-за меня. Если сама будешь...

Идет, шаркая тапочками, опираясь о стену костяшками пальцев, дергается то одним, то другим боком в такт шагам.

— Да мне везде удобно. Чаю вот с удовольствием выпью. Ну я знаю, ты спитой не пьешь, по привычке спросил. Это у Алки может неделю стоять... Как же ты без хлеба, знал бы, купил по дороге. По-дожди, там у меня в сумке, по-моему, кусок лепешки есть. Сейчас...

— Я принесу. Сиди.

— Да я сам... Ну, спасибо.

— Коньяку выпьешь?

— Ничего другого нет у тебя? Ну налей глоток.

— Голова после этих поездов точно киселем горячим полна. Сосуды... Минуточку, папа, сейчас ванну ополосну.

— Я же вымыл...

— Зачем дурацкую работу делать два раза, я с порошком мою, как следует.

— Разве на мне так много грязи?

— Детские вещи говоришь — мыло же садится на стенки!

— Побудь со мной, не бегай, я скоро пойду.

— Тебя никто не гонит.

— Что ты все злишься на меня, деточка?

— Я не злюсь, просто устала... Ладно, давай за твое здоровье...

Ну и за мое, конечно, тоже не откажусь... Вот и капуста готова...

После рюмки коньяка его разморило, мятая влажная кожа на лице проступила розовыми пятнами, почти безглазое лицо: водянисто-голубая радужка тускло утонула в нечеткости белков. Рот мусолит колбасу, мнет разваренные кочанки капусты, короткие пальцы отламывают кусок лепешки, крошат на пол. Раздражение поднимается во мне и желание освободиться от необязательного, ненужного — это время, потраченное зря, а оно у меня так счетно.

— Ты меня не слушаешь...

— Папа, я в сотый раз уже слышу, как ты, когда уходили с Буквины, пробивался верхом через горящие хлеба, а потом на радостях вы пили ведрами коньяк, и с тех пор ты его терпеть не можешь.

— Мне же надо о чем-то говорить!.. Деточка, неужто ты не понимаешь? Актриса должна быть чуткой, твои женщины все добрые... Неделями я сижу один в четырех стенах, Марья Павловна иногда заглядывает. Алка забежит на полчаса и снова пять дней не показывается. Подожду, тогда вы освободитесь...

— Зачем ты произносишь жалкие слова? Живи, никому не мешаешь. Сколько я себя помню, ты все время собираешься подыхать. Живи!

— Не наливай больше. Ну ладно, глоток выпью. Одна радость — Люська ко мне забежит посумерничать. Тут уж я с ней наговариваюсь, она умеет слушать. Бутылку портвейна купим и говорим, говорим...

— Я же тебя просила своих Люсек-Пусек не упоминать при мне.

— Деточка, я никому вам не нужен. А Люська — мой друг.

Я сдерживаюсь, не комментирую последнее утверждение, а иногда не сдерживаюсь и объясняю отцу то, что он и сам знает, а может быть, не знает: девочек этих он видит иными глазами. Сентиментальность затопляет его — чем ближе к закату, тем сильнее. Вот и сейчас, рассказывая, что Люська наконец решила обзавестись ребенком, он пытается улыбаться, но голос у него дрожит, слова путаются, в глазах мутнеют слезы. Я сдерживаюсь, хотя могла бы не сдерживаться и говорить злые истины, потому что отец обидится, поднимется уходить, но не уйдет, сядет с обиженно дергающимися губами, будет продолжать пить чай и объяснять мне, что я не права. Я права, я произношу злые речи, в общем, соответствующие положению вещей. Но зачем?.. Мне неприятно, что отец загораживается от жизни нагромождением легкой лжи и иллюзий, я открываю ему глаза. Для чего? Мщю за прошлое, за свои иллюзии? Нет. Отцу просто некуда уйти. Он живет не со мной, он живет один, но мы без него можем, он без нас нет. Я сдерживаюсь с мужем и дочерью, с режиссерами и портнихой, сдерживаюсь в магазинах и в метро. Отец — единственный человек, с которым я веду себя хуже, чем мне

хочется. Он уйдет — мне будет жаль его, раскаяние будет мучить меня и желание пожалеть, одарить, обрадовать. Но не раньше чем он уйдет. «Вот маленькая передышка наступит, — думаю я, — займусь им специально. Белья надо ему купить, что-нибудь на ноги новое... С июля почти ежедневно съемки: устала, потому так легко раздражаюсь...»

Сейчас начало сентября, осень стоит золотая, мы снимаем на Волге натуру, погода как по заказу. В конце сентября я надеялась уехать в санаторий, но вряд ли удастся. Много пересъемок: шел брак пленки, нам продлили съемочный период. Сейчас пойдут самые ответственные сцены, а силы у меня уже на исходе. Впрочем, сил хватит. Профессия есть профессия.

Отец топчется в передней, обуваясь; ему хочется, чтобы я задержала его, но я не задерживаю, я рада, что он уходит, я хочу спать. Наклоняюсь, помогаю ему завязать ботинки, он снова, размягчившись до слез, касается плохо гнущейся ладонью моего темени.

— Деточка, я сам, спасибо, что ты!.. Еще не дожид, слава богу... Сдохну на ходу...

— Да мне трудно, что ли? Стой спокойно, я завяжу.

— Спасибо. Деточка, я хотел спросить: у тебя есть несколько рублей? Я подписку оформил, а на житье...

— Да, папа, вот возьми, я скоро переведу тебе за следующий месяц. Мне зарплату в группе задержали: у нас на счете денег нет.

На нем чистое белье, тело его чисто вымыто, но в передней тяжкий щелочной запах усыхающей плоти. Изжившей себя... Я смотрю в окно, как он осторожно спускается со ступенек, шарит ладонью в воздухе, точно ища стенку или чью-то добрую руку. Под локтем — сумка-портфель, там застиранное полотенце, газеты, обломок сухой булки, иллюстрированные журналы. Их оставляет ему по старой памяти киоскерша. Когда-то он помогал ей раскладывать газеты, подменял, если надо было отлучиться. Сейчас у него еле хватает сил дойти раз в день до киоска... Спустился, идет, мелко дергаясь телом в такт частым шажкам, ему кажется, что он идет быстро. Я отхожу от окна, я не хочу этого видеть, я ничего не хочу об этом знать.

Мою посуду, ложусь. Голова разламывается, коньяк не помог.

Отец — единственный мужчина в моей жизни, которого я любила. В мужа я сначала была влюблена как в самого красивого актера на нашем курсе, скоро выяснилось, что он, к сожалению, не талантлив. Люблю?.. Наш брак — многолетняя привычка, добрые отношения, общая любовь к дочери. К тому же актрисе без мужа жить сложно и неудобно. Актерская карьера Алексея скоро кончилась, он, не сильно о том сожалея, перешел на административные должности, в настоящий момент — директор нашей картины. Другие мужчины?.. Одного из них я вроде любила. Впрочем, трудно сказать, я актриса с воображением, домысливаю и дорисовываю исходные данные, а потом пойдя разберись, что есть, а чего не было. Трезвею, к счастью, я тоже быстро.

Никого не любила я так, как отца: одержимо и жертвенно. Отец давний сердечник, к тому же он считал своим долгом поиграть на этом, а я воспринимала всерьез, и когда он ночью ругался с мачехой (у нас, как у многих, была одна комната в общей квартире, отец посейчас в ней живет) и у него начинался сердечный приступ, я, глотая слезы, молилась про себя неизвестно кому: «Пусть я умру, а папочка будет жив!» И, не выдержав, кричала: «Что ты его мучаешь, у него сердце большое! Не смей!..» «Спи!..» — зло обрывал меня отец. Мачехе было двадцать четыре года, отцу сорок девять, у него с ней велись свои, непростые отношения, и мне в эти минуты трагических

семейных забав не было в его эмоциях никакого места. «Ишь,— громко удивлялась женщина,— хитрая, вся в свою поповскую родню! Не спит, а лежит тихо, как мышь». Покойный дед по матери был священником — мой тяжкий позор, секрет, который отец щедро разболтал мачехе. Я униженно мучилась, любила его, слушала его дыхание: ровно дышит? задышается?.. приступ?..

Пойдя в школу, я стала знать об отношениях отца и мачехи больше, мне было уже стыдно, просыпаясь от громкого вздоха или насмешливой реплики женщины, слушать то, в общем, унижительное для отца, что происходило между ними. Я старалась заснуть и не могла. Я была не одинока: большинство моих одноклассниц спали с родителями в одной комнате и на другой день, смеясь, шепотом пересказывали ночные разговоры. Я не могла говорить о том, что слышала, не хотела думать об этом. Но все равно когда я глядела на отца, то видела уже не просто еще красивого в свои пятьдесят, бесконечно много знающего мужчину. Я видела его сквозь его стыдную слабость...

И тем не менее я его любила. Только когда родилась дочь, вся любовь, все внутреннее наполнение мое, которое было связано с отцом, переключилось мгновенно и без остатка. Так это обстоит и сейчас. Человечество, к которому я отношусь хорошо, на одной площадке, на другой — единственно Сашка.

Я задремала, но тут зазвонил телефон. Еле оторвав от подушки голову, я села, потом побежала на кухню. Телефонистка, переспросив, я ли это, соединила с группой.

— Маруся,— произнес измененный телефоном голос, и я сжалась внутренне. Так меня не звал никто, кроме нашего оператора-постановщика.— Спала? Прости, я боялся не застать. Будешь на студии, зайди в лабораторию, узнай, как материал проявился. На этой пленке брака вроде бы не должно быть, но на всякий случай. Там лучшие Сашенькины сцены. Ну как ты?

— Голова болит. Так и будет болеть, кислородное голодание. Зайду, намеревалась зайти.

**2.** На телевидении у меня было озвучание: роль небольшая, но симпатичная. Исхитрилась сняться в августе, в свои короткие наезды в Москву. Пройдет несколько лет — и на такие роли меня приглашать не будут, потому я стараюсь не отказываться, если есть хоть малейшая дыра в моем жестком расписании.

После поехала на студию, дооформилась в загранпоездку, которая будет в конце октября, заглянула в лабораторию: с материалом в порядке. Позвонила портнихе, примерку она мне не приготовила, хотя позавчера еще клялась, что будет готово.

Тогда я пошла пешком домой. Люблю идти в темноте: я свободна от взглядов. Это утомительно, когда тебя все время узнают; в глазах встречного происходит как бы замыкание — узнал. И ты идешь, натываясь на эти непрерывные вспышки. Мне было двадцать лет, когда я сыграла свою первую роль, сделавшую меня знаменитой и узнаваемой. За четверть с лишним века я не привыкла к этому.

Иду по улочкам, пахнущим осенью, пальми листьями и холодным небом. Возле одного дома я вдруг замедлила шаг. Здесь живет моя давняя и, пожалуй, самая близкая подружка Зина Рубцова. Мы выросли с ней во дворе через улицу отсюда, она вышла замуж и прожила жизнь в своем районе.

Я постояла, колеблясь: около десяти, не время для визитов. Но в этом доме ложились поздно: любили доглядеть телевизионную

программу до конца — вон и сейчас окна синеньким светятся. И наверняка дома. В гости, а тем более в театр или в кино супруги ходят редко. «Отбегали свое, надо честь знать!» — шутит Зинаида.

С Левкой, своим будущим мужем, Зина сошлась девчонкой, сделала от него подпольный аборт, но осталась жива, а подружка Лелька от рук той же бабки померла. Левка был известен в нашем районе как первый хулиган и красавец. Черноглазый, гибкий, с мелкими чертами лица, а росту он был вровень с Зинкой. Пока они друг друга не заметили (и тогда практически уже не расставались — бывает же так: одна любовь на всю жизнь), Зинаида моя поморочила ребятам голову. Могла назначить одному свидание у «Арса», другому в сквере возле Гоголя, третьему на набережной, а гулять уйти с четвертым. Такие шуточки вообще очень применялись в наше время, все красивые девчонки у нас в школе любили хвастать числом одновременно одураченных.

Зину красивой не считал никто, но еще в первом классе она глядела на мальчишек, словно знала про них что-то тайное. Дитя нашего огромного двора, объединявшего пять домов, рыжая, конопатая, курносая, это Зинка сунула однажды мне в портфель записку: приходи опять, как и раньше, на задний двор после уроков, будем мотать по чердакам и сараям, играть в «представление театра». Смысл был именно этот, но передала его Зинка в основном матерными словами: в тот период все мы, дворовые девчонки, какой к тому времени стала и я, осваивали, что как называется, на том языке, который взрослые знают, но от нас скрывают. Конечно, отец нашел эту записку, был скандал, сопровождавшийся судорожным подергиванием губ (обычно предварявшим сердечный приступ), сердечным приступом, во время которого я ревела громко, до сипоты: «Папочка, милый, не умирай, я никогда больше!..» Отец меня не бил, за всю жизнь помню две или три оплеухи, зато такие воспитательного значения сцены производили на меня неизгладимое впечатление, до сих пор не забыла то тяжкое чувство вины и необратимости содеянного. «Водиться» с Зинкой мне было запрещено, я клялась страшными клятвами, но водилась, видно, уж так на роду нам было написано — «водиться»... А во время войны Зинаида меня подговорила бросить школу и пойти на завод ученицами в токарную группу — там работала ее мать, — чтобы получать рабочую карточку, спецталоны и деньги. Отец был против, но я пошла. Тогда он уже почти не имел власти над моими поступками: жизнь его, его значение покатались по нисходящей.

Школу экстерном я все же окончила по его настоянию и с его помощью, потому сразу после войны ушла с завода, поступила на очный во ВГИК, жила на одну стипендию и бегала иногда к Левке с Зиной обедать. Они тогда уже поженились, Зинаида родила дочку, но дом у них по тем временам был сытый: в молодом папаше проявился талант великого комбинатора. Знакомство мы поддерживаем до сей поры, ни рождения, ни свадьбы без меня не обходятся, и вообще видимся довольно часто, хотя, конечно, закадычности в нашей дружбе давно нет. Да и ни с кем нет у меня теперь этой прекрасной закадычности: гастролы, поездки, суета, сил не остается.

В парадном пахло знакомо: детством. Застарелая пыль, кошки, ведра с мусором, тлеющее от времени дерево перил и обивка монументальных двустворчатых квартирных дверей, только вот запах примусов и керосинок ушел, как газ провели. Поднималась я медленно, все еще колеблясь. Отыскала в полутьме площадки планку со многими кнопочками, нажала третью снизу. Послышались быстрые шаги, дверь отворилась.



— Здравствуй, Олег. Все растешь?

— Добрый вечер, тетя Маша. Да уж перестал вроде.

Появилась Зинаида в стеганом халате и шлепках на босу ногу, толстая, толстощекая, все еще рыжая, но то уже были оттенки красящего шампуня. Улыбнулась, разведя руками. Три золотых зуба впереди и старая металлическая фикса сбоку: ради Левки когда-то надела прямо на здоровый зуб, модно было.

— Манюся? Ну молоток! Я думала, тебя в Москве нет. Проходи.

— Меня и нет. На Волге, в экспедиции.

— Живут же люди! А тут вкальываешь с утра до вечера.

— А я купаюсь, подружка, с утра до вечера...

— Такая роль? — встрял Олег. — Мне там нельзя в эпизодике сняться, прыжок с вышки: сальто и твист?

— Манюся шутит, сын, — покровительственно хохотнула Зина. — И не хвастай, научись сначала делать чистенько... Мы ремонт сотворили, подружка, проходи, одобри.

Следом за Зиной я вошла в их с Левкой комнату, Олег отправился к себе. Рубцовы занимали теперь почти всю квартиру: три комнаты из пяти. Еще только старушка жила и мать Валентины, юной снохи Рубцовых.

Левка обернулся от телевизора, кивнул, улыбнувшись, и опять уставился на огромный цветной экран. Передавали многосерийный детектив.

— Ну как тебе наш ремонт?

Я одобрила. Серенькие обои-пленка «под ситчик», хрустальная, еще Левкиных родителей, люстра и подновленная ореховая мебель, тоже в наследство оставшаяся. Все как в лучших домах.

— Богато живете, — привычно сказала я.

— Мало, что ли, кому должны? — так же привычно отозвался Левка. — Зинуха, ужинать собирай.

— Я, например, ужинала.

— Еще поужинаешь за компанию. — Левка снова оглянулся, ухмыльнулся глазами. — Рыбец прислали, крабы есть. Жена, тряхни запасами!

— Неужто утаю? — лениво огрызнулась Зина.

Накинула на стол льняную скатерть вместо бархатной, поставила красивую, из большого сервиза посуду, хрустальные чешские фужеры и рюмки. Холодильник у них стоял тут же в комнате, Зинаида быстро выкидывала из него на стол всякую снедь, создав изобилие, которое я, например, имею лишь по большим праздникам. Грешница, люблю вкусно поесть.

— Эй, зритель, давай за стол! — прикрикнула Зинаида. — Попрешь возле этого ящика! Олегу постучи, пусть Славика с Валея зовет! Как, звезда, подрубаем?

Конечно, с сослуживцами, бывающими у них в гостях, да и на работе, Зинаида разговаривает иначе: годы идут. Но со мной она все еще объясняется на полужаргоне нашего детства, я отвечаю ей тем же.

Левка лениво поднялся, прикрутил громкость, оставив изображение, постучал в стену, придвинул к столу тяжелые дубовые стулья. Теперь он разве глазами только напоминал красавца хулигана Левку. В следующем году ему должно было исполниться пятьдесят, но выглядел Левка, пожалуй, старше. Да и Зина выглядела старше своих сорока семи.

— Толстею все? — усмехнулся он, перехватив мой взгляд. — Ну и плевать, в войну наголодались, надо побаловать себя, раз есть такая возможность.

Вошли Олег и Слава — один к одному, высокие, красивые парни, словно и не этих родителей дети. Анечка, старшая, тоже уродилась красавицей. Она с детства пошла по моим стопам: самодеятельность, театральное училище, теперь в Алма-Ате в русском театре на первых ролях, замужем за режиссером. Слава учится в Бауманском на третьем курсе. Появилась Валя, Славина жена, худенькая, кукольно-хорошенькая, никакая. Я помнила ее девочкой, прибежавшей плясать на меня.

— Слава, когда внуков матери нарожаете? Может, похудеет немного, нянчиться начнет. Между станками уж не пролазит небось.

Слава порозовел, польщенный, что я обратилась к нему, покоился на свою прелестную половину, сказал:

— Да, тетя Мань, учиться бы надо кончить, на ноги встать.

— Меня дочь по имени зовет при людях, а ты — «тетя»! Актриса всегда молодая женщина, запомни.

Слава ухмыльнулся, глянув на меня исподлобья мужским хамоватым взглядом: «молодая!». Валя хихикнула. Зинаида благодушно огрызнулась:

— Проплажу, подружка, я небось тоже еще молоденькая, с одного года мы, позабыла? На работе, как мастером стала, кручусь, словно вертолет: то в заготовительный, то в термичку, то в нормали. Не помнишь эти дороги? Тело закаменело, вес терять не хочет... Давай еще по рюмочке за нас, с одной улицы!

Зина налила и потянулась ко мне чокнуться, ее толстое лицо с ямками у висков сияло от удовольствия, что я зашла запросто, шучу с ее детьми, которые в разговоре с друзьями обычно поминают мое имя и известные им подробности моей жизни. Зинаида и Левка зовут гостей, обещая, что буду и я с мужем, гости расспрашивают меня о других актерах, кто на ком женат, кто с кем развелся, с кем сошелся. Мы друзья детства, но все-таки я давно уже стала для них «звездой». Впрочем, конечно, теперь популярность киноактеров далеко не та, что была раньше. Времена меняются, меняются кумиры. Первое послевоенного производства дитя свое Зинаида определила в театральное училище, ну а Олег с пяти лет в спортсекции у лучшего тренера... Все по моде.

Я вспомнила, как на вечеринке, которую Зинаида устроила по поводу очередного дня рождения, мой сосед по столу, с юна мне знакомый Павлик Быкадоров (в мое время он был наладчиком нашей группы, теперь начальник цеха), подвыпив, вдруг принялся объяснять, как неправильно я сделала, что ушла с завода. «Вот Зинаида не металась,— говорил он, втискивая ладонь мне в плечо.— И заслужила. У Зиночки тоже талант был, но работает. Воображаешь из себя, а никто не боится!..» «Пашенька,— произнесла я в самом нежном из имевшихся у меня регистров.— Ну кого я пугаю, посуди? Я тихая, красивая женщина, а ты нализался, как свинья, и жмешь на горло. Нехорошо. И потом я что-то не припомню, чтобы актеров из Москвы за тунеядство выселяли. Звания даже дают... Выходит, работаем?» К нашему разговору прислушивались, кое-кто засмеялся. Тем не менее выражение лиц у многих, особенно у женщин, ясно говорило: да уж знаем, как вы там работаете!..

Припомнив этот неприятный эпизод, я вдруг скисла.

— Ладно, подружка.— Я поднялась.— Спасибо за угощение, но пора и в кровать. Завтра беготня опять, потом на «нижегородец», а там каждый день в кадр. Это тебе не в нормали да термичку с восьми до трех, а с шести перед телевизором дремать. Это работа.

— Да посиди,— предложила Зина.— Редко бываешь. Работа мне твоя знакома, забыла? — Обратила толстое лицо к Вале, усмехнулась,

покачав головой.— Еще девчонками одеяло на веревку нацепим и представляем. Или на чердаке. Там белье сушиться вешали хозяйки, а мы малышню насадим — зритель! И из-за простыней выскакиваем, чертей изображаем. Ну а в самодеятельности что выделывали!.. Чуть тоже артисткой не стала.

Это верно. Рядышком вились наши с Зинкой тропочки от того самого одеяла на веревке до маленькой сцены в нашем ДК. Павел не ошибся, сказав про нее — талант.

— Главное, подруга, знать, — согласилась я. — Уж ты-то знаешь. Но пойду. Вернусь из экспедиции — прибегу. Или лучше вы к нам.

Ушла. Села на троллейбус, доехала до дома, пустила горячую воду в ванной. Когда пена от бадусана поднялась до краев, я разбавила холодной и юркнула в пышную невесомость, свободно вздохнув. Все. День окончен. Сейчас разжую таблетку димедрола — и спать. А пока десять минут блаженства, полной расслабленности и бездумья. Стараясь не помнить ни о чем, готовлю себя ко сну. Сон для меня — главное. Я могу целый день не есть и работать без перерыва, но не спать не могу. Если я не спала ночь, я чувствую себя разбитой старухой. И выгляжу соответственно. Впрочем, послезавтра мне прямо с «нижегородца» на съемки, если будет солнце...

Неприятное все равно колыхалось во мне: отец. Надо будет завтра непременно забежать к нему.

Я вспомнила разговор с Зиной и ту внутреннюю бессловесную пикировку, которая смладу ведется между нами, усмехнулась. Когда я год назад с премьерой последней картины выступала на нашем заводе, Зинка водила меня по цеху так, словно это она меня родила, а заодно и цех сберегла в целостности-сохранности.

Не была я на заводе с самого того дня, как уволилась, все казалось: успею. А в прошлом году вдруг пронзительно захотелось увидеть завод, цех, даже сама напугалась. Думаю: неужто конец почувствовала или старость пришла — в места юности потянуло?.. Попросила, чтобы премьеру в Москве устроили, в ДК нашего завода. Приехала пораньше, договорившись с Зинаидой, та заказала пропуск, встретила меня возле проходной, повела в цех. Разделись мы, как бывало, в раздевалке нашего цеха на третьем этаже, я надела Зинин халат и пошла, обмирая сердцем, туда, где раньше находился наш участок. Узнавала вдруг в немолдых работницах, сметавших щеточками в поддон стружку (смена кончилась), тех, с кем работала когда-то, своих ровесниц. Пахло тут, как и прежде, горьковато и тепло машинным маслом, эмульсией, остывающей стружкой — юностью пахло...

Я взглянула на Зинку, та улыбнулась победоносно: «Затосковала, подружка? То-то же!..» Пойди разберись, по чему я затосковала — по заводу, по юности своей далекой?..

**3.** — Мария Викторовна, режиссер просит на площадку. Сейчас солнце покажется.

Люся, гримерша, быстренько оглядывает меня, проводит под глазами кисточкой с темной пудрой, поправляет пряди парика. Я осторожно выбираюсь из микроавтобуса, где мы ждали погоды, иду к съемочной площадке, несу себя, точно подарочную куклу.

Солнце. Прав оказался наш оператор-постановщик, пообещав после двенадцати солнце. У него порядочный стаж взирания на небо в ожидании погоды, лет пятнадцать уже фоторепортер, затем оператор. Оказывается, после полудня погода, как правило, меняется.

Между прочим, фоторепортеры обычно желают друг другу не «счастья», а «солнышка».

Декорация стоит над Волгой на угоре, внизу строгановская церковь, нарядная, как торт; разворачивается пароход, подходя к пристани. Красиво. Это все видно в огромное окно декорации, изображающей мою комнату,— идиллический ландшафт, должный придать лиричность полной драматизма сцене. Впрочем, антураж — забота оператора и режиссера, мое дело — вывезти сцену. Это одно из мест в фильме, где режиссер, в общем, не в силах мне помешать.

Подбегает Сашка, она завтракала в ресторане, гостиница в двухстах метрах отсюда. Сейчас у меня будет эпизод с Кириллом Павловым, актером, играющим начальника цеха, в которого я влюблена, следующий — с Сашкой.

Собираюсь. Я — в себе, и во мне — тишина, хотя меня разглядывают, едва не тыкаясь носами, переговариваются громко. Слышу, но не реагирую.

— Шрамы, смотрите, заклеены на шее, операцию омолаживающую делала!..

— Подтяжка называется...

— Ей пятьдесят четыре года, я высчитала: Лиду-то она когда сыграла, вспомните!

— Пятьдесят четыре? А выглядит на тридцать!

— На тридцать? — цепляется, не выдержав, Сашка.— Вот досада какая!

— А что? — радуется контакту толпа.

— Двадцать пять всегда давали, а вы — тридцать!

— Саша, перестань,— бормочу я.— У меня трудная сцена.

— Прости, мамочка, но я не люблю несправедливость. Выглядишь ты самое большее на двадцать семь.

Возможно. Гримирует меня Люся ровно час. Мой грим для этой картины — процедура мучительная. Собственные мои волосы заплетаются в массу мелких косичек, которые завязываются вперехлест, жестоко стягиваются, уводя морщинки с висков, «обвалы» из-под глаз и со скул. На шею под затылком наклеиваются бинты, тоже стягиваются вместе — убирают «тяжи» из-под подбородка. Больно? Конечно, больно, возьмите себя за волосы и тяните четыре часа изо всей силы. Ну а собственно грим, кладущийся на кожу и делающий ее загорелой и гладкой (в цветном изображении тон кожи получится обычным), ресницы, наклеивающиеся поверх моих, тени на веках, особая помада — уже мелочи жизни, занимает это минут двадцать.

Делать мне столь сложный грим распорядился режиссер, посмотрев первые сотни метров отснятого в павильоне материала. «Ее любить должны! — сказал он.— А у ней морщины видны и отеки. Патология, в зале смеяться будут!» «А как же Мазина? — хотела возразить я.— Ани Жирардо?.. У них морщины, но их любят и никто не смеется?» Промолчала, потому что очень легко ответить: ведь ты не Мазина!

Конечно, на цветной пленке морщинки возле глаз и у рта, которые я за свои сорок с гаком нажила, заметны достаточно хорошо. Да еще Игорь Сергеевич, занятый не столько моей красотой, сколько выразительностью кадра, светил меня боковым светом, контрастно лепящим лицо. Но я тоже считала, что если актриса обаятельна, если в ней сильно женское естество — это и есть главное. Ладно, с режиссером не спорят. Теперь в моих сценах осветители ставят прямой свет — очень сильный прожектор ПБТ; лицо на пленке — словно залитое воском, почти неподвижное, зато красивое и молодое.

Плевать. Хотя, конечно, обидно слушать на просмотре материала реплики, произносимые отнюдь не шепотом: «Ковалева отыгралась уже. А какая была актриса!», «Вся сила ее в живости, естественности была...»

— Репетиция! Пожалуйста, Мария Викторовна, Кирилл, пожалуйста! Начали. Кирилл, тыходишь справа, смотришь, потом подходишь к Марии Викторовне, твой текст. Текст знаете? Отходишь к трельяжу; проверь отражение, Игорь Сергеевич. Видно? Так, Мария Викторовна, твой текст. Хорошо. Еще раз. Не тяните, сцена должна идти пятьдесят секунд, я все сцены проверил по хронометру. Готовы?

И вся репетиция. Ничего о внутреннем наполнении эпизода, о задаче актера, о связи с предыдущим и последующим. Главное — уложиться в метраж. Ладно, Кирилл — прекрасный партнер, все сам помнит, мы с ним в контакте.

Я сижу расслабившись, мое кукольное восковое лицо обвисло: мышцы готовы к съемке, к передаче того, что я им прикажу. Я не смотрю ни на кого, даже на Игоря Сергеевича, который, подбежав к «дигам», уточняет направление боковой подсветки. Ассистент проверяет рулеткой расстояние до точки, куда должен встать Кирилл, войдя; потом до поворота возле трельяжа — чертит на досках пола мелом.

— Готовы? Замолчать всем, съемка! Мотор! Триста семнадцать, дубль один!

Я искоса из-под ресниц гляжу на вошедшего Кирилла, вбираю его в себя точно боль, озарение — и, не шевельнувшись, не повернув головы, тушу взгляд: загородилась. Я люблю его, он знает об этом, я жалка, но что сделаешь? Люблю...

— Стоп! Еще раз! Приготовились! Мотор! Триста семнадцать, дубль два!

Десять дублей. Это тоже стиль нашего режиссера: он не надеется на себя, на актеров, надеется на случай, на то, что из десяти дублей один будет приличный. Из-за этого он не стал снимать на «кодаке», дорогая пленка, можно делать один-два дубля. Снимаем на ДС, качество изображения хуже, потом в августе вообще шел брак пленки — «мигание», словно нарочно: более менее сложная сцена — брак.

Снимают мой крупный план. Переставили камеру, чтобы был виден «ландшафт». Володя-ассистент снова замеряет рулеткой расстояние до моего носа, второй оператор, Гена, смотрит на экспонометр. Я вижу нижним, не прямым взглядом вихры Игоря Сергеевича над камерой, его пальцы, тискающие ручку: чуть выше срез кадра, ниже... вот так!.. Подбегает к «дигу», немного наклоняет его, снова смотрит в объектив, вскакивает, пододвигает ПБТ. Господи, я сейчас растоплюсь и утеку: жар мартеповской печи не сравнить с мощным потоком тепла и света от ПБТ, стоящего в двух шагах от меня. Сухо полыхает под гримом кожа, волосы под париком мокрые — Люся то и дело подходит промокнуть пот, поправить грим. Нестерпимо болят глаза. У сталевара лицо прикрыто щитком, а мне нельзя даже щуриться...

Мотор! Триста восемнадцать, дубль один!

То же, что и с Кириллом, только на крупном плане. Лицо мое проигрывает приход любимого: расширились, потом метнулись и остановились зрачки, брови дрогнули жалко...

Стоп! Мотор!.. Стоп!.. Семь дублей...

Приход дочери Кирилла. Сашка играет дочь начальника цеха. Она является ко мне, чтобы устроить скандал, начинает на высокой

ноте, но я ее останавливаю, объясняю, что от ее отца мне ничего не надо, что он не любит меня. Я люблю. Но это не в ее власти, ни в чьей власти.

Почему-то, чтобы помочь себе в этой сцене, я вспомнила не свои любовные неудачи, а отца. Мачеха была бывшей беспризорницей, первого ребенка родила в шестнадцать лет, он умер от какой-то болезни еще до ее встречи с отцом. Коротышка, недокормыш, коротконожка, но лицо яркое, красивое — мужчины обращали на нее внимание, это я помню хорошо. На улице ходила она расхлябанной походочкой, глазами всегда чуть улыбалась многозначительно, не говорила, а мурлыкала. Когда мы с ней гуляли в Александровском парке, мужиков к ней словно магнитом притягивало, особенно морячков и молодых военных, начинался игривый треп: «Нет, а все-таки как ваше имя, девушка, скажите?» — «Зачем вам это знать? Зовут зовуткой, а кличут уткой... Ха-ха-ха!» — «А вы и правда на уточку похожи, плотненькая, прямо ущипнуть хочется!..» Кончался этот треп обычно тем, что мачеха, бросив на меня коляску с маленькой сестренкой, уходила куда-то с новым кавалером, а вернувшись спустя час или два, наказывала отцу про отлучку не говорить. Я и не говорила, жалея его, не желая скандалов: ругались они дико, по-базарному, а я переживала, что отец умрет. В первую же военную зиму мачеха ушла от нас жить к подруге, оставив отцу записку: «Виктор я немогу с тобой голодать теперь меня нежди!» У подруги этой сутками не переставая гуляли, рекой лилось вино, пелись песни, был хлеб и консервы, было весело и сыто. В эту квартиру заезжали переночевать транзитные интенданты и командировочные с фронта. Мы тогда сидели на урезанном военном пайке, ели подсушенную картофельную шелуху и солянку из капустных мороженных листьев: «приварок» этот я и Зинка ездили собирать на полях за заставой. Мачеха была беспечной; уйдя от нас в изобилие, она даже пятилетней дочери своей не догадывалась кинуть от него что-нибудь. Но отец, видно, ее любил. Я униженно помню тот вечер, когда он вернулся с завода и спросил, где опять болтается мачеха, даже печку не затопила. Я соврала что-то, не решаясь, жалея отдать ему записку, но тут зашла соседка, стала «открывать отцу глаза», называя вещи своими именами и то и дело ссылаясь на меня: «Маша подтвердит, не стеснялась ее Валька-то». Отец слушал какое-то время, потом крикнул страшным голосом: «Замолчите! Вы просто завидуете, что старая уже и не можете!.. Это наши дела, никого не касается! Я люблю ее!» За всю свою жизнь я не испытала такого остроблезненного унижения, как тогда, когда слушала растерянно соседку. И потом увидела, как передернула, выbleднила боль лицо отца, свела судорогой губы. И жалкий, гордый вскрик: «Я люблю ее, замолчите!..» Мне это воспоминание пригодилось однажды, когда я еще давно, сразу после ВГИКа, недолго играла в областном театре Таню: там в пьесе ситуация была похожей. Здесь ситуация далекая, но боль, унижение и гордость: «Люблю, не ваше дело!..» — похожи, я «взяла» опять это воспоминание.

Репетиция. Мой ребенок с небрежно намазанной гримом рожидцей, даже ресницы не наклеила — сойдет, — влетает в декорацию, начинает говорить, поворачиваясь к свету, к камере и так и эдак. Что ей! В двадцать четыре года я тоже не думала ни о свете, ни о ракурсе, играла.

Мой ребенок. Те же скулы, что у меня, тот же выпуклый лоб и короткий нос. Верхние зубы чуть выступают уголком — зализала в детстве, вообще у нее неправильный прикус, но это-то и придает ее улыбке ту асимметрию, очарование, которое добиваются заполучить

в свои картины многие режиссеры. И глаза точно у новорожденного олененка — влажные, черные, чуть косят. Глаза прабабки-армянки, спасибо Алешке хоть за это.

Игорь Сергеевич, наморщив лоб и едва улыбаясь, тоже следит из-за камеры за репетицией. Откровенно любит Сашку, глаза нежные и чуть грустные. Самолюбиво дергается мое сердце. Лицо становится напряженно-жалким. Ладно. Тоже годится для роли.

Поехали! Мотор! Триста девятнадцать, дубль один. Стоп! Мотор! Стоп!.. Пять дублей.

— Хватит, Валентин Петрович. У меня уже язык заплетается, видите? — Сашка совершенно серьезно показывает режиссеру язык. — Третий дубль был самый хороший у меня и у мамы.

— Хватит так хватит. Ты устала? Учись у матери, пока молодая. Три часа мамочка твоя в кадре — и свежая, как огурчик.

Положим, у меня голова трещит и разламывается от усталости, от стяжек, от жара приборов, оттого, что толпа загородила все вокруг, дышать нечем. Но профессия есть профессия.

— Вот еще, вовсе я не устала, но что без толку одно и то же долдонить? Пора отдохнуть, вечером «режим» снимаем, да, Игорь?

— Если будет солнце, — отвечает Игорь Сергеевич. — Но приборы ребята все равно перегонят на набережную и установят. Успеете, Николай?

— Надо успеть. Погода под угрозой — осень, не лето. Надо успеть. Все, ребята.

Щелкают вентили «дигов», выключают ПБТ, площадку осеняет прохлада и полумрак. Мы уходим в гостиницу.

Через несколько лет Сашку перестанут приглашать сниматься. Мода на нее пройдет, а то, что она капризничает на съемочной площадке, уже известно. Каждый режиссер пока надеется, что это у других, а уж он-то ее переломает, тем более что актриса она действительно превосходная, ни на кого не похожа — стоит повиться. Но по прошествии лет таких режиссеров будет становиться все меньше: я-то знаю, на моих глазах происходили блистательные вспышки актерских дебютов и потом угасание в полной безвестности, забвении, даже гроб некому вынести. «Режиссер есть режиссер, а дисциплина входит в профессионализм», — твержу я Сашке. «Мамочка, но ты же согласна, что он не режиссер, а идиот. Вот когда я снималась у Андрея, я слушала его с открытым ртом. Но и он со мной советовался...»

**4.** — Сейчас век интеллектуального кино, — говорит мне Сашка, поднимая телефонную трубку. — Да?.. Мало написать сюжет, диалог и характер. Это только для нашей провинции проблема. Во всем мире это умеет делать любой ремесленник от кино. Нужна мысль, отбирающая, организующая материал. Мысль, а не сюжет, должна двигать действие. Вот Бергман, Лелюш, Брессон... Алло, Игорь? Ну что?.. Значит, маме гримироваться? Папы нет еще, я сама позвоню Марине и Люсе. Слушай, обедать идем в шесть, и мама сразу же на грим. Приходи.

Звонит помрежу, чтобы та распорядилась машиной и собрала групповку, потом гримерше. Мой энергичный, мой глупый, беззащитный в своей самоуверенности ребенок...

— Согласна. Нв, Сашок, талантливых фильмов мало и в мировом кино. Талант — редкость везде. Ремесло ремеслом, а талант талантом.

— Талант! Дилетанты мы, мамуля, вот что!

— Ладно, умная дочь, я полезла в ванну, потом попытаюсь уснуть. В половине шестого разбуди меня. Ты где будешь?

— У себя в номере. Я спущусь, я знаю, ты пугаешься звонков, если заснула.

Лезу в горячую воду, пытаюсь расслабиться, потом ложусь, задернув занавески. Гудят пароходы на Волге, грохочет землечерпалка. Засыпаю.

Сон. Во сне я видела, что Сашка еще подросток, что она привела в дом мальчишек, они играют в какую-то нехорошую игру, непорочно нехорошую. Я врываюсь в комнату, бью Сашку жестоко, со злобой, с ненавистью. И просыпаюсь. Этой сцены не было, ее никогда не могло быть. Что отыгралось в моем уставшем мозгу? Мысли об отце, томящие меня позавчера, вчера, сегодня? Отец, я, дочь. Кровная связь, гены, цепочка временных перемен?

Нет... Конечно, я не ревную свое дитя к Игорю Сергеевичу, он немолод и неинтересен для нее, она кокетничает с ним по привычке и чтобы оператор хорошо снимал. Она любит своего второго мужа (с первым она разошлась, не прожив и полугода), у них полная гармония. Но я давно привыкла везде быть первой, быть единственной женщиной, теперь это уходит — и мне больно, мне непривычно перехватывать восхищенные взгляды, обращенные не на меня. И потом я влюбчива, хотя умело скрываю это: миллион моих кратковременных экспедиционных влюбленностей глубоко похоронен в клетках моей памяти. Довольно редко я жажду реализации, продолжения — нельзя, я дорожу своим строгим именем. Потому моя влюбчивость — моя беда. Но, быть может, без этого все-таки нет актрисы и повышенная эмоциональная уязвимость — составная таланта?

Я проснулась окончательно, и теперь не заснуть: заработал мозг. Вспоминаю, нежно-больно лелею внутренним зрением темный, как вода, взгляд из-под прямых вихров, тяжелые плечи, огромные руки... Вот он глядит на Сашку — покорность в его слегка косящих глазах, он ничего от нее не добивается, просто любит. Однако во всякой бескорыстной нежности таится надежда — это аккумулятор нежности... Может, я жалко завишу от него именно из-за этого сочетания тяжелой мужской силы, грубоватой раскованности «бывалого человека» с нежностью, стоящей в его глазах. Как-то месяца полтора назад мы с Игорем пошли с вечерней «режимной» мясочки пешком в гостиницу — выяснилось, что оба любим ходить. Теперь гуляем часто. Игорь рассказывал мне, как лет шестнадцати сбежал из дому, уехал на Север, в Якутию, мыл золотишко на Алдане и в Бодайбо, охотился с промысловиками в Забайкалье, работал в геологических партиях рабочим, два раза его там в пьяной драке порезали зэки, выжил только благодаря своему могучему организму. Такие люди мне не встречались — я удивлялась, жалела безумно и вот дожалелась: теперь завишу от него, от того, поглядит ли он на меня со странной своей улыбочкой, не разжимая губ, перекатывая желваки на щеках... Унижение, боль — пора освободиться, но я уже не могу.

От отца унаследовала я эмоциональную уязвимость, неправую жажду сладкой боли оттого, что сгорает душа. Отец и сейчас в свои восемьдесят шесть еще не ищет покоя. Вчера перед «нижегородцем» я заскочила к нему, рассчитывая посидеть, поразговаривать, отогреть: обидела ведь, виновата. Купила в буфете на студии что нашлось повкусней, взяла бутылку крымского портвейна. Дверь у отца никогда не запирается, и уже войдя на кухню, я услышала высоко звенящий, растроганный голос моего батюшки, потом хриловатый женский. Конечно, у него сидит Люська, как я не подумала? Уйти? Но меня уже услышали, дверь распахнулась, на пороге возникла



последняя платоническая привязанность отца. Желтая челка, желтые длинные волосы, красная помада, размалеванные глаза. Толстушка, коротышка, даже многомесячная беременность еще почти не заметна. Чем-то она напоминает покойную мачеху, наверное, поэтому отец выделяет Люську среди остальных своих пташек. «Перевоспитывать, спасать» — когда-то батюшка убеждал себя, что он за этим женился на мачехе, теперь ему кажется, что ради этого он не брезгует обществом веселых девочек.

— Ха, Мария! Заходи. Мы тут закусываем, присоединяйся. Виктор мне рассказывает, как твоя мамаша хотела сделать аборт, а он не разрешил — и, значит, только ему ты обязана жизнью.

— Дважды, выходит.

— Оценила остроу. Мой пацан тоже ему будет жизнью обязан. Уговорил-таки, на твоём светлом примере убедил, оставила.

— Девочка, твой ребенок — это мой ребенок, я всегда помогу чем смогу, рожай. Дожить бы только, чтобы твоего маленького увидеть, и тогда подышать можно.

Знакомый текст: «Дожить бы, пока Аллочка ножками побежит... заговорит... в школу пойдет...» Это о сестренке, дочери мачехи. Потом то же говорилось о Сашеньке, любимой внучке. Маленькие достижимые вехи на закатной дороге. И вот восемьдесят шесть: «Девочка, твой ребенок — это мой ребенок...» Раздражение охватывает меня. Я вхожу в комнату, выкладываю на стол свертки и бутылку, стою не в силах заставить себя сесть.

На отце черная косоворотка, лицо помолодело и подтянулось, остатки белого пуха на голове причесаны. Плохо гнущаяся ладонь стискивает граненый стакан с портвейном, другой такой же, но уже пустой, стоит перед Люськой. Отцу хорошо.

— Хозяйничай, — говорю я Люське. — Как живешь?

— Как пташка! — хохочет та. — Тут поклюю, там поклюю...

— Ничего, девочка, — захлебывается, торопится словами отец. — Не пропадем, прокормимся.

Как-то так повелось, что из всех детей отца наличные деньги ему даю только я. Сын от первого брака (отец оставил эту семью, уехав из Сибири на гражданскую) не считает себя обязанным помогать. Сестренка носит натурой то суп, то второе — она живет рядом. Считаю, что я человек высокообеспеченный, я и даю отцу деньги, обуваю и одеваю его. Но, между прочим, живя на вгиковскую стипендию, я тоже отдавала отцу сто из тех жалких четырехсот. Он к тому времени уже вышел на пенсию, получал двести двадцать рублей — меньше, чем сейчас двадцать два. Так уж повелось: я старшая, я сильная, я должна обо всех и обо всем думать. Но моя семья тоже на моих плечах: муж получает сто пятьдесят рублей, тем не менее он первый щеголь в Москве, к тому же у него (у нас, конечно, но когда я ее вижу!) машина, поглощающая дай бог сколько! Теперь сюда же еще эта!.. Недаром отец последнее время то и дело говорит о деньгах, о том, что он «голодает». Ох эта военная лексика, военная психология просящего, не имеющего уже ни сил, ни власти взять!.. Раздражение снова поднимается во мне.

Люська, довольно похохатывая, перетрясает содержимое свертков на щербатые тарелки. Открывает, не испытывая особых затруднений, портвейн. Наловчилась с отцом пить крымские марочные вина! Помню, я однажды выбирала в хозяйственном штопор и имела неосторожность проконсультироваться у стоявшего рядом мужчины, какой из имеющихся в наличии наиболее удобен. «Штопор? — недоуменно воззрился на меня тот. — А на что? Шампанское, что ли, открывать?..» И на самом деле, если встать на его точку зрения, — бес-

полезно мозолят глаза на витринах тяжеленные бутылки с огромными, обмотанными фольгой пробками. Чем их откупоривают — разве только большим штопором?.. Водка и «портвей» откупориваются весьма просто.

— Младенцу не вредно спиртное?

— Пускай к марочному привыкает, не «солнцедар» пьем!

Со злости я выпиваю свой полстакана до дна, забыв, что отец считает это кощунством. Свое он прихлебывает по глоточку, наливаясь с каждым следующим надеждой и иллюзией силы. Раньше отец пил редко, теперь, видно, есть потребность в допинге: жизнь иссякает в нем... И разговор под это трепещущее внутри, точно теплый огонек в камине, свободней, причудливей.

Слава богу, миновал час, я смогла законно уйти.

— Дорогуша, — не удержалась я под занавес, — советую тебе определить какое-то дневное занятие.

— Воспитательницей пойду в ясли, — захохотала Люська. — Смену растить.

— Проживем! — откликнулся отец, веря в то, что он вечен.

Долго живет, привык жить, ему нравится жить. Где он отыскивает этих девчонок? Они липнут к нему, как листья к мокрому телу, — не отскрести. Люська его «друг» уже лет семь, вовсе еще была молодой. И других подобных без конца у него толчется — палкой не отмахнешься! Вполне, главное, бескорыстно: сами приносят любимое батюшкой марочное и еду, что позанятней. Это Люська сейчас вышла из игры, а когда была на коне, тоже показывала широту натуры — не скупая.

Он разговаривает с ними — вот весь секрет, другие не разговаривают. Фантазия у отца безудержна и благостна, он строит роскошные воздушные замки, которые заселяет своими приятельницами. Люська — одна из жертв отцовской фантазии, что она будет делать с младенцем?

Отец — умный, образованный человек, знающий латынь и греческий, свободно читающий на всех европейских языках. Он окончил юрфак Томского университета, в Петербурге у него была довольно обширная адвокатская практика (которую он успешно сочетал с подпольной революционной деятельностью). Первая его жена, покойная уже теперь мать моего единокровного, когда-то нежно мною любимого брата, была вместе с отцом в подпольном кружке, член партии с 1917 или 1916 года. Вторая жена тоже юрист, умная, острая; она заходила к нам иногда, пока отец не женился на мачехе, я помню ее. Моя покойная мать была комсомолка, работала в Наркомате юстиции на какой-то невысокой, но «чистой» должности, там же, вернувшись в Москву, стал работать отец. Я продолжаю удивляться, что произошло вдруг с ним, почему его потянуло не к ровне, не к интеллигентной, уменькой женщине — подобных знакомых в те поры, когда я росла, в нашем доме бывало много, — а к полуграмотной порочной замарашке? Почему теперь он заводит возле газетного киоска, перебирая иностранные газеты и журналы, знакомства не с девочками, одолевающими ИНЯЗ или ИВЯ, а с этими?.. Потому ли, что они в рот ему глядят, бурно реагируют на рассказы о прошлой его славной жизни? А умная жена относилась свысока к взлетам его безудержной фантазии, уменькие девочки скучливо посмеиваются, слушая басни выжившего, на их взгляд, из ума старика?

Между прочим, моя артистичность и мой оптимизм, никогда не желавший считаться с жестокой реальностью, тоже от батюшки. Знаю, что в свое время чуть было не стала жертвой строительства воздушных сооружений, воздвигаемых мною для нее и для себя. «Едва

она от тебя открестилась,— говорила мне ее мать.— Баламутка ты! Неужели люди-то так живут: сегодня поел, завтра ладно? Вся семья у вас одинаковая, отец бы хоть куда сторожем пошел, если на старой работе не в силах, голова не та. Все к пенсии добавка. По три сотни рублей на человека у вас: карточки не хватит выкупить!» И не хватало. Продавали «жиры» и «мясо», выкупали хлеб, крупу, сахар. Жили как-то, ничего. «Чего тебе на заводе-то не работается? — упрекала меня Зинаина мать.— Грязно, что ли? От грязи еще никто не умер, с голоду люди мрут».

На заводе мне было неплохо, я вспоминаю свое подростковое время в цехе добром. Хорошо, что Зинаида подбила меня туда пойти. В этой картине я, между прочим, согласилась сниматься из-за того, что фильм о женщине с завода. Войдя месяц назад в цех (часть эпизодов мы снимали прямо в цехе), я снова задохнулась счастливо: запахи! Гладкий, тяжелый — машинного масла от нагретой коробки скоростей; сладкий, остренький, теплый — эмульсии; земляной, тяжкий — тавота, смешанного с грязью на брусчатке пола; синенький, горький пал окалины... Военная, голодная, прекрасная юность моя — опять слезы к горлу подкатили.

И руки сами вспомнили, какие кнопки надо нажимать, какие рукоятки крутить. Поработала в свое время, не ленилась.

Тогда модно было многостаночное обслуживание, я работала сразу на трех токарных станках. На стареньком «Красном пролетарии» — обдирка заготовки, длинная по времени и грубая по качеству обработки операция: зажимаешь в кулачках ржавую болванку, подводишь резец, цирк — точно серебряную фольгу намотали на ржавчину; включил автоматическую подачу — поехали! На втором станке — чистовая обточка той же самой детали, но стружечка тоненькая, крошится из-под носика резца быстро, точно редечку для «мурцовки» настругиваешь, вспоминаешь сытое довоенное житье. Не больно уж хитрое блюдо «мурцовка»: вода или квас, потом редька, черный хлеб и постное масло. Но у меня всегда почему-то эта стружечка в памяти вызывала такую еду, и слюна шла. Третий станок был «ДИП-200», по тем временам быстроходный и новенький, на нем я эту же деталь рассверливала, вынимала канавки сверху, потом проходила отверстие зенкером и фасочку циковкой. Чтобы успеть совершить все операции на третьем станке, пока первые две детали шли на автоматической подаче, требовалась вся моя тогдашняя виртуозность, чуткость ко времени. Пустив канавочный резец на автоматику, подбежать к первому станку, снять заготовку, поставить черную, перебежать ко второму станку, снять готовую болванку, поставить заготовку и, вернувшись к третьему, отвести канавочный резец и сверло, пройтись зенкером и циковкой, поставить в обработку новую болванку. Азартная была работа, держала в напряжении, чувствовала я себя ловкой, умелой: так все у этой девчонки и горит в руках!.. Еще мастер у нас то ли умный был, то ли ему и правда нравилось, как я работаю, только он часто подходил, смотрел и, покачивая головой в армейской серой шапке (он инвалидом вернулся из армии в сорок втором году), говорил: «Красиво работаешь, барышня. В кино тебя только показывать. Тебя и Зинаиду». Умер он году в сорок восьмом, догнала его война — не спросишь теперь, правда ли я красиво работала или просто похваливал, чтобы старалась. У Зины тоже было три станка — операции иные, но по принципу обслуживания похожи.

Зинаида говорила мне, что когда перешли на другую марку продукции, большинство станков заменили автоматами. Вставил деталь — вынул. Если неполадка, автомат остановится и сигнал подаст. Рабо-

тать легче, производительность выше, но мне было бы скучно. Да и всем, наверное, скучно, недаром Зина сразу на наладчика сдала, когда автоматы поставили. Все-таки головой надо думать, двигаться, комбинировать что-то, на горло жать.

Ну а после работы мы с Зинкой бежали в ДК. Руководил нашим самодеятельным театром бывший артист МХАТа Андрей Иванович Донской. Ставил серьезные спектакли с настоящими костюмами, школа, которую он нам давал, была старомхатовская, без штампов обычной самодеятельности. Меня Андрей Иваныч выделял особо, поставил специально для меня «Грозу», где я играла Катерину, а Зинаида Варвару, Левка, которого мы тоже заразили нашей страстью на время, играл Кудряша. Андрей Иваныч мечтал поставить для меня пьесу «Псиша» малоизвестного какого-то старого автора, где я должна была играть крепостную актрису по имени Психея, но вдруг тяжело заболел и к нам уже не вернулся. Мы с Зинкой, правда, долго после ходили к нему домой, помогали чем могли.

Нет, на заводе мне было интересно, тяжелая работа не отвращала: кругом жили и работали тяжело, это была норма. Но сцена уже имела надо мною власть: сладость преодоления страха контакта с залом (точно в холодную воду шагнул), а после уже веселая свобода владения знакомыми и незнакомыми людьми — это я уже знала, жаждала этого, была не вольна в себе. Во ВГИК меня приняли сразу, уроки Андрея Иваныча себя оправдали. Приняли и Зинку, но она колебалась: уходить, не уходить с завода, и как тогда жить на четыреста рублей, карточку не выкупишь. Тут она снова забеременела — это решило ее судьбу.

Товарки по цеху первые пять лет все допрашивали меня: как я считаю — сильно Зинка прогадала? Я пожимала плечами, пожимаю и теперь. Из тридцати актрис, кончивших вместе со мной курс в мастерской известного и хорошего режиссера, всерьез снимаются пять. А красавицы были, куда мне! И талантливые... «Верняка», «выслуги лет» нет в нашей профессии. Удача? Король случай?.. Не знаю...

Щелкнул замок, вошел Алексей. Красавец мужчина в черной небольшой бороде, белозубый, улыбочатый, высокий, кольца на белых, с розовыми ногтями руках — обручальное и два тяжелых перстня. Шамаханский принц...

— Приятная неожиданность! — зарокотал он. — В постели — прелестная женщина, к тому же собственная жена!

— Мы снимаем режиссера сегодня, — попыталась я его остановить. — Через полчаса мне на грим.

Но он уже плескался, отфыркиваясь, под душем, вышел в халате, с прилизанными мокрыми волосами, белоногий, очень роскошный и вовсе не желанный мне. Что делать, я вообще малотемпературная женщина. К своему красивому мужу я отношусь великолепно: лучшего спутника жизни не выдумаешь. Дома все усовершенствования он делает собственноручно, с машиной возится сам; когда Сашка росла, я без забот могла оставлять ее с отцом, уезжая в экспедицию. В компаниях остроумен, весел, танцует все на свете и лучше юных. Недавно снимали «Танцы во дворе моего дома», не явилась массовка по вине помрежа, загримировали всех мало-мальски умеющих танцевать в группе — тут уж Алексей по праву был главным действующим лицом. Но я не хочу его...

Однако жена — это тоже профессия, существует привычка, покорность традиции и так далее и тому подобное...

— Сашке позвони, — сказала я. — Сейчас примчится меня будить. Пусть идет с Игорем обедать.

**5.** — Почему вы считаете, что я опять должна быть здесь жалкой и скромной? Это ханжество уже! Она видит в его глазах восхищение, в ней женщина заиграла! Должна же она хоть раз быть в фильме женщиной! Любить — это не преступление, это божья благодать. Не мешайте мне своей убогой арифметикой!

— Ну вот, договорились до мистики: бог, убогий!..— Воздев театральные руки, Валентин Петрович пошел к режиссерскому креслу, сел. — Делайте как хотите, но все равно эту сцену заставят вырезать. «Ханжество»!..

Впервые в жизни я сорвалась на площадке, усталость все-таки берет свое. Обычно я умею сказать то же самое с улыбкой. Сейчас я кричала не помня себя, как базарная баба, как на кухне, перед группой стыдно, все отводят глаза. Только Игорь Сергеевич с интересом поглядывал на меня да Сашка, усмехаясь, подмигивала.

— Она права, — вдруг точно отрубил Кирилл. — Или теперь вы дайте нам свободу, или я бросаю все и уезжаю. Незачем было приглашать нас сниматься, если вы диктуете каждую интонацию. Все. Маша, не нервничай, давайте снимать.

Кирилл обычно отмалчивается: знаменитый, отличный актер, снимается много, эта роль ему не так уж и важна, я уговорила его сниматься. Его неожиданная поддержка тронула меня почти до слез; чтобы успокоиться, я подхожу к парапету, разглядываю красный, в черных полосах облаков закат, черную, в красных зигзагах реку. Снимаем «режим» — вечерняя съемка. На пленке получится почти так же, чуть, может, потемней, чем натура. Красиво. Кирилл подошел, обнял меня за плечи.

— Не трать себя, дело того не стоит, — говорит он довольно громко.

Ну вот, не хватало еще разреветься от жалости к самой себе. Надо переключить эмоции на прекрасное, собраться. Через мгновение оборачиваюсь, спрашиваю с улыбкой:

— Итак, снимаем?

Режиссер обиженно молчит, Игорь Сергеевич весело отвечает:

— Снимаем. Марина, массовочку прогони еще раз. Чтобы в камеру не пялились.

Снимаем проход по набережной. Вечерний город, толпа, Кирилл, то бишь мой начальник цеха, возвращается со смены, встречает дочку с ухажером, которого он терпеть не может. Разговор. Потом он идет один, переживает, и вдруг навстречу я. Почти нет разговора: откуда, куда, зачем, какой вечер прекрасный... Только дураку непонятно, что они оба кричат сейчас друг другу: я люблю, я люблю, я люблю!.. «Она должна быть скромной. Ты играешь идеальную современную работницу». Уж куда скромней! Даже не поцеловались всерьез за всю-то картину! По нынешним временам в детском саду уже влюбляются и целуются, соседка рассказывала: дочка-первоклассница пришла из школы: «Мама, я на турнике висела вниз головой, а меня Вовка Дерябин поцеловал, я прямо упала!» Правда, наше поколение, к которому принадлежат моя героиня и герой Кирилла, все же другое, любовь для нас запретный и потому по-прежнему прекрасный плод.

Сняли. Игорь постарался, по-моему: замучил «дольщика», передвигающего по рельсам «долли» — тележку с камерой и оператором. Наезд, быстрый отъезд, остановка, снова отъезд... Интересно, как это все смонтируется, впрочем, Валентин Петрович, чего доброго, выбросит сцену.

— Всё, свободны, — сказал режиссер, пошел к такси, закрепленному за группой, сел и уехал, никого не взяв до гостиницы.

Черт с ним, поеду в «рафике», невелика барыня. Залезаю в «рафик», прошу Люсю скорее снять грим: голова от психа разламывается, а тут еще эти стяжки. Пока она быстро расплетает и расчесывает мои косички, я, глядя в маленькое зеркальце, отлепляю ресницы и отдаю молоденькой гримерше, провожу по лицу ваткой с оливковым маслом, чтобы снять пленку грима, не пропускающего воздух. Промокаю лигнином, лицо все равно лоснится, но до гостиницы доеду неумытая, уже темно почти. Опускаю зеркальце — и вдруг вижу Сашку и Игоря Сергеевича. Саша стоит, облокотясь спиной о парапет, согнув в колене высоко оголенную ногу и уперев подошву в гранит парапета. Одно плечо выше, другое ниже, шея изогнута, наклонена к плечу, ну точно молоденькая козочка, моя дочка — все эти ломаные линии изящны. Игорь Сергеевич басит что-то, размахивая руками, смотрит на Сашку восхищенно, а та, усмехаясь, слушает, в глазах — ощущение своей женской власти, так знакомое мне.

Я отвожу взгляд, расстегиваю дрожащими руками сумочку, чтобы сложить зеркальце, тяну губы в улыбке.

— Что мы не едем? — спрашиваю я. — Кого ждем? Я устала.

Помимо воли голос делает взлет, почти взвизг. Люся и помощница переглядываются, Люся быстро кончает расчесывать меня, помощница кричит:

— Саша, Игорь Сергеевич, вы едете? Мария Викторовна устала, торопит!

— Едем! — отзывается Саша, подбегает к «рафику» и, облавив меня по дороге, пробирается на заднее сиденье.

Игорь, опершись толстыми ладонями о косяки дверного проема, суется в «рафик», смотрит на меня с полуотсутствующей улыбкой, переводит взгляд на Сашу, снова возвращается ко мне, и вдруг глаза его серьезнеют. Не успела я прибрать свое лицо, не хватило сил. Жалкое, смятое и растоптанное. Смотрит на меня Игорь долго, пронзительно неторопливо:

— Саша, а мама у нас не заснет. Нам еще одно кино, а она вон какая вся.. Вы валяйте поезжайте, мы пешочком.. Мария Викторовна, вы же любите пешком ходить.

— Спасибо за чуткость, Игорь Сергеевич, — говорю я, слыша, как слеза звенит в моем голосе. — Но сегодня у меня, увы, нету сил идти пешком. Саша вам составит компанию. Иди, Сашок, я лечь хочу. Завтра, слава богу, выходной, хоть этого типа не увижу.

Опять срыв. «Тип» — при группе. Нынче же будет известно. Но плевать.

— Мама, Андрей приехал, ты что! — смеется Саша. — Я лечу на крыльях любви к себе в номер.

Чувство некоторого мстительного удовольствия охватывает меня: я и забыла, что сегодня прилетает мой зять — вырвался на воскресный день. Он актер, у него тоже съемки, но их экспедиция в пределах досягаемости.

Игорь Сергеевич молча созерцает мое лицо, потом так же молча опускается на колени и стоит. У блатных, что ли, научился дешевой театральности? Девочки в «рафике» хихикают, но мне почему-то приятно.

— Королева, снизойдите.

— Не балаганьте, Игорь, вы же не мальчик, — говорю я, стараюсь, чтобы голос был сердитым, но внутри уже начало оттаивать.

— Мама, — смеется Сашка, — мне каждая секунда дорога! Игоря не переупрямишь. Выйди ради общества. И выясняйте отношения.

В интонации — неуловимое превосходство, сознание, что в ее си-

лах изменить ситуацию. Это снова цепляет меня, но мне очень хочется выйти и остаться с Игорем, пройтись с ним одним, просто так...

Я выхожу, «рафик» уезжает, Игорь, отряхнув колени, молча берет меня под руку, мы идем по набережной, уже темно, и, слава богу, никто на меня не пялится, никто не узнает. Утешение во скорбях дневных начинает осенять меня.

— Ты не обедала? — спрашивает Игорь. — Я тоже проспал. Но жрать хочется. И выпить. Зайдем в этот мусорный ящик?

Впереди стеклянная, освещенная изнутри коробочка какого-то кафе. Я молча киваю. Мы заходим. Игорь отыскивает в углу свободный столик, убирает с него грязную посуду на соседний; добыв из карманов куртки газету, стирает разводы томатной подливки, хлебные крошки и пивные лужицы, вешает куртку на спинку алюминиевого стула.

— Чтобы фраера не думали, что ты тут их ждешь. Сиди. Я пошел, чего-нибудь добуду.

Я достаю из сумочки десятку, он берет не ломаясь. Во-первых, любая «звезда» всегда пользуется случаем «поставить» оператору, а во-вторых, оклад у него двести рублей, молодая жена с сынишкой и машина, которая уж я-то знаю во сколько обходится. К тому же когда-то он был при больших деньгах, посорил ими вволю, видно, не придает им значения. Однако я слышу где-то глубоко в себе неудовольствие оттого, что Игорь так легко принял эту десятку. Я люблю, потому жажду уважать, возвеличивать, идеализировать...

Я сижу спиной к залу, мне видна черная полоса Волги, проблески заводов и низко — малиновая в оранжевость прорезь в плотности неба.

— Ты где? — раздается над моим ухом голос. — Все проигрываешь эпизод?

Горячие сосиски горкой на тарелке, маринованные кильки с яйцом, хлеб и два стакана.

— Ну, — Игорь наливает по трети стакана водки, сует бутылку в карман куртки, — первый раз мы с тобой пьем. Так за это.

Мы чокаемся, пьем, глядя друг на друга поверх стаканов, молча ждем, пока «достанет». Его большое, всегда словно бы спросонья длинное лицо розовеет: достало. Он улыбается.

— Ну вот как хорошо. Целый месяц хотелось. Ешь.

Я сижу спиной к залу, меня никто не видит, до меня никому нет дела, и потом я немножко пьяная уже, счастливо-пьяная — можно человеку немного свободы в его трудной сдержанной жизни? Я улыбаюсь Игорю, руками укладываю на кусок хлеба кильки, половинку яйца, посыпаю зеленым луком.

— Во! Сделать тебе?

— Сделай.

Игорь наливает еще. В том, как он торопится к хмелю, нет противного, он добр и трогателен сейчас.

— Держи. — Я протягиваю ему самую прекрасную в мире закуску.

— За мою любимую актрису.

— За Сашеньку, что ли? — не удерживаюсь я. — С удовольствием.

— За нее потом. Сейчас за тебя. С восемнадцати лет влюблен в тебя. С твоей первой роли.

Сижу, счастливо расслабившись, мысли добрые и веселые ходят во мне, иногда достигая сознания, иногда незарегистрированно растворяясь в естестве моем, оставляя после себя только ощущение, что мне хорошо. Мне смело. Я не помню, когда за последние десять...

нет, сорок пять лет мне было так хорошо и смело. Я могу говорить, что я хочу, могу пойти по всем столикам, улыбаясь, и петь, чтобы всем было хорошо.

— Хочешь, буду петь? — предлагаю я Игорю. — Мне хорошо, пусть всем будет хорошо.

— Хочу, — говорит он. — Но это потом. Да и кому тут петь? — Он оглядывает тесно набитый каким-то странным людом зальчик кафе. — Фраера, дешевки. Посиди, пусть мне будет хорошо. Слушай, мы с тобой, как рыбка с водой. Я, между прочим, так и думал, что нам с тобой хорошо бы выпить.

— Ты думал обо мне?

— Я же тебя люблю. Ты знаешь.

Он берет мою руку, целует пальцы, пахнущие килькой. Я все равно понимаю, что это он во хмелю любит меня, но мне хорошо. Мне прекрасно. И смело.

— Это я тебя люблю, — возражаю я. — А ты любишь Сашеньку. Я ее тоже очень люблю, больше всего на свете. Но мне плохо.

— Я знаю, — говорит он, и в темной, хмельной уже воде его глаз вдруг проступает добрая мысль и сожаление. — Я все знаю. Но Сашеньку я не так люблю, я ею люблюсь. Я ее снимать люблю, каждый поворот — чудо... Ты знаешь, я так любил снимать лошадей, особенно жеребят. Но после Вайды и Тарковского нельзя... Жаль. Так за Сашеньку?

Мы снова чокаемся и пьем, но мне уже грустно и хочется что-то сделать, чем-то обратить на себя его внимание, чем-то пронзительно поразить Игоря, чтобы он опять думал обо мне, жалел меня. Утопиться? Вскрыть вены? Но я молча ем, опустив голову. Игорь тоже ест, шумно пережевывая хлеб и сосиски, потом рука с ломтем падает на край стола, Игорь смотрит на меня.

— Я слышу тебя, — говорит он. — Ну что ты киснешь? Кончай давай. — Он выливает остатки водки себе в стакан. — За тебя!

Выпивает. Лицо его становится молодым, добрым, он чуть улыбается, глядит на меня пристально и покорно.

— Чего ты хочешь? — спрашивает он. — Скажи — из-под земли достану.

— Не знаю, — говорю я горько. — Я не знаю, чего я хочу. Пойдем домой.

Когда мы доходим до гостиницы, я вдруг чувствую, что я совершенно трезва, что мне опять хорошо и весело, а домой идти вовсе не хочется.

— Игорь, — говорю я, понимая, что говорю не то, что это плохо кончится и вообще этого говорить нельзя. — Поедем немножко покатаемся? Ведь ты уже трезвый, правда? Полчасика. Такой хороший вечер!

Мы едем по темным пустым улочкам, потом выезжаем на загородную дорогу и едем, едем, едем. Ехать прекрасно, я люблю движение, это мое состояние. Когда я еду ночью на машине, головная боль и стянутость мышц оставляют меня, я наполняюсь равновесием и предчувствием счастья — только бы не приезжать: остановку я слышу впереди как боль.

— Я люблю тебя, — повторяет Игорь.

Тяжелая огромная рука его лежит на моей, тяжело стучит во мне кровь. Что-то с нами будет. Но я знаю, что ничего не будет, бог любви несет нас на своих крыльях.

Впереди какое-то не то озеро, не то водохранилище, высокий темный берег лесист и дремуч, вода медленно дымится туманом.

— Свернем? — в одно слово произносим мы.



Отпустив мою руку, Игорь сворачивает на песчаный съезд, едет по нему медленно, потом, разогнавшись, въезжает на взгорок, почти достигает вершины, но колеса пробуксовывают, и старенькая «Волга» Игоря скатывается к самой кромке воды. Выругавшись, Игорь газует, пытается вновь загнать машину на бугор, снова сползает, снова газует...

— Не надо, зачем тебе туда? — Я кладу ладонь на его лоб, чувствуя, что он завелся уже, пьяно звереет. — Подожди, остынь, мы сейчас выедем. Ты только подожди...

Он сдает назад, но, не рассчитав, плотно сажает задние колеса не то в ил, не то в жидкий прибрежный песок. Пробуксовывая, они выбивают под собою колею, мы уже сидим на брюхе. Игорь выключает зажигание.

— Все. — И, выматерившись, кладет голову на руль.

Я сижу неподвижно, соображая, что сами мы отсюда не выберемся, что машин на шоссе нет: второй час ночи... Что меня уже хватились и волнуются.

— Игорь, — говорю я. — Давай выйдем на шоссе, поймаем машину. Надо домой.

— Сейчас. Подожди, — говорит он, и голова его, покачнувшись, откидывается на подголовник кресла. — Сейчас... я... Тебе не холодно?

Он поворачивает ключ зажигания, мотор уютно тарахтит, мигает красный огонек на щитке, идет тепло от печки. Игорь спит, хорошо, глубоко похрапывая, я сижу, положив на колени ладони, выпрямившись. Вот так, мать. Не полна ли необыкновенной иронии эта финальная сцена? Последний акт водевиля с музыкой и плясками: ночь, луна над озером и громкий храп кавалера. Как это говорила Раневская в свое время: «Дорогой, что тебе во мне больше всего нравится?» «Жилплощадь». Ладно, я хоть обладаю чувством юмора и умением по одежке вытягивать ножки. Ножки, правда, тут не особенно вытянешь, но я как могла откинула спинку своего кресла, улеглась поудобней, укрылась пальто. Не похвастаюсь, что заснула мгновенно: разные мысли приходили и уходили, занимая определенное время и отнимая определенные силы и бодрость духа. Потом я все же заснула. Проснулась оттого, что нечем стало дышать, выключила зажигание, приоткрыла стекло. Игорь спал в той же позе, все так же основательно похрапывая. Мне храп его не мешал почему-то, хотя я, как все нормальные люди, терпеть не могу, когда храпят. Просто мне было хуже уж некуда.

Я глядела на чуть освещенное запрокинутое лицо Игоря с полуоткрытым ртом, на его длинные ноги: одно колено неуклюже упиралось в дверцу, другое касалось моего бедра. Я глядела на Игоря и вспоминала, что он до сих пор ездит в отпуск охотиться в Сибирь, что прошлой весной они в Подмосковье били кабанов и на него бросился раненый кабан. Я никогда не бывала на охоте, мне охотники казались людьми мужественными, настоящими, не утратившими связи с землей, с природой. Я специально вспоминала какие-то лестные для Игоря вещи, мне хотелось думать о нем хорошо, мне было жаль терять свою зависимость от него. Потом почему-то вспомнилось, как я маленькой девочкой пришла с отцом в гости к Генеральному прокурору Советского Союза Крыленко, они дружили, отец работал раньше в Наркомюсте в должности товарища прокурора, не знаю, что это за должность, но отец именовал ее именно так. Из Наркомюста отец к тому времени ушел, но с Крыленко друзьями они остались. У нас дома всегда говорилось о нем с восхищением — альпинист, охотник. Отец не был ни альпинистом, ни охотником, хотя ходить по горам, просто ходить на далекие расстояния всегда очень

любил, меня приучил к этому, тело мое тоскует без движения. Мне очень, конечно, хотелось увидеть этого необыкновенного человека, я воображала его могучим и красивым, увидела: маленький, толстый, с бритой, не то лысой головой. Зато квартира его — две или три комнаты и передняя — потрясла меня. На стенах головы оленей, архаров, медвежьей и рысьи шкуры, чучела птиц, белок. Долгое время в мечтах я видела свою будущую квартиру именно такой — полной присутствия дальних прекрасных поездов. Я подумала, что, наверное, у Игоря тоже очень интересная квартира со шкурами и чучелами, потом заснула.

Проснулась от тишины и холода. Светало. Над озером стоял туман, проглянула желтая с черным кайма берега, рыжая неяркая глина обрыва. Сосны на обрыве были мокрые от тумана.

В машину через приоткрытое окно наполнила сырость. Я завернула стекло, попыталась включить зажигание и печку, но не получилось: мотор заработал, однако вентилятор гнал холодный воздух.

— Игорь! — Я потрясла его за плечо. — Я замерзла, включи печку.

Игорь сполз ничком к дверце и продолжал спать, неудобно ткнувшись лицом в стекло, но уже не храпел. Я еще раз потрясла его.

— Да? — Он поднял голову и сразу сел. — Застрали мы? Я сейчас...

— Слушай, — сказала я голосом, от которого просыпаются мертвые. — Уже рассвело. Если ты сейчас не пойдешь на шоссе за машиной, я выйду голосовать и уеду. Я хочу домой.

— Сейчас... — сказал Игорь, повернулся ко мне лицом и, обняв меня, притиснул к себе. Будто мы прожили с ним долгую, отнюдь не плохую жизнь, но ни о какой страсти и речи уже идти не может.

Это меня в данный момент устраивало, но все-таки было обидно. Я высвободилась, и он заснул по-прежнему мертво, пытаюсь во сне найти лбом мое или чье-то плечо. Постановывал иногда, как капризный, что-то выпрашивающий ребенок. Интересно, неужто они с женой спят в одной постели? Мы с Алешкой спим даже в разных комнатах, я не засну, если в комнате кто-то есть.

Я поглядела на отекавшее, немолодое, некрасивое лицо Игоря, на его щеку, выпяченную подголовником, и скошенный от неудобной позы рот, поняла, что я не люблю его, никогда не любила, тоже уместилась поудобнее и снова задремала. Когда я проснулась, солнце светило в боковое стекло. Туман над озером был желтым, стволы сосен и обрыв — ржаво-красными. Я снова поглядела на спящего Игоря, поблагодарила судьбу, что это я, а не он проснулся первым, и стала причесываться, развернув к себе смотровое зеркало. Ничего прекрасного я там не увидела. Кое-как привела себя в порядок и решила выйти хоть рот прополоскать: довольно помойно там было после вчерашнего.

Вышла. Игорь вздрогнул, когда хлопнула дверца, и некоторое время продолжал лежать, глядя и не глядя. Я спустилась к самой воде, дрожа мелкой собачьей дрожью от утренней сырости. Присела, зачерпнув пригоршню воды, поднесла к лицу и вдруг согрелась и развеселилась. Что я, не имею права на зигзаг в моей разумной сдержанной жизни? Может, и не имею, но коли уж он получился, надо его отстаивать, это самое «право»!

Хлопнула дверца, вышел Игорь, проскрипел по песку туфлями, остановился за моей спиной. Зевнул и потрясся телом — точно лошадь дернула шкурой от паутов.

— Здорово! — сказал он. — Это я, значит, всю ночь дрых?

Присел рядом, умылся, расстегнув ворот рубахи и омочив грудь и шею.

— Нельзя мне пить,— сказал он задумчиво.— Дурею теперь быстро. Видно, свою цистерну спирта уже прикончил, хватит. Как мы заехали-то сюда? Счастье, что свернули и застряли, не то бы!.. Хорошо-то как! — прервал он себя.— Сибирский пейзаж... Чо делать-то будем, девка? — весело передразнил он какой-то сибирский диалект.

Мне тоже вдруг стало весело. Я выпрямилась и засмеялась.

— Ладно. Я пошел на шоссе тягача караулить, а там посмотрим. Садись в машину, я включил печку. Не хватало мне тебя еще простудить!

Я села в машину, потом вылезла, походила вокруг, потом послышалось завывание грузовика. Шофер грузовика, молодой, но очень серьезный, постоял возле нашей машины, определил, что мы хорошо сидим, они с Игорем зацепили трос за гак, постояли еще, потом грузовик попятился, натягивая трос, а Игорь толкал «Волгу» сзади. Лицо его было напряжено, на щеках проступила розовость, перебив землестую серость. Грузовичок выволок нас к шоссе, Игорь отцепился, развернувшись, поставил «Волгу» на обочине, пошарил по карманам и, достав трешку, пошел к кабине грузовичка. Вернулся в машину, выключил зажигание и, поглядев на меня сбоку из-под волос, усмехнулся полувиновато. Взял мою руку, поцеловал ладонь.

— А хорошо,— сказал он.— Все равно хорошо.

И замолчал. Было и правда хорошо. Мы сидели рядом молча, он держал мою руку в своей огромной, и я опять слышала, как бьется во мне, переходя от него, счастливое тепло желаний. Словно очнувшись, Игорь повернулся, посветлел глазами.

— Выйдем? Уже не холодно.

Мы вышли, он запер машину и, держа меня за руку, пошел к озеру, потом взобрался на обрыв.

— Вот я куда хотел,— сказал он.— Гляди.

За озером было видно желтое убранный поле, деревню и церковь на самом краю ее. Солнце еще стояло низко, и церковь была черная, точно грибы на пне, а крыши домов сверкали.

Мы вошли в лес и шли долго, я уже очень хотела, чтобы мы перестали идти, потому что жаркая кровь остановилась во мне, заполняя все тело и сделав его напряженным и требующим свершения.

Мы пошли медленней, потом стояли, прикинув друг к другу, и слушали. Потом я видела над собой небо и сосны и слышала лицо Игоря рядом с моим, его глаза, сухие и жаркие, сомкнувшиеся оттого, что сосны покачнулись.

**6.** — Зинка, что делать-то? Я люблю его! Такого со мной никогда не бывало. Всю жизнь холодной себя считала, думала: сублимация — темперамент в игру уходит. Мы точно обалдели, не видим и не слышим никого. Сашка глаза выпучивает, она от меня такого бесстыдства не ожидала. Режиссер его жену вызвал, она телеграмму дала, а он позвонил: не приезжай, все правда, дай, мол, разберусь в себе. Что делать-то? Если бы не Сережа, я бы, наверное, вовсе обезумела. Ох какая глупая смерть, поверить не могу.

— Как он умер-то? — спросила Зина.

Мы с ней сидели, забравшись с ногами на тахту, у меня в комнате. Зинка жевала конфеты, я тоже сунула в рот какую-то с орехами, но не смогла проглотить: спазма держала горло.

— Сердце не выдержало. В сорок лет такая смерть! Какой актер был...

— Я пойду завтра с тобой.

— Пошли... если сможешь.

— Смогу. Я теперь часто отлучаюсь, приходится. То на ЦК профсоюзов, то делегацию какую-то встречать, то в общество... Большой деятель стала!.. Ну а тут уж сам бог велел проводить...

Она опять захрустела грильяжем в шоколаде, коричневые круглые глаза ее, утонувшие в складках щеки, подпертой рукой, ничего не выражая, глядели в пространство.

— Сгорел Сережка...— сказала я, словно укоряя себя в чем-то.

Меня, как, наверное, и многих, эта ранняя неожиданная смерть потрясла. Живешь не думая, день за днем идет, а остановишься вот так — видишь, что быстро, мгновенно время утекает, успеваешь мало, а ведь и твой час, наверное, не за горами. Сережка успел много за свои сорок лет, каждое его появление на экране было событием... Торопился он жить, ярко жил, словно предчувствовал недолгий срок.

— Я сидела рядом с ним, когда премьера его последней картины в Доме кино была,— вспомнила я вдруг недавнюю с ним встречу.— Ее ведь порезать хотели наши умники, как же! Подробности жизни обыкновенного, ничем не замечательного человека!.. Кому, мол, это надо? Не порезали, Сергей выходил, выкричал... Сидим, смеемся, разговариваем, а у него на лбу пот, он его платочком то и дело промокивает. И ладони, сам не замечает, трет и трет — мокрые тоже... «Ты волнуешься, что ли? Все ведь позади». Поглядел, губы в ниточку сжал, лицо серое стало. «Волнуюсь...»

— Сгорел...— согласилась Зинка, взглянув на меня мельком. В глазах ее проступила печальная нежность.— Ты вот сколько раз меня подначивала: очнись, жиром заплыла!.. Не слышала. А с этой его последней картины домой шла, тоска вдруг взяла: жизнь-то и правда кончается, Маша! Успели мы все, что хотели?.. Черта с два! Барахлом обросли, сыты — это так. Об этом тоже мечтали. Но не одна ведь была цель... И ты меня не лучше живешь! — бросила она жестко, мимоходом.— Правильно сказала: Сергей сгорел капля за каплей. Не экономил себя, не устраивался — это ведь перед экраном слышно, кто из вас как живет. Он горел — все слышали.

— Выходит, актер должен сгорать, что ли, вам на потеху? — зло спросила я. Раздражение и обида вдруг поднялись во мне.— Ну хорошо, он вот сгорел — и что?.. Посожалеют и забудут. Ради чего сгорать-то?.. И так сгораю не горя. Двадцать с лишним лет как ВГИК кончила — минуты для себя не жила: то съемки, то озвучание, то гастроли, то телевидение... Горю ясным огнем, света белого не вижу!..

— Глеешь...— лениво уронила Зина.— Я понимаю: работа, как всякая другая. Я конические шестерни делаю, ты — роль. Трудная работа. Но работа, профессия... Мы-то с тобой другое пели. О «высоком искусстве»...

— Как я могу петь, если для меня ролей нет! Хорошо на него режиссер со сценаристом специально роли писали, знали, что вытянет и пробьет.

— Ролей нет... А будет — сыграешь ли? Привыкла зажиматься, на тепленьком творить, хватись — горячего уже нет. Сашку хоть не испорти, я знаю, ты ее все одергиваешь... Актер не может быть круглым, а ты круглая, подружка...

Я сдержалась, чтобы не вспылить, и тут же отметила: сдержалась... Круглая, обтекаемая, без углов. Сергей был с углами: вспылчив, неровен, то щедрый, точно солнце, пронзительно-теплый ко всем, то отгораживался колючками и холодом. Впрочем, плохой характер имеется у многих, особенно у неудачников, а подобного Сергею не скоро родит земля. Солнце хоть и на самом доньшке в нем

было — выворачивался до доньшка, не берег себя, не копил... А я, наверное, и правда экономлю, привыкла экономить: эта роль ладно, на профессии, на уменье, а вот уж попадетса — выхлестнусь! После первой, увы, не попадались, хотя неплохих, запоминающихся много я сыграла. Однако права Зинка — пиротехника, тепленько, неопасно для жизни. Рядом с правдой, почти впритирку к ней, но не правда...

Я представила себе, что Сергей мертв, что я никогда больше его не увижу, что ничего не свершится, что могло бы свершиться...

— Ой,— сказала я вслух, точно прабабка деревенская проснулась во мне.— Ой, Сережки-то нету больше, не увидим мы его никогда больше. Загораживать надо было, беречь, а мы тратили, тратили, радовались, что горит, что сгорает, что совеститься некого будет, когда догорит дотла... Глядели сбоку: надолго ли? Тут горит? А там будет? Горит еще? Гори, гори, милый! Догорай! Вечный огонь только у солдатских могил, ягода ты моя горькая!

Я рыдала в голос уже, плакала навзрыд и Зина, а назавтра мы с ней, отстояв честно полтора часа в тихом потоке горестных и несуетных, несущих цветы и скорбь к гробу Своего Актера, вошли в Дом кино, где лежал Сергей, заваленный цветами, отошли из потока скорбных к толпе своих. Здесь было больше любопытства, суетности и, может быть, даже мелкой радости, что он умер, а я вот жив. Но была тут и скорбь, были избранные среди многих званых...

Я глядела на лицо Сергея, еле видное из цветов, суровое, старое, в гриме, точно он был и сейчас в кадре, в работе: последний грим этот положил на его обесцвеченное смертью лицо тоже знаменитый своим искусством сторож из морга больницы Склифосовского, где Сергею делали вскрытие. Глядела и не плакала: он был не похож — спокоен. Ни разу не видела я его спокойным. Заплакала, только когда начала причитать мать, деревенская женщина: понесли гроб.

Толпа у подъезда не разошлась, хотя допуск к телу прекратили еще час назад, для панихиды. Стояли молча, ждали, зашевелились, когда вынесли гроб. Если бы скорбь могла стать материальной — ведь существует, говорят, телекинез, когда человек двигает предметы, не прикасаясь к ним, как бы материализует желание,— Сергей встал бы сейчас. Этого заряда энергии общей искренней скорби тех, для кого он сгорел, хватило бы ему на многие годы жизни.

— Что делать тебе? — спросила Зина, когда мы дошли до ее дома.— Люби. Если, конечно, любишь. Если он правда мужик. Засушила ты себя, задисциплинировала. Я-то хоть Левку любила, вся вылюбилась. Рожала, абортывала — не тряслась, любила. А ты? Так на полупроводничках и проработала, девка.... Помнишь, Левка молодым любил спохабничать: пропито, говорил, пролюблено — все к делу произведено!.. Любовь — один смысл в жизни, иначе зачем жить?

**7.** — Маш? — разбудил меня телефон, а потом сестренкин голос.— Ты в Москве, я думала, тебя нет. Инсульт у отца, вчера вечером в больницу увезли. Случайно позвонила, не думала, что ты тут. Пойдешь к нему? Я иду скоро, пойдем вместе. Из еды ничего не надо, я взяла. Утку купи, он разбил вчера, выбросил, когда нянечка подала, а они у них отчетные. Не пугайся только, он изменился...

— Это ваш дед, вчера привезли? — спрашивает молоденькая сестричка, сидящая неподалеку от дверей на сестринском посту.— Ну и дед, никогда таких не видела! Дежурьте, что ли, у него, мы не справляемся. Не ест, упал ночью, в туалет хотел идти. Утку разбил. Вот пеленки возьмите, поменяете.

В палате пять коек, лежат беловато-голубые старики в белом, покрытые белым. Я шарю глазами, не узнаю, не вижу.

— Вон он,— говорит Алла.— Сеткой привязали, чтобы не встал.

Отец лежит возле окна, что-то беспрерывно говорит и водит рукой по одеялу, другая рука привязана, весь он поверх одеяла прикрыт сеткой, привязанной к железному каркасу койки. Мы подходим ближе, Алла садится на табурет возле изголовья, показывает мне на другой — садись. Но я пока не могу сесть, я смотрю. Ни один мертвый не может быть мертвее его, лежащего передо мной.

Белая, как талый снег, кожа вылепила огромный череп, подбородок с синим провалом рта и впадины щек. Безумные голубые, выкаченные, как у мучеников на старинных картинах, глаза. Без признака мышц синевато-белая цевка движется по завязкам сетки, дергает их постоянно и настойчиво.

— Папа, мы пришли,— окликает его Алла, моя разумная трезвая сестренка, младшая, маленькая, хотя ей уже тридцать восемь.

Цевка продолжает шарить, потом поднимается в воздух, что-то нащупывает в нем, голова переваливается набок, фарфоровые шары глаз почти без признака зрачков останавливаются. Мысль появляется в них и желание сосредоточиться.

— Брюки принесла? — лепечет он быстро и невнятно: рот полупарализован.— Я не могу встать без брюк, потом там у меня деньги.

— Брюки принесу,— втолковывает терпеливо Алла.— Я выбросила твою одежду, она грязная, ты обмарался, когда лежал. Мы тебе новое все купим. Тебе нельзя вставать, зачем ты хотел встать вчера?

— Отвяжи меня! Мне надо встать! — сердится человек, губы его дергаются, точно мы опять маленькие и нас надо попугать предвещением сердечного приступа.— Я не могу ничего тут, мне надо встать, как ты не понимаешь!..

Я с трудом, только по догадке, по движению левой стороны рта разбираю, что он лепечет.

— Тебе нельзя вставать,— спокойно уговаривает его сестренка.— Ты не выздоровеешь, если будешь вставать, ты упал вчера, тебя под кроватью нашли. Тебе хуже. Ты хочешь жить?

Голубые на серовато-белом замерли, рот хитро скривился, выдохнул:

— Хочу...

— Значит, надо слушаться врачей.

Из детства вышел человек, в детство вернулся: и придешь на круги своя... Замкнулось кольцо.

Алла щупает простыни.

— Он весь мокрый, надо сменить пеленки.

Мы развязываем сетку, поднимаем одеяло, человек пытается помешать нам. Вот, оказывается, какая самая сильная, самая живучая эмоция осталась в этом дереве (мы ветки его) — стыд, совестливость. Из-за этого он свалился вчера с кровати, потому что хотел выйти в уборную, у него второй инсульт, он безнадежен. Совестливость... Вот, оказывается, что было главным в моем отце.

Он пытается помешать нам, но мы подняли одеяло, я приподнимаю его ногу и бедро, мы видим наготу своего отца, но это уже не нагота. Это уже не здесь. Как у новорожденного — еще не здесь, еще заявка на плоть, на жизнь; так и это — уже не здесь, уже истаяло, истлело, развеяно...

Он сухой, укрыт, удобно уложен. Алла достает из сумки термос с бульоном, котлету.

— Надо поесть.

— Не буду, я не хочу!

— Ты не выздоровеешь, тебе нужны силы, чтобы выздороветь.

Он опять недовольно дергает ртом, будто он сильный, молодой, имеющий над нами власть старшего. И вдруг глаза его останавливаются на моем лице, замирают, судорога ужаса перекашивает его рот, рука вцепляется в одеяло.

— Лида... — лепечет он. — Лида... не надо...

— Ты что, папа? — наклоняюсь я к нему, пытаюсь загородить и утешить. — Я не Лида. Какая Лида? Я Маруся.

Детское имя мое всплывает у меня в мозгу, отец меня так никогда не звал, никто меня так не звал. Мачеха звала Манькой, остальные Машей, Марией. Игорь, балуясь, зовет Марусей, ему кажется так ласковей. Но я вспоминаю вдруг, что звали. Кто?

Из глаз отца начинают катиться слезы, лицо его сморщивается, собираясь в жалкий, покрытый серой щетиной кулачок.

— Мау-у-сенька... — хлюпает, пытается произнести сводимый судорогой рот. — Ма-у-сенька, маленькая.. Лида... не надо...

— Это он твою мать вспомнил, — говорит Алла спокойно, и я обалдело гляжу на нее. — Ее же Лидия звали, она отравилась мышьяком. Мария Павловна рассказывала, она помнит ее. Ты не бывала у отца последнее время, а я захаживаю. Мария Павловна говорит, он часто вспоминает ее теперь.

Это новость. Я сажусь на табурет, машинально поглаживаю руку отца. Какие-то разговоры, слышанные в раннем детстве, но не принимаемые всерьез, потому что отец раздраженно обрывал: «Слушай бабью болтовню!..» Даже мачеха об этом не поминала никогда. Стеснялась? Не знала? Жалела меня?..

— Почему отравилась? — не вдумываясь, задаю я вопрос. — Зачем?

— Не разберешь. Они не расписаны были, отец какую-то другую любил. Ну что ты, батюшку не знаешь? Он все время кого-то любит. Другого. Не твою мать, хотя ты уже есть, а другую. То Люську, то Зинку. Не нас с тобой — вот что обидно — других...

Этот знак бывшей плоти — причина смерти моей матери. Я гляжу в себя и вижу, что известие принято мной с интересом, но словно новый конец страшной сказки, слышанной в детстве: «А знаешь, белая статуя, оказывается...» Сработал зигзаг в память, на четверть мига унесший тебя в далекое прошлое и вернувший обратно. Я никогда не видела мать, я не могу ее ни любить, ни не любить, а отец — вот он, я люблю его, мне его бесконечно жалко, я, точно от ребенка, пытаюсь увести от него страх, защитить...

Где истина, как определить итоговую цену человеческой жизни, и надо ли ее определять?..

Я еду в группу. Что делать — съемки не могут прерваться и ждать, как судьба решит с отцом дальше. Еще две недели, а там я сменю Аллу, не поеду в отпуск. Врач сказал, что организм у отца удивительно жизнеспособный, возможно, он и выкарабкается.

Темно, из окошка дует, вагон покачивает, встряхивает на стыках. Я не сплю, хоть и одна, хоть и спальный вагон, а я приняла двойную дозу снотворного. Я словно бы остановилась, а впереди — обрыв, продолжения жизни нет, и я не жажду его, продолжения.

Вчера и сегодня в группе снимали те сцены, которые планировались на конец экспедиции, потому что они под крышей, на заводе, от погоды не зависят. Массовка и проходы Кирилла. Снимали, пришлось снимать, потому что я уехала проводить Сережу.

Мы вместе снимались с ним в том первом моем фильме и хотя почти не встречались эти двадцать лет, но пусть бы перевернулась земля, пусть бы на меня навесили все убытки по остановке съемок — я все равно поехала бы его проводить!.. Не может быть у человека обстоятельств, мешающих ему пройти перед гробом друга. Даже если он не считал тебя своим другом, не помнил, что ты живешь на земле. Эта последняя встреча уже не для него — для тебя.

Сергей. И отец. Мать.

Многовато легло событий на эти сутки, не заснешь все равно. И моя собственная жизнь на изломе, на каком-то критическом обрыве — в самый бы раз произойти крушению поезда, чтобы не решать ничего, не преодолевать, не идти дальше.

Я давно миновала этот возраст, который для отца стал критическим. Сорок лет. Рубеж, когда жизнь разламывается надвое: было восхождение, теперь спуск по направлению к старости. Сергей в сорок лет умер, погиб. Отец в сорок лет произвел ребенка и был причиной смерти молодой женщины, любившей его.

Сергей жил на виду, не заботясь о камуфляже, любил одно, жил одним, умер в экспедиции после тяжелой ночной съемки. Его любили многие женщины, у него остались дети. Талантливые? Передал он кому-то себя?.. Время покажет.

А как жил отец?.. Я ничего не знаю о нем. Нет, мне известно, я помню массу каких-то подробностей — он любил рассказывать, без конца повторял эпизоды из своей жизни, но они не складываются в целое.

А мать? О ней я не знаю совсем ничего. Приучилась не спрашивать, понимая, что отцу будет неприятно. Но я, в общем-то, и не интересовалась всерьез никогда деревом, стволом, корнями — своей генеалогией.

Дед мой по матери был священником, бабка, выходит, попадшей, а мать — поповой дочкой. Прадед был крестьянином, прабабка — крестьянкой. Но дед был священником, это мешало жить даже мне, хотя я никому не обязана была говорить об этом, тем более где-то писать. А матери?.. Ушла из дому, порвав с родными, которых, наверное, любила, уехала в Москву. Кем она была? Комсомолкой — это я знаю. А еще? Работала там же, где и отец, в Наркомате юстиции, в Наркомюсте. Кем? Секретаршей? Делопроизводителем? Гардеробщицей?.. Влюбилась в отца — тридцатидевятилетнего, красивого, блестящего. Был он в это время одинок: его вторая жена, Раиса, ушла к другому, наскучив суматошностью жизни с ним. От одиночества сошелся с моей матерью, желая утишить тоску; из гуманности, из совестливости своей настоял, чтобы оставила ребенка. А потом не хватило совестливости, терпения ежедневно сосуществовать с нелюбимой. И она отравилась.

Потому что так любила? Потому что ее не любили? От силы? Не желая жить, потому что не любит единственно возможный? От слабости? Ты меня не любишь, так на вот тебе?.. От одиночества, оттого, что обрубила корни и осталась одна? Не знаю, теперь уже не узнаешь.

Обо мне она, во всяком случае, не думала, я не внушила ей желания жить ради меня, знала на своем опыте, как непрочна эта связь: мать — дети... Сама я ради Сашки готова на все. Пусть она скажет «не люби» — не буду. Но не скажет... Мой эмоциональный, послушный чувству, а не разуму ребенок — не продолжение ли он своей покойной двадцатидвухлетней бабки?.. Но уже не узнаешь, какой она была.



Дед по отцу был полковником, я видела его карточку: в мундире с эполетами, с властной рукой, возложенной на эфес шашки, с ожадлистой бородой и совершенно лысым черепом. В кругу многочисленного семейства — жена, четверо или пятеро ребятшек. Где они теперь все — мои дядя и тетки? Разметала по земле история...

Отец семнадцати лет сидел уже в тюрьме за распространение прокламаций, но окончил юридический при Томском университете, был призван на германскую, на гражданской остался добровольно. Там же вступил в РСДРП в 1918 году, попал в Сибирский ревтрибунал, после работал в Верховном Суде. Потом его исключили из партии за «аморалку», за историю с моей матерью.

А он всегда оставался верующим в то, чему служил, истово верующим в революцию, в партию, в прекрасное будущее, продолжение своего прошлого. Пытался во время войны восстановиться, присоединился на фронт, в ополчение. Его не взяли — стар, болен, — не восстановили.

Я начиналась не от него, не от нее — с нуля. От меня началась Сашка, от нее пойдут дальше внуки. Во мне Россия прадедов, живая их кровь, во мне нет смуты слабых близких. Нет?..

Я все-таки заснула, проснулась, когда «нижегородец» подходил к моей станции, — проводница постучала. Проснулась — и первое, что зажглось в моем, в общем, уже свежем мозгу: «А сниматься? Как же я буду теперь сниматься? Я не могу».

**8.** Меня встречали уже, не дав опомниться, повезли на грим. Сегодня снимаем мою предфинальную сцену с Кириллом на заводе: решили отснять весь завод, раз туда завезена снова аппаратура.

Я листала сценарий, пытаюсь собраться, пока Люся со спокойным выражением лица стягивала с меня скальп. Люба, молоденькая гримерша, варила на плитке кофе специально для меня. Я видела в зеркалах, как она бросает иногда на меня любопытствующие, с усмешечкой взгляды: «Во дает, звезда!» Впрочем, за те три года, что она работает с Люсей, Любаша успела всего наглядеться, ничему уже не удивляется. Но я все-таки их, выходит, удивила. Люся как раз об этом сейчас и повествует своим быстрым ленинградским говорком: она «питерская», работала на «Ленфильме», не так давно развелась с мужем и перебралась в Москву. Я с ней не в первой картине, люблю ее: мастер своего дела. Дай ей режиссер волю — и меня бы не отличить от моих ровесниц с завода.

— Ну удивила, удивила, Мария Викторовна! Никто ничего не подозревал, не видел, не слышал — уж на что тут все друг за другом следят, чего нет — увидят! И — на тебе! Землетрясение в Ташкенте. Последний день Помпеи.

— Тебе можно, а мне нет? — говорю я, пытаюсь все же сообразить, чего хочет в данном эпизоде от меня сценарист. — Слушай, ты сегодня меня оскальпируешь, это точно!

— Наш Ваня материал последний смотрел, есть претензии ко мне. Опять обвалы на лице.

Режиссера зовут Валентин Петрович, но Люся называет его «наш Ваня», вкладывая сюда свое отношение. Не заботится, дойдет ли до ушей «Вани»: без работы она не останется, у нее уже сейчас десяток предложений от режиссеров, желающих заполучить гримера-художника первого класса.

— Мне сорок пять по сценарию, а не семнадцать! Не тяни так, ведь ты не мне отомстить хочешь, а ему! И помолчи, мне надо со-

средоточиться. Люба, вода кипит, ты кофе вари, а не на меня плясь. На мне ничего нового не написано, все то же.

В примерной тишина, я прихлебываю из чашки кофе со сгущенкой и догадываюсь наконец, чего хочет от меня сценарист, а вместе с ним режиссер.

— Я не могу играть эту сцену так, как она написана в режиссерском сценарии! Я помню, что в литературном она была записана иначе.

— Но утверждено-то режиссерский! Мария Викторовна, так нельзя! Теперь по любому поводу вы устраиваете скандал. Раньше за вами этого не водилось. Я понимаю, вы устали, но и я не железный. Устали все.

— Зритель пойдет в кино смотреть меня, а не вас. И если я лгу по вашей воле, спрос с меня.

— Она права,— говорит Кирилл.— У меня эта сцена тоже вызывает возражения. Тем более что финал.

— Хорошо,— сдается вдруг режиссер.— Игорь, у нас есть лишняя пленка? Тебе не придется из своего кармана оплачивать прихоти звезд? Тогда снимай, как они хотят, а после снимем по сценарию. И пусть худсовет выбирает. У меня нет сил и времени уговаривать.— И не утерпел, сказал громко, адресуясь главным образом к Игорю: — У женщин бывает переломный возраст, с ними тогда беда прямо. Приливы, отливы... настроений...

И пошел к своему креслу, хихикая довольно: отомстил. Я собралась было отлаться: раз уж стала на эту стезю, со мной лучше не связываться по поговорке «что за бабы в этой деревне, еле-еле от семерых отбрехалась». Но Кирилл сжал мою руку: пренебреги, соберись — импровизируем? Я улыбнулась глазами: импровизируем...

Впрочем, неотмщенной я не осталась, не знаю, что там Игорь про себя подумал, но вспыхнул багрово и сказал:

— Замолчите сейчас же! Я ведь и в морду могу дать. Это уже не рабочие отношения, это обыкновенное хамство!..

В режиссерском сценарии изображено следующее: перед снимаемым эпизодом мы с моим начальником цеха поссорились. Он пришел ко мне домой, уже зная, что я люблю его, а поскольку он тоже меня любит, то итог, как он считает, может быть один: близость. Чего он и добивается, не очень, правда, ловко и тактично, считая, что и так хорошо будет. Я его выпроваживаю, после этого мы несколько раз встречаемся в цехе, начальник мой держится вежливо, но официально, давая понять, что раз так, то все кончено. У меня большие успехи в работе, начальник — человек благородный, счетов со мной не сводит, а, наоборот, выдвигает на награждение. Мы встречаемся с ним в заводском дворе, он меня останавливает (это эпизод, который будет сниматься), говорит о выдвижении на награду, я жалко благодарю его, смотрю ожидающе, но он, постояв, уходит. В финале — я счастлива, на сцене мне вручают именные часы, я гляжу на начальника цеха открытым, прямым взглядом, который должен выразить: мы свое отлюбили — семья, дети, и ничего уж с этим не поделаешь, Ваня!..

Режиссер проглотил оплеуху Игоря, словно не заметил; впрочем, что ему еще оставалось?

— Начнем? Тихо, съемка. Мотор! Триста тридцать четыре, дубль один!

Тронулась массовка по заводскому двору, иду я в толпе женщин из моего цеха, идет навстречу Кирилл с приятелем. Увидел меня, замедлил шаг, приятель подмигнул, зашагал дальше. Кирилл произно-

сит свой текст по сценарию. Лицо его закрыто: он обижен, но объективен. Делает шаг дальше.

Я ухватываю его за рукав:

— Постой... Так и пошел? Ничего больше не скажешь?

Это уже мой собственный текст — не важно, если он неточен, все равно будет озвучание.

— Да ведь ясно вроде все...

— Ну, если ясно, иди.

Стоим.

— Что ж не уходишь?

— Я не спешу. Думал, что ты скажешь?

— Я люблю тебя. Я не могу без тебя больше, нету во мне гордости, Иван. Вот... Сказала. Доволен? Можешь идти теперь.

Кирилл проводит по лицу рукой, будто снимает с него маску, улыбается протестки лучшей из своих улыбочек.

— Да ведь и я не могу, Люба! Что делать-то будем? Как жить-то? Заврался я кругом: дома в семье вру, тебе вру, себе... Зачем? Давай просто решим все. Ухожу я к тебе!..

— Стоп!.. А ничего? А? Пойдет, пожалуй?..

Я гляжу на нашего «Ваню» и вижу, что он доволен. Гляжу на Игоря, он улыбнулся мне грустновато, я поняла: средняк. Кирилл поймал эту улыбку и ответил запальчиво:

— А чего ты ожидал? Так все же лучше, чем по сценарию. Хоть грамм искренности.

— Один дубль будет? — спрашивает Игорь у режиссера. — Хорошо. Володя, проверь рамочку. — И потом говорит задумчиво, ни к кому вроде не обращаясь: — Искренность — товар дефицитный, на граммы мерим.

— Ты хочешь, чтобы я повесилась? — спрашиваю я с веселой улыбкой, но, в общем, всерьез. Я полна отчаяния и где выход, не знаю. — Не переснимать же фильм, не переписывать сценарий?

— Ну и не трать себя, — говорит Игорь. — Оттого, что ты воткнешь бумажный цветок, ничего не изменится.

Он прав.

**9.** С той ночи, вернее с того утра, я живу у Игоря: у него тоже люкс, ему положено как оператору-постановщику.

Алексей принял мое сообщение о том, что я ухожу, с ироническим изумлением, как предфинальный каприз. Сказал только:

— Боже мой, если тылюбишь, я склоняюсь перед чувством, хотя мне горько. Я ведь тоже люблю... тебя. Ты помни об этом. Соскучишься любить — возвращайся.

«Вместе с зарплатой и гастрольными гонорарами», — хотела я добавить. Злой я стала. Впрочем, может быть, Алешка рассчитывает, что я сохранию ему содержание?

Дальше мы снимаем все точно по сценарию и в той трактовке, какая видится режиссеру. Полное равнодушие овладело мной. Такое равнодушие, что я перестаю любить Игоря, себя, даже Сашку. Мне хочется умереть, только я боюсь.

Нет, это, конечно, кокетство — фраза, что я не люблю Игоря. На всем свете он для меня единственный только и существует, к Сашке я на самом деле как-то охладела: здорова, весела — и ладно.

Вечерами после съемок я лежу рядом с Игорем щекой на его плече, слышу его тепло, его силу. Его громадное, вроде бы громоздкое тело полно силы и каменной твердости. Мне приятно и неприятно ощущать эту силу: Алексей всегда, даже в молодости, был женственно-рыхл, изнежен. Игорь читает, а я напряженно думаю ни

о чем — гудит во мне, точно ток на подстанции, тоскливое напряжение. Ночами я почти не сплю, задремав, тут же цепляюсь сознанием за очередную горькую мысль, и сон уходит, а в мозгу, во всем теле снова продолжается круговращение отчаяния. Услышав, что я опять проснулась, Игорь поворачивается ко мне, начинает гладить по лицу ладонью, приговаривая негромко, как он меня любит, как я его люблю, как все наладится и будет хорошо. Я начинаю отвечать на его поцелуи, полная благодарности к нему и жалости к себе, наслаждение дарить другому наслаждение соединяет нас.

Иногда ночью я просыпалась оттого, что вдруг во сне пронзало меня воспоминание об отце, о том, что, может быть, в эту минуту он умирает и зовет меня, а я не с ним. И нет мне оправдания, что я, следуя формальному долгу, снимаюсь, а не выполняю долг истинный: быть у постели умирающего отца в его последний час. Потом удивленно вспоминала мать, ее немногие сохранившиеся у отца фотографии: широколобое рябоватое лицо с острым носом и круглыми птичьими глазами. Некрасивая, обреченная на одиночество, но прожившая бы до глубокой старости: крестьянское спокойное здоровье в этом лице. Но вот отец пожалел, приласкал ее — и она умерла. Умерла, но продолжила себя во мне, в Сашеньке, во внуках, которые, я надеюсь-таки, будут когда-нибудь...

Ради кого же отец оставил ее или не оставил, но дал понять, что тяготится ее близостью? Я пыталась припомнить женщин, бывавших в нашем доме во время моего младенчества, и вдруг в одну из ночей меня осеняет: тетя Женя!.. И словно бы я позвала ее своим воспоминанием: два дня назад я, сидя в раскладном кресле, ожидала, пока передвинут аппаратуру для съемки крупного плана, на меня сначала долго смотрела из толпы, а потом подошла женщина лет шестидесяти пяти, опрятно одетая, странно причесанная. Я ее по прическе и узнала, да еще по черным, очень молодым глазам. Причесана она была на прямой пробор, а на уши с обеих сторон, на манер Эммы Бовари, были уложены как бы этакой плюшечкой круглой свернутые, седые уже, а когда-то смоляно-черные косы. Таких причесок я и раньше видела мало, а теперь и вовсе никто не носит. «Машенька? — улыбнулась она, увидев, что я ее узнала. — Как папа? Я теперь здесь живу, к Стивке переехала, он на заводе главным инженером».

Я рассказала ей про отца, она сильно огорчилась, посетовала, что, мол, поехала бы проведать, даже подежурить, но коли он в таком состоянии, что никого не узнает, ей не хочется убивать память о нем.

Это была тетя Женя, та самая юная художница, с которой отец познакомился где-то в Крыму, куда вскоре после того, как я родилась, поехал в отпуск. Связь их продолжалась и после смерти матери, длилась долго, до самой этой странной отцовской женитьбы. Я мало, конечно, понимала из того, что происходило, но с приездами тети Жени у меня было связано какое-то возбужденно-праздничное состояние отца и всего нашего дома и то, как топилась печка, меня кормили вкусным и укладывали спать, а отец и тетя Женя, сидя у огня, разговаривали молодыми веселыми голосами. Я просыпалась через какие-то промежутки, а они все сидели и разговаривали. Назды эти были короткими, тетя Женя все время куда-то уезжала: то к полярникам, то писать челюскинцев, то на Дальний Восток, к хетагуровкам... Почему они с отцом не поженились? Все в его жизни, да и моей было бы, наверное, иначе, на более высоком уровне... Что-то, по-моему, произошло между отцом и тетей Женей: что-то неприятное осталось у меня в памяти, но что, я так и не вспомнила.

— Маруся, давай уедем,— сказал как-то Игорь, бросив на пол очередной толстенный том очерков: их он читал последнее время множество. И потянулся, хрустя костями.— Уедем в Сибирь? Или на Урал?.. На Дальний Восток? Я буду опять снимать документальные фильмы, я ведь тогда, после института, начинал документалистом. А ты в театр поступишь. В кино ты своих ролей не дожدهшься, Маша, это же дураку ясно. А в классическом репертуаре все есть. Начни сначала. Славу ты имела, надеюсь, сыта. А главное, там мы вместе. В Москве моя семья, твоя семья — все сложно. Начнем сначала? Да и соскучился я по Сибири, по тайге, по океану... Хочу уехать.

Я ответила, что надо обдумать все, так сразу дрова ломать в нашем возрасте не годится. Игорь пожал плечами: гляди, как знаешь. В общем-то, он был опять прав, меня удивляло в нем это умение вдруг сказать что-то, о чем я вроде бы всегда думала, но не выносила на поверхность. Жила ли я эти двадцать пять лет, заключивших в себя мою творческую и личную биографию? Да нет... Работала, зарабатывала в гастролях деньги, чтобы достойно содержать семейство, ждала ролей, а их на мое амплуа действительно почти не писали. Тосковала иногда о театре, я попробовала его сладкой отравы. Это не забывается. Но меня отговаривали: за сто пятьдесят рублей помнить наизусть тексты десяти или пятнадцати пьес, в которых ты занят? И ни минуты свободной: утром репетиция, вечером спектакль, для ведущего актера так каждый день. Я согласилась, но тоска по театру жила во мне. Самое бы время, пока не поздно, уйти сейчас в театр, услышать отдачу зрителя, сыграть несыгранное, снова поверить в себя. А потом, несомненно, через неделю, когда кончится экспедиция, все у нас с Игорем усложнится несоизмеримо. А может, и оборвется.

В один из таких вечеров позвонила междугородная, я сняла трубку — спрашивали Игоря. Он ответил, потом слушал долго, побелев лицом и стиснув губы, сказал отрывисто:

— Ну давай-давай... А если не буду жалеть? Ты серьезно об этом подумай, а то сделаешь, я жалеть не буду — не воротишь ведь. Отморозишь уши батьке назло, а он скажет: ну и ходи безухая! Пока. И не приезжай — выгоню! Ты меня знаешь...

Бросил трубку и закрыл глаза ладонью, скрипел зубами, точно жевал что-то жесткое. Я дотронулась до его щеки.

— Что?

— Отравлюсь, говорит, всю жизнь жалеть будешь. А если не буду? Хоть бы уж отравилась, надоело...

Раскаяние пронзило меня. Я тут со своими «творческими переживаниями» совсем забыла, что рядом — человек, мужчина, не мальчик без биографии и прошлого. Человек, совершивший ради меня поступок, у которого возможны очень невеселые последствия. Он не кается, не нервничает, бия себя кулаком в грудь, что делали бы на его месте девять из десяти. Вернее, не делали бы, потому что не способны на поступок: «Коль любовь, так пусть уж будет тайной...» А я даже не поинтересуюсь, что он думает, что чувствует, не тяжело ли ему.

Любил ли он жену? Видно, не любил, раз так легко пошел на обнаружение наших отношений. Про любого другого я могла бы подумать, что дело тут в престиже, в лестном для него сочетании моего «звездного» имени с его незвездным. Но Игорь к моей «звездности» относился с доброй иронией, смолоду среди звезд и красивых женщин, заискивающих перед ним. Нет, в самом начале, когда шли павильонные съемки, я видела, что он как бы немного робеет, разговаривая со мной, часто даже вдруг смешно вспыхивал, когда я об-

рашлась к нему. Это меня тронуло, заинтересовало: здоровенный большеликий мужчина вдруг заливается краской и, посмеиваясь, смущенно пытается загородочку воздвигнуть во взгляде, словно боится, что я увижу в его глазах слишком много. Но восхищенная робость эта быстро прошла, Игорь был талантлив, а талантливый человек ощущает свою избранность и нет для него кумиров. К тому же чего и кого только он в жизни не повидал!..

— Ладно,— сказала я, обхватив его за тяжелые плечи.— «Хоть бы отравилась!..» А то я тебя не знаю! Но не бойся ты, не думай, не отравится. Что я, не видела этих истеричек! Еще нас с тобой переживет... И потом ты свободен, ты помни об этом. Делай, как тебе легче и лучше.

— Мне лучше с тобой. Я без тебя не могу, я понял это.

Сердце мое растворилось в нежности и желании защитить. Я любила его, до нее мне не было дела, и потом действительно знала я много этих истеричек, по любому поводу глотающих горстями снотворное и тут же звонящих в «скорую помощь», чтобы им сделали промывание желудка. Кто на самом деле жаждет кончить счеты с жизнью, тот не кричит об этом. Может, я и пожалела бы ее, но в памяти у меня прочно задержался случайно услышанный разговор. Игорь с женой и сыном спускались в лифте, а я на площадке своего этажа жала на кнопку. Лифт проехал мимо, но я таки услышала напряженный женский голос: «Идиот! Ты просто идиот, сообщать надо своей идиотской башкой!» И его глухой, затравленный, непохожий: «В чем дело? В чем дело?..» Я не простила ей этого «идиота», обнародованного, невзирая на свидетелей. Ни в одной семье, конечно, нет бесперывной идиллии — это ясно. Мы с Алешкой хорошо цапались, когда были помоложе, но ни разу я не сказала ему при Сашке или при ком-то еще нечто унижительное, сделавшее бы его смешным для посторонних. Такое, увы, не забывается, не прощается, это и есть тот песочек, от которого начинают снашиваться семейные шестерни.

К тому же всей студии была известна история женитьбы Игоря. Лет десять назад некая молодая актриса подала на алименты сразу на двух предполагаемых отцов, одним был Игорь. Директор студии пересказал эту историю, не называя имен, на отчетно-выборном собрании профкома, обвинив общественные организации в отсутствии воспитательной работы; инцидент этот как анекдот скоро распространился по всей Москве, а актрису, проявившую необыкновенную практичность, ни один режиссер не хотел брать даже в групповку, тем более что она не отличалась ни красотой, ни талантом. Вероятно, желая реабилитироваться, женщина пыталась покончить с собой, ее, конечно, счастливо спасли, а Игорь женился на ней, хотя группа крови или еще какой-то показатель, по которому теперь безошибочно определяют отцовство, не сошлись ни у него, ни у другого предполагаемого отца.

У Игоря родители умерли во время войны, его воспитывала тетка, потом он мотался по суровому Северу, не очень-то много доброты перепало на его долю. Но он усыновил и растил чужого ребенка, взял в жены женщину, которую не любил: связь их была случайной и кратковременной. Пожалел: навидался в скитаниях несчастливых, сломанных жизнью «заблудших овец». Нес бы он до конца дней свой крест, если бы не я? Судя по каким-то отрывочным рассказам Игоря, союз этот с самого начала не был прочным, но мне известно множество похожих союзов, в которых нет мира, нет любви, однако семьи эти существуют.

— Маруся, не может человек жить в постоянном скандале,— го-

ворил Игорь, высвободившись из моих рук и глядя в потолок.— Когда я дома, дня не проходит без ругани. Неприятности у меня, устал я — не слышит. Да ладно, — оборвал он себя.— Здоровенный дубина, и его еще надо по головке гладить... Разнылся.

Я водила ладонью по его щекам и шее, горькое напряжение, от которого свело тело, расходилось нежностью и жалостью. Вероятно, надо выслушать две стороны, чтобы судить, кто прав, но для меня не было сомнений, что прав Игорь, — я любила его, до нее мне не было дела...

— Спасибо, мамочка, — шепнул Игорь, повернувшись ко мне и прижимаясь лбом к моему виску.— Я столько нежности от тебя получил, сколько за всю жизнь... Сам не ждал, что мне это так необходимо.

Этого товара скопилось много у меня: вырабатываемый, надо полагать, ежедневно, он не расходовался теперь уже целиком на Сашку, не был никогда нужен Алексею, избыток его, не регистрируемый мною, вероятно, томил меня тоской в свободные одинокие вечера, гонял по вечерним московским улицам в поисках чего-то неясного и вот излился на счастливо найденный объект. Был оценен... Оказывается, вот что любил и слышал во мне этот взрослый не сентиментальный мужчина — нежность. Не знавший матери, в женщине он искал мать. Почему же та, с которой он был добр, которая всегда была около него, не хотела дать ему так мало?... Одиночество вдвоем — это, выходит, если у двоих нет друг к другу нежности?..

Пожалев эту женщину, Игорь надеялся, видно, что и она его будет жалеть. Но, говорят, добрые поступки не остаются безнаказанными, «не попоивши, не покормивши, врага не наживешь».

— У меня ведь тоже не было матери, — сказала я.— Я думаю, сиротство и копит желание нежности, мне тоже всю жизнь хотелось, чтобы меня кто-то по голове погладил... Алешка этого не понимает.

— Умерла мама?

Мы с Игорем не разговаривали об отце и моих связанных с посещением больницы открытиях подробно. Почему-то мне было неприятно говорить об этом, вину чувствовала.

— Отравилась...— Я помолчала, представив, в какой невыгодный момент вспомнила это. Рассказала Игорю, что знала. Добавила: — Не бойся, твоя не отравится. Это точно.— Потом, сделав над собой усилие (надо ведь быть доброй): — Позвони... Я же знаю, лежишь и раскаиваешься. Позвони уж, я к Сашке пойду схожу, она наверняка еще читает. Или лучше в ванну залезу, воду пущу, слышно не будет. Звони.

— Может, ее в морге уже потрошат? Отравилась? — с наигранной веселостью сказал Игорь, но в голосе я почувствовала беспокойство. Он был добрым.

Рая не отравилась, она приехала.

На следующий день, вернувшись после съемок, мы обнаружили ее в номере Игоря. Дежурная открыла ей: она помнила Раю с лета и была целиком, конечно, на ее стороне. Существует ведь самозащитная солидарность жен, наверное, случись это не со мной, я тоже была бы на ее стороне. Рая сидела, забравшись с ногами на постель, в халатике, огненно-рыжая, кареглазая, молодая. Недурненькая, в общем. Где у Игоря были глаза, когда он решил ее поменять на меня?

— Ваши вещи, Мария Викторовна, я отнесла к вашей дочери, — произнесла Рая и усмехнулась.— Внуков нянчить пора, а вы...

Я поглядела на Игоря, он молчал.

Есть теория, что необходимо чем-то заняться, чтобы отвлечься от желания подохнуть. Но у меня, например, начисто не было ни сил, ни воли заставить себя двигаться. Просто чтобы не глядеть на Сашку, пошла в ванную и, напустив горячей воды, залезла в нее. Не знаю, сколько уж я там пролежала, закрыв глаза и обливаясь слезами,— не меньше часа — Сашка постучала в дверь.

— Мама, тебя к телефону.

— Скажи, что меня нет.

— Подойди. Я уже сказала, что ты есть.

Я вытерлась кое-как, накинула халат и подошла к телефону.

— М-мамочка...— услышала я голос, который узнала и не узнала.— Я п-приду к тебе. Можно?

Это был Игорь, и он был пьян. Я молчала, глядя на Сашку, чувствуя себя зависимой от нее, от того, будет ли она великодушной. Во мне не было гордости, не было оскорбленного самодлюбия, было только желание прижать к себе эту дурацкую любимую голову — да что там! Просто увидеть.

— Пусть придет,— сказала Саша.— Может, путное что скажет. Я ужинать пойду.

Во взгляде ее, скользнувшем не задерживаясь по моему лицу, я поймала превосходство и брезгливую жалость. В такой непотребно-унизительной ситуации она оказаться не могла. Любимый и с детства почитаемый кумир рухнул, но мне было все равно.

Игорь звонил, вероятно, от дежурной, потому что постучался тут же. Саша не успела еще одеться, чтобы уйти. Я распахнула дверь, мне было все равно, нравится это дочери или не нравится. Игорь стоял чуть согнувшись, сцепив пальцы опущенных рук под животом,— обычная его поза, когда он чувствовал себя виноватым. Волосы у него развалились на две стороны, глаза жалко глядели из-под них, лицо серовато-бледное, как у заправского алкоголика. Видно было, что выпил он много.

— Заходи! — крикнула Саша и, забрав костюм, прошествовала в ванную.

Игорь вошел и опять стоял, обратясь ко мне, и глядел повинно-жалкий, в чем-то неискренний, но любимый мною.

— Мама...— Он качнулся ко мне, ухмыльнувшись пьяно.— Я пришел... Я пьяный, но я помню все. Это было подло, но я скандалов не люблю и слез...

И вдруг словно со стороны я увидела женщину, сидящую на постели, не сомневающуюся в своем праве сидеть на той постели. Игоря с виноватым, предавшим лицом, трусливо отводящего глаза от моих спрашивающих. Гнев, ненависть и презрение к себе, жалкой, оплеснули меня, затмили сознание.

— Саша,— крикнула я,— не уходи, ради бога!— И, набрав номер, сказала: — Рая, заберите, пожалуйста, Игоря Сергеевича, он у нас тут с Сашей.

**10.** В одно мгновение я возненавидела Игоря, возненавидела так, что меня всю трясло от брезгливости и презрения к себе, отворачивания к тому, что было. Краткий по времени, но более плотный событиями, эмоциями, чем вся предыдущая жизнь, отрезок ее вдруг оказался отвратительной ошибкой, напрасным.

— Ты меня, что ли, не любишь больше? — спросил он растерянно, шагнув назад, к дверям.— Мама, как же? Я к тебе совсем пришел,



— Я тебя ненавижу! — крикнула я, почувствовав, как заболело горло от напряжения — так я изошла в этот крик. — Ненавижу, уходи сию минуту! Я видеть не хочу больше никого!

— Ухожу... — произнес он задумчиво и трезво.

Он ушел, а я бросилась на постель, чувствуя, как меня колотит озноб.

— Не трогай меня! — сказала я Сашке, когда она попыталась выдернуть из-под меня одеяло, чтобы укрыть.

Она накрыла меня своим и моим пальто, потушила свет и сидела молча. Я уснула. Во сне я слышала, как Сашка раздела меня, вытаскивала все-таки одеяло и залезла ко мне. Я спала еще некоторое время, потом проснулась и слушала, как Сашка дышит, слышала еле уловимый запах лука: дочка обожала всяческие салаты из свежих овощей. От волос ее слабо пахло шампунем и лаком «Сандра». Совсем недавно от моего ребенка пахло молоком и детской чистой кожей. Я любила раньше спать с Сашкой, может быть потому, что у меня воцарялся покой в душе, когда ребенок был со мной, а иначе мне всегда казалось, что с ней что-нибудь вот-вот случится.

— Проснулась? — Сашка повернулась ко мне и обняла за шею. — Мамуль, ты, что ли, меня совсем уж разлюбила с этой историей?

Сейчас, в темноте, без чужих глаз, где она невольно играла что-то все время, это опять был мой ласковый, «мамин» ребенок. И голос был беззащитно-капризным, огорченным. Я тоже обняла ее, прижалась лицом к плечу, услышав за внешними, чужими запахами приятный и чистый, свой, дочкин запах.

— Мне казалось, я тебе не нужна, ты большая, все знаешь.

— Как же, не нужна! Мужики приходят и уходят, а мы с тобой остаемся. Свои, родные. И никто нам не нужен. Да?

Ей очень хотелось, чтобы я сказала «да», и я сказала. Добавила через паузу:

— У тебя приходят и уходят, а у меня, видишь, ушел. Все. Старая брошенная женщина.

Зачем мне было нужно это самоуничтожение? Вероятно, чтобы вымолвить эту фразу раньше, чем ее произнесет или подумает Сашка.

— Сама беднягу намахала, потом говоришь «брошенная». С такой мегерой женой чего ты еще хотела? Он же к тебе пришел, а ты его прогнала.

— В моем возрасте нет сил качаться на качелях. К ней, ко мне, опять к ней... Если он не хотел бросать, надо было уйти за мной. А он с ней остался. Выходит, сделал выбор.

— Растерялся просто.

— Нет. Это предательство. Предают ведь не только словом или поступком. Чаще тем, что не поступают. А пьяный, слабый...

Я убеждала себя, что права, что не совершила непоправимого, выгнав, унизив Игоря при Сашке.

— Да наплюй на него! Сокровище тоже! Ты у меня королева, а он... Получше найдется.

Сашка гладила меня кончиками пальцев по виску, как в прекрасные времена ее детства, когда любовь и нежность к ней, ее — ко мне заменяли мне все на свете. Тогда у меня тоже часто болела голова, и этот наивный массаж, наивные откровенные разговоры снимали ломоту. Я молчала, расслабившись, слушая, как утекает мое раздражение и досада, как меня осеняет горькое сознание: совершила непоправимое.

— Получше мне никого не надо,— сказала я.— Он был мой мужчина, моя пара, Сашок. Носки, перчатки, лебеди, сапоги, валенки — парный товар. Один валенок ничего не стоит...

— Шутишь...

Сашкины пальцы замерли, она оценивала сказанное. Потом снова поползла от виска к макушке.

— А мы с Андреем пара?

— Это ты сама сообразить должна, откуда мне знать?

— А с отцом ты не была пара? Ты его не любила? Я видела, что ты его не любила. Если не любила, зачем жила двадцать пять лет?

— Из-за тебя, ты сразу родилась.

— Глупо. Нельзя из-за детей губить свою жизнь, они этого все равно не оценят.

— Спасибо.

— Я же тебе говорю не для того, чтобы обидеть, а теоретически. У меня тоже когда-нибудь будут дети.

— Все-таки постарайся, чтобы у них был отец... Мне до сих пор кажется, Сашок, что Валентин тебе во всех смыслах больше подходил. Нормальная человеческая профессия — инженер-химик, а не несчастный гуманитарий... Тем более актер.

— Спасибо. Я тем не менее предпочитаю говорить с мужем на одном языке! — Сашка резко перевернулась на спину. — И потом Андрей мне гораздо больше подходит физически.

Семь лет, прошедших с той поры, как Сашка поступила во ВГИК, изменили ее, конечно. До самого института она была теленком, выращенным любящей строгой мамой, естественным и наивным. На первом курсе она стала курить, я убедил ее бросить: зубы желтеют и цвет кожи портится. Это произвело на нее впечатление: Сашка прежде всего актриса. Однако и теперь, когда они собираются «своей компашкой» выпить и попеть под гитару, Сашка все же курит, изображая из себя богему, и утром я застаю ее с черными подглазниками, раздражительную и постаревшую. С Валентином они встретились в такой же «компашке», она сошлась с ним, у меня хватило ума не делать из этого трагедию. Слава богу, у Сашки от меня никогда не было секретов, мы давно разговариваем с ней ночами как две разновозрастные подружки. Я проглатываю свое родительское возмущение, несогласие, говорю ровно, чуть иронично, разумно... Пытаюсь убедить, а не настоять.

— Дело же не только в физиологии...

Я в который раз подивилась, как легко произносит дочь слова, все еще в ее устах для меня не имеющие смысла. На мгновение мне стало неприятно ощущать предплечьем ее грудь, словно я лежу с чужой женщиной. Но это возникло и прошло: что бы в долгом процессе жизни ни случилось с этим человечком, он мой кусочек, моя плоть. Я нашла Сашкину ладонь и положила себе на лоб.

— Продолжай работать, нечего баклуши бить!.. — И когда ее пальцы опять заскользили по коже, ероша мои коротко стриженные волосы, я снова сказала: — Дело ведь не только в физиологии. Бывает, что физически все вроде прекрасно, лучше и не представишь, а едва встали с постели — уже чужие. Я всегда была одна, даже если со мной рядом кто-то находился... Отец твой — что он есть, что его нет возле меня, я уж к этому привыкла. А тут вдруг я не одна, нас двое... Мне было к нему просто даже прикасаться сладко. Понимаешь? Мы думали, видели мир одинаково... — Больно рванулось мое сердце: так все? — Господи, не объяснишь этого... Умереть мне хочется, доча. Вот.

— Умереть... — Сашка надавила пальцем мне в межбровье: в этой

точке, видно, есть какой-то нервный центр,— сразу снимется тяжесть и напряжение в глазах.— Не умирать — бороться надо.

— Надо, наверное, бороться, но не буду. Хотя, может, это и неправильно... Знаешь, у каждого в жизни бывает свой час. Час, когда надо поступить. Изменить свою жизнь, если ты жил плохо. Никогда не поздно начать жизнь сначала, надо только не пропустить, услышать свой час. Я проколебалась: страшно все-таки ломать налаженный быт перед закатом. Бедности побоялась, неустроенности...

Сашка долго молчала, размышляя о чем-то, потом засмеялась:

— Хочешь, я уведу его? На одной платонике уведу, уж поверь мне, я же чувствую!.. Во-первых, рыжую дешевку накажем, она заслужила, ты знаешь всю эту их историю. А во-вторых, тебе потом легко будет его обратно! Хочешь, а? Подумай.

— Не надо.

— Значит, оставим без отмщенья?

— Оставим. И давай больше не говорить на эту тему.

Не знаю, что уж там «чувствовала» в Игоре самоуверенная девчонка, но страшную боль и уязвленность, пронзившую меня в то мгновение, она явно не уловила. Я сдержалась как могла.

— Давай спать, а? — предложила я через паузу.— Утро скоро.

— Давай... — согласилась Сашка без охоты.— К отцу вернешься?

— Ну нет... — Мне даже скулы свело от злости.— Ты что? Неужели я тебе такой низкой кажусь, что ты можешь болтать все это?.. Или ты так на моем месте сама поступила бы?

«Вернешься!» Мне было отвратительно подумать даже о простом ежедневном сосуществовании с Алексеем. Когда я невольно вспоминала нашу недавнюю близость, меня охватывала брезгливость и презрение к себе. Как я раньше жила словно одурманенная, покорно отбывала в браке день за днем, не сознавая, что жить из-за «удобности», не любя, да и, в общем, не уважая, хуже, чем заниматься проституцией?.. «Вернешься!»

— Я себя на этом месте пока представить не могу,— произнесла Сашка холодным голосом.— Лет через двадцать поглядим... Я к тому, что отец согласился пойти директором в картину «Дальний рейс», они через десять дней на Сахалин в экспедицию улетают на три месяца.

— Прекрасная новость! — Я обрадовалась всерьез: это решение Алексея хоть что-то облегчало мне.— Ну, а доброму вестнику полагается сердечный поцелуй и предложение мира и забвения всякой бяки. Мир?

— Мир... — не сразу согласилась Сашка и засмеялась.— Я тоже на тебя обиделась, ты что думаешь?

— Забыто. Все... Ты у бабушки была или не успела опять?

— Могла бы и не успеть, будто ты не знаешь, что такое проба на главную роль. Тем более на такую, которую ты с детства мечтала сыграть... Декабристка, красавица, княжна... Ох, только бы утвердили!

— Будем надеяться. Так как дед?

— Он меня сначала не узнал, потом начал рассказывать, что в больнице вредительство... Заговор врачей и отчасти больных. Тут пришла эта Люська дедушкина, знаешь?

— Ну?

— Она говорит: точно, Виктор, заговор, я его раскрыла! Стариков на мыло переваривают.

Я засмеялась от неожиданности.

— Нашла удобный момент остроумие свое обнаружить, дура!

— Алка говорит, надо деда из больницы забрать, жалко. Он пла-

чет, когда Алка приходит, домой просится. Говорит, дома он скорее выздоровеет.

У меня сжалось сердце.

— Заберем,— сказала я.— Вот в Москву вернусь — и заберем его ко мне. Предложений у меня пока никаких нет, в отпуск не поеду, буду на озвучание мотаться и за дедом ухаживать. Все же отвлечение от скорбей земных. Еще три съемочных дня — и конец этой каторге. Ладно, доча, спим.

— Спим...

Игорь Сергеевич запил всерьез, и Рая увезла его в Москву. Оставшиеся эпизоды доснимал совместно с «нашим Ваней» второй оператор, Гена. Хорошо, что эти эпизоды были не очень важными для картины, проходными... Хорошо, что Игорь запил и исчез из моей жизни. Надо полагать, навсегда. Мне не достало бы сил сыграть даже пустячный эпизод, если бы он стоял у камер...

**11.** В больницу за отцом я приехала на час позже Аллы: она отпросилась с работы сразу после обеда, а у меня уже началось озвучание и я еле-еле успела к двум часам. Выписывать начинали с часу дня, одежду Алла привезла еще утром, так что когда мы вошли в палату, отец сидел на койке одетый в новый черный костюм и черные ботинки, в белой в полоску сорочке без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей — сухонький нервничающий старичок со старательно причесанным белым пухом на желтоватом черепе. Таким он мне показался в первое мгновение, а потом я его узнала. Он взглянул на меня из-под мятых век — чуть презрительные и страдающие глаза доброго и слабого человека, привыкшего всю жизнь выглядеть вольным и строгим. Привычно криво улыбнулся краем тонкого рта, сказал сестричке, сидевшей рядом на табурете:

— Ну вот, наконец-то Маша пришла.— И ко мне: — Я заждался уж, деточка, где вы там таскаетесь до таких пор?

Сказал чуть самодовольно и вроде бы недовольно, чуть рисуясь перед молоденькой сестричкой, с которой успел за те немногие дни, когда отпустила его болезнь, уже подружиться, все разузнать про нее и рассказать про нас. И не к Алле обратился — ее словно бы и не оказалось здесь перед его глазами, хотя кто же в его тяжкое время пропадал в больнице, поил, кормил и менял ему подстилки? Но Алла сейчас была не важна ему, он рассказывал сестричкам про меня, гордился, что они меня знают, и ему было приятно, что сестричка, увидев меня, поднялась с табурета, улыбаясь и здороваясь.

— Здравствуйте,— заулыбалась в ответ и я, входя в привычную мне гастрольную роль «звезды, встречающейся со зрителем»: демократична, однако помнит, что она звезда.— Ну как, папа? Домой едем, слава богу?

— Да, деточка, осточертело мне в этой богадельне! — заторопился отец словами.— Если бы не Танечка, да еще тут есть девочка славная Наташа, я вообще с ума бы сошел!..

Я переглянулась с Аллой и подумала, что, слава богу, отец ожил и снова в своем репертуаре.

Мы решили с Аллой, что те три дня, которые оставались до отъезда Алексея, отец поживет у себя, мы будем у него дежурить по очереди, а потом я возьму его к себе. Такси ждало у выхода из корпуса, мы держали отца под руки, а он сразу осел, еле перебирал дрожащими ногами ступени и очень волновался, говорил что-то торопливое сестричке, нам с Аллой, шоферу такси — молодому парню с испуганным лицом, помогавшему нам посадить старика в машину.

— Сашенька ко мне так и не удосужилась зайти,— сказал отец обиженным сухим голосом, когда мы ехали мимо Триумфальной арки.

— Была...— Я вздохнула.— Значит, ты не помнишь, не так давно была. Люська к тебе тоже в этот день заходила. Не помнишь?

— Была,— подтвердила Алла.— Принесла апельсиновый сок, а в него коньяку добавила. Я ей сдуру сказала, что ты все вина прошишь, а врач не велит. Ну вот она и пожалела тебя, а ты им после тут гастроли выдал: с постели опять рвался вставать, поилкой в сестру запустил.

— Не помню...— сказал отец, и нервно-оживленное лицо его вдруг потухло, будто он снова услышал в себе близкое небытие, откуда недавно вернулся.

Квартира, где жил отец, была на третьем этаже — старый дом без лифта,— мы с Аллой попытались понести его по лестнице, но он начал подниматься сам, подтягиваясь за перила двумя руками.

— Сдохну, тогда уж несите ногами вперед! — громко говорил он, косясь по сторонам.

На лестничных площадках стояли старухи, отец не мог позволить, чтобы его несли у них на глазах. Старухи молчали. Насколько я помнила, они всегда молчали, наблюдая, как возвращается домой из больницы «нежилец», а потом через какое-то время у крыльца стоит крышка гроба, обтянутая белым или красным, а по лестнице — она была широка и вполне рассчитана на то, чтобы к последнему своему пристанищу человека отправить с достаточной торжественностью,— несут узкую, разубранную цветами и кружевом ладью, в которой «нежилец» отправлялся в путь. После того как грузовик или автобус (а раньше лошади в черных пополах и черных шляпах, запряженные в некое подобие торта на колесах) уезжал, старухи собирались кружком и обсуждали событие горячо и долго.

Сейчас старухи молчали и смотрели, как отец, нервничая и топясь, подтягивается за железные завитки подперильников. В глазах их был приговор. Эта догоравшая свеча была из их ряда, но они не боялись за себя: здесь, на людях, крылья черного ангела, осенявшие очередного «нежилца», вызывали у них не страх, а томительное любопытство.

Я вздохнула облегченно, когда за нами закрылась дверь отцовской комнаты и он опустился на разобранную Аллой постель. Дорога сквозь строй ровесниц съела у него еще что-то из той оживленно-нервной надежды на жизнь, которую уходом и тонизирующими укулами накопили в нем в больнице. Алла сняла с отца ботинки и брюки, я помогла снять пиджак и рубаху, он охотно лег, протянул руку, нашаривая что-то,— Алла подала ему утку, он занес ее под одеяло и сосредоточился, отрешившись от нас. Он был уже не с нами, я понимала это, хотя и не признавалась себе, не проговорила мысленно вывод: ханжеская боязнь жестокости такого вывода останавливала меня, приказывала традиционно надеяться, пока человек жив.

Алла приняла утку и пошла вылить, а я все стояла, точно не прожила в этой комнатушке двадцать с лишним лет: обоняние мое не могло смириться с запахом нежилца. Отец закрыл глаза, желая, видимо, чтобы мы ушли и дали ему отдохнуть.

— Ну что? — сказала я сестренке.— Пойду тогда в магазин схожу, что-нибудь поесть ему надо. Пока он спит. Потом часов до восьми побуду, а там ты забеги. Идет?

Я пошла в магазин, потом к Зине: в четыре она обычно возвращалась с работы.

— Ну что? — спросила Зина, открыв мне дверь. — Привезли домой?

Я кивнула. Она провела меня в комнату, собрала на стол. Мы пили чай молча, я думала грустное, Зина тоже была невесела.

В общем, и для Зины отец был родным человеком, слава богу, лет с восьми пытался как-то ее «воспитывать» на свой лад, внушать понятия о том, что такое хорошо, а что плохо. Зинин отец погиб на фронте, мать умерла в сорок девятом году, с Левкиными родителями у строптивой Зинаиды отношения не очень сложились — получилось так, что, выйдя замуж, родив Анечку, Зина стала бывать у нас едва ли не чаще, чем раньше.

Свекровь с внучкой сидеть не желала, опасаясь избаловать невестку, поэтому когда я брала Зинаиду на курсовые спектакли во ВГИК или на интересный фильм, Анечку мы оставляли с отцом. Тот маленьких любил, лялькался с ними с удовольствием, а внучатами мы его тогда еще не наградили. Анечка, когда мы являлись за ней после спектакля, обычно не желала от отца уходить, начинала орать благим матом, выдираясь из одеяла и пальтишек, отец тоже расстраивался едва не до слез, пытался успокоить девчонку, трясая перед ее глазами связкой ключей, стучая ложечкой по дну миски, Зинка кричала на дочь, раздражаясь, — в общем, шум стоял невероятный, а поскольку происходило это среди ночи, то соседи, поднятые с постелей, грозились Зину с дочкой в квартиру больше не пускать. Но Зина приходила снова, уже без меня, «поразговаривать». Пока не пошла опять работать, устроив дочь в ясли, забегала она к старику часто. Притаскивала какую-нибудь свою стряпню, они пили чай, отец играл и сюсюкал с Анечкой — маленькие дети приводили его в состояние полной умиленности и размягченности, — беседовал всерьез с молодой мамашей. Впрочем, это отец поддержал в Зинаиде спасительно-демобилизационную мысль о том, что актрисой надо быть либо великой, либо вовсе уж не быть ею. Хотя знал, конечно, старик английскую поговорку: вкус пудинга можно узнать, лишь попробовав его...

— Я ведь когда к Виктору Васильевичу в больницу заходила, решила, что умрет он... — сказала Зинаида, подняв на меня глаза. — Тебе не стала говорить, а дома поплакала: плохой был очень и обиделся все как-то... Выжил, гляди. Сильная какая кость сибирская!.. Ну дай бог. Ходит немножко?

— По лестнице сам поднялся. Лежит сейчас.

Зина помолчала, потом стала собирать какую-то домашнюю снедь.

— Пошли, проведаю хоть... Прощлый раз в больнице он меня не узнал. Узнает теперь-то?

— Память вернулась, сил только мало. Ну ничего, откормим. Я курицу купила, бульону сварим крепкого...

Отец все еще дремал, когда мы вошли, приоткрыл глаза, без интереса чуть задержался взглядом на наших лицах, потом веки закрылись опять. Я спросила, не хочет ли он есть, но не получила ответа.

— Соседка Евдокия Ивановна вот так же пластом восемь лет лежала... — грустно произнесла Зина, когда мы вышли на кухню и я, разыскав кастрюльку отца, поставила варить бульон. Я ничего не сказала, но представила эти восемь лет ежедневного бдения возле постели неподвижно лежащего старика — по спине у меня протек холодок страха. Я не пожелала отцу смерти. Я просто не взмолилась богу, чтобы он сохранил ему жизнь во что бы то ни стало...

**12.** Солнце было низкое, осеннее, но все-таки сильно грело лицо, а черепичные крыши уходящего вниз по холму городка горели черным. Из дверей домика дирекции оранжереи вышел старик в мягкой шляпе и толстой рубахе без пояса, взглянул на меня, улыбнулся и что-то сказал по-немецки. Я кивнула и тоже улыбнулась в ответ. Он пошел вниз по мощенной красным кирпичом дорожке, улыбнулся опять и помахал мне рукой. Я еще раз кивнула, увидела себя его глазами: золотоволосая, коротко стриженная женщина, яркоглазая, яркогубая, в замшевом, модных линий пальто и достаточно коротком платье, открывающем стройные ноги в туфлях на платформе (платформа прибавляет мне росту, потому я, наверное, последняя сниму ее). Здесь многие почему-то принимали меня за немку, хотя лицо у меня типично славянских чертаний. Немецкого я не знала совсем, несмотря на то, что учила когда-то в школе.

День был суматошный, как всегда в загранкомандировках: утром встреча в обществе дружбы, выступление на ткацкой фабрике и обед, потом осмотр города, посещение фабрики стекла, потом опять встреча и выступление. После выступления члены делегации пошли в гости к нашим специалистам, консультирующим установку оборудования на металлургическом заводе, а я сказала, что плохо себя чувствую и хочу лечь. Но не легла, а побрела чистыми, в меру широкими улицами на вершину холма, по которому растекся этот маленький красивый город. Там были оранжерея и зоопарк, я знала это по прошлому приезду.

В оранжерею я зашла в зал, где цвели камелии и рододендроны, затем в помещение, где была собрана едва ли не лучшая в Европе коллекция орхидей. Ушла быстро — и вот сидела на лавочке возле домика дирекции, подставляя уходящему солнцу лицо, полузакрыв глаза. Неживая пышность цветов, парная духота — конечно, надо жить и не делать из неизбежного трагедии, но мне опять затомила сердце необратимая вина.

Я не вспоминаю об отце, не терзаю себя какими-то чувствительными картинками. Отец — во мне. Я точно и четко, где бы я ни была, каждую минуту вижу его выкаченные незакрытые голубовато-белесые глаза и закоченувшую уже руку, которой он старался до чего-то дотянуться. Мы с Аллой попытались было уложить эту руку на грудь — что он хотел достать, лекарство? — но это оказалась уже не плоть. Теперь это было как бы памятью о дереве, вроде тех топляков, что лежат, выброшенные течением, на берегу рек или морей, чуть зашершавевшие сверху, а глубже — холод каменной неизменяемости, можно сломать, искрошить, но согнуть нельзя.

А после короткий органный реквием — отец никогда не понимал и не любил никакой музыки, кроме революционных песен и песен гражданской войны. Потом женщина, распоряджающаяся церемонией, сказала: «Ну, прощайтесь». И мы, его дети, не родные, в общем, и не любящие друг друга, собранные им вместе в последний, наверное, раз, подошли поцеловать его огромный, желтый, в чешуйках натянувшейся кожи лоб. Лицо под этим лбом было маленьким и незнакомым. Провожали его я, Алла с мужем, брат и Зинаида с Левкой. Немного позже приехали Сашка с Андреем, но Сашка подойти попроситься вдруг забоялась, суксилась, точно в детстве, и захлопала испуганно. Я вспомнила какой-то дальней, необязательной памятью другие похороны, сдержанное гуденье и шелест подошв текущей мимо гроба толпы, и нетихую тишину потом, и причитания матери... Остро, болезненно ощутила огромность этого небольшого помещения и крохотность забытого всеми покойника в черном, раз надетом костюме и новых ботинках, засыпанного красными и белыми гвоздика-

ми. Мы купили только гвоздики, потому что отец любил их больше других цветов. Я помнила, что для него красная гвоздика — вечный символический знак первой организации, знак праздников его молодости, цветков, суливший надежду на новое, на необыкновенное.

Вдруг дверь распахнулась — точно яркие шарики покатались по этому строгому полу, заторопились к гробу. Медноволосые, ярко окрашенные, в черных платьях и черных шляпках оцепили гроб, точно хотели унести его отсюда, сотворить над ним свое. Заплакали разом, прикладываясь не чинно ко лбу, как мы, его дети, вдруг оробевшие перед строгим ликом отца, — целовали в глаза, в усы, в щеки. Одна из них поцеловала сложенные на животе желтые руки и всхлипнула громко. Я узнала Люську. Женщина, руководившая церемонией, растерянно наблюдала за этой яркой стаей нездешних птиц, потом нажала кнопку. Ладя тронулась в путь к своему последнему костру.

И еще я вижу, стараясь не вспоминать об отце, белый, гладко причесанный пух, окаймивший сморщенный затылок, и красные рубцы, крупно заштопанные кетгуттом, под этим пухом: следы вскрытия в морге.

Если бы отец мог услышать своих пестреньких, слетевшихся проводить его, он был бы счастлив. Он всегда почитал женскую красоту, женскую молодость, хотя не признавался в том даже себе; под собственные многочисленные браки подводил обязательно идейную платформу, усложнял, упышнял словами и закатную дружбу с этими пташками. Лишь в дочерях он почему-то не желал видеть женской привлекательности, всегда высмеивал наше желание быть хорошенькими. Жестоко высмеивал, едва не отбив у меня и отбив-таки у Аллы охоту прихорашиваться и кокетничать...

Затем мы с Аллой разгребали бумажный хлам, скопившийся в сундуке, в ящиках, на самодельных полках. Делили ревниво дорогие по общей детской памяти вещи: треснутые чашечки, сломанные серебряные ложки с вензелем, фарфоровых крохотных кукол, старинные открытки, пачки фотографий, книги. Надо было освободить комнату, ее желала занять соседка: дом шел на слом и новых жильцов не подсаляли. Чуть ли не полсундука было занято письмами. Я проглядела их мельком: в основном то были женские письма. От жен, от любовницы, от молодых и зрелого возраста знакомых. «Я заберу их? — попросила я Аллу. — Может, удастся сделать композицию, буду читать в концертах». До отъезда у меня не хватило сил перевернуть эту грудку. Отобрала несколько с собой, взяла и последнее письмо отца: Алла нашла его на столе, убираясь к возвращению старика из больницы. Дрожащей рукой, теряющей твердость и волю к составлению фраз, было написано оно. Последнее письмо моего восьмидесятишестилетнего отца было любовным письмом к молодой девчонке... Пока он был жив, это привычно возмущало нас.

Стало сыро, я поднялась и пошла в гостиницу. Поленилась спуститься на ужин, приняла ванну, достала кипятыльник, сварила себе некрепкого чаю, съела яблоко. Легла в огромную, белого дерева дерева спальную постель, закрылась пуховиком, зажгла настольную лампу. И снова перечла письмо, запоздало пожалев, что брезговала говорить с отцом об этой привязанности, об этой девице не то из Тулы, не то из Орла. Приезжая в Москву по своим делам, она останавливалась у отца, а познакомился он с ней, как обычно, у газетного киоска — здесь он всегда заводил знакомства со своими пташками, читал польские, немецкие, французские журналы, оставляемые ему по давней дружбе киоскершами. Рассказывал, что носят, о чем сплетничают и как умирают великие женщины мира.



«Леночка, любимая, радость моя несказанная, боль моя неизбежная! Если бы ты знала, родная, что все твои слова звучат в моем сердце до последних минут, с уходящим сознанием я буду слышать дивную мелодию всей твоей прекрасной души, голоса — «родной мой!» — девочка чистая, я благословляю тот миг, когда я тебя увидел. На склоне жизни я как никогда сказал спасибо судьбе, что ты появилась передо мной яркой и прекрасной сказкой...»

До этих слов письмо кое-как еще можно было разобрать, дальше сознание и рука изменили отцу совсем, я разбирала лишь обрывки фраз: «подобно чуду», «пережить такую боль и горе, но мне ты все равно кажешься неизмеримо родней и ближе», «поверь, ты молода, около тебя всегда будет молодежь, тоска о пережитом пройдет, ты будешь любима, будешь любить, будешь счастлива», «для меня на какой-то период твоя жизнь будет моей новой жизнью»...

Я отложила письмо, погасила свет. Долго еще не могла заснуть, размышляла о том, что плоть почти умерла уже, полуистлела, но рука, державшая перо, была горячей, полной живой крови, трепет ее передался бы, растрогал ту, кому письмо было адресовано. Не важно, что она показалась мне ничтожным, самоуверенным существом, — благодаря ей отец на закате чувствовал полно.

В чем же скрывается, сохраняется огонь жизни?.. Психологи сочли, что ими раскрыто начало всех начал, движущий главный фактор сновидений и поступков, гормон, управляющий судьбами. Даже мы, актеры, народ, не имеющий времени и желания копаться в специальной литературе, знаем слово «сублимация» и подробно объясняем неопитам, что в актере важна энергия пола, переводимая в творческую энергию, чем сильнее естество, тем ярче актерское дарование. Но «естество» — всегда ли это только пол, только активность гормонов? В отца женщины влюблялись именно за пресловутое «обаяние» — за щедрый свет излучения его «естества», обещающий им счастье. Но он разочаровывал многих из них мужской обыкновенностью в близости — я понимаю это теперь задним числом, вспоминая высказывания мачехи, которые она подкрепляла цитатами из писем, адресованных отцу: она не стыдилась в них заглядывать. Отец любил любовь, но не был чрезмерно силен в близости, есть множество иных, могучих плотью, но не умеющих любить... Что же питает любовь? Где таится источник этого огня? Плоть умерла, мозг умер, выкатились и обезумели глаза, но рука написала слова, рожденные истинной любовью...

Утром после раннего завтрака мы уехали в другой город, где опять были встречи в обществе, выступления на заводе и маленький прием в нашем консульстве; после него Ванда, моя подруга-актриса, повела меня в литературный театр, там в небольшом розовом зале стояли белые круглые столы и белые стулья, люди пили пиво, или сок, или виски, а на крохотной сцене немолодой актер и рыжая актриса с тяжелым круглым подбородком и капризным ртом, сидя в удобных креслах, не жестикулируя и не подыгрывая публике, читали переписку поэтессы и поэта, живших сто лет назад. Он был «из простых» и моложе ее, но они любили друг друга. Ванда присутствовала на этом модном в городе спектакле третий раз и объяснила мне общий смысл переписки. Я следила за публикой, разом затихшей и сосредоточившейся, когда началось чтение. Была тут интеллигенция, известные актеры и писатели — Ванда назвала мне их, — были обыкновенно одетые, простолицы люди, было много молодежи. Потом я тоже попыталась вникнуть в чужую речь и вдруг увлеклась, улавливая суть корней, единоутробных с моим языком, подчинилась, как и все в зале, силе слов, сохраняющих прополыхавшее некогда.

Впереди за столиком сидели двое, одинаково длинно подстриженные, в однотильных брюках и рубашках. Держали друг друга за плечи; накал нежности в словах, текущих со сцены, становился выше — руки по предплечьям скользили медленней и трепетней. Чуть сменили позу — я увидела профиль одного: резко очерченный короткий нос и губу, шея и подбородок были по-девичьи округлы и нежны. Почувствовав мой взгляд, оглянулся другой: чуть костлявое бледное умное лицо в светлой курчавой бороде.

Зачем они собираются здесь, точно в храме, слушают слова давно истлевшей любви? Чтобы убедить себя, что бог жив, что воскресение состоится, что лучшие попадут в царствие небесное?.. Или это реквием по покойнику, ритуальный обряд, дарящий участникам чувство выполненного долга?.. Впрочем, я-то знала, что воскресение состоялось, бог жив и ходит по земле, возлагая на избранных непомерно тяжкий послуш...

**13.** Господи, как мгновенно проходит жизнь, как уплотняются, мелькая, дни, недели и месяцы, подбирается, съезживается все, что сзади,— и вот уже, оглянувшись, ты видишь совсем близко то, что недавно казалось далеким, а твое сегодня из этого далекого некогда представлялось тебе недостижимым закатым временем.

Совсем вроде бы недавно мы с Зинаидой решили завести тетради с «умными мыслями» и ревниво выписывали туда из других таких же тетрадей, из прочитываемых книг афоризмы типа: «Тихий голос — украшение женщины», «Разлука для любви — точно ветер для огня. Маленькую гасит, большую раздувает», «Тот, кто дает советы, но сам им не следует, подобен дорожному столбу, который дорогу указывает, но сам по ней не ходит», «Только пустой колос кверху голову держит», «Разбитая любовь словно треснувшая чашка: сколько ни склеивай, трещину видно».

Эти тетрабочки, разукрашенные постранично переводными картинками и вырезанными из старых открыток цветами, казались нам руководством к действию, серьезной первой вехой на пути к достижению непредставляемо-прекрасной будущей жизни. Я спрашивала недавно Зинаиду, сохранилась ли у нее эта тетрадь, она поглядела на меня удивленно: «А как же?.. Я иногда ее перечитываю, новое записываю, что услышу. Или стихи, какие понравятся, пишу. Мне ведь выступать часто приходится, помогает. Наши женщины поражаются, откуда я такие остроумные вещицы вставляю в выступления». «А моя потерялась с переездами», — соврала я, отчего-то смутившись. Никуда, конечно, тетрадь не потерялась, не так давно снова попала в мои руки, я полистала ее, подивившись: вроде, оглядываясь назад, думаешь, что особенно-то не менялся, всегда был, в общем, один и тот же, только одевался похуже да морщин было поменьше. Но какая же великая наивность и вера в непереносимость грядущего была в девочке, которая красивым почерком переписывала все это, и сколько трезвого скепсиса и взрослой боязни боли, нежелания движения в той же самой, только ставшей старше на двадцать семь лет!..

Был уже другой, вернее третий, город, и другие люди окружали меня, пытались чем-то меня порадовать и получить от встречи со мной больше, чем предусмотрено официальным этикетом и скучным регламентом обязательных выступлений. Но сегодня я после полуденного завтрака попросила перенести встречу в воинской части на следующий день, потому что даже позвоночником уже чувствовала напряженность программы, истощенность моего электричества отто-

го, что я все время говорю, говорю, улыбаюсь, слушаю, снова говорю и снова улыбаюсь и слушаю.

Я побрела по улицам куда глаза глядят, радуясь, что оставляет меня мало-помалу напряжение, что все внутри опять приходит в какую-то сносную соразмерность и готовность к восприятию окружающего.

Было тихое солнечное предвечерье, суббота, и людей на улицах попадалось немного, потому что они либо уехали на два дня в горы, либо копались на участках при доме, сгребали в кучи большие желтые листья каштанов и вязов и жгли их.

Улочки пригорода, просторно застроенные двухэтажными особняками, вымощенные бутылочно-зелеными плитами, были полны оранжевым солнцем, словно сухим деревенским вином, осень остро пахла, пронзая меня опять надеждой на жизнь, на занятое многократными свершениями неблизкое расстояние до последнего костра. Тянуло хлебным горелым запахом от тлеющих ворохов, выстывала, благоухала рыхлая, перекопанная заботливо земля, свежо и тревожно тянуло луком от пустых огородов. Пахли влажные плиты чистых тротуаров. Я шла от запаха к запаху как по изгибам мелодии, включались мгновенные ассоциации и пропадали, другие сменяли их. Я была почти счастлива, почти свободна. Я остро, нежно люблю вечерние запахи, могу заплакать, следуя им. Иногда мне кажется, что моя чувствительность к запахам неестественна, неприлична. Я до сей поры помню мерзостно-сладкий дух пудры и нечистого белья, исходящий от нашей учительницы литературы в пятом классе, или жесткий аромат выкуренной папиросы и хрома кожаной куртки — в том же пятом классе меня в наказание за болтовню с Зиной пересадили к новенькому мальчишке, и я влюбилась в него за этот взрослый запах.

Город вдруг кончился. Дальше были открытые, замусоренные жухлой сорной травой поля, голый уже лесок и кладбище. Возле ворот сидели одна подле другой женщины, я пошла посмотреть, чего они там сидят.

Они продавали осенние цветы, коротенькие широкие свечи и пшеницу для птиц. Люди, довольно густо шедшие на кладбище, покупали и цветы, и свечи, и пшеницу. Я купила цветы и вошла следом.

Кладбище было строгим, одетым в камень, как и везде в Европе. Не было в нем зеленой неухоженности, тоскливого простора забытых холмиков с перекошенными крестами и поржавевшими пирамидами наших погостов. На каждом каменном квадратике стояли стеклянные банки с трепещущими в них язычками свечей, стояли свежие цветы, на черноте надгробий было рассыпано зерно. Люди возились, благоустроивая могилы, спокойно, деловито, точно недавно в палисадниках. Я представила: уйдут люди — и огоньки свечей, медленно цветущие в безветренной ограниченности, погаснут от взмаха крыльев прилетевших птиц.

Я вспомнила лодочки из листьев банановых пальм, наполненные цветами жасмина, — точно две пригоршни, оберегающие слабый, как взгляд новорожденного ребенка, огонек. Несколько лет назад с делегацией киноактеров мне посчастливилось побывать в Индии, посчастливилось увидеть Ганг. Тогда тоже был день поминования усопших, смерклось — и по черной, дышащей, словно спящее животное, теплоте Ганга плыли эти горсти, полные благоуханных белых лепестков, берегущие глазок огня. У индусов прах сожженного покойника погужают в Ганг, так что и эти огоньки на могучей черноте воды

были теплым очагом, костром, к которому приглашалась душа усопшего.

Еще мне вспомнилось, как мы стояли возле ворот нового крематория, дожидаясь брата и мужа Аллы, пошедших оформлять какие-то документы, я то и дело обтирала с лица щекочущие нити паутины. «Какая паутина? — удивилась стоявшая рядом Зинаида. — Мать, ты бредишь». Теперь мне представилось, что меня касались ладони отца — те самые ладони, которые уже двадцать пять лет не смели погладить лицо любимой дочери, взрослой дочери, видящей в отце уже не существо, обязанное кормить и защищать, но мужчину, потерявшего ранг кумира, потому переносимого лишь в силу традиции.

Острая боль раскаяния и невозвратной вины снова пронзила меня.

Я увидела мальчика лет семнадцати, собиравшего с могильной плиты остатки увядших цветов. В плите, судя по всему, недавно установленной, был овальный выем для фотографии, золотом выбитая дата рождения и смерти, имя и фамилия и надпись латинскими буквами. Обычно я не нарушаю суверенитета горюющих, но сейчас я знала за собой право и подошла. «ELENA KOVACH 1959—1975» — было выбито на сером граните. Надпись, если перевести на русский, означала: «До встречи». Мальчик мельком взглянул на меня и аккуратно положил возле выхода из этого нового жилища его любимой сухие стебли, затем зажег две свечи в пол-литровых банках. У него были черные, почти без ресниц глаза, смуглое лицо, длинные, чуть выющиеся волосы, зачесанные назад. Запястья его длиннопалых рук были тонки и сильны. В глубоком вырезе черного джемпера болтался золотой крестик. Я стояла, любуясь им, его не кокетничающей скорбью, он нахмурился и взглянул на меня ожидающе. Я протянула ему цветы, которые купила у ворот.

— Невеста? — спросила я, когда он неуверенно принял белые хризантемы и задержался, колеблясь.

Прислушался к слову, покачал головой, сказал по-русски, остоичив «е»:

— Сэстра.

Я вернулась в город.

Солнце село. На улицах стало серо и сыро, похолодало, погасли съеденные сыростью и прохладой запахи. Где-то еще витал слабый огоркший запах дыма от осенних куч и погрубевший, точно голос сел от сырости, спустившийся ниже — запах открытой земли. В окнах особняков зажигались неяркие огни.

Я шла и вспоминала мальчика в черном джемпере и то, как он, наверное, дружил со своей сестрой — бывают такие возрастные сочетания, когда брат и сестра растут вместе и нежно дружат. И как оборвалась эта стежечка, шедшая рядом с его стежкой. Вспомнила своего единокровного брата. Отец, когда мне было лет пять, очень вдруг захотел, чтобы сын от первого брака Александр приехал к нам жить, стал списываться со своей первой семьей, читал мне письма Александра, показывал фотографию. Было у него красивое, в отца, тонкое пухлогубое лицо с заметным пушком на щеках. Слово «брат» обрело вдруг для меня тогда какой-то тайный, желанный смысл, ложась вечером спать, я представляла, что к нам приезжает брат, а я сижу верхом на своей игрушечной серой в яблоках лошадке и смущаюсь от его взгляда. Дальше сцены приезда моя фантазия не шла, мать так и не отпустила Александра к отцу, и познакомились мы уже взрослыми, когда брата перевели работать из Сибири в Москву. Встречались иногда на отцовских днях рождения без особой приязни: Александр ревновал меня к той давней отцовской любви, предназна-

чавшейся ему, а отданной мне. По-настоящему я его разглядела на поминках: он крепко выпил, к тому же нам теперь некого было делить, и я увидела, что брат — отличный умный мужик, добрый, к тому же искренне горюющий об отце, жаль, что мы не подружились раньше.

Я захотела вдруг есть и вспомнила, что где-то недалеко по пути попала мне на глаза маленькая харчевня. Вскоре я заметила ее и перешла улицу.

Из дверей харчевни появился человек в белой куртке, щелкнул выключателем — зажглась вывеска, на которой изображался высокий ботфорт со шпорой, бутылка вина и цыпленок на вертеле. Надпись готическими буквами я разобрать себе не дала труда, потому что пожелала тепла, уюта и сытной мясной пищи.

Заказ у меня принял тот самый человек в белой куртке, по-видимому хозяин. В маленьком зале, освещенном тусклыми старинными фонарями и полыхающим огнем настоящего камина, почти никого не было. Какая-то хипповая компания парней и девушек млела возле огня, потягивая пиво из высоких кружек, да мужчина, явно кого-то ожидающий, прихлебывал красное вино, заедая мелким соленым печеньем.

Хозяин посоветовал мне взять салат из сельдерея, суп из куриных потрохов, свинину, поджаренную на решетке. Я попросила сухого вина, он принес бутылку бужоле, открыл при мне, налил немного в бокал, предлагая попробовать. Я пригубила: терпкое и густое, с чуть слышным запахом бочки, оно мне напомнило домашние грузинские красные вина, я улыбнулась, соглашаясь. Хозяин налил мне бокал, поставил бутылку, потом принес румяные роголики, посыпанные сверху солью, и тарелку ноздреватого, похожего на брынзу сыра.

Я отхлебнула вина, подержала его во рту, прежде чем проглотить, потом выпила весь бокал, прислушалась, торопя счастливую расслабленность в теле, умиротворенность и всепрощение.

Игорь не позвонил мне до отъезда, не позвонил даже просто так, не называясь, как звонят, если тоскуют и хотят услышать голос. Я ждала его звонка, желала его, готова была на любое, лишь бы просто увидеть. Без обязательств, без будущего, без чего бы то ни было — увидеть. Подавленная виной перед отцом, смятая множеством прощальных длинных хлопот, я все-таки ждала его звонка, торопилась к телефону, но это были либо звонки со студии, либо друзья, выражавшие соболезнование. Не Игорь.

Через неделю надежда, что он позвонит, погасла во мне, перешла в сухую покорную боль, я легла спать с этой болью, просыпалась с ней, слушая, как скрипят мебель и половицы в пустой квартире, вспоминала фарфоровые глаза отца, вспоминала, что нет Игоря, и снова старалась заснуть.

Боль об отце, горькое нежелание жить колыхались во мне перед отъездом и все время в поездке. Но сегодня дорога по пригороду, осеннее стоянье солнечного света в чистых старых улицах, соленый запах лукового пера с опустевших огородов словно бы разомкнули что-то, подарили надежду на будущее.

Хозяин принес в глиняной миске салат из корней сельдерея и налил еще вина в мой бокал, улыбнулся ненавязчиво, поиграв желваками. Точно так улыбался Игорь, но улыбка отозвалась во мне не болью, а воспоминанием о счастливом. Я полоскала во рту вино, и горечь эта живая, и кровяной густой его цвет тоже возрождали что-то во мне. Когда хозяин принес мне глиняный горшочек с супом, я спросила сигарет и закурила, не торопясь нарушить янтарную поверхность похлебки.

Я вспоминала несвязное из наших с Игорем прогулок по городу,

долгих остановок возле каких-нибудь старинных ворот с чугунным иероглифическим плетением, возле вдруг обнаруженной шатровой церквушки над оврагом, возле купеческого дома с кариатидами и аркой, уводящей в невытоптанную травянистость лужайки перед сараями, и необходимым пятном белой с желтым дворняжки, лежащей чуть поодаль сараев.

Потом я вспомнила, как мы в один воскресный день уехали на пароходе до какого-то городка, бродили по песчаным, криво лезущим на холм улочкам, удивлялись каменной тяжести лабазов, уютной незыблемой деревянности домов, кружевной причудливости наличников вокруг покойно-некрупных окон. Поднялись выше на холм, сели у подножья невысокого дуба, прижавшись плечами, смотрели, как внизу горит железными крышами древний русский городок, растекаются вширь монотонно и уютно холмы, желтея заплатами старых покосов, красно-рыжими пятнами распаханых полей, черной пожухлостью картофельной ботвы на не убранных еще огородах.

Точно Млечный Путь на небе, лежала между этими пятнами осенней земной нежности золотая, в пробliках ширина Волги. На том берегу, далеко от поймы, было видно село и белую высокую звонницу в центре его.

Что-то произошло в пространстве, качнулся нетревожно воздух, пошел над Волгой студеный, густой, как вода, звук: он-нн... ом-мм... он-нн... Мы с Игорем переглянулись. Я была счастлива в те длинные мгновенья, секунды мои были полны.

Я вспомнила, уже без боли теперь, свое тогдашнее одурманенно-счастливое состояние, предчувствие новой жизни, когда рядом всегда будет любимый сильный мужчина и мне не тягостно исполнять его желания, заботиться о нем. Наши планы, как мы поедем в отпуск в Сибирь, ночевки у костра, дичь, которую добыл Игорь и приготовила я. Любое нежеланное мне раньше готова была я выполнять, лишь бы ежеминутно быть рядом: ходить по самым грязным кабакам, пить, уводить домой пьяного, снимать ботинки и укладывать спать. Теперь я понимала, что такая идиллия не могла бы длиться долго, что этого всего просто не могло бы быть. Я слышала впереди, что мы еще увидимся с Игорем, но расстанемся опять. Это больно, но неизбежно. Дороги наши, перекрестившиеся по воле судьбы, неминуемо должны были разойтись.

И вдруг — странный, непоследовательный ход эмоций — я почувствовала удовлетворение оттого, что я сейчас одна и свободна. Со всем одна на земле.

**14.** Ощущение это для меня было новым. Правда, за двадцать пять лет замужества я не так-то уж много провела времени в домашних заботах: экспедиции, гастрольные поездки, заграничные командировки. Уют в нашем доме происходил больше от Алексея и от тех немолодых женщин, что живали у нас, помогая по хозяйству, пока не выросла Сашка. Но я всегда была общительной, веселой; в экспедициях и гастролях я вечно что-то организовывала: экскурсии, вылазки, посиделки — туда уходила моя энергия, остававшаяся от не забиравших меня целиком ролей. И еще, даже если Сашенька была со мной (я довольно часто брала ее в экспедиции, она с детства крутилась возле съемочной площадки, вероятно, поэтому в двадцать пять лет Сашка — зрелая актриса), я все равно звонила Алексею, хлопотала о чем-то, бегала по магазинам, покупая в «дом», — мои семейные эмоции были в действии. И вдруг кольцо забот разомкнулось, словно бы в мозгу выключилось множество суетных сигнальчиков, наступила тишина.

Перед отъездом мы с Алексеем подробно и спокойно поговорили, придя к выводу, что квартиру разменивать нет смысла, лучше выстроить еще однокомнатную для Алексея. Зарабатывала я прилично, однако на книжке больших денег не было никогда: тратили мы их безалаберно. Тем не менее это меня не беспокоило: достану. Не беспокоилась я теперь и о Саше, вдруг осознав, что дочь взрослая, у нее своя жизнь, в которую не стоит вмешиваться. Игорь тоже пока ушел из моей жизни.

Я думала о себе. Перед отъездом мне позвонили из одного московского театра и сказали, что они будут ставить «Трамвай «Желание», что у них есть идея пригласить меня на роль Бланш. Репетиции начинались сразу после моего возвращения, я подумала сейчас о них со сладким страхом, пожелала опять забытой уже атмосферы театра — этого суматошного дома со склоками, завистью и истериками премьерш,— однако я знала в себе умение быть обаятельной и неконкретной, умение не влезать в мелочи закулисья, как не влезала в мелочевку околкиношных интриг. Все с лихвой искупалось вечерним омовением на сцене.

Я отхлебнула еще вина, вдохнула глубоко и, откинувшись на спинку плетеного стула, закурила, счастливо созерцая красный то вспыхивающий, то никнущий огонь камина, ноздрями я улавливала смоляной запах сгорающих еловых поленьев.

Я вспоминала свое недолгое существование в том, первом моем профессиональном театре. Труппа состояла в основном из немолодых, опытных актеров, ко мне приглядывались настороженно: хотя я тогда уже снялась в имевшем шумный успех фильме, тем не менее театральные актеры в те времена относились к киноактерам скептически, модно было говорить, что «для камеры и маникюру можно натаскать, а вот сцена покажет...». Таню в Москве много лет подряд блистательно играла Бабанова, я видела ее не один раз, и это мне теперь мешало. Боясь сбиться на подражание, я зажималась, репетировала плохо, генеральную завалила, дневной спектакль «для пап и мам» сыграла средне. «Старательная девочка из самодеятельности...» — констатировала пренебрежительно наша народная Петровская, занятая в спектакле во второй главной женской роли. Однако главреж театра, видевший во ВГИКе мои курсовые спектакли (потому он и пригласил меня в театр), заменить меня на премьерке дублершей не захотел.

В вечер премьеры гримировалась я с унылым сознанием, что спектакль завалю, стояла за кулисой, ожидая выхода, полная безразличия ко всему, начала роль, ощущая в себе пустоту и скованность. Спектакль был «целевой»: мы играли в клубе большого подмосковного завода, в зале кашляли и скрипели стульями, я невольно напрягала голос, переигрывала, чтобы перекричать, закрыть. И вдруг в какое-то мгновение я почувствовала, как поднялась во мне гневная радость: а вот не будет по-вашему, будет по-моему, переборю!.. Услышала упрямую свободу внутри, повернулась медленно к залу спиной, сказала негромко свою реплику, прошла неторопливо, держа паузу, зная уже, что живу, что с настроения меня ничто теперь сбить не сможет. Обернулась, мельком взглянула в зал, ощутив, как он успокаивается заинтересованно, как между мной и этими людьми, живущими той рабочей жизнью, которой я жила совсем недавно, налаживается взаимность.

Играла, сладко чувствуя внизу за рампой темный, сочувственно дышащий непокой, управляемый уже мною. В какой-то миг я скользнула глазами по первому ряду, чтобы опереться на чье-то лицо, проверить, правильно ли идет,— увидела глаза немолодой женщины,

полные слез. словно электрический ток замкнулся во мне: я плакала, говорила, держала паузы, слыша счастливую свободу. Говорила негромко — в зале стояла тишина.

Во втором антракте в уборную ко мне зашел, переваливаясь на коротких отекающих ногах, старый администратор нашего театра, короткий уже теперь дядя Яша. Поглядел с полуулыбкой, кивнул коротко, выдохнул: «П-пойдет!» Заглянула и чмокнула в макушку Петровская, обдав взглядом сияющих ласково глаз: «Ну-ну, девчонка!»

Были аплодисменты — первые мои аплодисменты, которые я работала как профессиональная актриса, зал встал и хлопал, давали занавес и снова поднимали, я выходила, держась за чьи-то руки, кланялась, бледнея, как перед обмороком, зашедшая от счастья.

И еще потом были спектакли, публика квалифицированная и «простая», и снова чувство успеха, бесконечного счастья и уверенности, что жить стоит только ради этих мгновений. Но родила Сашеньку, какое-то время не играла, затем мой первый, бесконечно уважаемый мною режиссер пригласил меня сниматься, я уехала в экспедицию, взяв в театре отпуск, потом стала сниматься еще в одном фильме, уйдя из театра, твердо намереваясь вернуться через год, через два, через пять...

Жизнь позади плотнела годами, ролями в кино, однако расстояние от той, первой моей премьеры оставалось для меня коротким, будто бы легко преодолимым. Вот сыграю еще одну — на этот раз гениальную! — роль в кино и вернусь в театр, к теплоте живого человеческого дыхания... Что ж, наконец это должно вроде бы свершиться...

Я сидела и думала о своей второй театральной роли, о Бланш, об этой несчастной, раздавленной жизнью женщине, слышала горькую сдвинутость ее психики, нервное, напряженное ожидание обиды, жажду доброты людской, человечности, счастья. Всего этого жаждала сейчас и я. Знала невозвратность опрометчиво свершеного. Видела мелкую несобранность ее движений, незаконченный, начинаемый на высокой ноте смех и жест королевы, которым она управляет волосы... Предвкушать прекрасную роль, придумывать, оживлять человека, которого предстоит сыграть, — это и есть счастье. Ради этого стоит жить...

Суп из потрохов был чудо, свинина на решетке с гарниром из тушеной капусты и солений тоже произвела на меня впечатление. Вино было почти допито, и хотя голова осталась ясной, ноги отяжелели. Я расплатилась, поймала такси и приехала в гостиницу. Постель была разобрана, горел ночничок — словно кто-то родной был здесь недавно, вышел на минуту и сейчас вернется. Горький холодок обнес мне сердце.

Когда, выйдя из ванной, я легла в постель, мне уже опять было хорошо и покойно. Я снова приготовилась счастливо думать о роли, но вдруг вспомнила Алешку.

Вспомнила, как увидела его в первый раз, это было на втором курсе, осенью, мы с подругой, теперь известной актрисой, пришли на занятия сценическим движением. Вошли в зал — там был тоненький смуглотелый юноша в тренировочных брюках, чернокудрый, черноглазый, он стоял раскинув руки, напряженный, как струна. Мгновение — музыка снова заиграла, юноша сделал пируэт, потом прыжок, потом изогнулся, руки поникли, загорелая спина с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника сломилась, словно бы потекла вниз в бесконечной скорби, словно была стволотом, начинающим эти прекрасные трагичные руки.



Так я его увидела и влюбилась. А Алексей рассказывал мне, что впервые увидел меня на том же втором курсе в зачетном спектакле: я играла Кармен — инсценировку по Мериме. В том курсовом спектакле я танцевала мало, потому что жаждала не хореографии, но драматургии. Однако пластически эта роль была решена мною именно в ритме знаменитого испанского танца; тогда я ничего не понимала в необходимости ритмического построения рисунка роли, просто слышала внутри, что эта испанка должна двигаться именно так: чуть прыгающей неровной походкой, с медленными поворотами, долгими паузами и неожиданной стремительностью реакций. Меня ходила смотреть вся театральная Москва, Алешка смотрел спектакль каждый раз, как его повторяли, и тоже влюбился.

Я подумала, что, в общем, всю жизнь не была добра к Алешке, словно бы не слышала его существования возле себя, хотя он заслуживал лучшего: ровно веселый, терпеливый и несомненно любивший меня. Что с ним будет сейчас? Он не выносил одиночества, не умел быть один, всегда окружал себя шумом, людьми, любимый друзьями, не имевший врагов. Он всю жизнь прожил за мной, ни о чем не заботясь, большой — избалованный еще дома, заласканный армянскими бабушками, тетушками, мамой — ребенок.

Что он станет делать, вернувшись из экспедиции? Женится?.. Дай-то бог. Я его жалела, но представить, что мы снова сойдемся, мне было уже невозможно: чужой это стал человек. Между прочим, отец с Алексеем никогда не любили друг друга, сейчас я вспомнила об этом словно бы в оправдание себе.

Перед моими бессонными глазами пошли обрывки историй, которые когда-то рассказывал отец, желая не столько развлечь нас с сестренкой, сколько выговориться, окружить себя словами и событиями прошлой жизни, когда он не был еще стариком на пенсии, был мужчиной и от него зависели в какой-то мере повороты судеб. Рассказывая, отец загорался, наполнялся внутренним движением и волей к свершению, которые, увы, уже некуда было приложить.

Чаще всего отец вспоминал времена, когда он был в составе Сибирского ревтрибунала, участвовал в подавлении кулацких восстаний и разгроме банд. Вспоминал зверства синеглазовцев, массовые убийства коммунистов, то, как Синеглазов сам, связав веревкой несколько человек, стащил их конем в реку. Вспоминал, как трибунальская тройка судила участников ишимского восстания. В ходе следствия выяснилось, что главарю восстания удалось уйти от возмездия. Он переночевал в доме секретаря комсомольской ячейки, сбрил бороду, переоделся в одежду его отца и скрылся. Правда, парня в это время не было дома, одежду и кров бандиту предоставила напуганная мать, а сын вместе с другими комсомольцами расклеивал по городу листовки, обещавшие помилование тем, кто явится с повинной. Однако председатель и некоторые другие члены трибунала поставили фамилию этого парня в числе других в смертный приговор. Тогда отец сказал, что приговор не подпишет, запишет особое мнение, поскольку парень невиновен. Настоял. И приговор на двадцати пяти страницах пришлось срочно перепечатывать из-за одной коротенькой фамилии... В двадцать втором году парню было лет восемнадцать, значит, сейчас немногим больше семидесяти, может, жив до сих пор, дети есть, внуки... Погибни отец тогда от белогвардейской пули, наверное, он пришел бы его проводить и обронил бы, может, слезу, пожалев своего спасителя. Время притупило в нем чувство благодарности, и он забыл, что жизнь его зависела от настойчивости, от слова тридцатипятилетнего красивого трибунальца в кожаной кепке и кожаной куртке нараспашку.

Зинаида на поминках заплакала: «Манюся, это я ему смерть накликала. Пожалела тебя: мол, будет лежать парализованный, ему все равно жизнь не в радость. Хоть бы, мол, бог его прибрал... А он ко мне всегда хорошо относился, добрый был...»

Добрый?.. Ни я, ни сестренка не думали уже о том, каков отец — добрый, не добрый. Он был бездеятельным ворчливым стариком, которого жалко, но которого вроде бы нет. Видно, все-таки человек жив, пока живо дело, которому он служит, нельзя, наверное, существовать как личность, опираясь только на прошлое, каково бы оно ни было, надо работать до последнего... Сама я так и намеревалась...

Утром меня разбудил звонок, я сняла трубку и дважды переспросила, не поняв, чего от меня хотят. Голос в трубке вдруг стал близким и чистым, там сказали:

— Это Мария Викторовна?.. Маша, это Юрий Бекетов, не помнишь?.. На заводе.

Я вдруг вспомнила начисто забытого замухрышечку Юрку, который работал у нас в цехе электриком и был, кажется, влюблен в меня. После он поступил в техникум на вечернее отделение, потом я ушла во ВГИК и думать про него забыла.

Голос был весел и напорист, и мне вдруг захотелось, наплевав на программу, поехать (всего час на поезде) к нашим специалистам-электрикам, устанавливающим оборудование на металлургическом комбинате.

— Маша, — кричал в трубку Бекетов, — я так обрадовался, когда тебя по телевизору увидел! Мы все обрадовались, ты не представляешь как! Приезжай непременно, мы тебя так встретим!

Они окружили меня на платформе возбужденные, веселые — и мне сразу передалось их радостное настроение. Я пыталась разглядеть их по отдельности, узнать, который же Юраша, но они все разом хотели взять меня под руку, говорили одновременно, смеялись, и я, подхваченная этим мужским веселым сборищем, тоже говорила возбужденно, кокетливо, поправляла волосы на затылке раскрытой ладонью, откидывая назад голову, — «королевский жест», репетируемый мною уже для Бланш. Потом меня взял за плечи плотный и совершенно лысый мужчина с веселым круглым лицом, спросил:

— Не узнала? Тридцать почти что лет прошло. А ты стала еще красивей. С завода ребят не видишь?

— Зинаиду. Помнишь?

— С тобой она ходила.

— Я с ней.

— Она с тобой... Я ведь влюблен в тебя был. Поехали, значит, сначала к нам, с дороги отдохнешь, потом мы тебе покажем, чем занимаемся, ведь ты нашенская, заводская, оценишь... Столько сложной электроники, сколько мы здесь установили, нет даже у нас ни на одном заводе. А потом соберемся, посидим, все очень хотят с тобой встретиться, любят тебя.

— Давайте сразу на завод, я не устала.

Они таскали меня по цехам, показывая ряды ящиков, похожих на автоматы для газировки, — этими ящиками было довольно плотно заставлено тринадцать ярусов подземных помещений. Хором объясняли мне, что происходит в этих ящиках, почему так прекрасно, что их много и все они набиты разноцветными проволочками и коробочками. Я шла, смотрела, ничего абсолютно не понимала, но радовалась их радости и чуть хвастливому довольству тем, что они сделали, вспоминала, что перед войной у нас еще «давали мануфактуру» по десять метров в одни руки, на заводах наших полно было иностранных консультантов, а сейчас Юрка Бекетов, который бегал по цеху,

грохая деревянными бахилами, и один раз попался, продав «рисованные» спецталоны, показывает мне всякие сложные штуки, которые он наставил тут, за границей, а будущий начальник этого зала, специалист-электрик, уважительно называет Юрку «золотая голова». Я была рада тому, что они все разговаривают со мной с веселым уважением, немного даже робко, значит, правда любят, и выходит, не все то, что позади, напрасно?..

С наслаждением слушала их русскую речь, по которой успела соскучиться за две недели, купалась в музыке родного языка, жаждала еще слов, упругих, точных, имеющих над моей душой neodолжимую власть. Я смолodu служила Слову, Сергей тоже не умел ничего другого, за свою жизнь не создал чего-то, что можно было бы взять в руки, съесть или надеть на себя. Созданное им было вполне неосяземо, но, оказывается, еще не окончательно атрофировались у людей те не открытые наукой органы, которыми воспринимают прекрасное, до которых можно дотронуться Словом и разбудить Высокое?..



---

---

МАРИНА ТАРАСОВА

★

## СНЕГА РОССИИ

Рука ольхи листвою пушится,  
и солнцем красным,  
как зарница,  
не просто ласточка — жар-птица  
на ветке радужно искрится,  
а это значит — жизнь вершится,  
жива очей моих зеница,  
два чуда — дерево и птица.

\*.\*

Март насквозь пропах соляркой,  
и взревели, как быки,  
утром на щебенке маркой  
черные грузовики.

О, быки корриды русской —  
«МАЗЫ», «КРАЗЫ», тягачи,  
словно потные подгузки,  
ваши скаты горячи.

Почему ж приветно машут  
аккуратным поездам,  
а не вам, кто тяжело пашет  
слякоть с хмарью пополам?

И несут под мощной аркой  
плеч, которых вам не жаль,  
запах марта и солярки,  
бычью честную печаль?

## НА КАМЕ

Две женщины в лодке, а серая Кама  
полна темнотой, как могильная яма.

Здесь тучи курчавят небесный лужок,  
а в дождь это спекшийся, страшный ожог.

Ты рушишь обшивку, проклятый топляк.  
Над сизой тайгой беснуется мрак.

Тебе пособлю я, спаси человека,  
в резиновой робе, в косыночке лекарь!

Средь этих еловых обветренных вый  
копье потерял конопатый Батый.

А нам — сквозь каленые ветры седые  
спешить напролом и дойти не впервые.

Привычно такое нам в нашей судьбе.  
Пусть греются чаем в скрипучей избе,

мусолят сигарку, костят непогоду,  
мы воду стреножим, не ведая брода.

Уснул теплоходик, дрожит вертолет.  
Две женщины в лодке — и полный вперед!

\*.\*

Ты ждал меня на просмоленной даче,  
разбухшей, доброй, сонной от росы.  
Журавль колодезный с протяжным плачем  
качался, словно черные весы.

И я не знала при кончине лета,  
чей чистый плеск струится над душой,  
что там поет — Нева ли это, Лета,  
чей это голос, ровный, роковой?

### АРМЕНИЯ

Я верю обнаженной правде камня  
не потому, что блеск травы не мил, —  
она была и будет главной  
из всех земных обманчивых светил.  
И со всего как будто света  
свезли их на седой простор равнин —  
стена камней, и нет просвета  
от их больших горячих спин.  
Библейский путь — армянская дорога,  
путь к изначально судеб и времен.  
И запыленный облик бога  
на склоны солнцем нанесен.  
Но не подобьем райской птички  
над камнем кружит самолет,  
и цепь зеленой электрички  
так трудно по плато ползет.  
А из-за камня нежно и пугливо  
мерцает древняя трава.  
Печаль земли неприхотлива,  
зачем ей горькие права?  
Когда в воскресный день в Эчмиадзине,  
не смыв постели сладкий пот,  
поют о жизни как святыне,  
то это весь народ поет.  
Глядят сапожники, крестьяне

с парадных фресок голубых,  
духовность им дало страданье  
и превратило их в святых.  
И вспоминаешь не лаваш, не трассы,  
пробитые кайлом в горах крутых,  
а двадцать лет безумья Комитаса  
в сполохах звуков громовых.

\* \* \*

Я позволю тебе с вокзала,  
заставлю голос не дрожать.  
Я каждый день тебя теряю,  
не зная, встречу ли опять.

Какой сегодня день осенний —  
и листопад и гололед!  
Как будто старым стал Есенин  
и тихо улочкой бредет.

Давай не говорить о лете,  
лоскутик памяти порви.  
Сегодня нет со мной на свете  
ни колоска твоей любви.

Но этой поздней, поздней болью  
ты, как слезой снегов, омыт.  
Души прощальное застолье  
не помнит зла, не ждет обид.

Своим глубоким дальним светом  
не окликай и не зови.  
Душа не вынесла сюжета,  
не свыклась с осенью любви.

\* \* \*

Там, где иссякли мостовые,  
где ни шоссе, ни колеи,  
лежат снега моей России,  
снега мои.

Какая тишь, какая нега,  
какая музыка для глаз!  
Я вас люблю, державы снега,  
светло, как любят в первый раз.

И если слякотно на сердце  
и губы жестки, как фольга,  
я к вам иду, мое бессмертье,  
мои российские снега.



---

---

АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК

★

## СТОЙКИЙ ТУМАН\*

Роман

### Глава двадцать четвертая

**С**вадьба с каждым днем набирала силу. Всеобщему веселью от зари до темна, казалось, не будет конца. На второй день, как и положено, старухи по воле Хоруженко, строго следившего за соблюдением всех старинных обычаев и обрядов, шумною гурьбою обошли с красной бархатной подушкой — символом девственности невесты — хутор вдоль и поперек, каждую улочку и проулок. Правда, особой в том нужды и не было — на свадьбе ведь все равно гуляли жители едва ли не со всех дворов, в хатах оставались одни немощные старики, больные да малые ребятишки, — но обычай есть обычай!

На третий день всех опоздавших к началу утреннего пиршества в наказание качали на домотканом рядне. Оплошавшего виновника подкидывали вверх тормашками до тех пор, пока он не бросал в рядно откуп — червонец, пятерку или же, на худой конец, трешку, а то и, уж совсем по нищенской бедности, замусоленный рубль. Над двором при этом стоял такой хохот, визг, крик и свист, что от всего этого под ногами, чудилось, ходила ходуном земля, раскачивая из стороны в сторону высаженные вдоль высокого дощатого забора могучие пирамидальные тополя. О запорожце на крыше дома даже и говорить было нечего — ветер то и дело менялся и он весь извертелся на своей жестяной ноге как на углях, не зная, казалось, в какую сторону обратить вскинутую над головой кривую саблю.

Да и на самом деле зрелище это, сопутствовавшее всем свадьбам, презабавное и незабываемое! Несчастная жертва, будь она в сколько угодно пудов, переворачивалась в небе как бог на душу положит и с такой легкостью, словно в ней и не было никакого веса и плавала она будто бы в невесомости. Опоздавший гость принимал самые что ни на есть невероятные позы. Взлохмаченный, растрепанный, бледный, с вытаращенными глазами и перекошенным ртом, бедняга стонал, грозился, охал, умолял и проклинал все и всех на свете, не переставая взлетать выше крыш амбаров и падать в пружинящий омут рядна. Самые дюжие казаки, один к одному, ставились всегда на свадьбах к рядну. Вцепившись в его края мертвой хваткой, наливаясь от натуги кровью, упруго расставив мускулистые, в начищенных ичигах ноги, они со свистом и гиканьем под общий рев гостей взметали свою добычу с такой невероятной силой, усердием и азартом, словно всякий раз задавались целью пробить ею в небе брешь.

\* О окончании. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

Больше всех в то третье утро досталось Мирошке Чумаку. И ничего удивительного — у старого казака не было за душою не то что рубля, но даже и медного гроша, чтобы бросить его на дно рядна и откупиться от изнуряющих полетов в поднебесье. И он был вынужден покориться судьбе и, кувыркаясь в воздухе, молчаливо дожидаться от своих уже спозаранок во хмелю мучителей либо полного к своей жертве презрения, либо усталости, либо, что довольно сомнительно, милости — ни на что другое ему рассчитывать не приходилось. Сам Хоруженко удостоил при этой экзекуции Мирошку Чумака своим вниманием: вышел из дома, где пировал с именитыми гостями, молча локтем отстранил одного из молодых казаков и встал у рядна на его место.

— А ну душе! А ну разом! А ну надай парку! — командовал он с молодеватым ухарством.

И не было бы Мирошке Чумаку никакой пощады, пришлось бы ему, гремя долговязым скелетом, взлетать над двором, должно быть, до потери сознания за свое легкомыслие, за встречи с Рогачевым — нет, ничто не ускользнуло от пристального к событиям на хуторе внимания Хоруженко! — не вывернись наизнанку, на счастье, карманы его широченных казачьих шаровар. Вместе с трубкой, кресалом и ватным фитилем на дно рядна полетел холщовый, с добрую суму кисет с табаком, с накрепчайшим духовитым самосадам. Сыромятная завязка развязалась, и над головами гостей повисло зеленое, медленно оседавшее на землю облако, от которого никому и никуда уже было не укрыться и не сбежать. Все вокруг так громко и так дружно зачихали, что грешную душу старого казака невольно пришлось отпустить на покаяние. О нем тут же забыли, а он еще долго лежал, приходя в себя, в сторонке, куда хватило сил отползти, скорчившись в три погибели, икая и охая, судорожно временами лихорадясь всем телом.

Но самое буйное веселье, как и на всех свадьбах истари, началось, когда на смену свадьбе обычной пришла свадьба шуточная. Уже крепко подгулявшие гости, все поголовно утратившие, видно по всему, и счет дням, вырядились кто во что был горазд. Тут тебе и напаянные овчиной наружу полушубки и тулупы, тут и всяческие маски — от чертей до свинячьих рыл, тут и не бог весть знает что на головах вместо кубанок, картузов и папах, тут и... Нет, всего не перескажешь — чего-чего, а на выдумку ума хуторским казакам и казачкам было не занимать! От обилия красок, от их непрерывной смены, от пестроты у любого на такой свадьбе начинало рябить в глазах — трудно бывало сразу все даже охватить взором, чтобы успеть подробно разглядеть, запомнить и сохранить в памяти.

Как и положено на шутовской свадьбе, тут всегда и свой жених и своя невеста. На их роль, особенно же на роль жениха, обычно вызывались самые задорные, самые отчаянные и, уж конечно же, самые что ни на есть озорные казачки. И кому как не Ефросинье пришлось сменить юбку и атласный бешмет на шаровары, красную рубаху и чекмень, опоясанный наборным кавказским ремешком. Она начесала на лихо заломленную набекрень овчинную кубанку огненно-рыжий чуб и подмалевала сажей вислые, как у запорожца, усы. Прицепив к пояску янтарный початок кукурузы и две картофелины — приметы ряженого жениха, — она носилась по двору словно ветер, то дурашливо принимаясь ухаживать за своей сверх всякой меры напудренной и накрашенной, в куцем сарафанчике и полосатых чулках, с торчащими косичками «невестой», то отплясывала с нею гопака с таким азартом, что над двором пыль стояла столбом, то под хохот гостей начинала гоняться за молодыми, визжащими, как поросята, казачками, поднимая им подола юбок, то принималась целовать всех,



кто попадался под руку, оставляя на лицах следы сажи с подрисованных усов.

Натешившись вдоволь на дворе Хоруженко, ряженные, как было и положено, высыпали на улицу, перенесли гулянье на весь хутор, захватив чуть ли не все соседние улицы и проулки. Из ворот двора выкатили мажару, в нее цугом впряглись те самые дюжие хлопцы, что усердствовали вокруг рядна, подкидывая опоздавших гостей. На мажару водрузили плетенную из лозы сакву — в нее забралась тут же единогласно выбранные нареченными отец и мать ряженных молодых, а сами «жених» и «невеста» уселись перед саквой погонять двуногих коней. Тем временем через сады и огороды гуляющие на свадьбе гости рассыпались по своим дворам, чтобы «хлебом и солью» встречать торжественную процессию.

С песнями, под звуки горластых гармоней, с прибаутками, разудалыми выкриками ряженные медленно двигались по улочкам и проулкам. С возгласами: «Коней напугать! Треба напугать коней!» — переезжали от двора ко двору. И у каждого куреня пляска, и у каждого вино лилось рекой. Хозяин двора в «казну» свадьбы вываливал в сакву щедрые дары — все что мог, — досыта поил «лошадей», желал молодым новобрачным счастливой супружеской жизни и бесчисленного количества казачат. И каждому хозяину было полное раздолье для работы его воображения, для веселой шутки — а соблазну тут хватало вдосталь, хоть отбавляй! Потому-то вместе с окороками, колбасой, салом и другой всякой снедью хозяину двора, к шумному восторгу всех сопровождавших мажару, ничего не стоило вытряхнуть в сакву прямо на головы ряженных родителей ведро моченых яблок или винограда, бочонок соленых огурцов, помидоров или арбузов, мешок муки, гречки или пшена, а то и корзину навалом куриных, утиных, гусиных или индюшачьих яиц. Тут все принималось без малейшего намека на обиду, тут всякий дар, большой или малый, солидный или дарованный для чудачества, вызывал одинаковое веселое одобрение, сопровождался музыкой и плясками, победоносными возгласами, смехом и криками «ура!».

Издавна же, бог весть с каких времен, повелось в кубанских станицах и хуторах в самый что ни на есть разгар всякой свадьбы, когда начинали истощаться заготовленные хозяевами двора впрок запасы, устраивать «цыганские набеги на курени». Казаки надевали красные, синие, желтые, зеленые — всех цветов, — длинные, до колен, рубахи-косоворотки, черные плисовые жилетки, а казачки — пестрые, расклевенные, до пят, юбки, цветастые кофты — откуда все только и бралось? — и начинали рыскать по всему хутору из конца в конец, проникая «тайно» разными путями в хаты, амбары, кошары, погреба и свинные катухи друг к другу. «Грабители» тащили оттуда поросят, баранов, уток, кур, индюшек, гусей и кроликов — все, что удавалось выкрасть или выцыганить. И все это несли, волокли, везли — кто как умудрялся! — на двор, где шла свадьба, резали, жарили или варили и выставляли на столы. И снова глушили стаканами за здоровье молодых белое и красное виноградное вино домашней выжимки, и снова — который уж день! — все шло своим чередом.

Не стал противиться такому обычаю своих предков и Хоруженко, когда о том завели с ним разговор хмельные, ошалевшие за дни попойки гости, хотя у него и без того всего было вдоволь — хватило бы и без «цыганского набега». Но обычай есть обычай, и нарушать его Хоруженко был не намерен. Старина, ее законы и обычай играли ему на руку, и он все, что было с ними связано, охотно поощрял. И не только ради обычая, само собою понятно, дал он своим гостям благословение на цыганский набег, но и потому (хотя и сам себе в том

не хотел признаться), что не мог воспротивиться мелочной корысти — уж это было у него в крови. Не нашел он в себе широты отказаться от того, чтобы не приплыло к нему на двор чужое, сохранив его собственное. И он сам первый облачился в красную цыганскую рубаху и черную бархатную жилетку.

Однако столкнувшись лицом к лицу во дворе с Ефросиньей, Хоруженко тут же отстал от гостей, внезапно увлеченный ее отчаянной удалью, словно бы заново вернувшейся к ней молодостью, ее порпорающей всех красотой. Ефросинья, казалось, вся была налита безудержным весельем, поыхала, как огнем, здоровьем, по-мужски ухватистой силой. Ее ладная, крупная, точеная фигура, быть может, совсем немного, самую малость, грузноватая — это на чей вкус как, — мелькала все дни свадьбы повсюду. И там, где она появлялась — и в доме среди чопорных гостей, и на дворе среди простого люда, — все тут же вокруг нее оживало и преображалось. К ней тянулись со стаканами чокнуть; ей освобождали рядом с собою место; холостые парубки наперебой приглашали ее танцевать; пожилые казаки тайком от жен бросали на нее маслянисто-задымленные взоры, крутили в кулаках вислые усы. А она, никому не отдавая предпочтения, была со всеми ровной, приветливой, ласковой, каждого одаряла если не поцелуем, то теплой и многообещающей улыбкой, кружа, сама того не ведая, многим своим тайным поклонникам головы. И никому было невдомек, какая пуста, какая раздвоенность поселилась в душе Ефросиньи с недавнего разговора с Рогачевым, какой несчастной и одинокой в минуты протрезвления она казалась самой себе и какой ценою давалось ей это напускное веселье... Дикий страх за свое хозяйство, недавно в ней зародившийся, не покидал ее мечущуюся душу ни на минуту, и она старалась заглушить его то вином, то бесшабашным ухарством, то озорством в свадебном загуле. Но от всего этого легче не становилось — страх ходил за нею по пятам, и от этого только сильнее ко всему на свете ожесточалось сердце и пустела, тоскуя от одиночества, вдовья душа.

Она вздрогнула, удивленно вскинула брови, когда Хоруженко впервые за многие годы их тайной связи обнял ее за талию у всех на глазах и увел с пустеющего двора в дом, наполненный пьяными голосами, звоном стаканов и рюмок, выкриками «горько!» и сбивчивым пиликаньем гармони в руках успевшего уже изрядно захмелеть гармониста. Через заваленную грязной посудой кухню он провел Ефросинью в дальнюю половину дома, куда почти не долетал свадебный шум, и крутым плечом, глядя ей в глаза, распахнул перед нею настезь дверь моленной комнаты. Из ее глубины в лицо Ефросиньи дохнуло лампадным маслом, воском оплывших церковных свечей, сладковатым душком тертых листьев табака, которым от моли были притрушены дорогие персидские ковры.

Все это уже было Ефросинье хорошо знакомо, и она привычно, как у себя дома, прошла в дальний угол, где стояла тахта, на ходу перекрестилась, не повернув даже в сторону распятыя гордо вскинутой головы, и, стянув за концы с плеч цветастый полушалок, мягко улеглась на спину, вытянув по полу длинные, в красных сафьяновых сапожках полные ноги. Подложив под пучок волос закинутые за голову руки, она, все еще не остывшая от недавней пляски, с поыхавшим на щеках румянцем, устремила на Хоруженко не то в немом удивлении, не то в немом вопросе свои по-восточному узкие, не столько хмельные, сколько усталые и грустные, желудевого цвета и блеска глаза.

— Пора и нам, Ефросинья, свадьбу сыграть, чего уж там... — сказал Хоруженко, встретившись с ее взглядом.

Он опустился рядом с нею на тахту, положил на ее плотно сомкнутые колени тяжелую, поросшую по краю черными волосками руку. Ефросинья мельком скосила на его руку глаза, усмехнулась одними уголками губ и разнеженно потянулась.

— А ты тверезый,— вымолвила она.— А я-то подумала, когда меня при всем народе обнял, что хмель тебе в голову вдарил.

— Не до вина мне... И ты ни к чему пьешь столько...

— Следишь?

— Так как же, Ефросинья? — не отвечая на ее вопрос, спросил Хоруженко.— Может, вслед за этой и свою справим?

Она прижмурила веки и отрицательно покачала головой. С ее лица медленно начал стаять румянец, губы упрямо поджалась, а меж рыжеватых бровей прорезалась суровая морщинка. Откуда же было знать Хоруженко, что, сама того не ожидая, Ефросинья внезапно в мыслях своих увидела рядом с собою Рогачева — не того молодого, раненного, которого выхаживала в плавнях и о котором не раз за долгие годы тосковала на вдовьей постели, а того, нынешнего, с поседевшими висками, что совсем недавно сидел в ее хате, как и прежний с забинтованной головой, и тихо рассказывал о своей после их встречи жизни. И уже чего совсем не могла она ожидать, так это того, что вдруг потянулась к нему сердцем, ощутила при воспоминании о нем, как наполнилась ее душа властным и неумолимым теплом, будто кто-то вложил в нее еще не успевший истлеть уголек. И когда все это увидела и почувствовала, внутри у нее словно бы что-то перевернулось, и она уже не смогла терпеть на своих коленях руку Хоруженко, не смогла оставаться лежать, а поднялась с тахты и, поскрипывая сапожками, подошла к окну, задумчиво, отсутствующим взглядом смотрела сквозь занавеску на безоблачное небо.

— Ты чего схватилась? — спросил Хоруженко, не спуская с нее встревоженных глаз.

— Какую свадьбу — такую, как эта?

— А чего тебе в ней не по нраву?

— Все.

— Поясни.

— Стылая ж она, без любви... Меня тоже выдали замуж наспех, я знаю, что это такое — без чувства жить... И Клавдия... который уж день свадьбы, а они чужие... чурается он ее! — продолжая смотреть на небо, ответила Ефросинья.— Торопишься ты, а чего торопишься — не могу понять. Ну ответь: для какой надобности она тебе, свадьба такая?

— Дай срок, поймешь. Тебе-то что за печаль, як у них там? С какой болячки ты взялась про их любовь толковать?

— Да молодые ж они, люди живые, а ты им ненароком жизнь скалечишь...

— Нашла об чем горевать...

Хлопнув ладонями по коленям, Хоруженко медленно и грузно поднялся с тахты, молча, заложив руки за кавказский ремешок, походил из угла в угол молельни и остановился за спиной Ефросиньи, своим дыханием шевеля на ее затылке распушившиеся под пучком курчавые волосы. Ей стало щекотно, и она втянула голову в плечи.

— Не тот у нас с тобою разговор получается, а другого я тебе пока ничего открыть не могу... Пошатнула ты к себе мое доверие,— поглаживая усы, раздумчиво произнес Хоруженко.— Тебе бы до нашего лагеря прибавиться, а ты, видать, до другого тягнешься... Гляди, Ефросинья, не прогадала бы — повороту назад не будет, не то время настало, чтоб к кому б то ни было жалость иметь...

Плечи Ефросиньи дрогнули. Она круто повернулась лицом к Хоруженко и, в упор встретившись с его суровым и холодным, из-под нависших бровей взглядом, вся будто оцепенев, с болью и горечью, с вызовом и отчаянием выкрикнула, сорвавшись с голоса:

— Ни до кого я не тянусь, я сама по себе, сама своему хозяйка!

И, метнувшись к тахте, сдернув с нее свой полушалок, выбежала из молельни, оставив распахнутой дверь. Хоруженко, прищурившись, проводил ее долгим укоризненным взглядом и, покачав головой, привычно запуская руку в карман за сушеным урюком, безо всякой обиды, а скорее даже с жалостью обронил:

— Ото ж верно кажутъ, шо дасть бог красоту, так отымет разум! Ну, дурная баба, куды ж ты от нас денешься, ты ж не то сослепу, не то с хмелю и погибели своей не бачишь, метаешься между двух огней, неначе очумелая. Гляди, как бы тебе об тот и другой голову не обсмотреть...

### Глава двадцать пятая

Не переоблачаясь в свою праздничную одежду, а как и был «под цыгана», в красной рубахе навыпуск и черной бархатной жилетке, Хоруженко вышел за ворота, чтобы встретить из «воровского набега» гостей, принять в общем веселье участие, и тут же увидел проходившего мимо двора Мирошку Чумака.

Старый казак, неуклюже-долговязый, брел до улице с таким отрешенным видом, будто шел он не по людному хутору, а по голой песчаной пустыне, один на всем белом свете, и не было ему ни до чего совершенно никакого дела. Седую его голову прикрывала неизменная — и в будни и в праздники — старая, вытертая до ткани солдатская папаха, служившая ему службу еще с окопов империалистической войны, на худых мослах плеч мешковато висел куций латаный-перелатаный чекмень, а линиялые, в цветных заплатах шаровары были заправлены по-казацки, с напуском, в стоптанные, разбитые сапоги, как и несколько дней тому назад, густо смазанные дегтем.

— Ты шо ж, Мирошка Чумак, мимо правишь? — преградив старому казаку дорогу, щурясь от яркого солнца, спросил Хоруженко. — Чи тебя на моем дворе вином и закускою обнесли?

Мирошка Чумак остановился, ткнувшись всем телом вперед, точно на его пути неожиданно выросла стена, и, склонив к плечу голову на тощей, со вздутыми венами шее, с невинной кротостью поднял на Хоруженко выцветшие, как линиялыи голубой ситец, глаза.

— Да нет, того и другого на твоём дворе всем хватает досыту, а токмо я ж, извиняй, до всего такого непривычный, — после недолгого молчания сказал он. — Не гостем, а батраком кажинный раз меня твой двор принимал, когда нужда за дыхало меня брала, и я так прикидую, что новый порядок заводит нам и поздно, да уже вроде бы по нынешним временам оно и ни к чему. И спасибо, щиро их дякую, твоим гостям — помогли одуматься, враз от двора отвадили, от греха подале, укачали меня на рядне правильно, довели до нормы: стоиг голько об том вспомнить, так все нутро наружу, як мой пустой карман, вывергает, видеть с того часу ни вина, ни мяса не можю... При одном взгляде тошно робыцца, боюсь, не помереть бы мне от отвращения к божьей снеди...

Хотя вроде бы в словах старого казака и не было ничего особенного — все им высказанное было чистой правдой, — они все же больно задели Хоруженко, заставили его помрачнеть. И задели они его вовсе не присущей Мирошке Чумаку за внешней отрешенностью прямотой, а тем неожиданным тоном, каким тот их произнес: впервые за

многие годы старый казак заговорил с ним как равный с равным, не отводя в сторону взгляда, ничем не выказывая своей давней бедняцкой зависимости. И если бы еще в недалекие дни, Хоруженко захлопнул бы перед носом Мирошки Чумака после его слов калитку ворот, но теперь счел более мудрым погасить в себе вспышку гнева; он добродушно улыбнулся, облапил старого казака за острые костлявые плечи, увлек за собою во двор, провел мимо накрывавших заново столы стряпух к ближнему амбару.

Погремев связкой ключей, Хоруженко распахнул перед Мирошкой Чумаком окованные крест-накрест полосным железом двери, подтолкнул его внутрь. Из прогретого через железную крышу солнцем амбара хлынул теплый запах пшеницы, окутал старого казака с ног до головы, одурманил, размягчил сердце, заставил позабыть обо всем на свете. Будто в угарном чаду Мирошка Чумак подошел к одному из закромов, по локти запустил руки в духовитый ворох пшеницы, из сухой глубины вынул полную, с верхом пригоршню, просыпал сыпучее зерно сквозь невесть отчего задрожавшие пальцы, ощутив, как наполнилась его душа хлебороба тихим теплом, словно перешло оно к нему через руки от кубанской гарновки. И не удержался, чтобы не запустить их опять в податливый омут, не вынуть такую же отливающую янтарем полную пригоршню, снова не пропустить зерно сквозь цепенеющие от удовольствия пальцы.

— Семенная... чистое золото,— раздался за его спиной голос Хоруженко.

— Чистое золото...— замороженно глядя на пшеницу, как эхо повторил Мирошка Чумак.

— Я ж тебе чувал такой самой гарновки с Трофимом прислал,— сказал Хоруженко.

— Такой самой с Трофимом прислал...— отозвался Мирошка Чумак, не сводя глаз с полного закрома.

— А что я имею заместо благодарности? Ты, кажуть, в сельсовете денно и ночью, чего с тобой не было сроду, торчишь, с приезжим рабочим кумпанию водишь, а потому и на свадьбе у меня гулять не желаешь...

— На свадьбе гулять не желаешь...— снова машинально повторил Мирошка Чумак, в который уж раз запуская в пшеницу по локти руки.

И вдруг словно бы очнувшись от недолгого, но тяжкого сна, он разогнул над закромом, вытянув чуть не до дощатого потолка, свое долговязое тело, поправил съехавшую на брови папаху, затуманенным взглядом с тоскою оглядел амбар. Глаза его неумолимо, как магнитом, тянуло к отборной кубанской гарновке, на которую через распахнутую настежь дверь улеглись косые лучи полуденного солнца. Пшеница в закроме вся засветилась изнутри, она лежала холмистым насыпом, зерно к зерну, крупная, увесистая, с нежным золотистым загаром, и, еще не молотая, уже, казалось, источала душистый и горячий запах печеного хлеба, пропитывая им весь амбар.

— Шо тебе, Ларион Степаныч, с моей благодарности? Ни в кошель ее положить, ни кожух с неешить,— не отводя взгляда от закрома с семенной пшеницей, вымолвил наконец Мирошка Чумак.— Мне, по всему виду, уже по гроб жизни не выбраться бы из твоей кабалы, когда б у нас с тобою так и дале дело шло, весь бы я со всею своей требухой в долгах потопнул, а только и в мое окно свет проглянул...

— Погоди ты, умолкни та слухай, об чем я тебе буду толковать!— сдвигая к переносью брови, недовольно перебил старого казака Хоруженко.— Я тебе решил свою милость выказать, а ты сам на себя

хомут накидуешь, об долгах толкуешь. Не моя б тебе помочь — лежать бы тебе давным-давно в сырой земле костьми. А теперь я свадьбу гуляю и потому добрый, желаю, чтоб не только моим молодым радость была, а и всем, кто за их здоровье горилку пьет! И ты очухайся, вникни в мои слова, тебе ж пойдут они на пользу. Никаких таких долгов с сего часу я за тобою не числю, сверх того еще надумал и одарить подарком. Бери с закрома семенной гарновки сколь твоей душе надобно — ничего мне для тебя не жалко. Все мы, казаки, одною судьбою повязаны, и грех нам друг дружке не подсоблять, один долгон быть за всех — все за каждого, так я разумею...

Мирошка Чумак бросил на закроем с пшеницей вмиг потускнелый взгляд, медленно-медленно, с большим, видно, усилием отвел его в сторону и, избегая встречи с глазами хозяина амбара, молча направился к дверям, загребая по полу стоптанными сапогами, оставляя за собою густой запах дегтя. Хоруженко, пружиня грузным телом рассохшиеся половицы, все больше мрачней, тронулся за ним следом. На амбарном помосте Мирошка Чумак остановился, неторопливо, будто решая, курить ему или не курить, вытащил из кармана шаровар кисет, за ним следом трубку и так же неторопливо принялся набивать ее самосадам, весь, казалось, со всеми своими думами погрузившись в любимое занятие.

— Ну ты чего онемел? — холодно глядя на старого казака исподлобья, играя взбугрившимися желваками, нарушил молчание Хоруженко. — Не радый моею милостью? Чи тебе того мало? Так я тебе еще сапоги, чекмень та кубанку в придачу припас, сними ты цю рваную папаху, срамота одна для казака, як ты в ней только и не совестишься ходить по хутору! И все то будет знаком моей к тебе дружбы, бери, владай, все бери! Кунаками мы с тобой станем по гроб жизни. Ну шо ты мовчишь, язык тебе приморозило от радости?

Мирошка Чумак вздохнул, покачал головой и горестно усмехнулся.

— Кажуть, совесть без зубов, а загрызет, — вымолвил он. — Видать, так оно и есть на самом деле. Где ж ты, Ларион Степаныч, со своею добротою раньше был? Шо ж ты мне не подмогнул на то время, когда я со своим хозяйством на ноги поднимался? Ты кажинный раз спихивал меня обратно на голый зад. В твои планты не входило, шоб я из нужды выibilся, кто бы на тебя работать стал? Ты не тронулся сердцем к моей бедности, ты вывез под метелку весь мой запас пшеницы и кукурузы, будто у тебя другого не было выхода, будто ты начал с голоду пухнуть... А на другой раз ты угнал за долги с моего двора волов, кости та кожа, зная, что подходит пора пахать и сеять и без худобы мне хоть полезай в петлю. Тебе обратно приспичило с меня долг заполучить, и ни на какие уговоры ты не поддался, не тронули твою душу ни мои слова, ни слезы моей жинки, ни плач малых деток. И после того я три года убирал за те ж самые долги твой хлеб, пас твоих овец. А с империалистической возвернулся домой в ранах, як чекмень в дырках, опять же к тебе в батраки попал, потому что животу глаз не дано, он своего требует и не разбирает, есть у кого шо в амбаре чи там хоть шаром покати. Правда, вскорости пришла советская власть, вызволила меня из батраков, наделила по закону землю, подсобила конем, а тут, на мою беду, голодное время — и обратно мне пришлось к тебе в долги залезать, за них коня лишиться. Вот и выходит, Ларион Степаныч, что мотал ты меня всю жизнь клубком да вязал узлом як бог на душу положит. А теперь як зубов не стало, так и орехов привезли. Шось не пойму я доброты твоей, не серчай, а в разум свой не могу взять такой твоей милости...

Хоруженко давно уже согнал с лица напускное радушие, стоял,

насупив кустистые брови, жестко сцепив челюсти, но Мирошка Чумака ничего этого не замечал. Он был весь во власти собственного красноречия, радовался в душе неожиданной своей смелости и уже не мог остановиться, не мог не высказать всей той болезненной горечи, которая капля за каплей накапливалась долгие годы на сердце и довела в конце концов до тупого ко всему окружающему безразличия.

— Это ж надо, а! Ну, наголо, начисто ты меня разорил, нечего с меня, бедного да старого, взять, а ты и тут нашелся,— попыхивая трубкой, продолжал Мирошка Чумака.— Ты парубка, что ко мне в зятя набивался, и того у дочки моей отнял, их любовь порушил, души их сапогами растоптал. А зачем тебе такой зять? Тебе ж родниться треба с такими богатыми, як сам, а он сирота несчастная, ни кола ни двора своего, ни матери, ни батьки, шоб на путь истинный направить. Чую, неспроста ты такое затеял, и не больно тебе самому такая свадьба в радость, другое шось у тебя на уме. И не надо мне твоей пшеницы, ослобони ты меня от своей милости заради бога, деньгами душу не купишь, а чекмень, сапоги та кубанку нехай уж твой новый зять носит, туды ему и дорога...

И без того уже давно кипевший негодованием Хоруженко при последних словах Мирошки Чумака налился от бычьей шеи до стриженной макушки прихлынувшей кровью — она разошлась по лицу полыхающими пятнами, затопила белки глаз. Губы его свело судорогой, перекосило на сторону, и он повернулся к старому казаку спиной, сцепив до онемения затяжелевшие силой пальцы волосатых рук. Немного погодя с трудом, глухо, с хрипотцой выдавил:

— Стало быть, ты от моей помочи отрекаешься?

— Стало быть...

— Ну, гляди...

Не ждал и не гадал Хоруженко, что его доброта будет воспринята Мирошкой Чумаком с такой черной неблагодарностью. Он рассчитывал легко и просто заручиться поддержкой своего земляка, склонить на свадьбе на свою сторону, как и многих таких же, как он, давних своих должников. Но то, что неожиданно ему довелось услышать в ответ на свою доброту от Мирошки Чумака, бедняка из бедняков, которого он не брал и в расчет, спутало карты Хоруженко, наполнило злобой, и он не сразу сумел взять себя в руки. Первым его желанием в пылу нахлынувшей ярости было схватить долговязого гордеца за шиворот и на глазах возвращающихся из «набега» гостей вытолкать со двора на улицу, вышвырнуть, как нашкодившего котенка. И в былые времена случись такое, он так бы и поступил. Однако теперь в его расчет никак не входило наживать себе врагов, ссориться с кем-либо из своих хуторских земляков, терять с ними дружбу, и он нашел в себе силы подавить гнев, несмотря на клокотавшую в нем к Мирошке Чумаку ненависть.

— А не рано, Мирошка Чумака, ты решил мне выказать свои зубы? — с вымученной улыбкой, отводя в сторону из-под навеси бровей тяжелый свой взгляд и снова принимая вид радушного хозяина, вымолвил Хоруженко.— Я ж могу слободно, как возвернутся из-за границы наши казаки, все до одного твои зубы кузнечными клещами повытягнуть! Не прошибиться бы тебе, с кем водить дружбу, к чьему прибавиться берегу...

Мирошка Чумака невольно бросил на залитый солнцем, горевший янтарем заком с семенной пшеницей тоскливый взгляд, не спеша вынул о стоптанный каблук погасшую трубку и, спрятав ее в карман шаровар, поправив на голове, будто перед дальней дорогой, свою старую солдатскую папаху, не пряча усмешки, ответил:

— Загадала телица отелица, да побачила, шо прежде треба стать коровою! Возврутятся чи не возврутятся с чужой стороны, Ларион Степаныч, те, кого ты ожидаешь, а только зубы тебе все одно мне вытягивать не дано, потому как ты сам же меня их лишил. Два передних на низу ты мне на степу выбил, когда я твою батрачку, что от тебя понесла, из-под твоих чеботов выволакивал. Верхний же ряд ты мне пересчитал оглоблей, когда в грозу напужались, понесли, разбили бричку кони. А остальные тож на твоей совести, они в голодный год от цинги высыпались, когда ты за долги подчистую подмел зерно в моем амбаре...— И, горестно вздохнув, старый казак закончил: — Не от добра дерево лыстяшки роняе...

Хоруженко неожиданно обнял Мирошку Чумака за худые мослы плеч, дружески притянул к себе и, не отпуская, весело промолвил:

— За что я тебя уважаю, Мирошка Чумак, так то за твою умную башку, за острый язык! И нечего нам тут друг на дружку шипеть, як двум гусакам. Все, что я тут тебе даровал, оставляю за тобою, как на-думаешь, так и заберешь. Аминь! Я зла на тебя не таю, потому как люблю и уважаю!..

«Целовал ястреб курочку до последнего перышка»,— про себя усмехнувшись, подумал Мирошка Чумак и, пораженный внезапно открывшейся ему истиной, с не присущей ему живостью воскликнул:

— Ларион Степаныч, а ведь ты боисси!..

Хоруженко брезгливо оттолкнул его от себя, нахмурился и, позвякивая ключами, принялся запирать двери амбара.

— Кого это? — спустя некоторое время буркнул он.

— А и меня... нас...

— Ты вроде бы и тверезый, а несешь несусветицу хуже пьяного.

— А чего, я правильно балакаю! Не обошел стороною и тебя страх, наступил и твой черед силу других почуять, а не только свою собственную,— возразил Мирошка Чумак.— Я через тебя и отчества своего лишился, сам его позабыл, с твоей легкой руки пошло — Мирошка Чумак та Мирошка Чумак, будто у меня не как у всех, и отца родного не было, а за тобою и весь хутор стал Мирошкой Чумаком величать, от старого до малого. А теперь, выходит по всему, ты меня боисси...

Внутри у Хоруженко все полыхало огнем, слова Мирошки Чумака попадали в него словно булыжники — они выводили из себя, бесили, туманя голову, но и на этот раз он не дал выхода своему гневу, постарался перевести все на шутку.

— Глянул бы ты, Мирошка Чумак, в зеркало,— сказал он, поднимая глаза на жестяного запорожца на крыше дома.— Ну какой можешь ты вызывать своим видом страх? Долговязый шкелет — вот и вся твоя видимость. Дунь посильнее — и загремишь костями, на части рассыплешься... Тебе вон с моим казаком на крыше и то не справиться...

Мирошка Чумак, прищурившись, поглядел на воинственного запорожца, занесшего над головою кривую саблю, и, ничего не ответив, спустился по ступенькам с помоста амбара на землю, молча побрел к воротам, стороною обходя рассаживавшихся за столы свадебных гостей. Хоруженко хотел было его окликнуть, посадить пировать вместе со всеми, но по тому, как старый казак шагал через двор, ни на кого не глядя, понял, что тот не останется ни за что на свете и нечего на виду у всех его уговаривать,— пускай уходит, он еще о том не раз пожалеет!

Привычно запуская руку в карман шаровар за урюком, Хоруженко снова поднял глаза на жестяного казака на оцинкованной крыше дома и, шутливо ему подмигнув, неторопко, осанисто развернув са-



женные плечи, разлив по сытому лицу добродушную улыбку щедрого хозяина, направился к гостям, которые уже шумной толпой шли ему навстречу с поднятыми над головами стаканами с вином.

### Глава двадцать шестая

Все эти дни Трофим жил как в бреду.

Его ни днем, ни ночью не покидало странное чувство — словно все, что происходило с ним и вокруг него, было не настоящим, а привидевшимся и что он вот-вот очнется и тогда, как прежде, очутится в хате для работников на своем дощатом топчане и соломенном тюфяке. И с той минуты его жизнь опять потечет по прежнему руслу, хотя и однообразная, но зато привычная, от зари до зари в нелегком крестьянском труде, по которому, хотел он того или нет, а уже сами собою тосковали его руки. Праздность не была его уделом с раннего детства и потому начала тяготить почти с первых дней свадьбы, и он с нетерпением ждал ее конца, чтобы с головой уйти в дела и домашние заботы, почувствовать себя хозяином.

Самое мучительное для него время наступало под конец дня, когда расходились гости и дом погружался в тишину. Из ночи в ночь повторялось одно и то же. Проводив последних гостей, он и Клавдия поднимались на второй этаж в девичью светелку, превращенную теперь в спальню молодых, пожелав перед этим Хоруженко спокойной ночи.

Стоило им остаться одним, закрыть за собою на ключ — по требованию Клавдии — дверь, как она тут же, не говоря ни слова, в темноте порывисто бросалась к нему, прижималась головой к его груди и замирала, разгоряченно и часто дыша, с трудом переводя дыхание. Трофим даже через атлас малинового бешмета чувствовал, как пылали ее охваченные румянцем щеки, а горячие пальцы, сцепленные на его шее, казалось, чуть ли не до пузырей обжигали кожу. И несмотря на это, ее всю, от плеч до скрытых юбкой коленей, била мелкая, как под косым ветром речная зыбь, дрожь.

Он ни в первую ночь, ни в последующие ничем не отвечал на ее ласку, стоял с безвольно опущенными руками, терпеливо, молча пережидая ее порыв, и она, горестно вздохнув, в конце концов от него отходила, принималась, то и дело оглядываясь, стелить постель. На пуховую перину, возвышавшуюся горой на пружинном матрасе, ложилась белоснежная льняная простыня, падали взбитые до невесомости подушки, опускалось шелковое, в цветном пододеяльнике ватное одеяло — от всего этого веяло свежестью, чистотой, тонким запахом каких-то духов. Трофим прежде не мог бы и предположить, что на свете кто-то может спать в подобной постели, к которой ему боязно было даже подходить.

Он, бесшумно ступая по ковру мягкими ичигами, словно боясь нарушить глухой покой погруженного в сон дома, проходил к раскрытому окну, опускался на венский гнутый стул с плетеными сиденьем и спинкой, доставал из кармана подаренный Клавдией расшитый бисером кисет. Нарочито медленно сворачивая козью ножку, он напряженный до предела, готовый в любую минуту отозваться на ее упреки, покорно снести вспышку ее лютого гнева. В душе он был ей благодарен за то, что она не пожаловалась до сих пор на него отцу, не разрушила свадьбу, не выгнала незадачливого жениха из своей спальни. Но он ничего не мог с собою поделать — ложиться с нею в одну постель было выше его сил, и он как мог оттягивал каждую ночь эту тяжкую для него обязанность, придумывая все новые и новые отговорки.

Сидя у раскрытого окна, затягиваясь горьким самосадам, он наперед, по первой ночи, знал, как будет вести себя Клавдия, что станет делать, покончив с постелью, какие слова ему доведется от нее услышать, когда она уляжется, погасив керосиновую лампу. Каждую ночь происходило одно и то же, и Трофим, тяжело переживая свое состояние, испытывая все больший страх, ждал какого-то чуда.

Покрыв постель одеялом, Клавдия бросала на Трофима обеспокоенный, полный участливого сочувствия и неугасимой ласки взгляд и, ничуть его не стыдясь, не испытывая ни малейшей неловкости, раздевалась у него на виду. Телешом, стараясь не припадать на укороченную ногу и потому ставя ее на носок, она проходила к большому трюмо, распускала свои длинные, до колен, пшеничного отлива волосы и начинала их расчесывать трескучим гребешком, зажав губами шпильки. Потом она заплетала косы, перебрасывала их за спину, швыряла на полочку у трюмо тренькавшие шпильки, выдвигала ящик комода и доставала ночную сорочку из тончайшего просвечивающего батиста. Накинув ее на голову, она поднимала к потолку руки, и сорочка сама неслышно соскальзывала по телу вниз, касаясь подолом крашенных досок пола.

У Клавдии белая, не тронутая загаром кожа, широкие бедра и узкая, почти осиная талия, большие, торчащие по-козьи в стороны груди, мягко округленные плечи и глубокая, с залегшей тенью, от точеной шеи до пояса ложбинка вдоль прямой, шелковисто отливавшей спины. Но Трофим ничего этого не замечал. Его взгляд неумолимо, как назло, тянуло к ее короткой ноге, к побитому оспой и густо напудренному лицу, и он всякий раз при этом испытывал отталкивающее чувство, то самое, что охватывало его и прежде, когда ему доводилось во дворе встречаться лицом к лицу по какому-либо делу с хозяйской дочкой. Но тогда она была ему чужой, ее природные недостатки его не касались, он не был ее законным мужем, и потому у него не было никакого повода о них думать.

С каждой ночью он убеждался, что никогда и ни за что не сможет побороть своего неприязненного чувства, не сможет смириться с ее уродством, и это порождало в нем, кроме всего прочего, необъяснимую к Клавдии ненависть, ожесточало, словно во всем, что с ним происходило, была виновата только она одна. Страх потерять из-за нее свое счастье, утратить привалившее хозяйство, доводил его до бешенства. Он порою был готов броситься на нее с кулаками, и лишь вбитая ему за долгие годы Хоруженко рабская покорность удерживала его в гневе — ему ничего другого не оставалось, как смиренно нести свой крест, изворачиваться и лгать, лгать и изворачиваться, молить бога о какой-то не ясной ему самой милости.

Дунув в стекло лампы, прошлепав босыми ногами к кровати, Клавдия укладывалась в постель, и едва затихал в тишине погруженной во мрак комнаты сухой бельевой шорох, как тут же раздавался ее затаенный шепот:

— Ложись, Трофим, мне тут одной холодно... иди же...

Фраза у нее складывалась по-семейному спокойная и по-домашнему уютная, даже, пожалуй, была и нежной, как будто они уже прожили вместе целую жизнь в мире и согласии и только и знали что угождали друг другу, предугадывая желания, а не провели несколько ночей как чужие, спина к спине, так и не познав начала медового месяца. Всякий раз эти ее простые слова, хотя Трофим и ждал их, заставляли его все-таки вздрагивать, невольно втягивать голову в плечи.

— Спи, Клавдия, спи,— отзывался он, глубоко вдыхая в себя махорочный дым,— я покурю малость... Голова шось кругом идет, обратно перепил, должно быть...

— Будет тебе представляться, иди ложись...  
 — Говорю ж тебе, хворый я... все одно не усну... перепил...  
 — Завтра совсем не пей.  
 — Я бы и радый, а гости? Кажный норовит со мною выпить, обижаются, если отказываюсь. А теперь вот голова трещит — сил нету...  
 — Утром всем накажу, пусть не спаивают, сама за всеми следить стану.

— И давно бы так, только благодарен буду.  
 — Что мне с твоей благодарности, ею плоть не усладишь,— вздыхала Клавдия, шумно потягиваясь в темноте.— Чует мое сердце, не в том твоя хворь, ты об Пашке все думаешь, во сне ее именем бредишь, с нею и ночью и днем твоя душа. И зачем тогда сватался, если не мила я тебе, для чего весь обман этот? Скажи, ну чего тебе недостает, я на все готовая, на любое дело пойду, что хочешь для тебя сделаю ради того, чтобы только мы с тобою жили счастливо, в любви и довольствии, ни в чем не нуждались. Разве она тебе могла дать то, что я,— при бедности какое ж счастье? Забудь ты ее, выкинь из головы, не мучай себя — и вся твоя хворь пройдет. Ты ж у нас тут хозяином будешь, после отца тебе все достанется, он уже старый, не вечно ж ему жить. Мы всем богатством владеть с тобою станем до конца своих дней, еще пуще разбогатеем, на зависть всему хутору. За тобою слово, я ж перед твоими очами вся на виду, ни в чем не кроюсь, вся твоя. Ты чуешь меня, Трофим?

— Не растравляй ты, Клавдия, себя понапрасну, спи,— неохотно отзывался он, сворачивая новую сигарку,— перепил я, и все тут, а ты бог знает что выдумываешь, терпения в тебе нету. Куды ж я теперь от тебя денусь — в церкви ж с тобою венчаные...

Она умолкала, лежала затаясь, лишь временами горестно вздыхая. В окно заглядывал месяц, светил сквозь тюлевые, колышущие ветром занавески в угол, где стояла двуспальная кровать, и Трофим видел, как сверкали в зыбких сумерках гневом глаза Клавдии, устремленные на него, как беспокойно перекладывала она с места на место поверх одеяла полные белые руки и как высоко ходили под ночной сорочкой темневшие сосками сквозь батист груди.

Все это уже было — и упреки, и уговоры, и вздохи, и сверканье в свете месяца глаз,— и Трофим успел ко всему этому привыкнуть, наперед предугадывая и ее слова и ее поведение при разговоре. Из ночи в ночь повторялось одно и то же. И он, сидя у распахнутого окна, терпеливо ждал, пока Клавдия наконец уснет, и курил сигарку за сигаркой, хотя и без того уже давно его от махорки подташнивало, полынной горечью до сухоты был обметан весь рот.

Едва Клавдия засыпала — он догадывался о том по ее ровному дыханию,— как Трофим тут же поднимался со стула, крадучись пробирался к двери, осторожно прикрывал ее наглухо за собою, спускался по крутой лестнице вниз, обмирая при малейшем скрипе ступенек, и, прошмыгнув на цыпочках мимо спальни Хоруженко, выходил на крыльцо. Тут он, несмотря на то, что его никто в такой поздний час не мог видеть, весь преображался: старательно поправлял на себе просторную ему одежду, подтягивал голенища ичигов, разворачивал плечи, выпячивал грудь, горделиво вскидывал голову и засовывал руки за черкесский ремешок с костяным набором. Казалось, он даже раздавался в ширину и становился выше ростом, чем-то отдаленно напоминая своего теперешнего тестя — недоставало только, пожалуй, одних вислых запорожских усов да еще, быть может, взгляда исподлобья. Для него наступали сладостные часы — он чувствовал себя хозяином невиданного богатства и один, в ночи, среди заставленного столами и заваленного бочками двора, был беспредельно счастлив.

Хутор окутывала тишина. Ни шороха, ни звука. Тополя застыло подпирали вершинами тяжелое от звезд небо, сквозь их голые ветви ярко светил месяц — на беленой хате батраков была видна каждая царапина. Пахло опавшей листвой терпко, сильно, запах этот не мог перебить даже бражный дух пустых винных бочек, потому что это было само дыхание наступившей осени. В такую пору, какими бы ни выпали жаркими дни, к ночи всегда становилось свежо, крыши сырели, и к утру, перед восходом солнца, их прихватывал седоватый иней. Но при свете месяца крыши и в полночь казались покрытыми инеем, и от них, как и перед рассветом, чудилось, тянуло влажной прохладой.

Трофим доставал из-за пазухи тяжелую связку ключей на отполированном годами до блеска стальном кольце и, без вина хмелея, с замиравшим в предчувствии всего его ожидавшего сердцем окидывал взглядом обнесенный высоким забором двор.

— Мое! Все мое! Мое! — беззвучно, одними губами шептал он, спускаясь с крыльца.

Из будки, зевая, потягиваясь на вытянутых вперед лапах, выбирался лохматый волкодав, подходил, гремя цепью, к Трофиму, покорно лизал его руки. Сопровождаемый псом, звеневшим по проволоке кольца, Трофим и пускался в обход хозяйства, встречи с которым с нетерпением, томясь, ожидал весь день.

Ключи ему каждый вечер вручал сам Хоруженко, при этом он постоянно произносил одну и ту же фразу: «Ты помоложе, им до утра у тебя будет понадежнее...» — и она всякий раз трогала Трофима до слез. Он приписывал слова Хоруженко его к нему расположению, доверию и честолюбиво этим гордился. Где ж ему было знать, что на самом деле думал его бывший хозяин, вручая по вечерам связку ключей? Нет, ничего не делал Хоруженко просто так, ради кого-либо другого, не имея в том для себя никакой выгоды! И вовсе не в сохранности тут было дело. Хорошо понимая ту силу, которой обладает над каждым смертным связка ключей, он с первых же дней постарался дать ее почувствовать и Трофиму. Хоруженко ничуть и ни на минуту не сомневался, что тот не устоит перед непреодолимым соблазном тайно воспользоваться ключами, не сможет удержаться от того, чтобы не открыть каждый замок на амбарах и дворовых пристройках и не осмотреть, не потрогать руками, не взвесить на глаз и не оценить в деньгах все, что в них хранится, ощутив хозяйскую над накопленным добром власть. Что ж — куда он денется! — пусть открывает, пусть смотрит, пусть трогает, пусть, наконец, взвешивает и оценивает — он, подобно тем немногим счастливым, кому доводилось в жизни испытать и пережить подобное до него, станет, как и они, рабом простой связки ключей, навеки отдаст им свою душу, сделается их верным стражем. А это как раз именно то, что было нужно Хоруженко в такое тревожное для него время.

Пробираясь между расставленных по всему двору голых столов, Трофим всякий раз переживал чувство горечи и досады к ненужному, по его мнению — излишнему, расточительству, связанному со свадьбой. В нем уже давно жила присущая бедности бережливость, теперь она, как на дрожжах, переросла в скупость, ненасытную жадность, и он никак не мог примириться с ненужными, как он полагал, затратами. Устроенный в его же с Клавдией честь богатый пир он считал безумием, хозяйской блажью, бессмысленным и нелепым хвастовством.

Еще в самом начале свадьбы, сидя в красном углу с молодой женой за праздничным столом, он мысленно пересчитал всех гостей в доме и во дворе, прикинул в уме, во сколько обходится каждый день еда и питье, затем то и другое перемножил и ужаснулся — сумма показа-

лась ему настолько невероятной, что он уже ни о чем другом не мог больше думать, и его стало тяготить застолье. Постепенно овладевшая им скупость обратилась в скрытую к гостям неприязнь, а вскоре сменилась болезненным негодованием — он смотрел на каждого участника свадьбы как на своего заклятого врага, который только о том и помышляет, чтобы его разорить, пустить с сумою по миру, лишить привалившего счастья.

С фонарем «летучая мышь» в руках Трофим обходил все амбары, подолгу задерживаясь в каждом, тщательно обследуя все углы, все закрома. Он не раз в них бывал и прежде, когда в жатву засыпал зерно или вез его на мельницу, когда сваливал мешки с мукой или, наоборот, сносил их на подводу перед отправкой на базар. Но тогда при этом всегда присутствовал сам Хоруженко, и вид полных амбаров не вызывал в душе Трофима какого-либо чувства — он выполнял работу, и только. Теперь же он на все смотрел другими глазами, смотрел как на свое собственное, и его распирало от радости. При виде несметного богатства, которое должно было неминуемо перейти в его руки, у него голова шла кругом, тревожно и сладко замирало сердце.

С детства привязанный к животным, Трофим особое чувство переживал по ночам в кошаре, коровнике и конюшне. Он не уставал пересчитывать овец, сбивавшихся при его появлении в кучу и прятавших друг другу под брюхо головы так, что казалось, будто по полу кошары передвигалось шерстяное облако; с наслаждением запускал в их теплые шубы пальцы, оглаживал и взвешивал на ладонях тяжелые курдюки. В коровнике, где пахло парным молоком и душистым сеном, он, подняв над головой фонарь, оглядывал со всех сторон породистых холмогорок, присаживался на корточки, обследовал у каждой вымя — не потрескались ли у какой-либо коровы соски? — отцеживал на пробу себе в горсть тугие струи молока. Но дольше всего задерживался он в конюшне, к которой особо лежало его сердце еще с давних времен. Именно здесь, в конюшне, где, отфыркиваясь, хрумкали овсом три пары коней и сонно пережевывали жвачку, лежа на полу, две пары волов, Трофим в полной мере ощущал себя хозяином, сознавая, что судьба подобно волне взметнула его на высокий гребень, на котором он должен был во что бы то ни стало удержаться, если не имел желания снова попасть в хату батраков. Скорее всего он задерживался в конюшне дольше, чем где-либо в другом месте, еще и потому, что именно здесь, в пропитанном крутым запахом конского пота и ременной упряжи, всегда теплом воздухе ему, как ни странно, дышалось как нигде легко, свободно и он мог провести какое-то время за привычным и любимым занятием, по которому скучали его руки. Но была в том и еще одна немаловажная причина: в конюшне, в первую же ночь тайного ее посещения, когда Трофим, подоткнув за пояс полы чекменя, скребницей и щеткой перечистил — хотя в том и не было нужды, так как днем это сделал уже новый батрак, — с особой тщательностью всех коней, к нему вместе с чувством власти над несметным, как ему казалось, богатством пришло и сознание своей за это добро ответственности. И тогда-то, стоя посреди конюшни, у столба под фонарем, он и дал себе клятву свято оберегать хозяйство, стоять за него насмерть, бороться, если будет нужно, не щадя ни сил, ни жизни, до последней капли крови.

Всякий раз, возвращаясь после обхода перед рассветом в дом, Трофим запрокидывал голову и подолгу устремлял глаза на гребень оцинкованной крыши. Там на фоне блекло светящегося к утру неба четко вырисовывался силуэт воинственного запорожца с занесенной над головой саблей. Самодовольная улыбка раздвигала широко губы Трофима. Всего несколько дней тому назад, когда он предстал пред очи свое-

го хозяина в ожидании расплаты за загубленного жеребчика, тот же самый железный запорожец на крыше дома казался непримиримым недругом, угрожал, как чудилось тогда Трофиму, ему с высоты неба своей кривой саблей. Теперь же из недруга он волей-неволей превратился в сообщника, готов был, похоже, сорваться с крыши навстречу новому хозяину и всем своим грозным видом как бы говорил: «Не тревожься за добро, Трофим, я всегда начеку, всегда на страже!» И Трофим, расчувствованно глядя на него, думал в ответ: «Кончится свадьба, заберусь на крышу и выкрашу тебя, запорожец, свежей масляной краской. Ты, я вижу, мой верный друг!..»

Обычно, не встретив за все время пребывания во дворе ни единой души, хотя и дом и хата батраков были полны заночевавших людей — сморенные за день кто хлопотами, а кто вином, приезжие гости, нанятые на дни свадьбы работники и стряпухи спали мертвецким сном, — Трофим поднимался на крыльцо и, окинув на прощанье еще раз хозяйским взором все вокруг, осторожно приоткрывал входную дверь, уже заранее становясь на цыпочки и затаивая дыхание. Но в последнюю ночь его одиночество было нарушено.

Едва он, выйдя из дома, глубоко вздохнул, расправил плечи, выпятил грудь и засунул за черкесский ремешок руки, как волкодав, ощетилившись, вместо того чтобы направиться ему навстречу, с лаем бросился к воротам, загремев по проволоке кольцом. Около ворот пес взметнулся кверху, встал на задние лапы и, порываясь вперед, захлебнулся в яростном хрипе от душившего его ошейника.

Досадливо поморщившись, Трофим, то и дело оглядываясь на дом, подошел к калитке, прислонил к окованному железом доскам ухо.

— Кто там? — спросил он, вслушиваясь.

— Открой, Трофим, я это, твой родич, дядько, — донесся из-за забора шепот.

— Чего тебе, дядя, по ночам не спится?

— Дело у меня до тебя...

— Ну говори.

— Открой же, я ж не грабить пришел — ни ножа у меня, ни топора... Третью ночь тебя тут караюлю...

Трофим отодвинул засов, протиснулся в узкую щель за ворота, плотно притворив за собой калитку.

— Ну, чего надо? — спросил он, хмуро окидывая взглядом латаный зипун, старые валенки со стоптанными глубокими галошами и облезлую дырявую кубанку ночного гостя.

— За помощью я до тебя, не откажи, ты ж теперь хозяином стал, всего у тебя в достатке...

— Ты чего это, чужое считать пришел? — недовольно перебил родственника Трофим. — Дело говори.

— Небось, надежду имею, ты не забыл, как на моем дворе малолеткой жил, когда отец с матерью твои в голодное время померли? Не чужим же в нашей хате рос, мы тебя от своих родных не отделяли...

— Не задарма ваш хлеб ел: я гусей пас, коровник со свинарником чистил, младшее дите нянчил, — буркнул Трофим.

— Так я ж, видит бог, ничем тебя и не попрекаю, я к слову балакаю. Не у родича помочи найти, так у кого ж еще? — смуглившись, проговорил родственник, снизу вверх с мольбой глядя на Трофима. — И обратно ж, я не задарма прошу, всего-навсего до нового урожая одолжить, и всего-то мешка три-четыре. Вам ничего стоять не будет, а нам от голодной смерти уйтить, зиму прокормиться...

— Пшеницы просишь?

— Ее самой...

— А чего до меня идешь, а не до хозяина? — спросил Трофим и,

вспомнив, что и он теперь тут не батрак, поправился: — Не до Хоруженки?

Ночной проситель безнадежно махнул рукой и, переступив с ноги на ногу, продолжая с надеждой смотреть Трофиму в глаза, вздохнул с хрипом в прокуренных легких.

— Боюсь я ему на очи показываться — я ж у него весь в долгах, как болотный бес в тине, — упавшим голосом ответил он. — Он велит мне старый долг отдать, а чем я его буду отдавать, когда мой посев по весне весь начисто черная буря вымела? С макухи на лебеду перебиваемся, закрома чуть не языком вылизали. Ты не подмогнешь, так мое положение такое: вешай каждому едоку через плечо суму та и отправляйся по хуторам и станицам куски собирать...

— Чего торопишься с сумою? Работники в каждом справном хозяйстве требуются, только пожелай...

Родственник вскинул голову — даже в темноте было видно, какой меловой бледностью налилось его худое, обросшее щетиной лицо.

— Это ты мне по-родственному советуешь бросить свое хозяйство, в батраки идти? — озлобленно спросил он. — Может, ты возьмешь?

— Потребуешься, могу взять и я...

Они долго молчали, не глядя друг на друга. Трофим ждал, что родственник уйдет, но тот продолжал стоять на месте, переминаясь с ноги на ногу, все еще, должно быть, на что-то надеясь.

— Так ждешь мне от тебя помощи? — наконец спросил он безнадежным и потерянным голосом.

Трофим пожал плечами.

— Чудак ты, дядя, где ж я тебе наберусь пшеницы? — равнодушно сказал он. — У Хоруженки у самого ничего не осталось. — И неожиданно сам поверив в правоту своих слов, уже увереннее произнес: — Ему ж налогами не дают дышать, все забрали, та и хлебозаготовщики все амбары обшарили — под метелку вымели, закрома пустые стоят...

— Не шуткуй, Трофим, не до того мне, разве ж ты не бачишь мое унижение? — перебил его родственник. — Не чужие мы с тобою, век заставишь бога молить за тебя, не в петлю ж мне шею свою подставлять! От бедности никто не заговоренный, несчастье с каждым может быть, жизнь гладко никому не дано прожить. Чего ты надулся, як индюк, размягчись сердцем, войди в сострадание, я ж не заради Иисуса Христа прошу, уберу в том году урожай — с процентами отдам. Ты теперь тут тоже хозяином стал, какой-никакой, а вес имеешь, уговори Хоруженку — пусть дасть...

Трофиму где-то в душе было и жаль родственника, и он готов был помочь ему всем, чем бы только смог. И прежде он так бы и поступил, но теперь, когда стал хозяином, он во всем, сам того не подозревая, стремился подражать Хоруженке. А из последних бесед с ним Трофим усвоил, что не следует ни к кому допускать в свою душу жалость, если хочешь на этом свете, где человек человеку волк, выжить, заставить живущих рядом с тобою людей бояться тебя и уважать. И потому, слушая своего родича, он старался пропускать его слова мимо ушей, напряженно думал: «Им покажи только свою слабость, потом от них не отобьешься — все станут просить. Родственники слетаются на богатство, как мотыльки на свет. Кого и в глаза не видал в жизни, тоже родичем объявится! Я своими руками всего добивался, ни у кого помощи не просил, ни от кого ничего не ждал. Одному уступи, другому, а потом и сам не заметишь, как все разорят. Все люди завистники, один другого потопить норовит, чтобы самому наверху плавать, и нечего их жалеть, тебя никто не пожалеет...»

— Я ж тебе, дядя, говорю, что пусто у нас в амбарах, а ты свое твердишь, — сказал Трофим, отступив назад и налегая плечом на ка-

литку.— Было бы можно, разве ж я б тебе не помог? Сам голодать бы стал, а твоей семье последнее отдал, ты меня сколь годов знаешь. О просьбе твоей не забуду, как только смогу ее исполнить, так сам тебя найду. А пока прощай, меня жинка дожидается...

— Выходит, отказуешь? — с горькой безнадежностью спросил родственник, нахлобучивая на голову облезлую кубанку.

— Не откажусь, а не из чего помочь...

— Ну ладно, нехай будет по-твоему! — криво усмехнувшись, неожиданно твердым голосом вымолвил родственник.— То мне наука, треба было слухать Мирошку Чумака, увещал он меня не ходить до вашего двора, не связываться с тобою, а иттить до сельсовета, писаться в колхоз да сообща из нужды выбиваться. А я ему не поверил, думал, ты еще не растерял совесть, не забыл моего дсбра. И забудь ты, шо я туточки стоял, не треба мне от тебя ничего, бо, бачу, ты швыдко в кулачю шкуру залез, хуже самого своего хозяина ксплотатором станешь...

Трофим насупился, досадливо повел плечом и, не дослушав, захлопнул за собой калитку, припер ее изнутри широкой спиной. И лишь когда на улице стихли шаркающие шаги, он облегченно вздохнул, опустил нахмуренные брови и неторопливо, глядя в землю, направился к дому. Хотя он и не испытывал какого-либо, даже самого малого, угрызения совести, ночь, как ему подумалось, была приходом родственника испорчена — у него пропало всякое желание пускаться в обход своего хозяйства. Однако не хотелось ему и возвращаться в спальню к Клавдии, и он решил посидеть на крыльце дома, выкурить в тишине сигарку, поразмышлять вдвоем с повисшим над двором месяцем о своей судьбе.

Но и этому его желанию тоже не суждено было сбыться.

## Глава двадцать седьмая

Еще издавлекa он увидал на крыльце, залитом лунным светом, белое пятно, а через несколько шагов уже смог различить и грузную фигуру своего недавнего хозяина, а теперь волею судьбы — тестя. Хоруженко сидел на верхней ступеньке в одном исподнем, в самодельных постолах на босу ногу, но в неизменной своей белоснежной папахе, будто в ней только что и спал. Не спуская с Трофима глаз, он пятерней почесывал в прорези распаханного ворота нижней сорочки волосатую, с проседью, облитую жирком грудь.

— На кого там брехал кобель? — спросил он, поднимаясь на крыльце во весь свой могучий рост и по привычке засовывая руки за поясок подштанников.

— Родич являлся... дядько мой,— неохотно глядя в сторону, отозвался Трофим.

— Чего ему?

— Пшеницы просил, не уродило у него...

— Знаю,— перебил Хоруженко.— А ты что?

— Пояснил, что у нас у самих нету, он же нам и без того задолжался,— с легким сердцем ответил Трофим, в душе ожидая от тестя похвалы.

— Ну и олух,— хмурясь, проронил Хоруженко.— Что ж с того, что он должный? Родичей почитать треба, надо було дать ему пшеницы, раз он просит, свадьбу ж справляем, я добрый! А ты себя дурнем выказал — чи ты в жизни ничего не смыслишь, чи тебе женитьба памороки забила. Завтра ж чуть свет запряжешь коней и отвезешь ему пять чувалов та пригласишь на свадьбу, чего ж он с нами не гуляет? Чуешь?



— Так я рази ж против...

— Еще не хватало, чтоб ты был против! А ты чего це одетый, неча на парад собрался, чи ще и не ложился? — спросил неожиданно Хоруженко, лукаво прищурившись.

— Сна чего-сь нету...

Незлобивая усмешка тронула усы Хоруженко. Он пригладил их тыльной стороной ладони и с напускным сокрушением покачал головой.

— Выходит, ты и тут олух! Кто ж от молодой жинки ночью по двору шастает? Одни тилько дурни. Та ты не хмурься, то я тебе не в обиду, то я шуткую. Иди спи...

Трофим боком, отводя глаза в сторону, молча прошел мимо тестя в дом, поднялся, осторожно ступая на цыпочках, на второй этаж. Но и здесь этой незадавшейся ночью его подкарауливала новая неожиданность.

Стоило ему затаив дыхание приоткрыть дверь в спальню, как у него все внутри оборвалось... Клавдия, которую он надеялся застать, как обычно, спящей, стояла в одной сорочке у окна, с рассыпавшимися по плечам волосами, скрестив на груди оголенные до локтей руки.

Ее всю из-за спины высвечивал через окно месяц, и тень от нее протянулась до самого порога, головой набега на носки ичигов Трофима. И волосы и длинная, до самого пола, сорочка Клавдии по краю светились белоснежным ореолом, делая ее похожей на только что вышедшую из заросшего осокой пруда русалку, таинственную и недоступную. И Трофим невольно залюбовался ею, на какое-то время забыв о неминуемом объяснении. Потому-то он и невольно вздрогнул, когда в комнате раздался вкрадчивый, ничего доброго не предвещавший голос Клавдии.

— Куда ж это тебя, муженек мой коханный, со двора носило? — спросила она.

Трофим попытался улыбнуться, развел руками:

— Никуда. Я от дома не отлучался...

— Небось до Пашки бегал, думаешь, я не знаю, что ты каждую ночь до рассвету пропадаешь?..

— Да что ты, Клаша, на самом-то деле догадки разные строишь, нигде я не был,— вымолвил Трофим, опускаясь у порога на стул и принимаясь стаскивать с ног ичиги.— На приступках, если хочешь знать, я сидел, махорку курил на свежем ветре...

Клавдия прошлепала босыми ногами к кровати, но ложиться не стала, а уселась на подушках, обхватив руками обтянутые сорочкой колени. Она теперь находилась в тени, и Трофим, которому в лицо светил месяц, различал ее от порога с трудом. Он швырнул снятые ичиги в угол, прошел, мягко ступая по ковру, к окну и облокотился на подоконник.

За окном раскинулась чудная ночь — в такую только бы и обходить свое хозяйство! Она для ранней поры осени была на хуторе не дивом, но эта, сегодняшняя, настолько выдалась теплой, светлой и тихой, как будто нарочно хотела вывести Трофима из себя, пронять до самых печенок. Она намертво сморила все живое, погрузила в глубокий и безмятежный сон. Ничто не нарушало полноты тишины. Ни на улице, ни во дворах ни единого шороха, ни единого звука. На хуторе хозяйничали одни только запахи: то наплывет издалека, с плавней, прелый душок камыша, то заполнит все окрест стойкий аромат сена, то повеет со степи терпким настоєм чернозема...

— Думала, все образуется, в твою болезнь поверила, ждала, когда она у тебя пройдет... когда ты мужскую силу себе возвернешь, а теперь, вижу, напрасны мои надежды! — раздался за спиной Трофима

голос Клавдии, в котором было больше боли, чем упрека.— Измаялась, извелась я вся, в груди печет, будто там рана какая, весь свет не мил. И ничего хорошего мне от тебя ждать нечего, не судьба, видать, нам с тобою вместе счастье себе добывать, порознь наши дороги идут. Хочешь не хочешь, а к одному концу причаливать надо. Начисто загубил ты веру мою в мечту светлую, над святым девичьим чувством надругался, душу иссушил — ввек ей теперь не отмякнуть, а за что? Чем я тебя обидела, что ты со мною так? Мне-то и того счастья надобно было всего самую малость, я как милостыню у тебя его просила, от стыда провалиться бы мне сквозь землю еще тогда, там, в конюшне, надо было. Мне мечталось, как и всем, жить с любимым человеком, чтобы и меня любил, детей от него иметь, матерью стать — такое никому не заказано, у каждого на небе своя звезда горит. Кто ж тебя неволил свататься, раз не любя я тебе, для чего было моей руки у отца добиваться?

Теплая лунная ночь и простые, душевные слова Клавдии неожиданно растрогали Трофима, растопили непонятную ему и самому к ней ожесточенность, и он, в душе ее пожалев, готов был пересилить, чего бы это ему ни стоило, физическую свою неприязнь, подойти к кровати, сесть, обнять жену за плечи, привлечь к себе и утешить. И он уже было себя к этому совсем подготовил и даже повернулся к ней лицом с виноватой улыбкой на губах, готовый сделать первый шаг, но Клавдия не поняла его душевного состояния. Молчание Трофима, его поворот лицом к ней она расценила по-своему.

— Ступай, ступай к своей Пашке, я тебя не держу! — выкрикнула она, встрепенувшись и сбросив с кровати ноги.— Сгинь отсюда, чтоб очи мои тебя не бачили! Я зараз спущусь к батьке, нехай кончает гулянку — видеть никого не хочу, знать не желаю! А ты ступай, ноги чтоб твоей больше на нашем дворе не было!

Трофим обомлел. Страх утратить в одно мгновение все, с чем он уже успел за эти дни свыкнуться, сковал его, будто железными обручами, по рукам и ногам. Он даже не в силах был пошевелиться и одеревенело стоял перед Клавдией, уставившись на нее расширенными, полными ужаса глазами. Нижняя его челюсть отвисла, а побелевшие губы свело болезненной судорогой.

Он очнулся лишь тогда, когда Клавдия нашарила под кроватью ночные с меховой оторочкой чуваки и, сунув в них ноги, направилась, прихрамывая, к двери. Трофим метнулся за ней следом, встал, раскинув руки, на ее пути, с трудом справляясь с перехватившей горло спазмой.

— Ты что, Клашенька, ты что, зачем, разве так сразу можно? — не слыша самого себя, с трудом прошептал он.— Сядь, охолонь, сгоряча ты на меня понапралину возводишь, бог знает что выдумываешь, разве ж я перед тобою в чем виноватый? Хочешь — перед иконами перекрещусь, хочешь — перед тобою на колени встану, шоб мне провалиться на этом месте. Хоть и не моя воля была свататься, а все одно, раз мы в церкви венчанные, я тебе верным мужем буду, ни в каком грехе ты меня не уличишь, по гроб жизни с тобою одной...

— Не твоя, а чья ж была на то воля? — перебила его Клавдия.

— Чи ты не знаешь? Ларион Степаныч такое порешили...

— И ты на то дал свое согласие?

— А что мне оставалось, сама посуди...

Клавдия вскинула голову, волной колыхнув по плечам и спине распущенные густые волосы, прошлась, подбоченясь, по лунной дорожке к окну, не обращая внимания на хромоту, и рукой отстранила в сторону тюлевую занавеску. В спальне стало еще светлее, на стену упал отраженный от трюмо радужный зайчик, на комод заиграли

гранями флаконы с духами и одеколоном, круглые склянки мазей. Месяц, белесо ступшевая вокруг себя звезды, висел над самым окном. Его яркий свет пронизывал насквозь батистовую ночную сорочку Клавдии, темным контуром обрисовывая ее точеную фигуру.

— Ну,— холодно сказала она,— что ж мне с тобою делать, муженек законный? Выходит, не я была тебе нужна, а мое приданое, на богатство прельстился, хозяином захотел стать! Мое ты теперь чадо, со всеми своими потрохами мое! Хочу — казнь, хочу — помилую! Сам на то пошел!

У Трофима все поплыло перед глазами, ноги его подкашивались, и он, не в силах стоять, приprostился на край стула у порога.

— Я ни в чем перед тобою, Клаша, не грешный,— глухо произнес он.— Никому не дано права человека за его прошлую любовь казнить, он за то отвечать не должен. Не можешь и ты за то на меня гневаться, мы перед одним богом в церкви стояли..

— Могут! — в сердцах выкрикнула Клавдия.— А тебе кто давал право над моим чувством надсмехаться? Мне теперь все над тобою делать можно, раз ты стал моею собственностью! Мое хозяйство, и мне над тобою властвовать положено. И я тебе наказываю: выкинь Пашку из головы, напрочь забудь — и всей твоей хвори наступит конец и моим мучениям! Не послушаешь доброго совета — пеняй на себя, с меня хватит, вконец измаял..

Хорохорилась Клавдия, кричала первое, что приходило на ум, а в душе ясно сознавала всю пустоту, всю никчемность своих слов: разве можно заставить любить приказом? Нет, не о такой любви она мечтала, не таким предстал перед нею образ суженого, не такого счастья ждала она от своего замужества. И потому-то, выплеснув всю накипевшую на сердце горечь, она опустошенно вздохнула и, с презрением, даже почти с брезгливостью взглянув на Трофима, вернулась к кровати, улеглась под одеяло лицом к стенке.

И не прошло минуты, как тишину спальни разорвал болезненный вскрик, а за ним вскоре послышалось и глухое, в подушку, рыдание. Трофим испуганно вскинул голову, рванулся было с места, чтобы пересест на кровать, попытаться Клавдию успокоить, но внезапно ощутил, как от чужого горя у него самого стало на душе на удивление спокойно. И он остался сидеть на стуле у порога, вертя в руках кيسет с табаком,— ему хотелось курить, но он побоялся еще большего гнева Клавдии.

Вглядываясь в дымчатые сумерки спальни — месяц уже успел от окна уплыть в сторону,— откуда доносилось теперь одно только всхлипывание, Трофим старался вызвать в себе чувство сострадания к Клавдии, пытался подобрать для нее ласковые слова, однако то ощущение покоя, которое пришло к нему с ее слезами, вытесняло все другие порывы души, оставляло ко всему безразличным.

— Не думай, не по тебе плачу, себя оплакиваю,— внезапно проговорила Клавдия, приглушенно вздохнув.

Голос ее прозвучал в тишине спальни холодно и отрешенно. Она отбросила в сторону одеяло, поднялась с постели и босиком направилась к Трофиму. Он решил, что она сейчас кинется к нему на шею, как в первую свадебную ночь или в другие, последующие, когда они оставались в спальне одни. Но Клавдия прошла мимо него словно мимо пустого места, даже не повернув в его сторону гордо запрокинутой головы. Она лишь обдала его приторной смесью духов и пудры, опахнула струей ветра, поднятого подолом ее ночной сорочки, и вышла, хлопнув дверью..

## Глава двадцать восьмая

Того же, что было дальше, он уже знать не мог.

А Клавдия между тем без стука вошла в спальню Хоруженко, остановилась у порога, прислонившись спиной к крашенной белилами двери, сторожко вслушиваясь в сонную тишину. Постепенно уняв волнение, она уже было собралась кашлянуть, но ее опередил бодрый ворчливый голос Хоруженко.

— И что вам, лешим, не спится, то один, то другой по хате бродит, неначе заблукались и друг дружку шукаете, — вымолвил он, поднимаясь и спуская с кровати босые ноги. — Тот мне во всей одеже встрелся, эта перед мои очи чуть не телешом заявилась...

Оттолкнувшись спиной от двери, Клавдия подошла к отцу, опустилась у его ног на волчью шкуру, молча подняла на него тоскующие, мокрые от слез глаза.

— И у вас тоже бессонница, видать, совесть все-таки мучает, — после продолжительного молчания сказала она, водя ладонью против жесткой волчьей шерсти. — Она кого не загрызет...

Хоруженко насупил брови, потянулся к тарелке с урюком на ночном столике у кровати, но свалил рукавом нижней рубахи на пол медную кружку с квасом и досадливо чертыхнулся.

— Тебе, Клавдия, дурная кровь вдарила в голову? — поднимая с пола пустую кружку, урюком спросил он. — Ты что такое балакаешь?

— Будто не знаете?

— Знал бы, так не пытал, ступай выпись...

— Не прикидывайтесь, батя, мне ж все стало известно, — упрямо отозвалась Клавдия, в душе сама дивясь тому холодному спокойствию и равнодушию, которые внезапно овладели ею. У нее неожиданно пропало желание жаловаться на Трофима, и она невесть отчего вдруг заговорила о себе как о посторонней: — И жениха ей сыскали — вы, и в церкви обвенчали — вы, и свадьбу на весь хутор закатали — вы, а про то вам и неведомо, что сколь ночей они вместе спят, а она какой в спальню поднялась, такой и перед вами сидит... — И помолчав, с каким-то опустошенным отчаянием, но не жалуясь, а будто размышляя наедине сама с собою, продолжала: — Не любит он меня, у него Пашка на уме, и руки он моей у вас не просил, то вы его силком на мне оженили, а для какой надобности — я и в разум не возьму, одна ж я у вас на свете осталась: мать нашу вы раньше сроку своим характером свели в могилу, Петруся за непокорность чуть не голого со двора прогнали, Илья на чужбине свой век доживает — никого у вас, окромя меня, нету, за что ж вы со мною так? Но дальше подчиняться вашей воле я не стану, хоть убейте, хоть в землю живой закопайте — не стану, я тоже тут хозяйка, наследница ваша, и молчать больше не буду!..

Хоруженко не сводил с дочери суровевшего с каждым ее словом тяжелого взгляда, в раздумье пропуская сквозь кулак свои вислые усы. Его молчание, раздувавшиеся ноздри, легкое подергивание уголков губ ничего доброго Клавдии не сулили, но она ничего этого не замечала. Ее собственная боль, ее душевное страдание были настолько горячими и горькими, что она, занятая собою, утратила способность что-либо чувствовать и воспринимать, кроме них, — те слова, которые она произносила, распяляли ее, ожесточая сердце, со все большей и большей силой, и от них, как ей казалось, становилось на душе покойнее.

— Что ж вы надо мною так надругались, ведь вы же любили меня, ласкою не обходили, хотя и попрекали когда-никогда, что я на духи да на мази всякие страчиваюсь? — продолжала она. — Так для чего ж вы меня на позор перед всем хутором выставили? Неужто вы и греха

не бойтесь, перед богом же я в церкви со свечкой в руках стояла, все угодники святые свидетели в вашем поганом деле. Мне от такой свадьбы волком выть хочется, оскалить зубы и на всех кидаться, неначе я бешеная...

Вымолвив последние слова, Клавдия в изнеможении уронила на грудь голову, закрыла лицо руками и, качнувшись из стороны в сторону, с надрывом, по-старушечьи, на высокой ноте заголосила на весь дом. Однако она тут же смолкла, точно вмиг выбившись из сил, и тупо уставилась в одну точку, в оскаленную волчью пасть, всхлипывая и раскачиваясь взад-вперед, как китайский болванчик, что стоял на комоде в ее спальне,— давний подарок отца, привезенный из новороссийского порта, куда он в былые годы, до революции, отгонял вагоны со своей отборной кубанской пшеницей-гарновкой. И не волчья зубы расстеленной у кровати шкуры, а именно этот болванчик стоял в эту минуту непонятно почему перед глазами Клавдии, когда она теперь сидела, ссутулившись, у ног Хоруженко.

— Эх, Клавдия, Клавдия, кровинушка ты моя, мне бы твои заботы,— нарушил наконец молчание Хоруженко, опуская на ее плечо руку.— Что за печаль — не любит? Прикажу — и полюбит, а только понапрасну убиваешься, ты бога молить должна, что какой была, такой и осталась, что девичья честь при тебе, дочка. Времена, к тому все идет, скоро переменятся, и выпадет нам судьба новую тебе свадьбу сыграть, по нашему роду и жених найдется, не чета нынешнему. Не убивайся и прости ты своего старого батьку, он ради твоего же счастья на обман пошел — ведь добром на такую свадьбу ты согласишься бы не дала. И Христом-богом тебя прошу, не рушь веселья, нехай гуляють, потерпи трошки, самую что ни на есть малость нам в лишениях ходить осталось. Вскинется вся Кубань, за нею поднимутся и другие края, придут из-за границы нам на подмогу наши славные казаки-рубачи, возвратятся с ними до родного куреня и Илья, встанет за святую правду вся земля — и большевикам от расплаты не уйти. Всех до одного порубаем в капусту, дымом прах пустим по ветру! Мы рабочему классу, по-ихнему г е г е м о н у, ни хлеба, ни мяса, ни масла, ни другого всякого не дали, по всем местам базары пустые стоят, с голоду коли городские не повымрут, если не поднимутся вместе с нами против советской власти, так все одно под острою шашкою жизни лишатся. У кого хлеб — у того и сила! Мы ще побачимо, кто кого. И выкинь ты, Клавдия, из мозгов дурь, не стоит он твоих слез, твое счастье не за горами, будет у тебя настоящий муж, будут и дети, будет и богатство...

Хоруженко расчувствовался от своих же круживших голову слов, еще крепче при этом сам уверовал в то, о чем говорил, и со слезами на глазах хотел было уже раскинуть руки, захлопать ими по бокам, как петух крыльями, напоминая дочери об их обоюдной детской забаве. Он готов был звонко прокукарекать, подхватить Клавдию на руки и весело закружить ее по спальне, но она в ту минуту внезапно вскрикнула, вцепилась обеими руками в горло, будто удерживая готовое снова прорваться рыдание, и, взглянув на отца загоревшимися в бешенстве глазами, прямая, вытянутая как струна, твердо поднялась с пола.

— Господи, где ж твои очи, что ж ты молчишь, господи?! — воскликнула Клавдия, отнимая от горла руки и вскидывая их вверх.— Услышь ты мою сиротскую молитву, хоть ты встань на защиту моей поруганной молодости, одна я на всем белом свете осталась, помоги мне, господи, за себя постоять, сними с души грех, если он есть, ведь против отца решила идти, против воли его и желания...

— Опомнись, Клавдия, не гневи бога,— сказал Хоруженко.

Она вздрогнула от его голоса как от удара, повернулась к нему всем своим сильным телом и широко, властно расставила на ковре мус-

кулистые босые ноги. Голова ее с рассыпавшимися по плечам волосами по-отцовски сбычилась, нависшие брови скрыли под собою горящие глаза.

— Не желаю, чуετε, не желаю я никакой свадьбы, нечего зазря мое добро страчивать, хозяйство разорять, мне еще жить надо, молодая ведь! — заледеневшим голосом вымолвила она. — И нехай все ваши гости катятся ко всем чертям свинячьим, пропади они все пропадом, видеть их не могу! А коли желаете гулять свадьбу, так женитесь на своей Ефросинье, думаете, я не знаю, сколь уж годов вы с нею в плавнях путаетесь... И мать-покойница знала, только она молчала, боялась, а я не боюсь — мой страх кончился, вы его сами в могилу закопали. Сама теперь я буду себе хозяйка!

— Умолкни, Клавдия, не испытывай моего терпения, убью, ты ж меня знаешь, арапником засеку, — сдавленно прохрипел Хоруженко. — Не доводи до греха, хоть ты... дочь же ты мне...

Клавдия внезапно расхохоталась невеселым деланным смехом и, уперев руки в бока, наклонившись, приблизила к Хоруженко лицо, издав отца запахом духов и пудры.

— Только попробуйте тронуть, я криком весь хутор на ноги подниму, — оборвав смех, вымолвила она.

— Ты чего хочешь? — спросил Хоруженко.

— Отделиться от вас...

— Я и сам про то думаю.

— Вы думаете, а я уже решила и знать ничего не желаю. Вам помирать скоро, вы свое отжили, а у меня весь век впереди, настала пора мне в руки свою судьбу брать. Не бойтесь, я от вас все что надо переняла, не хуже хозяйкой буду, раз вы сотворили меня по своему облику и подобию. И не мешайте мне, не становитесь на моем пути, а то я могу такое сотворить — вам и во сне не снилось...

И не дав Хоруженко опомниться, собраться с мыслями, Клавдия круто повернулась и твердыми шагами, высоко подняв голову, вышла из спальни. В тишине дома проскрипели ступеньки лестницы, ведущей вверх, в девичью светелку, и все стихло. В установившемся покое через закрытые двери донеслись приглушенные голоса, но и они вскоре растаяли в тишине дома.

С уходом Клавдии Хоруженко долго сидел неподвижно на кровати, задумавшись, медленно обгрызая с косточки сладкую мякоть урюка. В душе его не было к Клавдии ни обиды, ни злости, ни неприязни — ничего не поделаешь, так оно на свете, по-видимому, и должно быть: выросла дочка, его кровинушка, его наследница, его смена, а он за хозяйскими заботами и не заметил, как и когда такое произошло. В его глазах, как у всякого родителя, она все еще оставалась ребенком, и его власть над нею, опять же как у всякого родителя, ему представлялась неограниченной. А на поверку вышло совсем иное, видно, давно уже она твердо встала на ноги, давно обрела хозяйскую жилку, и то, что он услышал от нее, только подтверждало его заблуждение, его оплошность. Так стоит ли ему огорчаться, таить на нее обиду? Не он ли сам, потеряв сыновей, готовил ее в хозяйки, намерен был на старости со спокойным сердцем передать все им нажитое в ее молодые руки?..

## Глава двадцать девятая

В плавнях кубанского Приазовья осень неустойчива, как и ранняя весна. То вдруг надолго задастся хорошая, ну прямо-таки курортная погода, а то сплошь и рядом за день туман, солнце, дождь, мокрый снег, ветер, изморось или град сменят друг друга такое количество

раз, что любого казака могут свободно, будь ему хоть сто лет, к вечеру сбить с толку — в чем ему выходить из хаты на улицу? Поздний гуляка, перед тем как отправиться к куму в гости, чтобы пропустить за разговором стакан-другой виноградного вина из запотелой — только что из погреба! — четверти, непременно задумается, выглядывая в окно и почесывая затылок: «И шо ж оно мени одягнуть?» У казачек такого вопроса, само собою, возникнуть не может. Казачке что: сунула у порога босые ноги в старые чеботы с обрезанными напопочину голенищами, накинула на голову шерстяную шаль — и к соседке за хлебной закваской, спичками, синькой или солью. А казаку дело другое, ему надо прежде подумать: «Цэ дило треба разжуваты!» Оттого, быть может — кто знает? — и переняли в свое время запорожцы у чеченцев их одежду, ступив на черноморские земли и оттеснив законных хозяев к горам. Удобные бурка, башлык, черкеска, бешмет, папаха или кубанка — на любую погоду! И на войне годятся, и в гости сходить, и на базаре в воскресенье покрасоваться — всюду к месту.

После нескольких ясных, теплых дней и лунных ночей над хутором снова нависли тучи, опять развезло дороги, дни стали пасмурными, а ночи дождливыми и до того темными, что даже у самых что ни на есть хозяйственных казачек беленые стены хат под нахлобученными камышовыми или соломенными крышами и в двух шагах казались прохожему черными, как сама ненастная осенняя ночь. Стой около них хоть час, хоть три и сколько ни пяль свои зоркие, вровень орлиным, глаза, а окошек тебе нипочем и ни за что не разглядеть — они в крошечном мраке сливаются со стенами вровень, стушевываются начисто, словно их и вовсе нет на белом свете, — и ты невольно удивишься таким чудесам! Да что там окна — трубы печные в подобные ночи и то, бывает, не сразу отыщешь на фоне заволоченного хмарами неба, не говоря уж о воротах и калитках в плетнях и заборах на грешной земле.

Однако как бы там ни было, как бы небо ни хмурилось и ни проливалось то ливнем, то сыпучим дождем, то схожей с влажной пылью изморосью, а оставленное погожим временем на хуторе тепло все еще держалось стойко, и это всегда служило добрым предзнаменованием: пройдет день, другой, от силы третий — и снова, даст бог, за ночь распогодится, снова с утра взойдет по-прежнему горячее солнце, и тогда после наскучившего унылого ненастья все вокруг покажется тебе особенно светлым, ярким, радостным и дорогим твоему сердцу. Нет, где бы там, кто бы там и что бы там ни говорил, а капризная кубанская осень имеет свои неповторимые прелести, взять, к примеру, ну, ту же самую постоянную смену погоды — и в нее ведь, думается, природа вложила какой-то особый, глубокий и скрытый смысл...

Журба и Рогачев приходили в эти дни из дома в сельсовет еще задолго до рассвета, чтобы в спокойной и тихой обстановке позаниматься своими делами. Едва же светало, как сельсовет битком набивался хуторскими активистами, приводившими с собою с каждым днем все больше и больше своих соседей. Тесное помещение наполнялось гулом голосов и таким напластованным синим махорочным дымом самокруток, что хоть вешай топор, — на табличку «Не курить» над председателем столом никто не обращал и внимания, как, впрочем, и он сам, председатель, давно на это махнувший рукой — все равно бесполезно было что-нибудь говорить. На дворе стояла слякоть, и земляной пол не успевал за ночь просохнуть от чавкающей под ногами грязи, нанесенной со всех концов хутора. Народу день ото дня все прибывало, сельсовет всех вместить не мог, и тогда казаки и казачки стали приходиться со своими табуретками и скамейками, осадой располагались вокруг

спиленной акации — ее не занимали, оставляли для Журбы и Рогачева. Тут митинговали до глубокой ночи — беседовали, спорили, доказывали, окутанные клубами махорочного дыма, до хрипоты один перед другим выкладывая каждый свою правоту.

Журба, как правило, когда они с Рогачевым в темноте подходили к сельсовету, тут же отправлялся в сарай, седлал скакуна и уезжал в степь на джигитовку. Возвращался он весь — от сапог до заломленной на затылок кубанки — усеянный мокрыми горошинками налипшего чернозема, с раскрасневшимся на ветру лицом. Вбегал в сельсовет он разгоряченный, с маху вешал бурку у порога на гвоздь и, не находя сразу выхода бурлившей в нем энергии, принимался метаться из угла в угол, потирая настуженные, красные, как лапы у гуся, руки с болтающей на запястье плеткой...

Так бывало по уграм, на рассвете. А поздно ночью?..

Рогачев уже привык, что, когда они за полночь, хлюпя в темноте по лужам, возвращались из сельсовета домой усталые и голодные, но довольные проведенным успешно днем, Журба тут же, как и в первую ночь, приносил с улицы охалку камыша, хвороста или ведро кукурузных кочерыжек, а то и подсолнуховой шелухи, разжигал печку и садился, не снимая бурки, перед раскрытой дверцей на корточках. Хату к их приходу всегда успевало выдуть начисто, в ней было холодно и сыро, и Рогачев, как только печка, полыхая огнем, начинала гудеть, ставил на плиту чайник, подсаживался с табуреткой к теплу поближе, засовывал в духовку озябшие ноги. От голода у него к ночи, как правило, сосало под ложечкой, холод сковывал, как казалось, намертво все внутренности, и ему невольно в такие минуты постоянно вспоминались стекловарочные печи, у которых он сейчас с удовольствием бы прогрелся.

Постепенно оттаивая в тепле и душой и телом, он незаметно для самого себя погружался в раздумье о своей жизни, и в хате надолго устанавливалась тишина. Первым ее всегда нарушал Журба. Сидя перед печкой на корточках, он время от времени ворошил кочергой пылающий камыш, как всегда задумчиво глядя на оживающий всякий раз при этом огонь. По его вдохновенно-застывшему лицу пробегали то багровые, то желтые, то белые блики, в набухших слезами от печного жара глазах, чудилось, бушевал пожар.

— Вы, может, думаете, будто я не понимаю, отчего мне, а не кому-нибудь другому из хуторян такое доверие, почему именно я был на заботы сельсовета поставлен? — сказал он как-то в одну из ночных бесед у печки. — То ж заслуги отца на меня светят, поскольку он над хутором красный флаг поднял, за него в Тамани от руки белогвардейской контры погиб. А разве я имею право жить не своими заслугами? Их каждый должен перед народом иметь, на то люди и на свет нарождаются — такая во мне уверенность! Прав я? — И, не дожидаясь ответа, сам себе кивнув головой, продолжал: — А знаете, как самого себя воспитывать для борьбы за светлую будущую жизнь трудно, мне бы надо было на десяток годов пораньше народиться, чтобы через закалку гражданской войны пройти, в боях за советскую власть сражаться. Я два раза от деда с бабкой на фронт убежал, только мне не везло, обратно с провожатым, как малолетка, на хутор возвращали. В первый раз я до самого Кочубея добрался, а во второй — в партизанский отряд отца, уже после того, как ему пришлось с сельсоветскими документами в плавни скрыться от беляков, занявших хутор. Завидую я тем, кто в революции участвовал...

Он затих и долго молчаливо смотрел на полыхающее в печке пламя, в котором ему, должно быть, мерещился шелест боевых революционных знамен.



Скорее всего так оно и было — от Рогачева не ускользнуло, как по лицу Журбы промелькнула загадочная мечтательная улыбка. В ней было столько светлой, наивной, открытой чистоты, что она не могла не покориť сердце каждого, кто бы ее ни увидал. И Рогачев, сам того не заметив, тоже улыбнулся словно бы ей в ответ, и эта улыбка тоже, как и у Журбы, продолжительное время не сходила с его изборожденного уже кое-где, а особенно на лбу, ранними морщинами, с несмываемым загаром от стекловарочных печей, ничем особым не примечательного лица — лица рабочего человека.

— Мне, знаете, до какого времени охота дожить? — продолжал Журба, сдвигая на затылок свою серую кубанку и выпуская наружу свалывшийся темный чубчик. — До такого, о котором мне отец рассказывал, когда я забирался еще к нему на колени. И я верю, как и он в то верил, что жизнь такая обязательно наступит, человек человеку никогда и ни за что не причинит зла, потому как прежде всего станет думать не о самом себе, а о своем ближнем, с которым живет в одном свободном от всяких пороков капитализма новом обществе. Помню, отец говорил: «Такое, Василь, может наступить только тогда, когда на нашей земле не станет проклятущей частной собственности, когда ни от кого не услышишь слово «мое», а все будут говорить — «наше», будут жить одной братской семьей». И потому-то моему счастью конца не было, когда началась в нашей стране сплошная коллективизация, — на меня будто живой водой плесканули. Думал я, все колхозу, как я, обрадуются, похороним мы в могиле частную собственность, все у нас станет общее, и заживем мы праведной жизнью, на благо нашей стране. У меня какая мечта? Вступить в колхоз хочу, снять с себя полномочия председателя сельсовета и от зари до темна в степи до седьмого пота работать — пахать, сеять, косить, убирать урожай! У меня любовь к земле, тяга к хлебопашеству с самого детства сидит, весь я тем чувством, как корнями, пророс: оторви меня, чую, от земли — и я тут же усохну вроде ветки сломанной. Разве ж мог я знать наперед, что так все обернется на хуторе, что каждый за свое хозяйство, как кощей бессмертный, уцепится, о колхозе и слышать не захочет? Мне последнее время частная собственность, верите, в виде белой тройки снилась: поднялись будто бы они, все три коня, на дыбки и над моею головою попыта занесли, вот-вот насмерть загубят...

Пружинисто вскочив, Журба прошелся по хате из угла в угол, разминая затекшие ноги, и снова присел у печки, разметав полукружьем позади себя по полу бурку, уставившись на огонь. Рогачев теперь не мог видеть его глаза, но ему казалось, что он их видит: большие, грустные, ушедшие глубоко в себя, с пляшущими язычками отраженного в зрачках пламени. И он, положив на плечо Журбы руку, сказал:

— Будешь еще и пахать, и сеять, и косить...

Журба рывком откинул назад голову, устремив на Рогачева просветленный, по-детски доверчивый взгляд. Из-под приподнявшейся в улыбке его верхней обветренной заячьей губы влажно сверкнули крепкие зубы.

— Вы верите, да? — радостно воскликнул он.

— Я не верю — я уверен, — сказал Рогачев.

— И где вы только раньше были? — отвернувшись, вздохнул Журба и, принимаясь ворошить кочергой в печке раскаленный докрасна камыш, признался: — Легко мне с вами... как за каменной стеною я!..

Неожиданно — опять кончился керосин — погасла лампа. В хате запахло чадом. Она погрузилась в нависший по углам мрак, охвативший Журбу со спины и с боков будто вороньими крыльями. Он, слов-

но бы почувствовав навалившуюся на него темноту, повел под буркой плечами и, подхватив с пола шуршащую охапку камыша, запихнул ее в печку. В хате стало и вовсе черным-черно. Камыш некоторое время, потрескивая, набухал желтым, как сера, дымом, казалось, распирая кирпичную кладку, и наконец выбросил кверху гибкое и веселое пламя, похожее и на самом-то деле на множество маленьких трепещущих красных флажков.

— Я в своей мечте, знаете, каким наш хутор вижу? — глядя на огонь, продолжал Журба, когда печка разгорелась. — Голова от такой мечты кругом идет! Вот и сейчас, только подумал о том, а у самого на глазах уже слезы, будь они неладны...

И он, не сводя с огня задумчивого взгляда, стал рассказывать Рогачеву о будущем своего хутора: как будут обобществлены разрозненные единоличные хозяйства в одно единое, сольются наделы земли в сплошной бескрайний массив и будут перепаханы исконные межи, приносившие немало раздоров и крови, — раскинется такой простор, что не окинешь и глазом. И в степи за хутором поднимутся в рост колхозные поля без конца и края, на них зашумят пшеница, кукуруза, подсолнухи, клещевина, сорго, конопля, гречиха и другие разные культуры. А с годами будут и осушены вокруг плавни и на отвоеванной у камышей земле колхоз станет выращивать, как давно уже советуют ученые-селекционеры, рис — кубанский рис! Встанет крепко на ноги колхоз, появятся у него тракторы, многолемешные плуги, сеялки, молотилки — много, много разных машин, и люди коллективного труда станут выращивать на общей земле невиданные еще до сих пор урожаи. Труд хлебороба делается красивым, радостным и почетным, каждый будет гордиться, что он землепашец! И тогда вместо приземистых хуторских хат под соломенными и камышовыми крышами колхозники построят кирпичные дома, как в городе, с водопроводом и водяным отоплением. Улицы, проулки и площадь перед сельсоветом со временем укроет асфальт, и будет навсегда покончено с непролазной грязью, с не просыхающими ни зимой, ни летом лужами. И вот тогда-то на главной площади — Сельсоветской, так хотелось бы Журбе, чтобы ее назвали! — поднимутся многоэтажные, из бетона и стекла здания школы, больницы, колхозного правления, почты и телеграфа, Дома культуры, детского сада и сельсовета. Через степь пришагают сюда столбы и придет электричество — оно зальет весь хутор ярким светом, в каждый дом вместе с ним войдет телефон и радио. Хорошие дороги надежно соединят хутор со станицами и городами края, со всей страной. А в конце концов подойдет к хутору и железная дорога, и тогда окрестную степь станут оглашать не одни, как теперь, гудки пароходов, но и гудки паровозов...

— И уж вот тогда-то, — продолжал рассказывать Журба, — мы в самом центре хутора построим стальную мачту до неба, выше облаков, и на ней высоко-высоко будет развеваться наш красный флаг! Пусть на него смотрят все народы — смотрят и знают, что под этим флагом живут и трудятся колхозники хутора Прикубань, свободные люди на свободной земле, мирные и добрые, строители нового общества... Ну как, одобряете? — спросил он, умолкнув.

— Чего ж тут не одобрять, все правильно, так оно и будет, — с улыбкой, теплыми глазами глядя на мечтателя и потрепав его по плечу, отозвался Рогачев.

...А в это утро, о котором пойдет рассказ, Журба вернулся с джигитовки взбудораженный как никогда, весь охваченный каким-то порывом. Не снимая по обыкновению бурку, он метнулся к столу, за которым Рогачев еще при свете керосиновой лампы, несмотря на

то, что утро уже осветило окна, читал газеты, и, хлестко стегнув себя по грязным голенищам сапог плеткой, воскликнул:

— А ежели нам взять и прикрыть цю свадьбу? Мы ж тут как-никак власть, так и давайте покажем свою силу! Вот увидите, нарушим гулянку — и враз все явятся до нас на собрание. А так мы будем сидеть и ждать у моря погоды. Чует мое сердце: она, та свадьба, затеяна неспроста. Соглашайтесь, а я зараз организую хлопцев!

— А ты сядешь на коня... — отозвался Рогачев, склоняясь над газетами и пряча невольно тронувшую его губы улыбку.

— Вы чего сказали? — вскинулся Журба.

— Я говорю, ты сядешь на коня и поведешь комсомольцев на приступ свадьбы, как тогда, у церкви.

— Вы обратно про то, я ж повинился...

— Ты, вояка, давай-ка вот что: походи как следует из угла в угол и подумай, пораскинь мозгами, не маленький, сам поймешь что к чему, — твердо вымолвил Рогачев, погружаясь снова в чтение газет. — Тебя все время заносит, больно горяч, поостынь...

Журба покачался взад-вперед на широко расставленных ногах и, усмехнувшись, покрутив головой, рукояткой плетки медленно сдвинул с затылка на брови кубанку.

— И верно... обратно я дал промашку... — внезапно согласился он и, размахивая плеткой, присел на лавку у порога. — Мне бы вашу выдержку да хладнокровие...

В сельсовете стало тихо. С улицы временами проникало завывание ветра — то напористое, наводящее уныние, то с нарастающим, то с постепенно гаснущим грустным свистом. Порою доносился скрип старой шхунной мачты, раздавалось с неба гулкое, напоминающее выстрелы охотничьего ружья в лесу хлопанье полотнища флага. Под напором ветра тонко позванивали в оконной раме натянутые дождевыми потоками стекла, в щели струился стылый, пахнущий мокрой соломой воздух, выдувавший за порог остатки печного тепла.

— Гляжу я на вас, товарищ Рогачев, и никак не могу понять, чего вы кажен день так накидываетесь на газеты? — нарушил молчание Журба. — Было б там для вас чего-нибудь новое, ну, тогда другое дело, а то ж вам все наперед известное! Одно и то ж про троцкистов, про левый, про правый уклоны читаете. А по мне, хоть и не будь про них в газетах ни строчки — я за генеральную линию партии, ее сторонникам только и верю, с ними в огонь и в воду пойду. Ну скажите, чего вы в том интересного находите?

Рогачев оторвал от газеты глаза, исподлобья поглядел на Журбу долгим и задумчивым взглядом и, пожав плечами, какое-то время спустя ответил.

— Боюсь наделать ошибок, — с искренней простотой сказал он. — Я ведь тоже, как и ты, провожу коллективизацию в своей жизни первый раз, и не такое это простое дело — во всем разобратся самому, нужно быть готовым к любой неожиданности, надо постараться предвидеть... — Он помолчал и, улыбнувшись, повторил: — Надо постараться... И не смотри на меня такими глазами, я даю тебе честное слово коммуниста, что и мне не все ясно, что и меня нередко берет сомнение в правоте своих поступков, но я хочу быть во всем уверенным сознательно. Я стараюсь быть бойцом за генеральную линию партии, а не плыть по течению, как какой-нибудь балласт...

Рогачев умолк, и сельсовет снова наполнился свистом ветра, поскрипыванием шхунной мачты и хлопаньем полотнища флага. Ни Журба, ни Рогачев долго не нарушали тишины — каждый из них погружился в раздумье и, казалось, забыл о сидящем напротив собеседнике. Журба думал о словах старшего товарища, а Рогачева память

унесла в недалекое прошлое — к развернувшимся в партии после кончины Владимира Ильича Ленина дискуссиям, навязанным оппозицией. Ему вспомнился лысый, с козлиной бородкой упитанный мужчина на трибуне партийной конференции, бросавший в зал слово за словом, будто увесистые булыжники: «Не трогайте кулака! Упаси вас бог! Не для того мы завоевывали советскую власть, чтобы натравливать один класс на другой. Кулак теперь не тот, что был при царизме, он живет в нашей трудовой семье, болеет нашими интересами, мирно вырастает в социализм. Его хозяйство кормит всех нас, разве хлеб кулака не такой же на вкус, как и хлеб бедняка? Он же кулаком не пахнет! Погубите кулацкое хозяйство — погубите молодое государство, ни бедняки, ни середняки не способны нам дать столько хлеба. Мы должны отнестись к кулаку гуманно, должны не отвергать его, а взять в союзники. У нас в стране с первых дней революции происходит затухание классово-борьбы, и не в наших интересах ее разжигать снова. Я призываю к союзу с кулаком, его сильное хозяйство даст нам возможность быстрее построить социализм, он наполняет наши банки, давайте же и мы поможем ему вырасти в социализм!..»

Неожиданный стук в дверь нарушил думы Рогачева. Вскинув голову, он вопросительно посмотрел на Журбу (обычно никто из посетителей никогда не стучался, в сельсовет заходили запросто, как к себе домой) — кто бы это мог быть в такой ранний час? Журба вскочил с лавки, метнулся к порогу. Однако дверь распахнулась прежде, чем он успел протянуть к ней руку с висевшей на запястье плеткой.

### Глава тридцатая

Дверной проем полностью загородила грузная фигура Хоруженко. Еще на крыльце стащив с коротко остриженной головы свою высокую белоснежную папаху, проведя ее краем по вислым смоляным усам, Хоруженко шагнул в сельсовет, напустил в него холодного воздуха и наполнив скрипом начищенных хромовых сапог, шорохом ладно сидевшей на нем белого сукна черкески с позолоченными газырями и атласными отворотами рукавов.

— Желаю здравствовать, — сказал он, плотно закрывая за собою дверь. — Очень извиняюсь, когда нарушил вашу, может, секретную беседу, но я ненадолго, по личному делу. Дозвольте ж наперед все же вас спытать, по какому такому, можно считать, неразумению вы не приняли моего приглашения на свадьбу, не пожелали поздравить по нашему обычаю жениха да невесту?

Рогачев заметил, как точно порох вспыхнул председатель сельсовета, как гневом зажглись его сузившиеся по-хищному глаза. Постукивая рукояткой плетки по раскрытой ладони, Журба было уже раскрыл рот, собираясь, видно по всему, ответить нежданному посетителю что-то злое, резкое и обидное, но Рогачев его опередил.

— У нас непочатый край работы, нам гулять некогда, — спокойно и даже приветливо произнес он, не сводя с Хоруженко открыто любопытного взгляда: ему впервые довелось видеть так близко того, с кем он за глаза уже боролся на хуторе вторую неделю! — А за приглашение спасибо. Передайте молодым, что мы желаем им в жизни только добра...

Хоруженко, насупив брови, отвел глаза в сторону, тяжело переступил с ноги на ногу и, запустив большие пальцы огромных клешневатых рук за кавказский ремешок с серебряным набором, деловито и неторопливо, будто только затем сюда и пришел, прогнал с живота за спину волнистые складки добротной белой черкески. Лицо его по-

прежнему оставалось непроницаемым, осанка достойной, в каждом движении сквозила уверенность в своем превосходстве, чувствовалось сознание собственной силы, и лишь глаза, которые он тщетно прятал, выдавали вопреки его воле и беспокойство, и неловкость, и озабоченность, и тревогу.

— На нет суда нет, мы на вас обиды не держим,— сказал он, пропуская поочередно сквозь кулак концы по-запорожски вислых усов.— Мы понимаем, дело прежде всего, а гулянка потом. Я до вас тоже не от безделья заявился, забота привела. Ты чего, Журба, на меня уставился, я до тебя как до председателя нашего хуторского сельсовета пришел... за советом... как до представляющего власть...

— Я вас слушаю,— сухо обронил Журба, усаживаясь за свой «письменный» стол, который ему освободил Рогачев.— Сидайте на табуретку и выкладывайте, что у вас до меня имеется. Только по-деловому и покороче, без всяких там экскурсий в прошлое, вы ж такое любите, я за вами замечал...

Хоруженко снисходительно усмехнулся и, опускаясь на предложенную ему табуретку, откинул полу черкески, сунул руку в карман шаровар. Перехватив настороженный взгляд Журбы, он тут же вытащил из кармана полную горсть крупного янтарно светящегося урюка и щедрым жестом, не пряча насмешливой ухмылки, высыпал его на стол, на ворох газет,— несколько штук скатилось на земляной пол, влипло в нанесенную с улицы сапогами грязь, пеструю от шелухи семечек.

— Кушайте, угощайтесь, не побрезгуйте,— предложил Хоруженко и сам первый привычно вбросил под усы свое любимое лакомство.— С самого Ташкента мне кунаки мои присылают эту сушеную фрукту, я погрызу — и вроде бы как покурил... сколь уж годов так...

— Так я вас слушаю,— нетерпеливо повторил Журба, ребром ладони отодвигая на край стола горстку урюка.

Но Хоруженко оставался невозмутимым. Он с явно показным наслаждением неторопливо обгрыз сладкую мякоть, погонял языком за гладко выбритой румяной щекой косточку, так что слышно было ее цоканье о его крепкие еще зубы, и только когда выплюнул обсосанную косточку на ладонь и упрятал ее в карман шаровар, поднял глаза на Журбу. Взгляд его был дружелюбным и ласковым.

— Ну чего ты, Журба, меня подгоняешь, я ж тебе своими посещениями не надоедаю, в кои веки явился,— миролюбиво вымолвил Хоруженко.— Это ты на моем дворе частым гостем со своими комсомольцами да комбедовцами бывал, чуть не под метелку весь хлеб из амбаров вывез и снова самооблогом, как волка флажками, обложил, повестками засыпал...

— А вы хлеб не ховайте, мы и не станем шукать! — вспыхнул Журба.

— То тебе злыдни нашептали, что я его прячу, нету у меня больше хлеба — самому до нового урожая продержаться и всего-то ничего осталось. Я завсегда радый своему государству оказать помощь, где ж ему еще взять хлеба, как не у нас, у справных хозяев? — сказал Хоруженко и вздохнул.— Ну да я не обидами пришел считаться, бог виноватого осудит, а невинного благословит. Надумал я часть моего хозяйства отписать зятю с дочкою, нехай хозяйствуют самостоятельно, нечего им чужою головою жить. А раз выходит такой оборот дела, то, стало быть, надобно по закону все и оформить. Вот я и прошу сельсовет, поскольку ему об моем хозяйстве известно, по всему видать, доподлинно больше, чем мне самому, составить на раздел имущества бумагу. У Трофима сроду ничего своего не имелось, круглым сиротою рос, на моем дворе как за сына почитался...

— Скажете тоже, «за сына»! Самым настоящим батраком он у вас был, а не сыном,— не удержался Журба.— От зари до темна в вашем хозяйстве жилы надрывал, света белого не видел. Вы из него веревки вили как хотели...

Брови у Хоруженко дрогнули, медленно, хмуро сошлись над переносицей. Из-под нависших бровей сверкнули, выплеснув злость, холодные, налитые лютой злобой глаза. Но он тут же овладел собою, провёл папахой, зажатой в кулаке, по усам и с кроткою улыбкой развел руками.

— Так то ж с какой стороны глянуть,— сказал он.— По тебе, Журба, получается, что ежели «за сына», так он должен с печи не слезать, день и ночь спать да с ложкою управляться? А лозунг у нас в государстве для всех, я тебе напомню, один: кто не трудится, тот и не ест! Так-то оно, дорогой мой председатель!.. Ну да чего ж нынче об том толковать, когда он и вовсе в мои зятя вышел. Ничего не поделаешь, облюбовали они с дочкою друг дружку, и не те теперь времена, чтоб родителю своим детям посередь дороги вставать, в их жизнь вмешиваться, против бога грешить. А ежели мне достался зять неимущий, не его в том вина. Иисус Христос наказывал всем чем можешь с ближним делиться, нехай живут на радость себе и людям. Отделю их с самого начала, всем на первое время обеспечу, а там, глядишь, они чего-нибудь наживут и сами, люди молодые — сил им не занимать. Ну, Журба, составим такую бумагу? — неожиданно спросил он в упор, всем туловищем наваливаясь на стол и не спуская глаз с председателя сельсовета.

Журба не нашелся сразу что ответить, стушевался и покраснел. С надеждой на поддержку он взглянул на Рогачева, гревшего у печки ладони, прислонив их к беленым кирпичам кладки, но тот был, казалось, занят своими мыслями и ничего, похоже, не слышал. В сельсовете нависло гнетущее неловкое молчание, которое никто не то не решался, не то не желал нарушить первым. Хоруженко, спиной чувствуя Рогачева, весь обратясь в слух, не сводил глаз с Журбы, а председатель сельсовета сидел насупившись, наморщив лоб, с торчащим над ним темным хохолком и, поставив на стол локти, раздумчиво, время от времени косясь в сторону Рогачева, постукивал по ладони плеткой.

— Та-а-ак... по-ня-тно... — поднимаясь с табуретки и одергивая черкеску, протянул Хоруженко.— Бачу теперь, люди не брешутъ — вы таки промежду себя с гольтьбою хуторскою порешили все мое отобрать, а меня, стало быть, без всего хозяйства на Соловки. Ну, вы власть, на вашей стороне сила, в кармане небось наган, не то шо у меня — урюк та косточки от ёго. А только ж дозвольте спытать, дюже интересно, як вы на такое посмели замахнуться, когда в самой же вашей партии нету по этому вопросу общего согласия? Кто вам двоим тут дал право распоряжаться, с кого потом народ спросит?! Мы ж тоже газеты читаем, перегрызлись вы все в своей партии, Ленина теперь на вас нету... — Он умолк и, откинув полу черкески, не сводя глаз с Журбы, снова медленно опустил в карман шаровар руку.

Журба сидел теперь уже неподвижно, еще ниже склонив над столом голову со сдвинутой на затылок кубанкой, весь вроде бы оцепенев. Но и в том, как он сидел, чуть приподнявшись, словно в седле, и в каждом его окаменевшем мускуле лица угадывались и настороженность, и чуткое напряжение, и расчетливая готовность к любой неожиданности. Он в каждую секунду, похоже, был готов вскинуться, отпрянуть в сторону или броситься через стол вперед на того, кто мог бы посягнуть на его или Рогачева жизнь. В глаза Журбы

назойливо лезли большие черные буквы заголовка на газетной полосе, по которой был рассыпан урюк,— «КОЛХОЗ — МОГИЛЬЩИК КУЛАКА», а он сам напряженно и лихорадочно искал достойный ответ раннему посетителю, но ничего путного, как назло, ему на ум не приходило.

— Ты, Журба, шо ж молчишь, язык заглотиул? Дашь ты мне на раздел хозяйства бумагу, придешь до нас на дележку, чтоб всё было по закону? — наконец нарушил затянувшееся молчание Хоруженко, непроизвольно останавливая глаза на том же самом заголовке статьи, к которому накрепко примагнитился невидящий взгляд Журбы. И стояло ему прочитывать его, как он тут же лишился своего обычного хладнокровия и самообладания, вспыхнул, побагровел и, задыхаясь, брызжа слюною, выкрикнул: — Моги-и-ильщики! Смотрите, люди добрые, они уже по мою душу явились с лопатами! Да вы сами в своих городах передохнете скорее, чем мы! Почуяли, схватились, забегали, хлеба от нас не получили, базары у вас пустые, а будет и хуже, то только начало, голоду вам все одно не миновать, за каждым уже костлявая с косою стоит! Мо-о-о-ги-и-и-льщики-и-и!..

Рогачев оттолкнулся ладонями от печки, подошел к Хоруженко почти вплотную, крепко сцепив за спиною налившиеся тяжестью руки. От его лица отхлынула кровь, но оно не стало бледным, а, наоборот, потемнело до коричневой смуглоты, оттого что загрубелая в жару у стекловарочных печей кожа, казалось, туго — того гляди лопнет — обтянула острые, взбугрившиеся желваки скулы.

— Вот с этого бы вы и начинали, за тем, наверно, сюда и пришли, чтобы нам такое высказать,— подавляя в себе вспышку гнева, едва слышно вымолвил он.— Только зачем же кричать? Все равно запугать нас криком, да и ничем другим не удастся, мы, большевики, народ закаленный. Право же, не стоило вам повышать голос — крик не убеждает...

Нахмутив брови, пряча глаза, Хоруженко вынул из кармана руки, вбросил в рот крупный урюк и медленно задвигал челюстями, оглаживая зажатой в кулаке папачой усы. Он уже, как и Рогачев, успел овладеть собой, вернул себе прежнюю выдержку и теперь всем своим спокойным, умиротворенным видом, как бы извиняясь за свою недавнюю горячность, за выплеснутые в гневе обидные слова, выказывал прежнее дружелюбие и смирение.

— Ладно, пошумляли трохи, та й гóди,— сказал он, ткнув папачой в газетный заголовок.— Такое ж про себя прочитывать — кого ж не заденет? До самой печенки проймет, по жилам тоже ж, как и у всех, кровь, а не сыворотка из-под творага течет. А криком, верно, я с вами согласный, правоты не докажешь...

— Какой правоты?

— Моей.

— Той самой, что вы высказали? Правоты на укрывательство хлеба? Правоты на объявленную рабочему классу войну голодом? Правоты на голодную смерть тружеников, стариков, женщин и детей? Ее, что ли? — резко спросил Рогачев.

— У нас другого оружия, кроме хлеба, нету — ни винтовок, ни наганов, ни пулеметов,— промолвил Хоруженко, разводя руками.— Чем же нам еще бороться за свои права, мы ж не виноватые, шо хорошо хозяйнуем, пула своего не жалеем, шо у нас урожай растут, не то что у лодырей...

— У бедняков, значит?

— А то у кого ж еще? Отчего бедняк — оттого что лодырь... день-деньской на печи с ложкою...

— А отчего кулак? Оттого что эксплуатирует бедняков, наживается на их труде, выжимает из них последние соки — так, что ли?

— То с чьей стороны глянуть...

— Да уж с какой ни смотри! — жестко вымолвил Рогачев, снова отходя к печке и откидываясь на нее спиной. — И оружие у вас есть, вам волю дай — завтра же всю страну кровью залете. Лежит небось припрятанное в разных местах до поры до времени...

— Чего нет, того нет, зачем напраслину возводить? Мы мирным путем желаем до всего договориться, правду свою отстоять, — отозвался Хоруженко, напяливая на голову свою лебяжью папаху. — И мы люди, и у нас дети есть, и нету у нас резону против власти идти, ежели она нас в покое оставит. Мы не против нее, мы против своей гибели восстаем — люди ж живые, на земле какая ни на есть божья тварь вроде козявки, а и та себе смерти не желает...

— В покое мы кулаков не оставим, на это пусть не надеются, — сказал Рогачев, прижимаясь забинтованным затылком к теплой печке. — А за свою жизнь им бояться нечего, никто у них отбирать ее не собирается. Наживаться же на беде других, эксплуатировать трудовой народ мы им больше не позволим. Пусть живут честным трудом, как все, зарабатывают свой кусок хлеба своим потом, как все, — и их никто не тронет даже пальцем. Но вот вы мне ответьте: разве они на это добровольно пойдут? Они нам, советским людям, негласно объявили кровавый террор, и мы уже немало похоронили своих славных товарищей, павших от рук убийц...

— Забалакался я тут у вас, а меня ж, должно, уже дома гости ждут, свадьба ж идет! — перебив Рогачева, спохватился Хоруженко. — Найдете час — заглядывайте на чарку вина, уважьте молодых, а пока прощевайте...

Он покинул сельсовет так же неожиданно, как и пришел, оставив после своего ухода долго не покидавшее ни Рогачева, ни Журбу тягостное напряжение. С улицы теперь снова, когда в сельсовете установилась прежняя тишина, стало доноситься подвывание ветра, еще, казалось, ставшее более тоскливым и заунывным. По-прежнему временами раздавался под окном скрип старой шхунной мачты и хлопало, полоскаясь на ветру, высоко в небе алое полотнище флага.

Рогачев оставался у печки, грея лопатки и затылок, задумчиво глядя на закрывшуюся за Хоруженко дверь, а Журба смел на ладонь с газеты золотистый, отливающий засахаренным медом урюк и выбросил его в окно. Закрыв створки, отряхнув одна о другую руки, он молча вернулся на свое прежнее место и, мрачный, сосредоточенный, с нахмуренным лбом, принялся снова постукивать рукояткой плетки по раскрытой ладони.

— Ты чего это? — не меняя позы и не глядя на Журбу, спросил Рогачев.

— Я ничего...

— Чего, спрашиваю, обиделся на урюк, он же, как и хлеб, кулаком не пахнет, как уверяют партию правые уклонисты... Надо было его сгрызть...

Журба вскинул на Рогачева глаза, не понимая — шутит тот или говорит серьезно? Но все еще не утратившее бледной смуглости окаменевшее лицо Рогачева оставалось непроницаемым, от него, как почудилось Журбе, тянуло стылým холодом, точно оно заледенело. Губы его были упрямо поджаты, а глаза, открытые, честные, умные, пронизательные, взгляд которых с трудом удавалось кому-нибудь выдержать, в том числе и Журбе, хотя и были устремлены куда-то



вдаль, горели ясно, горячо, словно впитали в себя все тепло жарко натопленной печки и теперь его излучали.

— Пожалел? Заронил он таки слезу в твое сердце, разжалобил, как разогретое стекло размягчил,— неожиданно произнес Рогачев, спиной оттолкнувшись от печки и зашагав из угла в угол.— Так что ж ты сидишь, бери под мышку папку, иди дели имущество, проводжай на самостоятельное житье молодых, плоды новых кулаков! Думаешь, урок за окно выбросил, так и от мысли о нем отделаешься? Все равно эта жалость в тебе засела, раз ты ее впустил в свою душу, тут такая профилактика не поможет, не надейся. Пока ты не обрешь классовое чутье, ты не станешь стойким борцом за политику партии, тебя будет заносить то вправо, то влево. А урок что, урок можно было сгрызть и на самом деле, зачем же им брезговать,— закончил Рогачев, с доброй усмешкой останавливаясь около Журбы и кладя ему на плечо руку.

— Меня от одного его вида мутило,— угрюмо отозвался Журба.— Мне кулацкого сроду ничего не надо, я бы в пустыне от жажды помирал, а от кулака бы глотка воды не взял, но что я могу с собою поделывать, если мне всех людей на свете жалко!.. Не по своей же воле человек рождается, не по своей и, к примеру, жадным или подхалимом становится — жизнь из него всякого лепит, условия, окружение людское. А раз так, то неужели мы нашим новым обществом не сможем любого переделать? Неужели постепенно, мирно, добром те же кулаки не вращут в социализм? Ведь власть советская, рабоче-крестьянская! Нас вон сколько, а их... Разве в таком революционном котле не переварятся, неужели не пойдут вместе с нами?..

— Нет, не переварятся,— резко перебил председателя сельсовета Рогачев.— И вступить на такой путь означало бы предать революцию!

Журба вспыхнул, густо покраснел и, неуклюже поднявшись на своих по-кавалерийски кривых ногах, вода по столу рукояткой плетки, потупившись, промолвил дрогнувшим, вдруг осипшим от волнения голосом:

— Да вы чего такого не подумайте, меня огнем пытай — я от генеральной линии нашей партии не отступлюсь, я до самой смерти ее политику буду проводить в жизнь, а за советскую власть, если потребуется, буду сражаться с винтовкою в руках до последней капли крови, как мне завещал мой батько вместе вот с этой буркой и флагом над сельсоветом... А то ж я просто мечтаю, разные себе планы своего государства строю, для одного себя только!.. Потом их сам и отвергаю, как признаю за утопические...

— А я ничего и не думаю,— сказал Рогачев,— я в тебе как в самом себе уверен. Но я хочу, чтобы ты шел не за партией, а шел с партией, в ее рядах — и в первых рядах. Комсомол ты уже по годам перерос — я первым дам тебе рекомендацию, когда ты решишь вступить в партию!

— Спасибо,— растроганно поблагодарил Журба.

Рогачев дружески, ласково потрепал его по плечу и нажимом ладони усадил на прежнее место. Сам опустил на табуретку напротив, поставил на стол локти, подперев руками голову и устремив на Журбу по-прежнему теплившиеся лаской глаза.

— Мне хочется тебе напомнить кое-какие цифры,— душевно, домашнему заговорил он.— Вот ты говоришь: «Нас вон сколько, а их...» А ведь не так-то их мало, если взглянуть по-деловому: один миллион кулацких хозяйств в стране — это шестьсот миллионов пу-

дов зерна, из которых сто тридцать миллионов — товарного хлеба. И это, не надо забывать, в то время, когда бедняцких хозяйств у нас насчитывается восемь с половиною миллионов, а середняцких пятнадцать миллионов. На кулаков работают три миллиона четыреста тысяч батраков. Ну как тебе эти цифры, впечатляют? Одну пятую часть товарного хлеба дают нам кулацкие хозяйства! И что же, мы в своем государстве будем все время зависеть от кулаков, просить у них милостыню — продайте, ради бога, народу хлеба? А если на нас пойдет войною Антанта? Ленин нас учит, что мелкое производство рождает капитализм, буржуазию постоянно, ежегодно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе даже в нашей Советской стране. И что же, мы в своем рабоче-крестьянском государстве будем сидеть и ждать, пока нам мелкая частная собственность не наплодит столько кулаков, что они зальют всю страну кровью и восстановят капитализм? Сейчас у нас уже есть колхозы, появляется все больше и больше совхозов, вместе с бедняцкими и середняцкими хозяйствами они смогут нас обеспечить хлебом — вот почему мы перешли от ограничения кулачества как класса к его ликвидации как класса. Коллективизация ведь началась не потому, что партия решила вдруг ни с того ни с сего создать колхозы, а потому что необходимо было привести производственные отношения к характеру производительных сил. Вот так-то, мой молодой председатель!..

Рогачев встал с табуретки, прошелся из угла в угол, заложив за спину руки, и снова подошел к печке, откинулся на нее спиной, приник к теплу забитованным затылком. Журба не сводил с него глаз. Он с нетерпением ждал, что еще скажет приезжий рабочий — ведь встреча с ним оказалась для молодого председателя сельсовета в глуши затерявшегося в плавнях хутора нежданной-негаданной школой, и он, сразу это поняв, отчетливо сознавая свою удачу, с жадностью, как истомленная засухой земля капли дождя, впитывал в себя каждое его слово. Он даже и в своих мечтах не мог бы и предположить, что судьба будет к нему так милостива — в один и тот же день взамен потерянного друга пошлет ему другого, постарше и поопытнее в жизни, к которому с первого часа доверительно и непостижимо потянется его осиротевшее сердце. И он не только влюбился в Рогачева как в человека мужественного и сильного, которому невольно хотелось подражать, как недавно Рахметову, но и, сам того не замечая, стал перенимать и его манеру говорить, будто взвешивая каждое слово, и его по-рабочему сутуловатую, чуть с наклоном вперед походку, и его умение охотно, терпеливо, заинтересованно выслушать любого собеседника, и его добрую и немного застенчивую улыбку, и.. но об этом, быть может, уже и не стоило говорить, но он втайне даже хотел бы, чтобы его голову, как и голову Рогачева, стягивала марлевая повязка...

— Как ты думаешь, зачем приходил Хоруженко? — спросил Рогачев после долгого молчания.

— Он сам же сказал — делить хозяйство, а там не знаю, — отозвался Журба и, подумав, в свою очередь, спросил: — А вы про то знаете?

— Должен знать, обязан, для того меня сюда и послали, — ответил Рогачев, подкладывая под нагретый затылок ладони. — Дело тут, ясно, не в разделе хозяйства, тут он обошелся бы и без твоего участия, все это... продолжение свадьбы, та же самая цель. Он во что бы то ни стало старается выиграть время — помешать нам провести хуторское собрание бедноты и середняков, не дать организовать колхоз. Вот какую он себе, видно по всему, ставит задачу. И приходил

он в сельсовет в такую рань, наперед зная, что мы одни, что больше никого здесь нет. Ему нужно было прощупать наше настроение, посмотреть нам в глаза, заглянуть в наши души. А знаешь ли ты, на что он надеется, на какие силы рассчитывает, чего ждет с нетерпением? Он надеется на поддержку правой оппозиции в партии, рассчитывает на голод и кулацкие восстания, с нетерпением ждет крестового похода римского папы и вторжения в нашу страну полчищ белогвардейских эмигрантов и, само собою, на нашу с тобою растерянность. Согласен ты со мною или нет?

— Я с вами всегда согласный!

— И мы с тобою не имеем права терять ни минуты, вопрос поставлен круто — кто кого,— продолжал Рогачев.— Мы сидим на пороховой бочке. Или мы соберем собрание, создадим колхоз и вынесем решение ликвидировать на хуторе кулаков, или же... Но не будем опережать события, останемся оптимистами и сохраним присутствие духа. Садись на коня, собирай членов сельсовета, комсомольскую ячейку и бедняцкий актив — начнем обход каждого двора снова. Убеждение в своей правоте — другого оружия у нас с тобою нет, Журба, нет и нет. А враг против нас оскалил зубы жестокий — собственность!

Журба подошел к двери, накинул на плечи бурку, поправил на голове кубанку.

— Так я поскакал,— сказал он, постегивая плеткой по голенищам сапог.

Рогачев пересек комнату, остановился у порога, взял Журбу за жесткие плечи бурки и, с доброй улыбкой глядя ему в глаза, промолвил:

— Вот ты для жалости свою душу открыл, будущее тебя кулаков и их отпрысков тревожит, а что близко твоей судьбы касается, ты сам же упускаешь, мимо него проходишь... Как же понимать такое? Журба вскинул голову.

— Об моем личном зараз не может идти и разговор! — в запальчивости с досадой произнес он и наотмашь, со свистом рассек плеткой воздух.— Вы же ж знаете, я вам про то уже пояснял, как сам отношусь ко всякому тому, шо меня только одного касается! Не время теперь о своем благополучии думать, нету у меня, считаю, на то законного права...

— И думать надо, и право такое дано каждому человеку,— мягко возразил Рогачев, по-отцовски тепло и ласково глядя на Журбу.— У нас с тобою времени должно хватать на все... на все...

— Вы о чем?

— О твоём счастье! Я, поверь, знаю, и не удивляйся, так уж случилось, что узнал,— ты ведь любил Пашу и, по всему видно, любишь ее до сих пор. Так помоги ей, окажись настоящим другом, настоящим мужчиной. У нее будет ребенок от этого... новоявленного кулака, зятя Хоруженко. Ты можешь понять, что у нее на душе? Она никого не хочет видеть, ни с кем не желает говорить, не спит по ночам. Ее родители боятся, как бы она не наложила на себя руки. Я уверен, тебя она выслушает, один ты можешь помочь ей пережить горе...

На обветренные, задубелые щеки Журбы лег неровный румянец. Раскрытые чернявые его брови угрюмо сошлись на переносье, выдавив между двух морщинок, будто птичий коготок, выпуклую горбинку, а в горячих глазах, затуманившихся плывущим дымком, проступила такая непосильная, глухая и давняя душевная боль, что у Рогачева тоскливо сжалось сердце. Журба толкнул плечом бурки дверь и, не проронив ни слова, вышел из сельсовета.

## Глава тридцать первая

Несмотря на все усилия, на невиданную щедрость, на прощение давних долгов и богатые подачи хуторской бедноте, свадьба с уходом Ефросиньи и Мирошки Чумака, угасая, пошла на убыль. И как ни старался Хоруженко вдохнуть в нее первоначальный размах, какими деньгами без сожаления ни разбрасывался, а на пиршество из утра в утро приходило гостей все меньше и меньше — так на глазах мелеет в ущелье река, когда ее перекроет где-то в верховье горный обвал, и так день ото дня угасает безнадежно больной человек, какие бы целебные снадобья он ни принимал..

Почти все гости теперь уже умещались в комнатах хозяйского дома, и, к своему огорчению, Хоруженко насчитывал среди них больше приезжих, зажиточных хозяев из соседних станиц, чем местных, хуторских, от которых, как он понимал, зависела непосредственно его судьба.

Вначале Хоруженко приписывал все переменчивой погоде — то моросил дождь, то светило, припекая, солнце, то снова шел дождь — и старался не обращать на постоянную утрату гостей особого внимания. Идет свадьба — и ладно! А когда спохватился, трезво все обдумал и взвесил, то было уже поздно — двор опустел. Двор опустел, а вестовой с красным флажком по неизвестным причинам все еще не появлялся, не было и известий от верных людей о переходе границы казачьими полками, ничего с недавних пор не стало слышно — из газет — и о крестовом походе Ватикана..

Все больше и больше Хоруженко охватывало отчаяние, а с ним и поселяясь в душе, ожесточая, страх за свое хозяйство с прежней, забытой силой. Вернулась бессонница, еще больше очерствело и без того жестокое сердце. Он стал задумчивым, злым, раздражительным и вспыльчивым. Настроение его то и дело менялось: то он впадал в беспросветную меланхолию и часами по ночам просиживал неподвижно на ступеньках крыльца или под навесом какого-нибудь амбара; то, распаяя себя былыми воспоминаниями, закрывался в модельной комнате с отцом Яковом и, стоя на коленях перед бронзовым распятием, со слезами на глазах принимался исповедоваться в своих земных грехах; то начинал глушить одну рюмку за другой настоянную на стручках красного перца водку и тогда в открытую, никого не стесняясь, жаловался на свою судьбу, проклинал все и всех на свете, грозился кому-то за себя отомстить; то надолго погружался в раздумье, отрешенно сидел среди общего шума за столом, ничего вокруг не замечая, налитыми кровью глазами уставившись в стоявшую перед ним пустую тарелку; то внезапно спохватывался, бежал, расталкивая на пути гостей, в конюшню, накидывал на игреневого иноходца кавказское седло, окованное черненым серебром, и мчался в районный центр к бывшему станичному атаману, всю дорогу горяча скакуна крученной плеткой. Но и там не задерживался долго, возвращался, видно не получив добрых новостей, еще более мрачным, взбудораженным и молчаливым.

И хотя Хоруженко не желал в том признаваться даже самому себе, однако не что иное, как именно отчаяние и привело его в такую рань в сельсовет. Какая-то таинственная сила, накрепко засевавшая в нем, тянула его туда все дни с момента приезда рабочего из города, и он как долго тому ни противился, каких только отговорок сам себе ни придумывал, а в конце концов вынужден был сдаться, ничего не смог с собою поделать.

И, промаявшись как-то без сна всю ночь, невластный над самим собою, он отправился в сельсовет с третьими петухами будто заво-

роженный, почти и сам толком не понимая, для чего это делает. Мысль о разделе хозяйства пришла к нему в самый последний момент, когда он уже стоял на пороге сельсовета и когда у него уже не было ни времени, ни желания ее как следует обдумать.

Не так и не о том, к его искренней досаде, сложился у него разговор с приезжим рабочим, как бы ему хотелось. На душе стало еще сумбурнее, а он ждал от этого посещения, что вернет себе покой. И уже по дороге к дому, шагая серединой пустынной улицы, он, припоминая весь разговор, неожиданно вспомнил, что так и не получил ни от Журбы, ни от Рогачева на свой вопрос ясного ответа, не знал, какая судьба ждет впереди Клавдию и Трофима. И оттого, что это вспомнилось в пути, когда ничего нельзя было изменить и поздно было что-либо выяснять, его сердце охватила тоска.

На церковной колокольне Амвросий зазвонил к заутрени. Над хутором поплыл благодный гул большого колокола, настойчивый и призывный. С плавней дул порывистый, с мелким косым дождем ветер. Он разведал на Хоруженко полы белой черкески, до красноты насекал его лицо, на сторону заносил концы вислых усов. Идти против ветра было трудно, и Хоруженко шагал, опустив на грудь голову, придерживая рукою папаху. Дороги он не разбирал, и вскоре его начищенные сапоги утратили свой зеркальный блеск, а голубые суконные шаровары и низ белой черкески стали мокрыми, покрылись брызгами грязи.

Колокольный звон лез назойливо в уши и наконец заставил Хоруженко обратить на себя внимание, и не только обратить внимание, но и заставил подумать: «А не забрести ли мне в церковь, не помолиться ли для пользы нашего святого дела вместе со всеми прихожанами?» Он уже потерял счет дням и неделям, когда в последний раз стоял у заутрени и, вдыхая курной чад ладана, смиренно сложив на животе руки, весь отдавался ходу церковной службы. С тех пор как Хоруженко отвел от себя в доме одну из комнат под молельню с иконостасом, он почти перестал бывать в церкви, привык молиться один. Но службы церковные, однако, любил по-прежнему, и только заботы последнего времени мешали ему их посещать.

Тяга к церкви у него осталась с малых лет. Но если в ранние годы его влекло в царство икон и свечей чисто детское любопытство, наивная надежда когда-нибудь увидеть в конце концов таинственно-бога, а в юности — как к месту встреч хуторских парубков с набожными хуторскими красавицами, то со временем это переросло в привычку оставаться на какое-то время наедине с самим собою, со своими думами и планами, со своим горем и радостью — со всем тем, что, по его понятию, составляло его сугубо личную жизнь, то есть касалось его одного.

Дни посещения церковных богослужений — от случая к случаю, — когда он простаивал в толпе прихожан всю службу, со временем стали для него такими же необходимыми, как и свидания на сухом островке в плавнях, начавшиеся еще при жизни жены, с вдовой казачкой Ефросиньей. В плавни его тянула, как он считал, потребность ублажить свою плоть, а в церковь — душу, но то и другое стало тем самым, без чего он уже не мог обойтись.

Пребывание на молитве в церкви всякий раз давало ему возможность испытать странное, но томительно-желанное чувство, от которого он, однажды его изведав, был уже не в силах потом отказаться. Стоя среди казаков на мужской половине — казаки в хуторской церкви молились по другую сторону, — вслушиваясь в пение хора на клиросе, в неразборчивое бормотание батюшки, а думая в то же самое время о чем-нибудь своем, его заботившем, он неторопливо,

задерживая порою то на одном, то на другом затуманенный взгляд, обводил глазами расписанные ликами святых сводчатые стены с висящими на них тесно большими и малыми иконами в золотых и серебряных окладах. Потом он переводил взгляд на свисающие с потолка на бронзовых цепях бронзовые паникадила с торчащими по кругу белыми стеариновыми свечами, на крохотные, в разноцветных стеклянных чашах с деревянным маслом огоньки лампад, на начиненные до золотистого блеска медные подсвечники в половину человеческого роста с оплывающими тонкими восковыми свечами, которым не давали гаснуть до конца службы, все время их заменяя, и от пламени которых в церкви становилось все жарче и жарче, и душу его охватывал покой умиротворения, отодвигались и покидали его на какое-то время все земные заботы.

Он переживал в эти короткие минуты такое умиление собственной святостью, своего покорностью, смирением и кротостью перед богом, что его всего охватывало ни с чем не сравнимое состояние — ему казалось, что он, Хоруженко, мужчина в плечах кося сажень, неуклюжий и грузный, постепенно растворялся во всем, что его окружало, как ладан из кадила батюшки в душном воздухе церкви, и будто бы становился невесомым...

После таких томительно-сладостных минут, которые ему доводилось пережить во время церковной службы, ему до следующего моления жилось, как он замечал, покойнее, легче, увереннее и, главное, как он сам говорил, «желаннее». Но это было его маленькой тайной, и о ней он, кроме Ефросиньи, никому и никогда не рассказывал.

Проходя мимо высокой чугунной ограды, Хоруженко замедлил шаги и, подняв глаза на золоченый купол с золоченым ажурным крестом, стянув с головы папаху, перекрестился. Взгляд его скользнул по колокольне, где метался как угорелый среди веревок от больших и малых колоколов звонарь Амвросий, потом по паперти, на которой уже стояли невесть откуда забредавшие на хутор оборванные, в ломотьях нищие, и ему пришли на ум слова отца Якова, оброненные как-то священником при разговоре: «Если нищий стоит на паперти, еще не значит, что он верующий...» Слова припомнились случайно, даже непонятно отчего, а после этого ему совсем неожиданно уже не захотелось заходить в церковь, и он, нахлобучив папаху, прошел мимо, свернул в свой проулок от любопытных глаз подалее — на церковную площадь уже со всех сторон потянулись в черных юбках и жакетах и черных полушалках похожие на обугленные головешки богомольные старухи.

Хоруженко остановился перевести дух только у ворот своего двора. Остановился и неизвестно под тяготением какой силы не мог удержаться, чтобы, перед тем как ударом ладони распахнуть калитку, не взглянуть на флаг у сельсовета.

Красное полотнище растянулось под напором ветра во всю длину и слегка покачивалось на высокой мачте. Оно было мокрым от дождя, а Хоруженко оно показалось пропитанным кровью — по нему нескончаемо бежали волны красных складок. Флаг трепетал и рвался вперед, навстречу наплывавшим из-за плавней тяжелым иссиня-черным тучам, точно воинственный красный всадник навстречу грозной и неминуемой опасности. Он, похоже, дразнил своим горделивым видом, и Хоруженко насупился, помрачнел, отвел в сторону глаза: «Могильщики! Поглядим, кто кого раньше закопает... Найдутся и у нас верные казацкому роду люди, найдутся и винтовки, и пулеметы, и шашки — все лежит смазанное до поры до времени там, где ему положено... не ржавеет... не надейтесь! Никому не будет пощады,

всех, кто пойдет насупротив нас, потопим в крови, острыми саблями позатыкаем глотки. Все мое моим и останется, не видать его антихристам и голытьбе! А случится, отнимете, так я и из могилы встану за ним, годы пройдут — все одно воскресну, все одно не смирюсь, все одно мое себе возверну!..»

Утро было еще ранним, и в доме стояла тишина. Ее нарушало лишь шарканье ног стряпух, снующих из кухни в комнаты и накрывающих столы, да редкое позвякивание посуды. По дому плыл густой запах жареного мяса, чеснока и лука.

Хоруженко прошел к себе в спальню, налил из заветного хрустального графинчика с плавающими в нем перчинами рюмку водки, опрокинул ее одним махом в рот и, закусывая урюком, поднялся по скрипучей деревянной лестнице в светелку дочери. Еще перед дверью на него дохнуло пудрой, духами и какими-то кремами, и он, не переносивший этих запахов, досадливо поморщился и сплюнул. С угрюмой досадой на лице, покривившей его влажные от плевка губы, он и ввалился, громыхая сапогами, в комнату. Вошел и на пороге замер, оторопело вскинув кустистые брови: Клавдия нагишом утпала в пуховой перине, разомленно вытянувшись на льняной простыне, закинув за голову руки.

Она ничуть не смутилась внезапным вторжением отца и даже не шелохнулась, не сделала и малейшей попытки укрыться хотя бы краем откинутаго к стене шелкового одеяла. Она лишь скосила в сторону двери полыхавшие жаром глаза и, слегка прикрыв их длинными ресницами, не сгоняя с раздумянившегося лица блаженной улыбки, вся светясь, казалось, от какой-то ей одной ведомой радости, открыто переполненная счастьем, разочарованно вымолвила:

— А я-то думала, Трофим...

— Ты бы хоть телеса укрыва, бессовестная, раз не тот пришел, для кого ты вся напоказ выставилась,— незлобиво буркнул Хоруженко.

— А кто ж вам, батя, виноватый, что вы в чужую спальню претесь, неначе к своим лошадям в конюшню?! — всколыхнув вздохом высокие груди, мягко, без всякой обиды и все еще продолжая чему-то улыбаться, попрекнула Клавдия.— Глянули б лучше, чем лаяться, в зеркало, вы ж на себе больше пуда грязюки сюда притащили, а тут же как-никак тоже люди живут...

— «Как-никак»...— передразнил Хоруженко и озлился: — А ну прикройся, тебе сказал, а не то плетки схватишь!

Клавдия, по-прежнему веселая и счастливая, нехотя потянула на себя пуховое шелковое одеяло.

— Да нате вам, чего вы взбеленились, будто и неродной... На ваших же очах выросла,— прикрывая ладонью рот и смешливо сверкая глазами, прыснула она.— Тю на вас!..

— Не охальничай, Клавдия, не до твоего мне веселья зараз,— смягчаясь, вымолвил Хоруженко и спросил: — Трофим где?

— У него одна забота — махорку смолить, во дворе небось...

— А у тебя, бачу, дуже богато забот, скоро гости в дом заявятся, а ты телешиом на кровати валяешься.

— Ну и пусть! — отмахнулась Клавдия.— Нажрутса та напьются и без моей помощи, больно я им нужная...

— Ты ж хозяйка как-никак,— сказал Хоруженко с нажимом на последнем слове.— Посовестилась бы о гостях такое балакать, грех людей забижать, они ж тебя уважить приходють...

— А ну их, к...

Клавдия, вскинувшись, уселась на кровати и, под одеялом под-

тянув к подбородку округло взбугрившиеся колени, обхватила их голыми руками.

— Надоели они мне все, мне теперь и без них весело,— задумчиво и тихо промолвила она.— Пускай больше и не приходят...

И в том, как она сидела, положив на колени подбородок — так любят сидеть на постели только дети,— и в том, как произносила без всякой злобы, а тепло и сердечно даже самые, казалось, обидные и злые слова, и в том, как улыбалась и как смотрела скорее в саму себя, чем на то, что ее окружало,— во всем ее облике было что-то новое, трогательное, по-домашнему покойное, чего уже давным-давно за нею не наблюдалось. И у Хоруженко тоскливо заняло в груди, сухо запершило в горле, непрощено затуманило глаза. Ему захотелось, как уже не раз за последние дни в нахлынувшем на него порыве нежности к своей любимой «младшенькой», прокукарекать внезапно хуторским горластым кочетом, похлопать себя по бокам, точно крыльями, и, подхватив ее, как в детстве, на руки, закружить, заливающуюся звонким смехом, по комнате до тех пор, пока она не уронит в изнеможении голову.

Но, как и большинство отцов, он не знал и не понимал своей дочери, а после недавней ночи и вовсе начал относиться к ней настороженно и подозрительно — ему чудилось, что Клавдия стала ему совсем чужой и даже, более того, она его ненавидит. И вот теперь в своей вызывающей позе, в непонятном ему своем душевном состоянии она, казалось, была от него так далеко, была настолько занята какими-то своими загадочными мыслями, что он не решился ее тревожить, а махнул в сердцах рукой и молча направился к двери.

И на самом деле откуда ему, занятому своими тревогами, было знать, сумеет ли увидеть, что Клавдия, его родная дочь, не была к нему за всю их совместную жизнь в одном доме более близкой, чем в это утро, не любила его так горячо и искренне, как сейчас. И все же, словно что-то почувствовав, о чем-то догадавшись, он на пороге задержался и, глядя на дочь через плечо, обронил:

— Ты чего это... такая?

Клавдия вскинула на него задумчивые глаза.

— Какая такая?

— Чумовая! Не то во хмелю, не то чокнутая...

— А больше вы ничего не замечаете?

— Да куда уж больше...

— А то, что счастливая я, не замечаете, про то вам и невдомек?

Хоруженко налег плечом на дверной косяк, исподлобья оглядел дочь холодным пристальным взглядом.

— С чего бы это?

— А с того, что с этой ночи я Трофиму на самом деле женою стала... С того, что он мне в своей любви до гроба на иконе клятву дал, на коленях передо мною ползал... настоящими слезами обливался... И я за ним теперь в огонь и в воду пойду... Он с сегодняшнего дня мой, слышите, мой. Никому и ни за что его не отдам, никакая на свете сила, окромя смерти, нас разлучить не сможет. Пускай свадебные старухи, велите им, пройдут заново по всему хутору с красной сафьяновой подушкой — мне ни чуточки не совестно, я честной была... А мне теперь другой радости не остается, как в любви и согласий ребеночка дожидаться, денно и нощно о том счастье бога молить, он милостив, время подойдет — матерью, как все, стану, вас внуком, казаком, одарю...

Она умолкала, постепенно угасая голосом на последнем слове, и совсем, будто сама себя незаметно убаюкав, замолкла. Но она не спала. Поставив на укрытые одеялом колени округлые локти, Клав-



дия обхватила ладонями пылающие щеки, точно остужая их, и, покачиваясь из стороны в сторону, весело и счастливо улыбаясь, устремила куда-то далеко-далеко увлажненные слезами глаза, до краев наполненные теплом, лаской, светом и любовью ко всему, казалось, что есть на земле.

Хоруженко никогда прежде не доводилось видеть Клавдию такой красивой, нежной, и он, позабыв на какое-то время о своих заботах, невольно ею залюбовался. И тут же в душе простил дочери недавнюю выходку в его спальне, поклялся забыть высказанные ему в запальчивости горькие слова и никогда о них ей не напоминать. Ни к чему носить за пазухой обиду на родное дитя — ты ж его породил, ты выкормил, ты вырастил, ты его и в люди обязан проводить как полагаешь. Как там дальше будет, что уготовит судьба — не тебе знать, а пока твоя родная кровинушка с тобою — ты за все в ответе, с тебя за ее жизнь спрос, и ни с кого другого. Твое чадо, и каким бы оно ни было — оно твой посильный или непосильный, как тебе будет угодно, крест...

И растроганный пришедшими внезапно ему в голову мыслями, Хоруженко отошел от двери, походил с засунутыми за черкесский пояс руки по комнате и грузно, умяв перину, опустился на край кровати у коленей Клавдии с накинутым поверх одеялом. Ни он, ни она не нарушали саму собою установившуюся в светелке тишину — у них был мир, согласие, и им обоим было хорошо, покойно и легко, как давным-давно уже не было. И кто знает, сколько бы времени они просидели вот так в тишине, в молчаливой задумчивости, охваченные внезапно нахлынувшей на них родственной близостью, понимающие, как им в ту минуту казалось, один другого без слов, не раздайся у двора конское ржание, тарыхтение колес тачанок и скрип раскрываемых ворот — начинали съезжаться гости и надо было идти их принимать.

— Эх, Клавдия, Клавдия, ничего-то ты не знаешь, живешь вроде как на островке в зарослях плавней, в самой что ни на есть чертовой глухомани, и пешком до тебя не дойти и на лодке не доплыть, ни тебя постороннему взгляду достать, ни твоему сквозь камыши пробиться, — вздохнув, промолвил Хоруженко, поднимаясь с кровати и расправляя под наборным пояском складки забрызганной грязью белой черкески. — Без понятия ты осталась, не понимаешь, какая смута идет на хуторе — не на жизнь, а на смерть! Очнись, раскрой очи, погляди кругом, нас же с тобою хотят лишить всего мною нажитого, со свету сжить надумали, а ты собралась дитем обзаводиться!.. Ни кола, ни двора, может статься, у нас уже завтра не будет, на Соловки вышлют, а то и за решетку упрячут — у нынешней власти законы писаны не про нас! Не серчай ты на меня, не проклинай, видит бог, я все делал, что было в моих силах, и надо будет — ни перед чем не остановлюсь, ни перед какой опасностью не сробею, один против хмары пойду. Но пойми ты в конце концов — не видать тебе своего счастья, ежели не поднимутся по хуторам и станицам наши казаки и не поспеют нам на выручку с заграницы полки наших земляков, с какими зайвится до дому и наш Илья. Жалко мне тебя, дочка, сердце мое обливается кровью, в грудях все огнем печет, а не сказать тебе того я не мог, ты правду должна знать. Никакого я тебе зла не желал и со свадьбою этой. Ради ж твоего будущего на то пошел, не зла желаю и теперь... Смутное время пережить надо, своих дожждать, а там... И ты чем можешь подмогни мне, не обижай гостей, ступай потчуй их, само дело того требует...

По мере того как Клавдия, охватив руками колени, раскачиваясь из стороны в сторону, вслушивалась в слова отца, все более

проникавшие в душу и все более ее тревожившие, она постепенно утрачивала то восторженное, блаженное, одухотворенное состояние, в котором пребывала все утро и из-за которого не хотела вставать, нежась на кровати нагишом. С ее напудренного лица схлынул природный румянец, отчетливее выставив рябь оспинок, и оно застыло в скованном напряжении, мрачней и холодея все сильнее и сильнее. Она давно уже перестала раскачиваться, сидела неподвижно, уставившись в одну точку погасшим взглядом, еще совсем недавно так чисто светившимся ведомой лишь ей одной сокровенной радостью.

Хоруженко умолк, а она все еще долго оставалась в том же оцепенелом состоянии, отрешенная, казалось, от всего на свете, занятая своими, далекими от того, что он говорил, невеселыми мыслями. Но когда Клавдия в конце концов спустила с кровати ноги, встала, кутаясь в одеяло, и заговорила, то он понял, что она не пропустила мимо ушей ни единого его слова.

— Вы, батя, при всем народе на свадьбе объявили, что половину хозяйства отписываете мне и Трофиму, тому весь хутор свидетель, и с того часу вам назад ходу нету,— промолвила она монотонным, леденящим душу голосом, точь-в-точь таким же, каким не раз в своей жизни приводил в трепет своих должников Хоруженко.— Я вам откроюсь: я перед святой иконою божьей матери поклонюсь, что до моего хозяйства, пока я живая буду, никого не допущу — зерна пшеницы, клока шерсти с овцы, волоса с конского хвоста они не получают! Ни за что на свете, не на ту напали. Они меня, батя, еще не знают, и вы меня еще не знаете, и никто на свете до этой минуты меня не знал еще, а я теперь, когда полноправной хозяйкой сделалась, законною женою стала, свою семью завела, могу обернуться такою скаженною, шо ни один казак на хуторе, а то и все гуртом мне и в подметки не согдятся. Я, пока наши нам на подмогу не подойдут, со своего двора крепость сделаю, в каждую щель в заборе вставлю по винтовке, к воротам пулемет выкачу — нехай только сунутся! Я во все казацкое одягнусь, на коня сяду и с шашкою наголо поведу казаков за собою против ненавистой власти, а моего — не отдам!

— Откуда ж тебе столько оружия набрать? — стоя к Клавдии спиной и глядя через окно во двор, где приехавшие на линейках, бедарках и тачанках гости распрягали коней, угрюмо спросил Хоруженко.— Лишь бы языком молоть...

— Хм! С чего вы взяли, что я не ведаю? — с вызовом отозвалась за его спиной Клавдия.— Я ж знаю, еще с гражданской войны оно у вас под церковью заховано... смазанное лежит... всего там вдосталь...

— Будет врать-то...

— Сама своими ушами слыхала, как вы в молельне с батюшкой и станичным атаманом балакали! Может, станете запираться? Чего ж вы меня напугались, я вам правой рукой стану, вот увидите, какой я отчаянной могу быть, ваша ж во мне кровь течет...

— Умолкни! И без тебя тошно...

Хоруженко отошел от окна, исподлобья кинул на Клавдию недобрый взгляд и, сутуля плечи, скрипя половицами, грузно направился к двери, на ходу обронив:

— Держи язык за зубами, а то я могу ненароком на него чеботами наступить... отдавлю...

— Не верите мне, да? Так я вам докажу, сегодня же с Трофимом мы сельсовет подпалим! Нехай он дотла сторит! — выкрикнула ему вдогонку Клавдия.

Хоруженко обернулся и стеганул дочь по глазам сердитым взгля-

дом, словно плетью. Но по лицу Клавдии лишь скользнула надменная усмешка.

— Ты вот что, Клавдия, одевайся и выходи до гостей,— насупив брови, сурово приказал Хоруженко.— Что вам робить с Трофимом, я один знаю, и ты поперед батьки в пекло не лезь, понятно? Не бабьего ума тут дело, споганить все можешь...

Клавдия отшвырнула от себя одеяло и, метнувшись к лежавшему на стуле вороху одежды, принялась торопливо одеваться.

— Ну, батя, погодите ж, раз так! Я вам докажу, на что я способная. Я не хуже братени Ильи стану, вы еще мною возгордитесь! — задыхаясь от охватившего ее гневного возбуждения, выкрикивала она.— Мое не отдам, никому не отдам, нипочем не отдам, во век не отдам, перед всеми святыми угодниками клятву даю! Оружия не добуду — у меня зубы есть, каждому, кто на мое хозяйство позарится, я в горло мертвою хваткой вцеплюсь, я всем глаза выцарапаю, я... я... не знаю, что им сделать еще смогу, а только на все пойду...

Но Хоруженко всего этого уже не слышал. Неторопливо и спокойно, развернув саженные плечи, он с приветливой улыбкой шел навстречу гостям, пропуская сквозь кулак усы, каждому кланяясь и каждого одаривая гостеприимным из-под тяжелого надбровья взглядом.

### Глава тридцать вторая

Едва за дверью стихли грузные шаги отца, как Клавдия с колотившимся сердцем бросилась к окованному полосатым железом сундуку, выхватила из-под зимней, пересыпанной нюхательным табаком одежды клетчатую шерстяную пал и, закутавшись в нее с головою, крадучись, никем не замеченная, выбралась из дома и прошмыгнула за ворота.

Подгоняемая охватившим ее чувством нависшей беды, она в первые минуты не отдавала отчета своим поступкам, плохо соображала, что делала: почему на своем же дворе пряталась от людских глаз, куда и зачем бежала и отчего выбирала самые пустынные проулки и прижималась к заборам и плетням? Ее гнало вперед безысходное отчаяние, от которого смертельной тоской наполнялась душа, а тело бросало то в жар, то в холод. И только поравнявшись с двором Ефросиньи, Клавдия остановилась перевести дыхание и лишь тогда поняла, что именно сюда несли ее подсознательно от собственного дома ноги. Она покосилась по сторонам, оглядела безлюдный, заросший по проезжую часть лебедою и полынью проулок и нетерпеливо забарабанила кулаками в запертую изнутри калитку, то и дело настороженно прислушиваясь и кутая в шаль раскрасневшееся от бега лицо.

Ей открыла сама хозяйка. Она была в исподней до пят юбке и глухом лифчике, точно в белом сарафане. Оголенные по плечи ее руки, усыпанные веснушками, беловато пригудривала мука, пальцы склеивала желтоватая налипь теста — Клавдии было нетрудно догадаться, что Ефросинья пекла хлеб. Волосы казачки раскосматились, на красном от печного жара лбу и в рыжих густых бровях сверкали капельки пота, от ее дыхания несильно тянуло виноградным вином.

— Выручайте, крестная, беда! — воскликнула Клавдия, обессиленно бросаясь на шею хозяйки дома.— Начисто порушилось мое счастье... вся жизнь загублена — хоть топись...

— Ну что ты, что ты, угомонись, поостынь трохи,— отозвалась Ефросинья, запирая калитку.— Идем до хаты...

В кухне пахло свежейиспеченным хлебом, под потолком жужжали отогревшиеся злые осенние мухи, на домотканом рядне у порога лениво потягивался, выгибая спину и зевая, огненно-рыжий — под цвет волос хозяйки, — раскормлённый до одышки кот. По свежемьытому до желтизны полу от кухонного стола до беленой русской печи с нарисованными синькой по верхнему карнизу петушками протянулась мучная тропка, на широкой лавке в простенке между окошками дожидались своей очереди на выпечку круглые жестяные формы, наполненные пышным, пахнущим закваской тестом.

— Казала ж я твоему батьке, не по нутру мне вся эта свадьба, не принесет она тебе радости,— вздохнула Ефросинья, обмахнув подолом юбки венский стул и усаживая на него нежданно-негаданно нагрывшую гостью.— А ты, Клавдия, не горюй, бог даст, может, все и образуется. Трофим хлопец молодой, и с него шо хочешь, как с теста, слепить можно. Потерпи грошки — и он, глядишь, переменится, прикипит к тебе душою, сплюбитесь, куда ж ему теперь деваться, из батраков хозяином стал...

Клавдия откинула с головы на плечи угол шали и подняла на Ефросинью грустные, сухо горевшие глаза.

— Та не про то вы о нас с Трофимом подумали! С ним у нас все как у людей, я ему сегодня ночью законною женою стала, мы порешили ребеночка ждять,— вымолвила она, неволью на какую-то долю секунды счастливо просияв, и тут же, снова помрачнев, печально продолжала:— Другая забота меня до вас привела... Нас всего нашего хозяйства лишать надумали, а самих без всего на Соловки сошлют, на погибель верную. Завтра у всех справных хозяев лошадей и всю скотину в колхоз заберут, все под метелку выметут, никого не минуют. Может, вы подскажите, у кого нам с Трофимом шукать защиты? Присоветуйте, вы ж, балакают, приезжому человеку жизнь когда-то спасли, скажите ему, чтоб нас не трогал, не порушил нашего счастья...

Последних слов гостьи Ефросинья уже не слыхала. У нее потемнело в глазах, сильное, здоровое ее тело внезапно обмякло, ноги подкосились, она, шатко попятившись, обессиленно опустилась на край лавки, свалив на пол крайние формы с тестом. Но поднимать ничего не стала, точно и не заметила своей оплошности, а, сложив на животе натруженные, в мозолях руки, осунувшаяся и бледная, тупо уставилась на икону божьей матери с мерцавшей перед нею лампадой и надолго примолкла, вовсе, похоже, позабыв о сидевшей напротив Клавдии, перегорая своими ведомыми лишь ей одной тревожными мыслями.

Ефросинье бы прийти в себя, припомнить недавние встречи с Рогачёвым, вдуматься в его слова, поверить в его искреннее участие к ее трудной судьбе, спокойно, наконец, оценить бы все происходящее за последние дни на хуторе, но она, охваченная смятением, впустила в душу слепой гнев, ожесточилась и потому-то сразу же утратила напрочь здравый рассудок. Страх за собственное хозяйство, который владел ею с той самой поры, когда на хуторе пошли толки о колхозах, тот самый страх, что заставлял ее искать забвения в вине и бесшабашном веселье, теперь, при известии Клавдии, сковал сердце Ефросиньи будто льдом; и уже ничто, казалось, не в силах было его оттаять. В ее разгоряченном мозгу начал вызревать жестокий план отмщения, а кому — она и сама не смогла бы ответить, спроси ее о том кто-нибудь в тот момент. «Своими руками все загублю, а мое не отдам!»

— Чего ж вы молчите, крестная?— нарушила тягостную тишину Клавдия, поднимаясь и накидывая на голову шаль.

Ефросинья перевела с иконы на нее отсутствующий взгляд и, беззвучно пошевелив губами, ничего не ответив, закрыла лицо руками. Постояв около нее какое-то время в нерешительности, Клавдия закуталась в шаль и, не проронив больше ни слова, ушла...

Оставшись одна, Ефросинья, уронив на колени руки в засохшем тесте, еще долго, словно онемев и оглохнув, оставалась на лавке в прежнем окаменелом положении — сидела не шелохнувшись, глядя перед собою грустными и какими-то одичалыми глазами. Однако стоило в церкви зазвонить колоколам, оповещавшим о конце заутрени, как она вдруг очнулась, будто пробудившись от тяжкого сна, опустилась перед иконой божьей матери на колени и начала долго и неистово молиться, крестясь и отбивая поклоны до пола. А едва колокольный звон затих, как она тут же, в последний раз обмахнув себя широким крестом, поднялась на ноги, отряхнула с коленей приставшие соринки и, словно бы ничего и не случилось, привычно и деловито принялась засовывать в печь формы с тестом. Кто знает, скольких и каких душевных сил Ефросинье все это стоило, но она за то время, пока молилась и пока выпекала хлеб, вернула себе свой прежний вид гордой кубанской казачки, обрела заново все то, что ей было присуще — и хладнокровие, и власть, и хозяйскую сноровку, и решительность, и величавую осанку, и даже, когда умылась по давней привычке во дворе у колодца студеной водой, свою завидную красоту.

Покончив с домашними делами, неторопливо расчесав перед зеркалом копну огненно-рыжих волос, вырядившись во все праздничное, Ефросинья положила в кошелку вареную курицу, брусок сала, круг домашней колбасы, буханку горячего еще хлеба, глечик сметаны, четверть молока, конфет и пряников и, заперев хату, отправилась на паромную переправу.

В задуманном ею нелегком деле она не могла обойтись без помощника, и выбор ее пал на глухонемого парня-перевозчика. Она и прежде не раз прибегала к его услугам, когда подходило время резать кабана, телку или овцу. Несчастный сирота был от роду человеком безотказным, а при виде гостинцев, задобренный почти не выпадавшей на его долю лаской, становился и вовсе, как и всякий обиженный природой умом, безотчетно услужливым и добросовестным, старался в порученном ему деле изо всех сил.

...Он пришел с переправы после полудня.

Ефросинья уже поджидала его на лавочке у ворот, переодетая во все старое, вылинялое и выношенное до ветхости. Завидев глухонемого парня еще издали, она вскочила ему навстречу с такой приветливой и веселой улыбкой, точно встречала долгожданного гостя на праздничное застолье, а не соучастника в замышленном ею жутком и кровавом злодеянии. Да, чего-чего, а хладнокровия Ефросинье в тяжкую годину, когда она что-либо задумывала и решала, было не занимать! Самообладанию хуторской казачки мог бы, пожалуй, позавидовать всякий, доведись ему очутиться в трудном положении и при тех же самых жизненных обстоятельствах, как и ей.

Право же, кто бы еще на ее месте другой смог бы, как она, отправиться по возвращении с переправы в сельсовет и с тем же непроницаемым спокойствием, ни малейшим промахом не выдав своего душевного состояния, накормить дежуривших там сыновей принесенным в кошелке обедом — борщом, тушеной уткой с фасолью и узваром, — поговорить с ними о том о сем, обронить мимоходом, что до полуночи она пробудет на свадьбе и ждет их домой не раньше этого часа, и, собрав посуду, как ни в чем не бывало уйти? А кто бы еще другой в

таком же душевном смятении, как она, был бы способен перед приходом глухонемого парня распорядиться всем с такой же хозяйской предусмотрительностью — наносить со скирды в хлев свежей соломы и устелить ею пол, наполнить керосином «летучую мышшь», чисто протереть стекло и повесить фонарь на гвоздь в балке перекрытия, обдать кипятком бочки, тазы и ведра, приготовить веревки, соль, остро наточенные ножи, резаки и топор и после всего этого выйти с независимым видом за ворота своего двора, усесться под забором на лавочке и лузгать из платочка семечки? Нет, нет, трудно даже себе представить, что может отыскаться где-либо в другом месте второй человек с таким же или похожим характером!..

...В хлеву до тошноты пахло парной кровью и чадом коптящего фонаря, стоял тяжелый гнилостный запах кишок и требухи. Тусклый маслянисто-дымчатый свет «летучей мышши» окружал охватывал лишь самую середину хлева, где на мокрой скользкой соломе навалом лежали овечьи, свиные и телячьи головы, пластались отливавшие сизоватыми подкожными прожилками влажные разномастные шкуры. По углам же и под саманными стенами, вдоль которых стояли разной величины бочки с засоленным мясом, было сумеречно и жутко.

К вечеру снаружи стало доноситься неумолчное завывание ветра, шум выпцелкивавшего по черепичной крыше дождя, и сквозь эти звуки Ефросинье начали все время чудиться чьи-то приближающиеся шаги, людские голоса. Она то и дело вздрагивала, втягивая в плечи голову, искоса бросала на запертые на железный засов двери хлева затравленный, лихорадочно горящий взгляд, на слух, как ей самой казалось, улавливая в эти мгновения глухие, с переборами удары собственного сердца, обмиравшего от страха.

Всякий раз, когда ей чудились шаги, она долгое время не могла снова прийти в себя и лишь уверившись, что и на этот раз обманулась, что во дворе тихо, нет никого постороннего, только тогда принималась снова за прерванное занятие. Движения ее были резкими, угловатыми, торопливыми, словно, принимая из рук глухонемого парня куски парного дымящегося мяса и бросая их в очередную бочку, засаливала она не принадлежавшее лично ей, нажитое за долгие годы непосильным трудом, собственным своим потом, а чужое, ворованное, и потому будто бы боялась, что ее застанут за этим занятием, и накинутся, и станут бить жестоко, куда попало, больно и безжалостно. И она спешила, подгоняя и без того старательного парня, шатаясь от усталости, выбиваясь из последних сил, торопясь управиться до прихода домой сыновей.

Старый с выгоревшими маками по черному полю полушалок давно уже съехал ей на затылок, огненно-рыжие волосы растрепались, торчали в разные стороны космами, как у старой ведьмы, а над мокро лоснившимся потным лбом ходили хоуном, точно серги червонного золота, кольца мокрых свалявшихся завитков. Из-за распахнувшегося ворота кофты то и дело выпадал серебряный, на шелковом шнурке нательный крестик и то повисал, покачиваясь низко над бочкой с мясом, то снова прилипал к влажно блестящей ложбинке между грудей.

Словно сквозь плывущий перед глазами зыбкий тягучий туман видела Ефросинья закопченный фонарь, хмуро-сосредоточенное лицо глухонемого с висящей под носом капелькой, сверкавший в его руках топор, гору нарубленного мяса, мокрую от крови солому, по локти перепачканные кровью свои руки, рассыпанную повсюду крупную, искрящуюся кристаллами соль — и все, что видела, все это куда-то будто бы плыло и было затянута все той же обволакивающей и никак не рассеивающейся дымкой. Туман перед ее глазами то редел, то сгу-

щался, но ни на минуту не пропадал совсем, и она не переставала надеяться, что он все-таки рассеется и тогда вместе с ним исчезнет все то страшное, заставлявшее ее холодеть, все то, что она сквозь него видела и что ее окружало. И хотя она была уверена, что все это ей не снится, что все это наяву, она, однако, сама, не отдавая в том себе отчета, все-таки все время ждала свершения какого-то чуда, подобного спасительному пробуждению, и машинально, будто заведенная, продолжая укладывать слой за слоем в бочки куски мяса и пересыпать их зернистой солью, гнала и гнала от себя все более и более охватывавшее ее тревожное сомнение: что она делает? зачем? что и кому хочет доказать?..

И только когда очередь дошла до двух коров и первой пала под ножом любимица семьи молочная холмогорка, когда детина с парма, подтянув ее за задние ноги к балке перекрытия, провел лезвием по обвисшему животу, выпуская из-под пятнистой шкуры бело-розовый ремень подкожного сала, Ефросинья вдруг опомнилась, вскрикнула, ухватила за голову и попятилась в дальний угол — с нее медленно и тягуче, как паутина в бабье лето, сплыл угар дурманного забытья.

Она, дрожа в ознобе всем телом, обвела отчужденными, обезумевшими глазами хлев и внезапно поняла, что она сама, добровольно, никем к тому не принуждаемая, лишилась всего того, с чем была связана ее нелегкая вдовья жизнь, что она сама своими же руками неизвестно почему утратила все то, что было приобретено и выращено ее усилиями...

Отчаяние пронизало ее всю, словно раскаленным железом, от ног до корней волос. Она пошатнулась и с истошным воплем повалилась, как подсеченная саблей, на солому, забила в содрогавшем ее помужски угловатые и сильные плечи рыдании.

— Господи, что ж это? Господи, что ж это? — в иступлении причитала она. — Господи, что ж это?..

Катаясь по мокрой от крови соломе, оглушенная внезапной вспышкой прозрения, охваченная душевным потрясением и страхом перед, как ей казалось, ничем уже теперь не поправимым, она не услышала — да и где же ей было услышать в таком состоянии! — как раздался во дворе топот ног, как заскрежетало немного погодя железо тяжелого засова и затрещали, похоже под напором лома, дубовые доски. И не прошло минуты, как двери, сорванные с петель, обрушились с грохотом на вымощенный кирпичом двор, впустив в хлев бесноватый ветер, завихривший солому, и холодное облако распыленного в изморось настылого осеннего дождя. Фонарь под балкой перекрытия закачался, пламя фитиля затрепетало, готовое того и гляди погаснуть, и по стенам и потолку заметались тусклые желтоватые отсветы.

Ефросинья долго лежала неподвижно, уткнувшись лицом в солому, потом медленно приподнялась и села, обхватив окровавленными руками колени, мучительно при этом простонав сквозь обнаженные, стиснутые до боли зубы. У нее закружилась голова, и она не сразу, а немного времени спустя смогла в блеклом свете закопченного и все еще качающегося фонаря разглядеть своих двух сыновей-близнецов и Рогачева, застывших в молчании на пороге хлева. А когда наконец увидела, то тут же шатко встала на ноги, нашла в себе силы с вызовом откинуть назад голову и, уперев в бока руки, сверкая горящими глазами, с ненавистью выкрикнуть:

— Ну, что уставились? Кто вас сюды звал? Что вам в хлеву треба? Я тут хозяйка — и геть отсюдова к бисовой матери!

— Мамо, опомнитесь, гляньте, чего вы натворили, и как вам толь-

ко не совестно, мамо! — отводя в сторону глаза, с упреком произнес один из сыновей.

— Цыц ты, доносчик, не тебе мать судить! Все тут мое, все сама, своими руками загубаю, а никому не отдам! — в бешенстве перебила его Ефросинья и, шагнув к сыну, занесла над ним до дрожи напуганные кулаки.

Но на большее ее не хватило. С перекошенного гневом, в красных пятнах ее потного лица схлынула, заливая его бледностью, кровь. Ефросинья зашаталась и, теряя равновесие, беспомощно хватая вокруг себя раскинутыми руками воздух, начала валиться на сторону и рухнула бы, не подоспей ей на помощь сыновья и Рогачев и не подхвати они ее под руки.

Они втроем отвели ее, поддерживая с боков, в хату, усадили, безучастную и покорную, на лавку в кухне, где все еще пахло свежеспеченным хлебом, и где было тепло и тихо, и где, когда засветили керосиновую лампу, стали снова жужжать мухи. Сыновья тут же ушли обратно в хлев, и Рогачев с Ефросиньей остались одни.

Она, как ее усадили, так и сидела не шелохнувшись, сложив на животе усталые руки, потерянно уставившись в пол, и лишь ее обмякшие плечи с накинутым на них Рогачевым полушалком время от времени судорожно вздрагивали. А Рогачев, в промокшей насквозь меховой куртке, забрызганных грязью сапогах и нахлобученной на забинтованную голову суконной кепке, нервно мерил шагами кухню из угла в угол, оставляя на чистом полу следы, и негромко про себя чертыхался:

— Черт знает что! Дойти до такой дикости!..

Прошло немало времени, пока он успокоился и, осторожно сняв с бинтов кепку, решительно опустился рядом с Ефросиньей.

— Помыла бы ты, Фрося, руки, что ли, сидишь, как мясник, а заодно бы, может, и переделася — всюду на тебе кровь, — сказал он. — И как ты могла до такого додуматься? Выходит, моим словам не поверила, кулацкой провокации поддавалась..

Рогачев ждал от нее в ответ на свои слова какой-либо выходки, грубости, даже непристойной резкости — его, пожалуй, ничуть бы это не удивило, — но она, не произнеся ни звука, вдруг покорно поднялась, вышла, шаркая опорками, в сенцы и долго там плескалась водой, гремя соском медного рукомойника. Потом так же молча, ни разу не повернув в его сторону головы, прошла через кухню в горницу и немного погодя появилась на пороге в красных сафьяновых полусапожках, в алом бешмете и синей юбке, причесанная и помолодевшая. Одни только ее узкие желудевые глаза оставались по-прежнему чужими, в них скорее можно было разглядеть глухую боль и тоску, чем раскаяние.

Перекрестившись с порога горницы на икону божьей матери с мерцавшей перед нею лампадой, Ефросинья проплыла — не прошла, а именно проплыла — к печи, подвязала передник, сняла заслонку и, гремя ухватами, принялась привычно вытаскивать с пода на загнетку разной величины чугуны и закрытые мисками сковороды, переставлять их на лавку, всем своим видом, похоже, желая будто бы подчеркнуть свою независимость, продолжая упорно не замечать Рогачева, как будто находилась на кухне одна.

Он встал, запахнул куртку и шагнул к порогу.

— Сиди, чего ты схватился, зараз соберу на стол, покличу со двора хлопцев, будем вечерять, — не оборачиваясь, спокойно промолвила Ефросинья и, швырнув в угол ухват, продолжая стоять к Рогачеву спиной, тем же спокойным, властно-грубоватым голосом тихо прикрикнула: — Да одежду, кому кажу, мокрую скинь, а ее у дечки высу-



пу. А то, не дай бог, захвораешь, люди скажут, что чоловик через мою дурь безвинно Христовы мучения принял...

Рогачев обезоруженно и добродушно усмехнулся. Устремив на огненно-рыжий пучок волос на затылке казачки долгий, затлевший теплом взгляд, он, не сгоняя с губ улыбки, принялся послушно стаскивать с себя насквозь промокшую куртку собачьего меха и выношенный до сивости черный пиджак с боевым орденом на измятом лацкане.

— Ну, Фрося, ты меня все время ставишь в тупик своим характером — не душа у тебя, а терновник дремучий, сквозь никак не проберешься, — сказал он. — Ни за что не угадаешь, что ты через минуту надумаешь, сколько раз с тобою встречаюсь — и никак тебя не разгадаю!

— Каждая баба для своего мужика и то загадка, — отозвалась Ефросинья, впервые за вечер взглянув на Рогачева. — Век с нею под одною крышею проживет, а и до могилы не разгадает, чего ж ты от меня ясности требуешь, я ж тебе не жена, не полюбовница...

За ужином засиделись допоздна.

Пропели уже вторые петухи, когда одежда Рогачева наконец просохла и он собрался уходить. Накинув на голову шерстяную тяжелую шаль с крученой бахромой и сунув сафьяновые полусапожки в глубокие галоши на красной подкладке, Ефросинья вышла проводить его за ворота.

Мрачная сырая ночь окутывала хутор. Дождь, видно, перестал еще совсем недавно — с упрятавших наглухо луну низко несущихся туч нет-нет да и срывались порою отдельные тяжелые капли, где-то совсем рядом шлепались о мокрую землю или булькали на свеженалитых лужах. Но ветер не унимался. Он дул порывистый и холодный, раскачивал в вышине тушеванные темнотою тополя, свистел в их голых невидимых ветвях и весь насквозь был пропитан болотным запахом плавней, солоноватым привкусом горьких лиманов и дымковым, стойко-неувядаемым дыханием степной полыни.

— Иди, Фрося, отдыхай, желаю тебе доброй ночи, — сказал Рогачев, коснувшись ладонями ее плеч и слегка их стиснув. — И выкинь ты из головы, прошу тебя, все дурное, прогони из души страх — тебе нечего бояться, поверь мне, даю тебе честное слово коммуниста. Ты только вдумайся, до чего тебя, трудовую казачку, довел твой страх за свое хозяйство. Ведь не поспей мы вовремя, не прибеги за мною твои хлопцы, ты бы все начисто загубила, и волы и кони пошли бы под нож — с чем бы осталась? Сама бы себя разорила. Я понимаю, трудно, очень трудно в себе старое переломить, жизнь из нас веками собственников растила... И ты не терзайся — того, что случилось с тобой, вспять не повернешь. Досадно, а что поделаешь? Забудем про это, начнем новую жизнь...

Он умолок, не спуская с ее задумчивого лица глаз. Они еще долго стояли у ворот друг против друга, не нарушая тишины, будто вслушиваясь в шлепанье и бульканье капель, в поскрипывание приоткрытой калитки, пока наконец Рогачев не сказал:

— Ну, я пошел, Фрося...

Ефросинья удержала его за рукав меховой куртки.

— погоди, я зараз гукну хлопцев, нехай тебя до Журбы проведят, — вымолвила она.

— Сам дойду, не барышня...

— А я говорю — подожди, мне лучше знать, что надо делать, — упрямо стояла на своем Ефросинья и уже мягче, с ноткой мольбы в голосе, попросила: — Уважь, Коля, уважь... а то я спать не буду, за тебя тревожась...

## Глава тридцать третья

...Доброта! Простая душевная доброта. На нее природа скупа и редко когда, как талантом, одаривает с рождения своего счастливо-го избранника, возлагая на него, должно быть, большие надежды. Но все ли мы когда-либо задумывались над тем, какой тяжкий и непосильный груз взваливает она на плечи такого человека там, где царит частная собственность, где преобладает понятие м о е? На какие горькие страдания, сама того не желая, обрекает, сколько ни за что ни про что мучений заставляет пережить его за свой недолгий век? Право же, если б мы хотя бы на минуту об этом задумались, мы совсем бы по-другому относились к тем, кто наделен природой бесценным и великим даром — добротою, простой душевной человеческой добротой. Ее нельзя ни найти, ни купить, ни от кого-нибудь получить взаимы — с нею, как и с талантом, большей частью рождаются. Это большая беда, что жизнь на земле, пока существует собственность, устроена так, что ее условия порою способны скорее сделать человека жестоким, злым, эгоистичным, скупым, завистливым или надменным — каким угодно, но не добрым. Привить доброту человеку, если она не была отпущена ему природой, трудно, очень трудно, а надо... И не эта ли задача стоит перед всеми нами, людьми нового общества, освобожденными от рабства частной собственности?..

Журба все последние дни не находил себе места — мысли о Паше, тревога за ее судьбу не покидали его ни на секунду, где бы он ни находился, что бы ни делал.

Как ни рвался он к хате Мирошки Чумака, а отправился туда, на край хутора, лишь когда погасла, огненно отполыхав, вечерняя заря и над сторожевыми курганами в приплавневой степи взошла желтая по краю, будто подсолнух, занявшая чуть ли не полнеба луна. Она еще не светила, и улица, по которой шагал в развевающейся бурке и заломленной на затылок кубанке Журба, была погружена почти в ночную темень: с трудом угадывалась даже укутанная колесами дорога, черными казались за плетнями и заборами беленые стены хат и уж совсем деготной чернотой налились по обочине лужи. Из садов навевало терпкой прелью опавшей листвы, с хлевов шел дух парного молока, а с чердаков пахло сушеными яблоками, грушами, жерделями и вишней. Вечер был таким покойно-тихим, что из ближних плавней доносилось тонкое зудение комариных полчищ.

Прости меня, Журба... Прости, мой дорогой, мой любимый, мой родной, мой давний друг, но мне, не обладающему твоею добротою, да еще и после стольких лет, трудно, очень трудно передать твое состояние в тот памятный для тебя вечер с той же святой искренностью, с какой ты мне о нем в свое время поведал. Пойми меня и не осуди, если что было не совсем так...

Журба шагал серединой улицы ходко, размашисто, подтянутый и собранный, как шел бы на какое-нибудь деловое совещание, хотя за день успел порядочно устать. Однако чем ближе он подходил к хате Мирошки Чумака, тем большее его охватывало волнение и сами собою замедлялись шаги. А когда он пересек заросший бурьяном пустырь и подошел к раскинувшемуся на отшибе двору с похилившимся плетнем, похожим на крыло подранка, то и вовсе утратил уверенность, с которой вышел из сельсовета. Его бросило в жар, и он остановился, стараясь унять заколотившееся, как ему почудилось, у самого горла, заполнившее всю грудь сердце.

Он долго и одиноко стоял у ворот из перекрещенных жердей и старого камыша, чтобы дать себе время успокоиться, собраться с мыс-

лями, обдумать свои первые слова, от которых, он понимал, будет, быть может, зависеть судьба их обоих — его и ее. Стоя у камышовых ворот, не решаясь войти во двор, заросший репейником и лебедою, он мучился сомнениями, переживал заново им же самим приглушенное в себе когда-то светлое и пылкое чувство. Теперь же оно, словно вырвавшись из капкана на свободу, внезапно разгорелось с еще большей страстью, с еще большей силой, с еще большей нежностью и с еще большим жаром.

Хотел того или не хотел Журба, но он весь без остатка растворился в нахлынувшем на него чувстве, поняв наконец, что оно никогда в нем и не умирало, никогда его не покидало, а жило все эти годы будто в замороженном состоянии, пока чужое участливое слово не растопило заледеневшую на нем корочку, горячо проникнув в самую глубь души. И как всегда бывает у человека в таком состоянии — у человека доброго и отзывчивого, — он необычайно остро ощутил сам всю ту боль, которую должна была испытывать в эти дни Паша, принял близко к сердцу ее страдания, с горечью понял и свою вину в том, что с нею случилось. И тогда, едва не задыхаясь от охватившего его неведомого ему прежде чувства, готовый на любую, даже самую суровую для него жертву ради спокойствия и счастья той, которую он любил беззаветно, Журба пересек двор и постучал в дверь скособочившейся, по окну утонувшей в земле саманной хаты.

Чухлый свет изнутри разделил на полоски дощатые ставни, где-то в глубине хаты послышались шаркающие шаги, звякнула железная задвижка, и на пороге, освещенный со спины керосиновой лампой, вырос долговязый Мирошка Чумак, поддерживающий обеими руками спадающие подштанники со штрипками.

— Ты, председатель? Ну заходи до хаты, я зараз в сей момент одягнусь, — зевая, ничуть, казалось, не удивившись позднему гостю, вымолвил он и посторонился, уступая Журбе дорогу с упавшим на нее отсветом лампы.

Журба, пригнув под низкой притолокой голову, шагнул было острым плечом бурки вперед, в заваленные всякой рухлядью, пахнущие мышами сенцы, но тут же передумал и вернулся назад, за порог, опустился на глиняную завалинку под облупленной саманной стеною хаты.

— Не, я тут подожду, — сдвигая с затылка на мокрый от пота чубчик кубанку, сказал он. — Нехай лучше Паша до меня выйдет...

Мирошка Чумак молча снял с невидимого гвоздя рваный зипун, накинул его на костлявые свои плечи и, знобко поеживаясь, вышел во двор. Отодвинув, освобождая себе место, в сторону край жесткой бурки Журбы, он присел рядом с ним на завалинку, долго и угрюмо молчал.

— Где ж я тебе ее возьму? Нету... — наконец вымолвил он, тяжело вздохнув. — Покинула дочка нашу хату, насовсем ушла...

У Журбы холодом обдало сердце.

— Как ушла?

— А так, як усе уходят: мертвого выносят, а живой сам — своими ногами. Не захотела на хуторе оставаться после всего такого, собралась и ушла, утра и то дожидаться не стала, сколь мы ее со старухой ни уговаривали...

— Куда ж она? — упавшим голосом спросил Журба.

— Да кто ж ее знает! Может, в станице у тетки останется, может, прикидую, в город подастся, об ъм она балачку не раз заводила, на фабрику, должно, путь держать станет...

— Зачем же вы ее отпустили? Разве ей одной теперь можно...

Старый казак снова вздохнул, провел, отвернувшись, рукавом

свитки по глазам и, уперев в поясницу ладони, крякнув, поднялся. Журба преградил, тяжело дыша, Мирошке Чумаку дорогу в хату.

— Погодите,— упрямо сказал он.— Когда она ушла?

Мирошка Чумак наклонил к освещенному луною бледному лицу позднего и нежданного гостя свою стриженную лесенкой голову и, близоруко щурясь, топорща сѣдые, прокопченные понизу, как у всех заядлых курильщиков, моржовые усы, долго и пристально вглядывался в его налитые немой тоскою глаза.

— Тебе-то что теперь за болѣзнь об том знать? — отворачиваясь, насупив брови, спросил с горечью он.— Ушла, та и всѣ...

— Погодите,— повторил упрямо Журба.— Вас же оттого, что скажете, не убудет...— И уже в отчаянии, теряя от волнения голос, выкрикнул, будто бросился в омут: — Да неужели вы слепой, неужели вы ничего не видите! Ну люблю ж я ее, люблю, нету у меня дороже никого на свете, нету мне без нее жизни!..

Мирошка Чумак сокрушенно покачал головой. Его обычно невозмутимое, непроницаемое лицо неожиданно сморщилось в кулачок, и из заморгавших век выкатились, сверкнув в свете луны, две слезинки, протянув до подбородка влажный след.

— Эх, парубок, парубок, где ж ты допрежде був... что ж твоя душа до этого часу спала? — вымолвил он, скорбно глядя на Журбу.— Еще сумеречило, як мы ее со старухой проводили... в аккурат зорька гасла... Тебе б ране схватиться...

Но последних слов старого казака Журба уже не слышал. Он, придерживая полы бурки, опрѣметью кинулся со двора Мирошки Чумака, с разгона перемахнул через похилившийся плетень и, выбежав на лоснившуюся в лунном свете дорогу, оглашая улицу гулким топотом сапог, во весь дух помчался в сторону сельсовета. Вслед ему со всех дворов собаки подняли истошный лай, разносившийся в тишине вечера далеко окрест.

Журба вбежал во двор сельсовета разгоряченный, запыхавшийся, с бешено колотившимся сердцем. Жадно вбирая грудью холодавший к ночи воздух, он с ходу во всю ширь, со стуком об стену распахнул никогда не запиравшиеся на замок ворота турлучного сарая, шагнул за порог.

На него пахло теплом лошадиного пота, медовым разнотравьем свежего сена. Из глубины стойла донеслось знакомое призывное ржание, послышался дробный по дощатому настилу перестук подкованных копыт, и тотчас же, сверкнув из темноты иссиня-черными, навывкате глазами, натянув до предела сыромятный ремень чембура, на плечо Журбы мягко улеглась тяжелая, с белой звездочкой на лбу голова породистого иноходца. Обдавая Журбу горячим дыханием, игриво прихватывая бархатистыми губами каракуль его кубанки и щекоча жесткими на храпе волосками щеку, конь, почуяв дорогу, не переставал, пританцовывая, виляя крупом, беспокойно перебирать тонкими ногами, выказывая тем самым свою радость и свое нетерпение.

Потрепав иноходца по гривастой холке, похлопав ладонью по широкой, налитой тугими мускулами груди, взнуздав, Журба снял с вбитой в стену жерди мягкое казачье седло, накиннул его на породисто вытянутую конскую спину и, слегка ткнув кулаком его под брюхо, чтобы тот не надувался, затянул подпругу. Вывода коня во двор, рывком, едва коснувшись ногою стремени, перенес себя в седло. Он не успел еще и выхватить из-за голенища плетку, как застоявшийся за день иноходец рванулся с места в намет и, вылетев за ворота, на хуторскую площадь, привычно взял направление в степь, на дорогу к переправе, где Журба обычно занимался по утрам джижитовкой. Вечерняя тишина хутора раскололась от гулкого топота копыт.

Луна заливала степь ровным спокойным светом. Высветленная ею дорога, побитая подковами, будто оспой, то спускалась в затянутые легким туманом балки с черневшими по склонам зарослями боярышника и терна, то выбегала на неохватный простор. Вымахавшая за лето обочь дороги почти в рост человека полынь отливала под луною проседью, она белела в темном бурьяне полянами, отравляя студеный вечерний воздух терпким запахом, горьковато обметывая губы. Местами над степью висел туман, и там, где он тянулся седыми космами, из него, словно повиснув над землею, торчали увядшие кусты татарника, метелки цикория и молочая, горбатились то тут, то там сплетенные из одних сухожилий, застывшие на месте до первого сильного ветра катучие шары перекасти-поля.

Но вот дорога, раздвинув высоченные камыши с пушистыми, под самое небо султанами, вбежала в плавни. Лунный свет стал постепенно отступать и вскоре вовсе остался светить далеко позади, в конце узкого коридора, не в силах пробиться сквозь густые заросли. Темнота становилась все более плотной, надвигалась на дорогу с двух сторон, пока не слилась в сплошной мрак, и Журба, как ни торопился к переправе, все же был вынужден натянуть поводья, перевести разгоряченного иноходца с галопа на спокойную рысцу.

В плавнях, как обычно, было гораздо теплее, чем в открытой степи, а в глубине их местами даже душно от болотистых испарений. Пахло затхлым илом, стоялой водою, гниющими водорослями и очеретом, солью и рыбой. На лиманах во все горло надрывались лягушки, вскрикивали порою во сне в зарослях дикие утки и гуси, слышался треск камышей под ногами бредущего на кормежку кабаньего стада. Носившиеся в теплом воздухе невидимые тучи комаров и мошек наполняли все вокруг неумолчным гулом — от него в плавнях у каждого, кто в них попадал, невольно становилось на душе беспокойно и даже жутко, сами собою, непрошено, приходили в голову всяческие истории о насмерть заеденных комарами животных, увязших в болотах, и о той же печальной участи заблудившихся в непролазных чащобах камышей рыбаков и охотников или же просто случайных путников, сбившихся с дороги...

Должно быть, теперь Журбе и не сосчитать, сколько раз ему довелось поздно ночью возвращаться из районного центра к себе на хутор через плавни, вот этой же дорогой, а привыкнуть к зловещему, жуткому хищному гулу комаров он так и не смог — тревожное чувство осталось в нем с детства, когда однажды на рыбалке на лимане он уронил под вечер с головы накомарник и, весь распухший от укусов, насилу выбрался из плавней. Потому-то Журба и вздохнул облегченно, стоило лишь слабо забрезжить далеко впереди дороги, подобно белому огоньку бакена в ночи на реке, пятнышку лунного света.

Приподнявшись в седле, он ожег иноходца плетью, и тот с храпом, выстилаясь над дорогой, понес его во весь опор из плавней. Еще издаലെка, выскочив на насыпную дамбу берега Кубани, Журба увидел одиноко маячившую у паромного причала щемяще-знакомую фигуру Паши с узелком в руках — к ней подплывала с другого берега остроносая байда перевозчика. Смешанное чувство радости, горечи, нежности, надежды и давней боли снова захлестнуло Журбу, и он, будто вмиг захмелев, утратив способность отдавать себе в чем-либо отчет, принял неожиданное решение, несвойственное его характеру, противившемуся всегда любому проявлению насилия, — первое, что пришло в голову.

Пришпорив коня, он вихрем подлетел к переправе и с ходу, на всем скаку, перевесившись с седла, обхватил Пашу за талию, легко

вкинул вместе с ее узелком к себе на колени. Не давая ей опомниться, Журба осадил иноходца, свечой развернулся на месте и, нахлестывая плетью, галопом направился назад в плавни, полою распахнутой бурки укрыв свою пленницу почти с головой.

Паша не оказала ему ни малейшего сопротивления. Не стала ни вырываться, ни кричать, призывая на выручку перевозчика, не сделала даже и попытки соскользнуть с седла на землю, хотя он ее как будто совсем, казалось, и не держал,— она только, прерывисто дыша и невольно передавая ему ознобную дрожь своего тела, слегка откинула назад закутанную в черный полушалок голову и, устремив на него глаза, едва слышно, без всякого удивления промолвила:

— Ты?..

— Я.

— Не надо, Василь...

— Надо, Паша, надо!

— Отпусти меня, все одно не вернусь я на хутор...

— Вернешься, Паша, вернешься! И не просись, никуда я теперь тебя ни за что не отпущу, так и знай. И ты выбрось, прошу тебя, все, что с тобою было, из головы, забудь начисто, не мучайся и не вспоминай. А с хутора уходить и не пробуй: куда бы ты от меня ни схватилась — повсюду разыщу, всю землю на коне обскочу вдоль и поперек, но тебя найду! Не могу я на свете без тебя жить, хватит мне над собою терзания устраивать, и я право на свое счастье имею, от всего живого не заговоренный...

Паша не отозвалась. Присмирив, затихнув, она покачивалась в седле молчаливая и покорная, неловко пряча под полою плюшевой жакетки тощей узелок с пожитками, стараясь не касаться плечом груди Журбы. Лицо ее, осунувшееся и бледное, с запавшими глубоко глазами, вызвало у Журбы жалость. Он не спускал с Паши настороженного взгляда, остро, как свою собственную, чувствуя ее душевную боль, невольно заражаясь ее тягостным состоянием.

Нет, лучше бы она не молчала: протестовала, вырывалась, плакала, умоляла, колотила кулаками в его грудь, пусть даже в сердцах дала пощечину, но только бы не молчала угрюмо, замкнуто!.. Журба терялся, не знал, что и как ей сказать, и потому, сам от этого страдая, мучаясь, тоже молчал, как и она.

Горячий, добрый, жадно тянущийся к жизни, Журба больше всего на свете ненавидел людей равнодушных. И оттого, что ненавидел, никогда и не пытался проникнуть в их мир, понять их, проявить к ним сочувствие, в чем-то помочь. В нем все протестовало против подобного отношения людей к жизни, он каждого такого человека сторонился, как будто мог, словно заразную болезнь, перенять от него равнодушие.

И кто знает, как вел бы он себя и дальше, если бы не встреча с Рогачевым, не долгие их задушевные беседы по вечерам у пылающей печки, которые помогли ему многое увидеть совсем в ином свете, по-другому и иными глазами взглянуть на окружающую его жизнь. И теперь он испытывал порою стыд перед Мирошкой Чумаком, перед Ефросиньей, как и перед некоторыми другими жителями хутора, за судьбы которых он был в ответе перед народом, перед партией, и в первую очередь — по своей должности — перед советской властью. Но самую большую вину он чувствовал перед Пашей и, что было в его характере, с детской наивностью поклялся себе вернуть ее прежнюю любовь и, чего бы это ему ни стоило, сделать Пашу снова счастливой.

Погруженный в думы о Паше и самом себе, об их прошлом и будущем, Журба и не заметил, как они въехали в плавни, как миновали самый темный участок дороги с гудящими в воздухе комарами, как камыши в конце концов расступились, открыв перед ними степь, за-

литую лунным светом. Он очнулся лишь только тогда, когда иноходец, споткнувшись о придорожную кочку, едва не выбросил Пашу из седла. Журба подхватил ее уже у самой земли, снова усадил перед собою, обнял за плечи и, сам того не заметив, крепко прижал к себе. Однако тут же опомнился, отдернул руку и, страшась ее гнева, почувствовал, что покраснел. Сглотнув подступивший к горлу горячий комок, попросил:

— Не молчи, Паша... скажи хоть слово...

— Ноги затекли, останови коня, я сойду, — тихо вымолвила она, впервые за всю дорогу повернув к нему голову.

Их глаза встретились. И Журба вместо гнева, вместо немого укора и осуждения своего поступка, которые ожидал встретить, увидел робкое, стыдливое, затуманенное грустью, но предназначенное только ему, ему и никому другому в ответ на его заботу робкое тепло. Оно шло из самой глубины ее сердца — он мог в этом поклясться! — и, едва-едва заметное, скорее понятое им душою, скорее прочувствованное, чем увиденное, сказало ему гораздо больше, чем могли выразить любви, даже самые ласковые слова.

Журба не то чтобы прыгнул, а, похоже, слетел с коня на дорогу, точно у него и взаправду за спиною выросли крылья. Он осторожно снял ее с седла, опустил, по-прежнему молчаливую и покорную, на землю и пошел, подстраиваясь под ее шаг, рядом, ведя иноходца под уздцы. От подаренного ему теплого взгляда в его груди затеплился огонек надежды на взаимность, и он, привыкший отказывать себе во всем личном, уже был почти счастлив и от этого малого. Ему хотелось плясать, смеяться и выкрикивать на всю степь ее имя; он испытывал желание подхватить ее на руки, взбежать с нею на самый высокий затравеневший курган и поднять ее над головою как можно выше — к самому небу, к луне, к звездам. И только скорбный вид Паши сдерживал его порыв, охлаждал, заставлял, понутив голову, покорно брести по проселочной дороге, рябившей в свете луны выбоинами подковных шипов, молчаливо переживать.

Дорога, пролежавшая вблизи темной стены плавней, круто свернула в сторону и протянулась до самого хутора; впереди показался на лысом взлобке кургана ветряк Хоруженко с неподвижно застывшими крыльями. Он бросился в глаза Журбе и Паше сразу же, едва они вышли из плавней, как бросался с этого места каждому путнику, конному и пешему, направлявшемуся к хутору. В эту светлую лунную ночь от него откидывалась в степь широкая, перечеркнутая крыльями тень.

Паша вздрогнула, замедлила шаги и вскоре, покачнувшись, остановилась совсем. Маленькая, нахохлившаяся от ночной свежести, жалкая, похожая во всем темном не то на монашку, не то на застигнутого непогодой грача, она долго, сиротливо застыв посреди дороги, не сводила с ветряной мельницы грустного и горестного взгляда и все крепче, сама того не замечая, прижимала к груди свой тощий узелок с пожитками. По ее запавшим щекам медленно скатывались слезы.

Тянувший по степи низом студеный ветер трепал подол ее застиранной сатиновой юбки, теребил концы старого полушалка, по-старушечьи повязанного узлом под подбородком, косматил выбившиеся у висков ковыльиные, в свете луны казавшиеся седыми, пряди волос.

Прошла минута, вторая, третья, а она все стояла посреди дороги, в забытии глядя на ветряк, и мертвенно-бескровные ее губы ознобно дрожали.

— Пойдем, будет тебе вспоминать, забудь, — догадываясь, что у нее с ветряком связаны какие-то переживания, осторожно сказал Журба.

Она перевела на него невидящие глаза, пустые, погасшие, и, насилиу справившись с непослушными от дрожи губами, покачав головой, едва слышно отозвалась:

— Постоим чуток... устала... ноги не несут...

— Садись верхи, а я поведу коня.

— Не надо...

— Ну давай посидим, отойдешь трошки, отдышишься,— предложил Журба.

— Комары заедят...

— А дым на шо? Зараз костер разведу!

И, не дожидаясь ее согласия, Журба разнуздал иноходца, шлепнул его ладонью по гладкому крупу — ступай, мол, пасись себе на здоровье,— отбежал от дороги в сторону, сорвал с плеч бурку, одним махом растелил на пожелтой траве и со всех ног кинулся собирать по склону кургана сухой бурьян. Паша успела только подойти к бурке, как он уже вернулся, свалил бурьян у ее ног, умял сапогами и, вытащив из кармана галифе спички, опустился на колени.

Трепещущая пламя в момент охватило степное топливо со всех сторон, выбросилось кверху вместе со столбом бурого клубящегося дыма, растекаясь вокруг зыбким теплом. Над костром замельтешили, заметили красные искры, угасая где-то высоко в потемневшем от зарева огня небе. Ближняя к костру осенняя травяная поросль, пошедшая в рост после обильных дождей, начала на глазах сворачиваться в трубки, желтеть и, подсыхая, опаленная жаром, насытила ночной воздух душистым запахом свежего сена, оттеснив в степную темень полынную горчину.

— Садись, Паша, тут нам никто не помешает,— сказал Журба.— Давно мы с тобою не грелись у огня, не забыла, как, бывало, мечтали?

— Помню...

Она, уронив прежде на землю узелок, опустилась с ним рядом на самый край расстеленной бурки и вытянула к костру мокрые от росы, стоптанные, в заплатках полусапожки. Глаза ее рассеянно блуждали, она никак не могла ни на чем остановить своего горестного взгляда и то запрокидывала голову к мерцавшим в вышине звездам, то роняла на грудь, беспокойно переключаясь с места на место дрожащие руки.

— Не надо тебе, Паша, с хутора уходить,— ложась по другую сторону бурки на бок и тоже вытягивая ноги к костру, нарушил молчание Журба. Голос его прозвучал так душевно и так просто, словно между ними и не было долгой размолвки, будто и не прерывалась — кто рассудит, по чьей вине? — их прежняя наивная и чистая, искренняя и светлая, верная и крепкая дружба.— Поверь мне, все уладится, у нас с тобою вся жизнь впереди, и нам, молодым, сильным, здоровым, новым людям новой страны, должно быть совестно перед первым же ударом судьбы падать духом, в пессимизм ударяться, буржуазной поддаваться меланхолии! По своему горькому опыту знаю — от самого себя никуда не спрячешься, хоть за тридевять земель уйди, а своего сердца не обманешь, в нем что наболело, то с тобою всюду и останется. Нет, Паша, это не дело — ходить на чужбину свое горе лечить, ты выкинь такое из головы, осветли душу, оглядись кругом: тут ты и родилась, тут и твоя родная хата, тут и настоящие друзья твои, которые из любой беды вызволят,— как же можно все бросить?

— Ты же ничего не знаешь... — застыло глядя на огонь, промолвила Паша.— Ты добрый, чуткий, хороший, но ты же ничего не знаешь...

— Чего я не знаю?

— Того, что случилось...

— И знать не хочу! Я хочу только знать, что с нами будет...

Она вздохнула и, развязав полушалак, стянув его за концы на пле-



чи, заложив за уши разлохматившиеся на ветру коротко остриженные волосы, расстегнув верхние пуговицы жакетки, медленно повернула к нему румяное в отсвете костра лицо с глубоко запавшими глазами. Журба заметил, как беспокойно билась на ее тонкой шее над худой ключицей с затаившимся в ямочке грачиным перышком тени выпуклая жилка, то надуваясь, то опадая. И его обдало жаром нежности: к Паше, он испытал истомившее его вмиг желание надолго прижаться к этой пульсирующей жилке губами и застыть, замереть, замолкнуть, не произнося ни единого слова, не давая говорить и ей, — разве ласка нуждается в словах? Но вопреки своему желанию, пересилив его, он неожиданно для самого себя уверенно произнес:

— Я все знаю, Паша... Мне все известно...

Вспыхнув, заметно даже в зареве костра покраснев, она взглянула на него с испугом, с душевной тягостной болью. Хотя она и ждала от него подобного признания и больше всего боялась его услышать, к этому все же не была подготовлена. Точно под неожиданным ударом плетки сжались ее худые плечи, сутуло выгнулась обтянутая плюшевой жакеткой спина. Паша вскочила, рванулась было бежать прочь от костра в темную степь, но, не сделав и шага, покачнулась и, как подрубленный под корень тополек, села, закрыв ладонями лицо, на бурку, долго и тягостно молчала. Да и что она, истомившаяся своей болью, могла сказать Журбе, когда и сама себя не понимала, не могла, была не в силах разобраться в своем чувстве к Трофиму, то и дело меняющемся. То внезапно ее, бывало, охватит среди ночи страшное до жути к нему отвращение, опалит сердце жгучая ненависть, а то вдруг наплывут воспоминания о былом добром и светлом, и тогда, словно схлынувшей с берега волной, смоеет все накипевшее на душе и она наполнится тоскою по былой любви, но и это вскоре проходит и снова возвращается отталкивающая неприязнь, несущая с собою тупое ожесточение. И вот именно это и заставило ее принять решение покинуть навсегда хутор, начать новую — а где, она и сама не знала! — непременно новую, неясную и ей самой жизнь.

— От кого же ты знаешь? — едва слышно промолвила наконец Паша. — Кто тебе сказал?

Не спускавший с нее настороженного взгляда Журба подбросил в костер новую охапку бурьяна и, не вставая, придвинувшись к Паше, невесомо положил на ее плечо руку.

— А знаю я, Паша, главное, как нам с тобою дальше жить, — горячо дыша ей в затылок, сказал он. — И известно мне то, что дорога у нас с тобою одна и я, чего бы мне это ни стоило, сколько бы мне ни пришлось ждать, верну твою любовь. Вины моей перед тобою никакой нету, разве ж только та, что я стремлюсь по-новому жить, от всех старых пережитков свободный, и говорю тебе, весь перед тобою открытый, что не переставал я тебя любить ни на день, ни на час, и теперь без тебя не мыслю своей жизни. Хоть какие хочешь обидные мне слова скажи, а я любить тебя не перестану...

Он произнес все это с жаром, запальчиво, даже с какой-то досадой, жестокой на себя озлобленностью, словно продолжал с самим собою давний и нелегкий спор. А когда высказал все, что бродило в его душе, все, что передумал по дороге на переправу, то в ожидании ответа принялся молча подгрести обгорелой былкой цикория к костру угасавший жар.

— Выходит, ты ничего не знаешь, а я подумала... — после продолжительного молчания промолвила Паша.

— Что ты подумала?

— Так... ничего...

— А может, откроешься? Я тебе, Паша, верный друг, и не надо от меня ни в чем хорониться, нам же с тобою легче будет!

— Тебя бы на мое место...

— Ладно, я согласный! Считаю, что так оно и есть...

Паша вздохнула, отодвинула от огня чуть в сторону окутанные паром подсыхающие полусапожки.

— «Считай, что так оно и есть»...— с грустью повторила она.— Кабы такое можно было и на самом деле!.. У тебя, Василь, всегда все просто, ты как будто и на свете живешь для других, а не для себя, перед каждым твоя душа нараспашку. Но люди ж у нас на хуторе не такие, у них все по-другому, свои понятия — одним своим двором живут, остальное их не касается, хоть ты стори, хоть водою залейся, хоть провались под землю. За свое добро друг дружке готовы горло перегрызть, и потому каждого чужая беда та чужое горе только радуют — за все могут на позор выставить, на смех поднять, сплетнями вымазать, как ворота деттем, будто им самим после того жить станет легче, будто их самих несчастье никогда не достанет, а ведь и они от беды тоже не заговоренные...

— Не надо, Паша, не злись,— сказал Журба, подбрасывая в костер свежую охапку бурьяна.— Негоже в себе ко всем людям ненависть распалить, когда тебе один человек обиду нанес. Другие перед тобою ни в чем не виноватые, переменится жизнь на хуторе — и они вместе с нею. Старые устои ломать надо, частную собственность задушить, как гадюку, чтоб никогда не воскресла,— вот тогда и люди станут друг к другу душою теплее...

— Станут, дождайся! — в горькой усмешке покривив губы, перебила его Паша.— Ты весь такой — завтрашним днем живешь, а у меня внутри все огнем горит сегодня, мне свет не мил сейчас, мое счастье порушили теперь, можешь ты такое понять чи нет? Ненавижу, ненавижу, всех ненавижу и посулы твои о дне завтрашнем тоже! Тошно мне, тошно, я в свои года хочу, себе самой хочу жизнью настоящей, а не кому-нибудь после смерти моей...

Журба ждал, что она разрыдается, но ошибся, видно, у нее уже не было на это больше ни сил, ни слез, ни самой душевной горечи, ни даже, пожалуй, желания выплакаться — все перегорело. Она, умолкнув, лишь рассеянно провела рукой по лицу, будто снимая с него невидимую паутину, и неподвижно застыла, глядя на пылающий костер.

— Я тебя, Паша, понимаю,— тихо вымолвил Журба.— И напрасно ты меня упрекаешь, в доброту моей к людям коришь, такой уж я есть, и ничего со мною нельзя поделать. Я понимаю, любить людей труднее, чем ненавидеть, потому что им тогда свое надо отдавать сердце, но я не могу по-другому жить. Мое счастье в том, чтобы людям добро нести, верой и правдой служить народу, каждому в трудную минуту прийти на выручку...

— «Каждому прийти на выручку»,— снова повторила с грустью Паша, скользнув по его лицу рассерженным взглядом.— А кто тебя о том просит? Какая тебе в том выгода? Я тебя вмешиваться в мою жизнь просила? Я тебя на выручку звала?

— Обидеть хочешь? Ну что ж, пожалуйста, а только зря, честное слово, Паша, напрасно,— с горечью взглянув в ее глаза, сказал Журба.— Мне лично самому ничего ни от кого не надо, поверь! Я одной советской властью живу, без нее бы сам свое дыхание остановил, а ты о какой-то толкуешь в ы г о д е. Наши революционеры лучшие годы своей жизни по сырым царским тюрьмам маялись, от чухотки кровью харкали, на виселицы молодыми шли, под пулями палачей «Интернационал» пели, по всем дорогам цепями кандалов звенели, на каторге в сибирских рудниках от непосильного труда надрывались — какая ж

в том была им личная выгода, скажи? Они же ради нас, будущих поколений, на муки и смерть шли. Так какое же мы имеем право только о себе думать? А революция ж семнадцатым годом не кончилась, она и теперь у нас и по всему миру идет и до тех пор идти будет, пока мы начисто на земном шаре старое не уничтожим...

— А ты о нас скажи...

— Чего о нас?

— Как за нас двоих все о жизни решил,— сказала Паша.

— Ты о чем?

— Не понимаешь?

— Нет.

Она вздохнула, поправила на коленях юбку, накинута на голову полушалок, туго затянув под подбородком его концы.

— Странный ты, Василь!.. Какой-то вроде б не от мира сего, сколько времени прошло, а ты все не меняешься, все у тебя не как у людей. Вот и теперь ты, как когда-то, и за себя и за меня свободно и просто за нашу жизнь решил — и все на поверку будто бы и правильно, ничего тебе не скажешь, куда ж мне в моем положении деваться, одинокой, покинутой, опозоренной? А только ж и у меня своя гордость есть и не хочу, слышишь, не хочу я твоей жалости... ничьей жалости не хочу...

— Ты мне не веришь? А я тебя, Паша, все эти годы любил, вида не подавал, а любил...

— Верю,— неожиданно призналась она.— Тебе нельзя не верить. А только что тебе с моей веры? Прежнего чувства не воротишь, как и тех лет. Вспомни, чего ты мне перед уходом в армию наговорил, какие слова я от тебя услышала? А мне и надо-то было всего одно — жди! Ты в моем сердце тогда первым был, знал бы ты, сколько я по тебе ночами слез пролила, обида меня душила, изводила тоска смертная...

— Я же тебя никаким словом не хотел связывать, не имел на то права и не мог,— сказал Журба.— И никто на свете прав на другого человека не имеет, пойми ты меня, Паша...

— А во что все обернулось?

— Не надо ворошить прошлого, ни тебе, ни мне от того легче не станет. Мы с тобою начнем новую жизнь!

— Поздно, Василь, поздно...

— Не отнимай у меня надежду, я верю в нашу судьбу.

— Поздно...

— Погоди решать, время свое покажет.

— ... я под сердцем чужого ребенка ношу...

— Знаю, и что с того?! — воскликнул Журба.— И не чужого, а твоего! Я его, как своего собственного, как тебя, любить буду! Жизнью своей клянусь! Мы будем счастливы, Паша, милая, родная, любимая моя!..

Охваченный порывом безудержной нежности, в пылу отчаяния, порожденного страхом потерять свою любовь навсегда, Журба бросился не помня себя к Паше, намереваясь намертво заключить ее в свои объятия, чтобы не дать ей больше произнести ни одного обидного и горького для него слова. Но с хутора в это время донеслись тревожные удары в подвешенный у сельсовета вместо набатного колокола кусок рельса, и он застыл на месте с вытянутыми вперед руками. А звон рельса становился все сильнее, все тревожнее, все призывнее.

Опомнившись, предчувствуя страшную беду, Журба сорвался с места, нырнул от огня в темноту и, приминая сапогами хлеставший по ногам степной ковыль, задыхаясь в стремительном беге, взлетел на сторожевой курган, по склонам которого не более часа тому назад со-

бирал для костра сухой бурьян. На вершине он долго не мог отдышаться и, ослепленный пламенем костра, напряженно вглядываясь в сторону хутора, жадно хватал пересохшим ртом студеной напор ветра, ладонью растирал под солдатской гимнастеркой занышную вдруг ни с того ни с сего старую пулевую рану пониже левой ключицы.

Наконец глаза Журбы привыкли к лунной темноте ночи, и он увидел полыхавшее над хутором зарево пожара. В его багровом отсвете к озаренному высокими языками пламени небу, к утратившим яркость звездам валил густой, колышимый из стороны в сторону ветром, похожий на смерч, свивающийся в пепельные клубы дым. Он траурно заволакивал косматой гарью развевавшийся над сельсоветом на уровне верхушек пирамидальных тополей флаг, нес на него облака раскаленной сажи, точно старался выкрасить его, как чудилось Журбе, в черный цвет и предоставить затем бушующему пламени, чтобы тот сжег его, испепелил, развеял по всей округе. Но флаг не поддавался. Подсвеченный с земли огнем, кроваво-красный, сам подобный языку летящего по воздуху пламени, он то и дело появлялся из клубов поднимавшегося к небу дыма и, выстилаясь на мачте во всю длину, рвался и рвался ввысь, будто стремился вынести себя из огнедышащего угарного плена.

— Паша! Сельсовет горит! — прокричал Журба, сломя голову бросаясь с кургана. — На коня! Скорее! На коня!

Но Паша, вглядевшись в зарево, давно поняла все и сама. И потому еще до того, как до нее долетел сверху голос Журбы, она с присущим кубанским казачкам в беде завидным хладнокровием успела обо всем по-хозяйски позаботиться: разбросала и погасила костер, подняла с травы бурку и обобрала с нее налипшие репы, зануздала пасшегося в стороне иноходца и подвела его к подножью кургана. И когда Журба сбежал, тяжело переводя дыхание, к ней вниз, она молча передала ему поводья, накинула на его плечи бурку и придержала рукою, пока он садился верхом, стремя, как исстари повелось у казачек на проводах казаков в дальнюю дорогу или ратный поход. И несмотря на то, что Журба был взбудоражен, был весь поглощен случившимся, мысленно уже находился на хуторе, от его внимания не ускользнула эта ее малая — для кого-нибудь другого, но не для него! — забота, и в его душе вновь затеплилась с еще большей уверенностью желанная надежда на их будущую дружбу.

— На коня, Паша, скорее! Где твой узелок? Давай руку — помогу, не теряй времени, скорее! — выкрикнул он, с трудом удерживая на месте иноходца, беспокойно раздувавшего ноздри навстречу тянувшей с хутора удушливой гари и рвавшегося, грызя удила, на дорогу.

— Скачи, я пойду пешком, — отозвалась Паша, отступая назад и пряча за спину руки, к которым, свесившись с седла, тянулся Журба.

— Ты чего опять надумала?

— Скачи, говорю...

— Слово дай, что на хутор вернешься!

— Сказала же, чего тебе еще не хватает?

— Ну гляди, Паша, не обмани, я тебе верю! — прокричал уже на скаку Журба, пригибая к гриве коня голову и весь сливаясь с ним в одно целое. — Ждать буду-у-у!.. — долетело до ее слуха уже издали.

### Глава тридцать четвертая

Кому хотя бы раз довелось своими глазами видеть, как горит среди ночи саманная хата — а отданные под сельские Советы хаты и хаты хуторских и станичных активистов полыхали в то время по всей

Кубани из ночи в ночь,— тот никогда не забудет этого зловещего зрелища.

Оплеснутая с четырех, как правило, углов керосином и подожженная с четырех же углов полыхающей на палке паклей, камышовая или соломенная крыша занималась огнем в считанные секунды. Она выбрасывала в ночное небо столб пламени и дыма — бушующий, шумный, страшный — такой бешеной силы, что никому не могло прийти в голову вступать с ним в единоборство. Из горящей хаты спасали только имущество, наспех вынося на дорогу то, что попадалось в дыму под руку. Основная же забота сбежавшихся по зову набата на пожар жителей была обращена на то, чтобы не дать огню переметнуться на соседние дворы, уследить за каждой подхваченной ветром искрой. От колодцев протягивались цепочки, ближние к пожару крыши хат, амбаров, хлевов, конюшен и свинных катухов беспрестанно окатывались водой, находились под неусыпным наблюдением. Спасать же горящую хату было делом и на самом деле бессмысленным — проходили считанные минуты, как от нее оставались одни лишь закопченные, полуобвалившиеся стены да печь с трубой на черном чадающем пепелище...

Как ни выстилался из последних сил над дорогою иноходец, как ни горячил его плеткой Журба, а прискакал он на пожар уже под самый конец. Крыша хаты давно успела рухнуть, и огонь, отбушевав в ночи, медленно угасал. В его тускнеющем зареве на площади и в прилегающих к сельсовету улицах и проулках суетились казаки и казачки с ведрами, топорами, лопатами и вилами в руках, отбрасывая на дорогу, плетни и заборы мечущиеся тени. В темноте гремели колодезные цепи, отовсюду доносились выкрики, насадная брань, раздавался плеск воды, топот множества ног. Удушающе пахло горячим паром и чадом мокрых головешек.

Натянув поводья, Журба на всем скаку осадил взмокшего, роняющего с губ хлопья пены скакуна под уцелевшим, несмотря на чудовищную силу огня, флагом — видно, тот, кто устанавливал его когда-то на этом месте, предусмотрел и такое! — беглым взглядом окинул в беспорядке сваленное под шхунной мачтой прямо на земле небогатое имущество сельсовета: столы, табуретки, старые облезлые шкафы, лавки, подшивки пожелтевших газет, ворох пухлых картонных папок, скоросшивателей, потрепанных конторских книг и смятых листов испи-санной бумаги. Одиноко стояла чуть в стороне на скомканной, залитой чернилами скатерти, фиолетово поблескивая стеклом, не забытая кем-то в суматохе чернильница-непроливайка с торчащей из нее крашеной ученической ручкой. На всех вещах пожар оставил свои черные следы огня и копоти, и только одна эта чернильница с простой ручкой выглядела тут посторонней, чужой, словно бы она никогда и не была в сгоревшей хате сельсовета, а попала сюда совсем случайно. И, должно быть, именно потому-то все, что находилось рядом с нею, казалось подчеркнуто убогим, жалким, выглядело сильнее пострадавшим, чем, похоже, это было на самом деле. И, видно по всему, именно оттого-то не само обозрение пепелища бывшего сельсовета — Журба, пока мчался по степи к месту пожара, решил, что отдаст под него свою хату! — а именно неприглядный вид государственного имущества, обгорелого и закопченного, валявшегося на ветру, у дороги, под открытым небом, как какой-нибудь никому не нужный хлам, вызвал в его сердце тоскливую боль, ожесточил до помутнения рассудка. Куда только и подевалось его миролюбие, стремление делать всем без исключения людям одно лишь добро. Его захлестнула волна безудержного гнева, жгучей ненависти и злобы к тем, чьих рук было недавнее убийство хуторского избача, злостное укрывательство хлеба, агитация

т и х о й с а п о й против колхозов и, наконец, нынешний поджог сельского Совета как теперь уже открытый вызов советской власти, и он утратил над собой контроль, весь отдавшись охватившей его жажде незамедлительной мести.

Не давая себе времени остыть и успокоиться, Журба, кипевший гневом до дрожи во всем теле, пришпорил коня, подскакал к бредущим из проулков на площадь казакам и казачкам и, врезавшись в толпу, поднявшись на стременах во весь рост, судорожно сглатывая душивший в пересохшем горле комок, прокричал надсадным, срывающимся от волнения голосом:

— Погодьте, хуторяне! Слушайте, шо я вам буду балакать не как председатель сельского Совета, а сам по себе, как ваш земляк Василь Журба!.. До какой же години мы с вами станем терпеть? Наши классовые враги, кулаки-мироеды, убивают из-за угла преданных новому строю людей, палат хаты активистов, ховают и гноят в тайниках тысячи тысяч пудов хлеба, ведут немислимую агитацию против колхозов, запугивают всех и вся Страшным судом, а теперь вот добрались и до самого горла советской власти — начисто спалили сельсовет! Я самолично отдаю под него свою хату, и завтра же местная власть будет, как ей и положено, работать с раннего утра! Но, я вас пытаю, до каких же ж пор нам сносить над нами всяческие измывательства? Та вы ж гляньте, расширьте свои очи, чаша терпения ж давно стала полной, аж льется даже через край! Так давайте ж все вместе, одним фронтом докажем сегодняшней этой ночью своим противникам, кто есть на хуторе доподлинный хозяин, нехай они на своей шкуре спытают раз и навсегда нашу силу. Вперед на приступ, комсомольцы, за мной!..

При последних словах Журба воинственно взмахнул над головой плеткой, со свистом, как саблей, разрубая воздух, и, тронув скакуна под брюхо каблуками, попустил поводья, срывая его с места в галоп. Но в то же самое время кто-то метнулся из молчаливо замершей толпы наперерез ему, преградил иноходцу дорогу, и чья-то вскинутая вверх рука ухватила коня под уздцы. Иноходец под Журбою попятился, приседая на задние ноги, и высоко, оскалив розово-пятнистый храп, задрал голову, потянув за собою чью-то повисшую в мертвой хватке на удилах руку в сплошных, до самого плеча, кровавых ссадинах и ожогах.

Журба, побелев от ярости, избоченился и увидел в лунном свете прямо перед собою перекошенное злобой лицо Рогачева. Оно было страшным. На нем, темном от копоти, со следами стекавшего ручейками пота, гневно, обжигающе сверкали огромные, как показалось Журбе, глаза. Они будто вобрали в себя весь отбушевавший во время пожара огонь. Из глубины их зрачков, чудилось, и на самом деле исходило пламя, готовое, похоже было, в одно мгновение испепелить дотла настроенного воинственно всадника вместе с его буркой, заломленной на затылок кубанкой и повисшей на запястье плеткой. Нижняя сорочка, кое-как, видно впопыхах, заправленная в старые, из чертовой кожи брюки, свисала с плеч Рогачева грязными лоскутами, сквозь обсмоленные по краям прорехи смуглело его худое, жилистое, в старых рубцах шрамов тело. Бинты на голове стали почти черными, сделанная Журбою только под вечер свежая перевязка растрепалась, намокла и сползла на сторону, наискось закрыв опаленную до самой кожи бровь.

— Ну что же ты делаешь, что ты себе думаешь?! — сквозь гул заволовавшейся толпы дошел до сознания Журбы разгневанный голос Рогачева, и он тут же ощутил на своем запястье с ременной петлей от плетки боль от его сжатых пальцев, почувствовал несокрушимую силу, потянувшую его с седла.— А ну-ка слазь, вояка, пеший ты отой-

дешь скорее, больно на коне горяч! — услышал он тот же голос уже у самого своего уха.

Рогачев, разжав пальцы, выпустил обессиленно повисшую руку Журбы лишь только после того, как тот очутился на земле, встал рядом с конем, потупив глаза и раздраженно покусывая обветренные подрагивающие губы.

Смущенный, хотя и все еще ершистый, но уже утративший недавнюю воинственность вид молодого председателя сельсовета охладил разъяренного Рогачева, смягчил, а затем и вовсе погасил в его душе вспышку безудержного гнева. Он, овладевая собой, с присущей ему выдержкой бросил на Журбу осуждающий взгляд, хотел было что-то ему сказать, но лишь, с досадой покачав головою, махнув в сердцах рукой, шагнул к сгрудившимся на площади казакам и казачкам, вскинул опаленную огнем голову.

— Я не оратор и речей тут произносить не собираюсь, — кашлянув в кулак, проговорил осипшим от возбуждения голосом Рогачев. — Скажу от души, от всего сердца: спасибо вам, дорогие товарищи, спасибо вам, родные мои, и за то, что среди ночи сбежались на пожар, и за то, что помогли спасти от огня имущество и документы сельсовета... — Он оглянулся на Журбу, которого уже тесным кольцом окружили комсомольцы, и продолжал: — Наш молодой председатель сельсовета по своей запальчивости тут немного погорячился, звал на разгром кулаков, и его, я думаю, можно понять. Но советская власть и советский народ так кое так не решает. Завтра у нас с вами наконец состоится хуторское собрание бедняков, середняков и батраков, на нем мы и решим, что нам делать с кулаками. А теперь я желаю вам всем спокойной ночи...

И Рогачев, устало волоча ноги в тяжелых яловых сапогах, повернулся и подошел к Журбе. Улыбнувшись молчаливо стоявшим комсомольцам, с теплотой взглянув в глаза угрюмому Журбе, как будто между ними ничего только что и не произошло, он доверительно и душевно признался:

— Ну и устал же я, с ног валюсь, такое чувство — вроде бы у себя на заводе отработал подряд три смены. Да и чаду, видать, на пожаре наглотался — в ушах шумит, череп раскалывается...

И у всех на виду, как влать потрудившийся мастеровой человек, словно бы он и на самом деле находился после сменной вахты у стекловарочной печи, пышущей нестерпимым жаром, Рогачев поднял подол изорванной в клочья исподней сорочки, оголив смуглый, бугрившийся узлами мускулов живот, и принялся не спеша и деловито вытирать залитое потом и перепачканное сажей лицо. Дыхание его было шумным, тяжелым, что с ним бывало с недавних пор перед приступом удушливого, трудного, изматывающего кашля, и Журба, сорвав с себя бурку, накинул ее, хранившую еще тепло хозяина, на его плечи. В ответ на заботу Рогачев молча поднял на молодого председателя сельсовета воспаленные, налитые кровью глаза — в них уже и в помине не было недавнего гнева, наоборот, они казались беззащитно-открытыми, теплились ободряющей, доброй и мягкой ухмылкой. «Ничего, казак, не унывай, — успокаивая, похоже, говорил его дружелюбный взгляд, — в жизни бывает всякое, никто не может прожить без ошибок, опыт приходит с годами. Ты видишь, я уже на тебя и не сержусь, и как бы там ни было, а мне по душе твоя горячность».

— Ну так что ж, председатель, поскольку помещение под твой сельсовет у нас с тобою есть, давай переносить туда имущество: данное тобою жителям хутора слово надо сдержать, — произнес Рогачев вслух, переводя глаза на сваленный под шхунной мачтой нехитрый скарб.

И, несмотря на страшную слабость во всем теле, шатавшую его из стороны в сторону, на легкое головокружение и ноющую боль в затылке, он сделал несколько неуверенных шагов, присел на корточки и принялся подбирать с земли папки с документами.

— Надо сначала на новое место перенести флаг... как в бою,— угрюмо вымолвил Журба, подводя коня к тополю и захлестывая вокруг ствола чембур.— Я знаю, мой батько поступил бы точно так же...

Рогачев невольно вскинул голову, устремив долгий взгляд на хлопавшее в темном небе красное кумачовое полотнище, но ответить ничего не успел. Толпа на площади неожиданно пришла в движение, заволновалась, из конца в конец пронесся нарастающий ропот, слившийся в сплошной тревожный гул. Вся масса людей, сгрудившихся вокруг пепелища, вдруг повернулась спиной к пожарищу и, уплотняясь, схлынула в одну сторону, к ведущему к церковной ограде проулку. Над головами казаков и казачек засверкали в воздухе багры, вилы, лопаты и топоры, придав толпе хуторян сходство со стихийным войском народного ополчения. Издалека, перекрывая разноголосый шум, докатились надрывные выкрики:

— Ве-е-дут!!!

Рогачев и Журба, встревоженно переглянувшись, не сговариваясь бросились вслед за толпой, однако тут же вынуждены были остановиться. Задние ряды толпы откатились назад, разомкнулись, и до самого проулка, в глубине которого белела церковь, образовался узкий живой коридор. По нему в наступившей кладбищенской тишине хуторской милиционер, Мирошка Чумак и двое комсомольцев подвели к угасшему пожарищу Трофима и Клавдию.

— Вот они, злыдни, батюшка их в алтаре сховал,— сказал милиционер, пряча наган.— Не Мирошка Чумак, так ищи бы ветра в поле! Он на них первый наткнулся, когда они после поджогу убежали...

Мирошка Чумак, переминаясь с ноги на ногу, помаргивая белесыми редкими ресницами, не спуская с Рогачева слезящихся от чада пожарища глаз, в неловком смущении пожал плечами. «Ну скажи ты на милость, рази ж я виноватый, что обратно меня занесло в худые свидетели?» — казалось, зазвучал в ушах Рогачева хриловатый голос старого казака.

Подойдя к Мирошке Чумаку, Рогачев молча и сильно сжал его локоть.

Между тем кольцо вокруг пожарища угрожающе сжималось. Со всех сторон из толпы доносились негодующие выкрики. Передние ряды казаков и казачек, потрясая в воздухе баграми, вилами, лопатами и топорами, распаяясь все более и более, придвинулись к задержанным почти вплотную, еще мгновение — и никакая сила не удержала бы их от дикого самосуда.

Но в эту минуту Трофим рухнул перед толпою на колени, жалкий, трясущийся, испуганно и загнанно озираясь по сторонам, запричитал:

— Не погубите, родные, драгоценные... сжальтесь, не дайте пропасть в молодые годы! Каюсь я, во всем каюсь, во всех моих смертных грехах, но имейте сострадание, не сам я, не сам! Это она надумала, она меня, змея подколодная, на такое своротила, ее задумка была... Не по своей воле я на поджог пошел, под ее силой, она меня бог знает чем застрашала... она памороки забила...

Клавдия стояла не шелохнувшись. На ее рябом и, как всегда, напудренном лице не дрогнул ни один мускул. Запрокинув чуть назад закутанную в цветастый полушалок голову, припадая на короткую ногу, она, сузив по-хищному веки, смотрела на всех с нескрываемой злобой и ненавистью, уголки ее плотно поджатых губ надменно и холодно подрагивали.



Их увели...

На площади какое-то время стояла тишина. Луна, склоняясь к горизонту, уже опустилась за гряды пирамидальных тополей вдоль хуторского шляха и разрозненными осколками мерцала сквозь голые ветви. С высоты тополиных вершин на головы сгрудившихся неподалеку от пожарища казаков и казачек она выстелила, будто снежно-отбеленные холсты, длинные, разделенные тенями полосы мягкого и спокойного света. С пепелища тянуло горьковатым дымком, обвалившиеся закопченные стены потрескивали, от медленно остывающего самана струилось сухое тепло.

— Что ж мы, бабы, стоим, очи таращим, чи нам других и делов нету? — взлетел над толпою звонкий голос Ефросиньи. — А ну подтыкай подолы да гуртом перенесем нашу совецку власть в хату Журбы, наведем там чистоту и порядок, чтоб самим перед собою было не совестно!..

И она первой шагнула к груде сваленного под шхунной мачтой неказистого имущества сельсовета, подхватила на грудь, крепко обняв руками, охапку обгорелых картонных папок. Толпа мгновенно ожила, загудела, пришла в движение; казачки последовали примеру Ефросиньи, за ними с шутками и прибаутками потянулись и казаки. Вскоре все вплоть до чернильницы-непроливайки с ученической ручкой было разобрано по рукам, и от площади по освещенному матовым светом луны проулку двинулась пестрая, шумная, многоголосая и в чем-то даже торжественная процессия.

На долю молодого председателя сельсовета и Рогачева хуторяне не сговариваясь оставили самую почетную и святую обязанность — выкопать шхунную мачту, перенести ее на новое место и снова поднять над сельсоветом красный флаг.

### Глава тридцать пятая

Небо за хутором по самой нижней кромке у холмистого горизонта уже высинил рассвет, но до утра было еще далеко, когда выбеленную изнутри и снаружи хату Журбы с вымытыми окнами, натопленной печкой, свежеподмазанным глиной земляным полом и расставленной канцелярской мебелью вместо прежней, домашней, вынесенной теперь в чулан, покидали последние хозяйки.

Ефросинья в конце проулка замедлила шаги, приотстала от своих спутниц, а едва они растворились в темноте ночи, спрятала в траве под чужим плетнем ведро с мочальной кистью и половой тряпкой и вернулась назад во двор, на ходу оглаживая спереди ладонями волосы, заплетенные с вечера на сон в две толстые косы. Неторопливыми шагами, покачивая бедрами, она подошла к Рогачеву, который одиноко стоял в отсвете окна в глубине двора и перематывал грязные бинты. Скрестив на высокой груди руки, не поднимая глаз, тихо, будто стыдясь своих слов, промовила:

— Идем, Коля, до нас... переночуешь, а может, схочешь, так и квартировать останешься, места и тебе хватит... Не бедовать же с Журбою в его кладовке, с тебя ж все после пожару и постирать и починить надо, глянул бы ты в зеркало, на кого похожий стал... Идем, я и своих хлопцев наперед до дому послала, чтоб и печку натопили и воды нам с тобою нагрели... на кухне в корыте помоемся... — И, вздохом всколыхнув грудь, робко взглянув на его суровое, обожженное огнем, в саже лицо, с непривычной для нее кротостью, страшась, казалось, услышать из его уст отказ, совсем едва слышно дрогнувшим голосом спросила: — Не пойдешь?..

Рогачев не любил в себе порывов душевной растроганности, мягкотелости, отождествляя их с гнилой интеллигентской сентиментальностью, и поэтому, считая и то и другое признаками слабости мужского характера, чертою, недостойной революционера, члена коммунистической партии (да простят ему, простому рабочему бутылочного завода, до последней капли крови преданному своему народу, строгие потопки это безвинное заблуждение!), стремился всегда и везде любыми путями скрыть этот свой, как он считал, недостаток от постороннего взгляда. Но удавалось ему такое с большим трудом, а чаще и вовсе не удавалось.

Вот и теперь, ощутив, как после слов Ефросиньи ему в голову бросилась кровь и запылали от нее жаром его впалые щеки, как непрошено, сами собою, точно от заставшего их дыма, увлажнились глаза, он нарочито, безо всякой в том нужды хрипловато откашлялся и, отшагнув со света в тень, потянулся к лежавшей на завалинке хаты кепке.

— Не надо меня жалеть, Фрося, ничьей я не терплю жалости,— резко сказал он, напяливая на бинты кепку.— Что я — калека какой немощный, что ли? Все могу, если надо, сам себе сделать: и постирать, и заштопать, и пришить, и залатать — на то и руки...

У Ефросиньи меж тонких бровей прорезалась глубокая морщина, взгляд ее, наливаясь безысходной печалью, потускнел, а по сочным припухлым губам промелькнула горькая, стекшая в уголки усмешка.

— Не из жалости, не думай, я за тобою вернулась... — затаив тяжкий вздох, в смущении перебирая пальцами кисти полушалка, вымолвила она.— Другое во мне стронулось... давнее... чего и сама уже не ждала... А ты...

Рогачев вскинул голову, устремив на Ефросинью долгий усталый взгляд, пытаясь, по-видимому, проникнуть в смысл ее слов, но она покачала плечами, повернулась на каблуках и медленно, кутая в полушалок лицо, трогательно-печальная, направилась со двора. И трудно теперь сказать, что бы ответил ей после раздумья Рогачев, как бы поступил дальше, — можно лишь догадываться, да и то без ручательства, что скорее всего, должно быть, остался бы в сельсовете, не желая после того, что случилось в эту ночь, оставлять своего молодого друга одного, однако Журба как раз в тот момент сам появился на пороге хаты и, ничего не ведая и не подозревая, все обернул на свой лад с присущей ему непосредственностью.

В своей длинной косматой бурке, лихо заломленной на затылок серой с алым верхом кубанке и с висящей на запястье плеткой он, все еще не остывший от пережитых недавних событий, до краев, несмотря на бессонную ночь, переполненный юношеской силой и неистребимой энергией, встал на пути Ефросиньи, широко расставив ноги.

— Стойте, тетка Ефросинья, вы еще туточки, а я сбирался до вас зараз верхом на иноходце подаваться, — поблескивая из-под заячьей губы зубами, сказал он.— Уважьте мою просьбу, сделайте такую милость — заберите до себя на квартиру приезжего товарища, не в кладовке ж ему со мною жить, я и сам наметил до тетки спать податься, а в сельсовете до утра милиционер Щербина подежурит. Договорились, да? Я ж так и знал, что вы не откажете, зараз его вещи вынесу!..

И не успела Ефросинья вымолвить слова, как Журба, опавнув ее ветром от бурки, метнулся в хату и через мгновение появился на пороге с тяжелым, набитым почти одними книгами фанерным чемоданом Рогачева.

Пока это все совершалось на виду у Рогачева, он, внешне оста-

ваясь безучастным к тому, что происходило на его глазах, внезапно в мыслях своих увидал помимо своего желания просторную, чистую, светлую и уютно-обжитую хату Ефросиньи, где совсем недавно провел долгий осенний вечер. И вдруг сразу ощутил во всем теле страшную, валившую с ног усталость. Им овладело нежданно-негаданно полное ко всему равнодушие, хотелось только одного — покоя; и ничего другого он уже не испытывал, кроме желания поскорее попасть в тепло и тишину, погрузиться в глубокий и безмятежный сон.

В таком отторгнутом от окружающего состоянии он и подошел к Журбе, машинально взял у него чемодан и молча, тяжело волоча ноги, побрел следом за Ефросиньей, спотыкаясь порою на ровном месте. Так они и прошли через спящий хутор — она впереди, он на шаг сзади, не обмолвившись за всю дорогу ни единым словом.

...Близнецы уже спали на другой половине хаты. Печь была жарко натоплена, на поду за закрытой заслонкой в чугунах кипела вода. На кухонном столе лежала буханка белого хлеба, стояли миски с салом, вареными яйцами и мясом, солеными помидорами и кавунами, кринки с молоком и сметаной, четверть с красным домашним вином и стаканы.

После недолгого ужина — к вину никто из них не притронулся — мылись в деревянных корытах спиной к спине, разделенные дубовыми бочонками с холодной и горячей водой. Чтобы приглушить чувство стыда и неловкости за собственную наготу, хотя между ними и было условлено ни при какой надобности не оборачиваться, круглый фитиль в керосиновой лампе укрутили до предела, лишь бы огонь не погас. Синеватый венчик мерцавшего под стеклом пламени едва теплился и давал света, пожалуй, не больше, чем светлячок лампы, горевшей перед иконой божьей матери, но это и его и ее вполне устраивало.

И кусок мыла и жесткая, из люфы, мочалка были одни на двоих, и они по надобности передавали их друг другу за спиной, на ощупь, зажмурив глаза, или клали на пол на нейтральной полосе. Временами железные, с длинными ручками черпаки того и другого сталкивались, лязгнув, над каким-либо из двух бочонков, и тогда неизменно, не смотря на то, что они могли бы набрать воду и вместе, звучал мягкий сквозь сдерживаемый смех, воркующий голос Ефросиньи:

— Набирай ты первый... я обожду...

Но вот в самый разгар «бани» она неожиданно затихла, с ееловины не стало слышно ни плеска воды, ни шуршания намыленной мочалки, ни треска густого гребня, ни скрипа хорошо промытых волос дождевою водой — ни одного движения, ни единого шороха. И Рогачев уже было собирался ее окликнуть, спросить, что с нею случилось, а если потребуется, то даже и нарушить условие, выглянуть из-за бочонков, когда Ефросинья вдруг прошлепала босыми ногами по крашеному полу к кухонному столу и выкрутила на всю мощь в лампе фитиль.

Под потолком и за печкой зажужжали сонные мухи. Рогачев затешил от яркого света глаза ладонью, согнулся в корыте в три погибели, выставив острые лопатки и ребристый хребет.

— Не совестись, я на тебя не дывлюсь, и ты на меня не дывись, — с усмешкой вымолвила Ефросинья, подойдя к корыту, и, забирая из его рук мочалку, заботливо осведомилась: — Волдырев на шкуре тебе не напекло, ты ж на пожаре в огонь, як скаженный, сигал? Зараз я тебе спину потру, самому небось неудобно...

— Нету у меня там ничего, лицо немного да грудь и руки опалило! И не надо, Фрося, я сам, — отозвался Рогачев, всей кожей спины, как ему казалось, чувствуя насмешливый взгляд ее жгучих, вытянутых к вискам и влажных от пара желудевых глаз.

— Сиди, чего уж там не надо, все ж одно я от своего не отступлюсь, а спину тебе натру! Совестьливый какой стал, куда там, вроде б я тебя и телешом никогда не бачила! А забыл, как в плавнях раны обмывала та перевязывала, и в чем только тогда душа держалась, не думала и не гадала, что и выхожу...

— Не будем ворошить старого, то, прожитое, уже поросло будяками, не сыскать дороги,— сказал Рогачев, напомнив Ефросинье ее же слова, и потребовал: — Отдай назад мочалку!

— Да не гляжу я на тебя, затихни ты, ради бога, не елози задом по корыту, як грешник перед сатаню на раскаленной сковороде! — прикрикнула сквозь смех Ефросинья и, склоняясь с мочалкою в руке над его спиной, уронив ему на плечи распущенные, мокрые и оттого тяжелые волосы, вздохнула: — А ты памятливый, бачишь, чего мне напомнил...

— Я не в обиду, я к слову,— сказал Рогачев.

— Слово, оно всякое бывает, какое ласковое, а какое и убить может... Я на тебя тогда злая была...

Она смыла ковшом теплой воды с его спины мыльную пену и, швырнув на пол мочалку, медленно и задумчиво провела пальцем по давним шрамам, образующим заметную, вырезанную когда-то кулацким кинжалом пятиконечную звезду. И после недолгого молчания, переведя палец ниже, на рубцы ран от снарядных осколков, тихо, будто переживая давным-давно минувшее, смиренная и печальная, призналась:

— Думаешь, я тебе спину рвалась потереть? Невелика услада... Мне на свое лечение поглядеть не терпелось, на шрамы твои взглянуть! Такое мужикам не объяснишь, где им бабье сострадание понять...

— Я понимаю,— отозвался Рогачев.

— Ты голову больше не бинтуй, затянуло там все,— снова обретая прежний шугливый тон, продолжала Ефросинья.— А спину я тебе на совесть вымыла, румяная стала, як шкура у молочного поросья...

— Спасибо,— поблагодарил Рогачев.

— Ты спасибом не отделаешься, и не думай! Зараз я пойду и сяду в свое корыто, а ты придешь по мою спину с мылом и мочалкою, а чтоб тебе придать храбрости, я лампу уверну, а может, желаешь, так и не стану того делать, нехай будет светло,— вымолвила она и весело, озорно, как девочка-подросток, прыснула и расхохоталась.

— Ты со мною, Фрося... так не надо, а то я оденусь и уйду,— мягко попросил Рогачев.

— Я ж шуткую, ты что, не понимаешь? — удивленно произнесла она.

— Я понимаю, и все-таки не надо, не ты это... я тебя другой помню...

Она ничего не ответила и больше, пока они домывались, не проронила ни слова. И даже когда их черпаки случайно сталкивались над каким-либо из двух бочонков, она теперь не произносила своих прежних слов: «Набирай ты первый, я обожду...» — а молча отводила в сторону руку и тихо ждала, пока он освобождал ей место, сидела бесшумно, не шелохнувшись, затаив, похоже, дыхание.

Молча она вскоре и вылезла из корыта, молча и обтерлась полотенцем, молча и оделась, ушла, мягко ступая отороченными овчиной чувяками по домотканому половику, в горницу. Молча и вернулась немного погодя на кухню, подошла к висевшему в простенке зеркалу с заткнутыми за деревянную рамку фотокарточками и принялась расчесывать отливающие в свете керосиновой лампы красной медью густые волнистые волосы.

Рогачев к этому времени уже успел надеть на себя чистую смену домашнего белья и сидел на стуле у стола в грязных, измятых брюках

и свежей нижней сорочке, разомлевший от жары, вытянув по полу распаренные жилистые ноги, уронив на колени такие же распаренные, в пятнах ожогов, перевитые синими венами руки. Лицо у него было тоже красным от ожогов и мытья горячей водой, оно за бессонную ночь еще больше похудело, заросло темной щетиной, воспаленные веки слипались.

— Иди ложись, я тебе в горнице свою кровать разобрала,— нарушила молчание Ефросинья, встретившись в зеркале с ним взглядом и отводя глаза в сторону.— Иди спи, уже светать начинает...

— А ты?

— Уберусь, на печи лягу.

— Я тебе помогу.

— Ты и так с ног валишься, сама управлюсь.

Прогнувшись в спине, Рогачев сладко потянулся, встал и, с удовольствием ступая босыми ногами по теплым доскам пола, подошел к окну, приложил к вискам ладони. Он надеялся увидеть высветленное рассветом небо, темные на нем очертания пирамидальных тополей, пологие скаты камышовых и соломенных крыш саманных хат, а над ними вдали, на новом месте, освещенный лучами еще невидимого с земли солнца, налитый кровью новой зари флаг над сельсоветом.

Но ничего этого видно не было.

С плавней на хутор через голую степь наплывал, обволакивая все окрест, плотный сплошной туман. Не прошло и минуты, как хутор растворился в нем полностью, исчез, словно и вовсе не существовал на свете. Стало белым-бело. Туман подступил к самому окну, около которого стоял Рогачев, и хата, как ему почудилось, будто бы по печную трубу погрузилась в парное, вспененное дойкой молоко, готовое, похоже, просочиться даже сквозь щели в рамах на подоконник. Стекла вскоре утратили совсем свою прозрачность, словно их кто-то выбелил с улицы мочальной кистью известкой в несколько жирных матово-белесых слоев.

— Ну и туман навалился, ничего не видеть,— сказал Рогачев, отходя от окна, и спросил: — Куда, Фрося, вылить из корыт грязную воду?

— Рассветный туман нестойкий, солнце встанет — и рассеется, к полудню погожий день будет,— не отвечая на его вопрос, печально промолвила Ефросинья и, в задумчивости глядя на заволоченные туманом окна, тяжело вздохнула: — На душе бы так...

И отвернувшись вновь к зеркалу. В тишине кухни, где давно уже затихли мухи, опять затрещал ее роговой гребень, слышался шелест подсохших, источавших запах настоя полевой ромашки волос.

Рогачев поднял на нее глаза, и его внезапно окатило волной добро-го, счастливого и выстраданного предчувствия. Не глазами, а скорее сердцем, да, именно сердцем он у в и д а л то, чего долго и терпеливо ждал, чего хотел, на что надеялся и что так неожиданно ему открылось. И в том, как Ефросинья стояла у зеркала к нему спиной, но вся обращенная в слух, настороженно лова каждое его движение, и в том, как стыдливо уводила в сторону свой взгляд, и в том, как неровно и слышно, часто вздыхая, дышала, и в том, как теперь говорила, заметно подбирая медленно и осторожно слова, и в том, наконец, как замкнулась в самой себе,— во всем ее облике, новом и еще неразгаданном, ему открылось самое для него дорогое и желанное, отчего на душе у него стало тепло и спокойно.

— Ты, Фрося, на меня осерчала, что ли? — спросил Рогачев.— Не надо, не обижайся. Ну что я могу с собою поделать, раз уж такой у меня характер...

Сделав к Ефросинье несколько шагов, он остановился в нерешит-

тельности за ее спиной, сдерживая желание раскинуть руки и заключить ее в свои объятия, и, с нежностью глядя на ровный от низкого лба до шейной заросшей курчавым пушком ложбинки беловатый пробор, тихо, справляясь с перехватившим грудь дыханием, произнес:

— Не стареешь ты, Фрося, волосы у тебя такие же, как и десять лет назад...

— Чего в них! Рыжие...

— Ну и что ж с того, что рыжие, а мне запомнились...

Она разобрала пальцами на две половины расчесанные волосы, закрывавшие лицо, легким наклоном головы назад отвела их за маленькие уши с висящими на мочках, как парные вишенки, сережками и положила на обтянутое ситцевой кофтой плечо округлый подбородок.

— Не обиду во мне твои слова посеяли — другое, — вымолвила она, устремив на него влажные от нахлынувшей ласки, потемневшие глаза. — Разве ж на т а к о е обиду таят? Поохальничать с вдовой бабой какой мужик не горазд, а ты мне о моей гордости, чести напомнил, вернуть помог, о чем я, признаюсь, уже и забывать стала... Ты в моем сердце еще в те недели, в плавнях, гнездо свил, и никакие бури, на поверку вышло, его не сдули... И не заросла к нему, Коля, тропинка, не думай, еще дороже стала...

Рогачев взял Ефросинью за плечи и, ощутив под ладонями покорности, молча привлек к себе. Она вскинула руки, обвила ими его шею, ткнулась лицом в распахнутый ворот исподней сорочки и с иступленной ненасытностью стала торопливо и горячо покрывать поцелуями его широкую, жесткую от мускулов, свежпахнущую стиральным мылом грудь.

В порыве обуявшего ее чувства, схожего с отчаянием, она была охвачена жгучим, до боли сжимавшим сердце желанием заголосить на всю улицу, на весь хутор, как исстари велось среди казачек по добром или же печальному поводу: «Ой, боль ты моя, трава-лебеда, польнь горькая, ой, где ж тебя так долго по свету носило вдали от моей судьбы несчастной, извелась я, измаялась, шо ж не порушил ты раньше моей доли вдовьей, шо ж прежде не распечатал моего счастья? Я ж его всю свою жизнь дожидаюсь, вся от ведьмы-разлуки подлой иссохнувши! Сколько ж я слез по тебе горючих выплакала, кровинушка ты моя родная, сокол ты мой желанный, зорька ты моя ненаглядная, солнце ты мое ясное! На край света теперь за тобою пойду, ни в воде, ни в огне, ни в небе не отстану ни на шаг, шо хочешь со мною делай, а я тебя от себя больше не отпущу!..»

Но вместо всего этого, что, казалось, было готово сорваться с языка и что по чисто женской не то слабости, не то привычке выговориться просилось из глубины души наружу, она просто-напросто молча расплакалась, прильнув щекой к его плечу. И вся — от наполненных слезами глаз до приоткрытых, ждущих поцелуя губ — изнутри будто бы засветилась долгожданной и выстраданной радостью, словно пронизанная солнечным теплым лучом...

## Эпилог

Плавни... плавни...

Ступив на кубанскую землю, воинственные и вольнолюбивые казаки Сечи Запорожской были вынуждены едва ли не с первых шагов своей жизни на новом месте вступить в многолетнюю войну с плавнями. В ту пору густые, непроходимые заросли камышей с большими и малыми, горькими и солеными, мелкими и глубокими лиманами тянулись по всему Приазовью сплошным массивом и, беря начало от самой кромки песчаного берега моря, сами — во все стороны им не видно

было конца и края — походили тоже на море, лишь отличавшееся цветом.

Плавни... плавни...

Тут и там, обжигая небо багровыми сполохами, заволакивая все окрест черными клубами дыма и пепла, превращая день в ночь, а ночь в день, долго, нескончаемо долго полыхали в плавнях гигантские пожараща. А какое-то время спустя на высушенном огнем и жарким южным солнцем земном приволье, все еще пропитанном гарью, но невиданно кислородном, стали возникать одна за другой станицы, один за другим хутора, отделенные друг от друга все теми же топкими бескрайними плавнями. Плавни давали поселенцам бесплатное топливо и даровой строительный материал — камыш шел на турлучные постройки, на крыши хат, на плетни и заборы, на многое, что требовалось в хозяйстве, — и в то же самое время будто в отместку отравляли жизнь пришельцев несметными полчищами комаров, не щадивших ничего живого: они чуть ли не повально заражали жителей хуторов и станиц малярией, страшной, изматывающей силы, подрывающей здоровье желтой лихорадкой, унесшей на тот свет немало жизней.

Плавни... плавни...

Они отступали перед человеком медленно, слишком, слишком медленно. Во времена происходивших на хуторе Прикубань последних событий плавни окружали его, должно быть, почти таким же самым кольцом, как и полтора столетия тому назад. И уж можно утверждать с уверенностью, даже поклясться на чем угодно, что от тепла и до холодов, изо дня в день, на рассвете и с наступлением сумерек в каждом дворе у хлевов и летних кухонь разводили от комаров дымные костры с той же самой неизбежной необходимостью, как и в далекую старину, — только под защитой дымовой завесы казачкам удавалось, да и то напялив на себя по несколько юбок и кофт, по глаза закутав лицо полушалком, подоить своих коров после выпаса или перед выгоном в стадо, управиться по хозяйству, состряпать ужин или завтрак. И так от поколения к поколению. И теперь еще в тех местах, где пока уцелели плавни, все больше и больше отгесняемые рисовыми полями, на утренней зорьке и по вечерам во дворах по-прежнему курятся костры. Душистый, терпко-горьковатый кизячный дым, схожий по запаху с дыханием разомлевшей в полуденный зной полыни, не поднимается высоко кверху, а, томимый безветрием, тягуче обволакивая плетни и заборы, растекается по улицам и проулкам, низом сплывает в отлогие распаханые балки, наслаивается там на постоянные вблизи плавней — на восходе и на закате солнца — стойкие туманы...

Осенний день клонился к вечеру, когда Мирошка Чумак и Ефросинья, возвращаясь из районной станицы домой, переправились с мажарой на пароме через Кубань на свою сторону и, перевалив за прибрежную насыпную дамбу, свернули на дорогу к хутору, въехали в плавни.

На них повеяло сыростью, затхлой водой и болотной гнилью. В плавнях было тихо, пожелтевшие камыши, вымахавшие за лето почти до самого неба, стояли не шелохнувшись, с красными от вечерней зари султанами, сжимая с боков дорогу плотными, будто костяными стенами. Дождей не было, должно быть, уже вторую неделю, с той самой памятной всем хуторянам ночи, когда сгорел сельсовет, и дорогу колеса бричек, линеек, мажар, бедарок и тачанок успели укатать до окаменелости — подковы лошадей выцокивали по ней, как по асфальту, и не оставляли никаких следов, казалось, они вот-вот станут высекать искры.

Мирошка Чумак сидел на передке мажары, свесив с боков дышла чуть ли не до земли длинные жерди ног в старых, густо по обыкновению смазанных дегтем и припудренных пылью, стоптанных сапогах. Он задумчиво, позабыв, похоже, про дымившую в кулаке трубку, время от времени машинально подергивая вожжами, тянул себе под нос немудреную старинную песню:

Плывэ човин, воды повин,  
Та все хлюп, хлюп, хлюп, хлюп,  
Та все хлюп, хлюп, хлюп, хлюп,  
Та все хлюп, хлюп, хлюп, хлюп...

Ефросинья же мягко утопала в сене за спиною старого казака, лежала навзничь, закинув за голову руки, уперев каблуки хромовых полусапожек в новый мельничный жернов, и, укачиваясь, разморенно то опускала, то медленно приподнимала рыжеватые густые ресницы. Ее убаюкивали и плавное покачивание на гладкой дороге мажары, и глухая тишина плавней, и монотонное скорее бормотание, чем пение Мирошки Чумака, и круговое парение в предзакатном небе орлана. Но она не спала, сознание ее было ясным, хотя все тело и охватывала, клоня в сон, необоримая дремота.

В своем раздумье Ефросинья торопила время, мысленно она уже давно была на хуторе, у себя дома, и видела перед собою Рогачева, к которому прикипела душой и без которого ей теперь не мыслилась и сама ее жизнь. Приближение от версты к версте желанной встречи (они расстались всего лишь утром, а ей чудилось — словно прошла уже целая вечность) все более наполняло Ефросинью тихой радостью, от которой томительно замирало в груди сердце, и припухлые ее обветренные губы не покидала загадочная блуждающая улыбка.

Охватенная новым, неведомым ей до сего времени чувством, переполненная им до краев, она, как всякий счастливый человек, была охвачена любовью ко всему, что ее окружало, и испытывала лишь одно желание — чтобы всем на свете было так же хорошо, как и ей. И в порыве этого чувства Ефросинья, сбрасывая с себя дремоту, перевернулась со спины на живот и, поправив на огненно-рыжих волосах съехавший на плечи цветастый полушалок, подперев ладонями размяннившиеся щеки, участливо и задушевно, будто продолжая прерванный разговор, вымолвила:

— А по мне, ей-богу ж, с моим, само собою, характером и не стоит оно того, чтоб через то еще душу терзать, убиваться! Не вашему двору первому на хуторе ворота дегтем вымазали, не ему, видать, и последним быть. Жизнь, она с малых лет в людей добро по крупинкам зароняет, а зло пудами валит, оттого они и готовые друг дружку со свету сжить, вроде б им в таком разе самим полегчает. Так уже повелось на миру, что человек при чужой боли да при чужом страдании про свои беды забывает, легче ему стает, не одиноким себя понимает — как же ж, и у других, мол, горе... Бог с ними, они ж небось сами себе не рады, — счастливый и в голове такого держать не станет, чтоб над своим же ближним надругаться...

Она умолкла, а Мирошка Чумак сунул под усы трубку и принялся ее раскуривать, глубоко втягивая в себя морщинистые небритые щеки, попыхивая дымком ядовитого самосада. Сутулая его спина, обтянутая латаным чекменем, сгорбилась еще сильнее, облезлая солдатская папаха съехала низко на лоб.

Лошади перешли с трусцы на шаг, и тишина плавней стала еще более заметной, ее не нарушало даже поцокивание копыт да скрип колес мажары. Орлан спустился совсем низко, кружил в стороне от дороги над раскинувшимся за камышами лиманом, по-видимому выискивая



большую рыбу. На его распластанных в небе неподвижно крыльях тлел отсвет далекого заката, медленно угасавшего. Тень от птицы наконец падала на воду, и от нее шарахались в испуге в камыши лыски, чирки и кряквы, торопливо прятались в зарослях. И только стая чаек, убелившая на пригреве песчаную отмель, оставалась сидеть в недвижимом покое и ничего не страшилась.

В плавнях становилось все сумеречнее и прохладней.

— Ты не мне, ты дочке про то скажи,— нарушил молчание Мирошка Чумак.— Душу она мне всю спалила, до крайности извела, а о моей старухе я уж и не балакаю, та ссохлась вся, почернела, сколь ночей не спит...

— Она что же, все плачет? — спросила Ефросинья, следя за парением над плавнями степного орлана.

Тяжко вздохнув, старый казак безнадежно махнул рукой.

— Где там, тем-то и душу палит, что молчать, молчить — и всё! Слова за целый день от нее не дожدهшься, сидит завроде б бабы в степу каменной, что статуей ще учеными прозывается. А ведь было уже, як ее Журба с переправы до дому завернул, отмякать стала, не наче ее с той ночи подменили, и в хозяйстве подсоблять взялась, и по хутору ходить не совестилась, и хату белить надумала. Кажинный вечер его дожидалась, як ему до нас прийти, так она то к зеркалу, то к окошку подкачет, а у самой щеки ж располыхаются — хоть об них спички без коробка чиркай, того и гляди сама загорится! Не судьба, видать, ей свое счастье найти... И дите загубит и себя в могилу сведет — все прахом с того часу, как ей утром деготь, пропади он пропадом, на дверях побачить...

— А Журба ходит?

— И за него сердце болит, измаялся он с нею, стал шкелет шкелетом, а у него ж забота — цельный колхоз теперь на нем, а чем мы с моею старухой можем помочь? Он наведается до нас, а она в кладовку шмыгнет — и дверь на засов. Бедолага через щелку ее поуготоваривает-поуготоваривает та и уйдет не наче в воду окупнутый, очам бы моим лучше ослепнуть, чем на такое глядеть...

— Дай срок, все уляжется, время душу вылечит, — уверенно вымолвила Ефросинья.— Журба ее любит, не отступится, я знаю, не такой он человек. шоб кого б то ни было в беде кинуть. А как на хутор приедом, я сама с нею поговорю, мы, бабы, друг дружку пойдем, всех казачек на ноги подниму, у нее ж вся жизнь впереди, негоже на первой кочке спотыкаться. Раз я своего счастья дождалася, так она и по давно должна, и вам со старухою будет радость — внука родит! Вы ж кого дожидаетесь — внука чи внучку?

Вынув изо рта трубку, растроганный впервые за долгую жизнь, должно быть, проявленным к нему чужим участием, Мирошка Чумак обернулся и через плечо устремил на Ефросинью печальные глаза с красными от бессонницы прожилками на желтоватых белках, словно увидал ее впервые, а не прожил с нею на одном краю хутора долгие годы и знал о ее жизни, как и всякий хуторской житель о своем соседе, больше, чем она сама. Его блеклые под седыми прокуренными усами губы задрожали, и с белесых ресниц на впалые щеки скатились две мутные слезинки. Старый казак смущенно, стараясь выдать из себя улыбку, вытер их рукавом ветхого чекменя и, отвернувшись, шмыгая носом, хлестнул по лоснившимся от сытости крупам коней ременными вожжами, взмахнул над их спинами кнутом:

— А ну, гнедые, ходу! Чи не чуєте, хутор близко?!

Но в то же самое время, как Мирошке Чумаку было выкрикнуть эти слова, из зарослей плавней, с шумом ломая трещавший камыш, на дорогу неожиданно выметнулась темная грузная фигура и, широко

расставив ноги, встала на пути мажары. Лошади испуганно захрапели, шарахнулись в сторону, вздыбились и остановились на краю обочины, задрвав к небу дышло, заступая постромки, оседая крупами на передок. В наступившей затем напряженной тишине до слуха старого казака и Ефросиньи донесся басовитый, по-прежнему властный голос Хоруженко:

— Бачите, земляки, ото ж мы и свиделись! Шо ж вы, промежду прочим, мимо правите, я ж вас туточки с утра дожидаясь!..

Он вразвалку, громыхая по накатанной дороге высокими болотными сапогами, стороной обогнул коней, окинул их хозяйским взглядом и подошел к мажаре. Усмехаясь в усы, Хоруженко ухватился рукой за железный прут боковой стойки — другая его рука сжимала поперек цевья боевую винтовку — и свободно, безо всякого, казалось, усилия покачал мажару, как детскую люльку.

На нем ладно красовались все та же лебяжья высокая папаха, полыхавший за спиною красный башлык, черный атласный бешмет и новая суконная, с позолоченными газырями черкеска, туго перехваченная в талии кавказским ремешком, выложенным черненым серебром, спереди с пояса свисал чуть ли не до колен кинжал в дорогих ножнах и с костяной рукояткой, сбоку — старинная кривая сабля, должно быть немало послужившая на своем веку в далекие времена кому-то из знатных, видно задунайских, казаков. И если бы не высокие на нем охотничьи сапоги, до самого верха яловых голенищ облепленные болотной грязью и тиной, то он скорее бы походил на бравого рубаку, только что спешившегося с боевого коня и еще не успевшего остыгть от жаркой сабельной схватки, чем на скрывающегося вторую неделю в камышах плавней от людских глаз беглеца.

— Моя гарба... — промолвил Хоруженко и, согнав с губ ухмылку, направился к лошадям. — И кони мои...

— Ты чего надумал, Ларион Степаныч, для какой надобности нас тут перестрел, неначе на дорогу грабить вышел? — с равнодушным видом выбивая из трубки на ладонь пепел, подал голос Мирошка Чумак. — По всему видать, ни ты нам не радый, ни мы с тобою свидания не шукали — в самый бы раз и расстаться... от греха подальше... Ить и кони не твои и гарба не твоя, все теперь нашему колхозу перешло... по общему решению...

Хоруженко не оборачиваясь круто кинул на саженное плечо голову, искоса из-под тяжелой навеси надбровных дуг опалил старого казака загоревшимся ненавистью взглядом и медленно, не глядя перекинул с руки на руку винтовку. К гладко выбритым его щекам, схватывая пятнами скулы, густо прихлынула кровь, и выкатившаяся с затылка на тугой ворот бешмета жирная складка шеи стала совсем багровой — от нее, казалось, того и гляди мог вспыхнуть курчавый край бараньей папахи.

— Ну ты! Помалкивай, а не то я тебе глотку живо свинцом заткну! — хрипло выдавил Хоруженко, возвращаясь к мажаре. — Мне лучше знать, когда и как с кажным из вас расстаться, тут тебе не в амбаре язык распускать...

Мирошка Чумак пожал костлявыми плечами и принялся сосредоточенно и неторопливо, как делал это всегда, заново набивать самосадам трубку, весь по давней привычке погрузившись в это свое занятие.

— Невелика храбрость безоружного винтовкою стращать, — сказал он, вытаскивая из кармана латаных шаровар кресало и обмотанный суровыми нитками фитиль. — Да будь ты и безо всякого оружия, все одно — не моим тщедушным мослам с тобою тягаться силою, я ж ее сызмальства батраком в хозяйстве твоего батьки начисто стратил,

а опосля его кончины ты из меня все годы жили до сей поры ташил, через то самое и душа моя до всего на свете охолонула, хочь ее кипятком ошпаривай. И не пужай ты меня, заради бога, смертью, мне ее лякаться нечего, она и без того уже сама за спиною стоит, и старый я, и хворый, и жизнею, что твоими жерновами с ветряка, перетертый — всего повидать на своем веку довелось, по горло я ею сытый, хотя, ежели признаться по совести, так помирать зараз мне нету никакого резону, бо я нутром чую — наступил-таки и мой час из нужды выбиться, из последнего бедняка Мирошки Чумака в люди выйтить, вместе со всеми хуторянами на равных жить по-новому начать... в коллективу... — И немного помолчав, высекая кресалом на ватный фитиль искру, с гордостью и доверительно, словно в дружеской беседе, сообщил: — Тебе ж, Ларион Степаныч, неведомо, а меня в нашем хозяйстве старшим мельником назначили и в правление, оказали честь, вместе вот с Ефросиньей выбрали! И вертаемся мы зараз до дому из станицы, куды с обозом хлебозаготовку свозили, все подводы наперед ушли давным-давно, а мы припозднились, за новым жерновом для ветряка завертали — его ж там менять надо, в старом, сам помнишь, через прорубанный желобок мука не в тот чувал вся попадала, а мне того совесть дозволить не может, чтоб за счет кого б то ни было наживаться...

Опустив на носок сапога приклад винтовки, Хоруженко стоял около мажары и, сбывчив голову, исподлобья не спускал с Ефросиньи угрюмого и пытливого взгляда — он был погружен в свои мысли, и слова старого казака до него не доходили.

А Ефросинья, еще совсем недавно такая близкая и чуть ли не родная, ради которой он, вконец изведаясь в одиночестве тоскою, решил на то, чтобы открыться, выйти из плавней на дорогу, лежала на сене не пошелохнувшись, оставаясь безучастной ко всему, что происходило вокруг, и даже, более того, своим отчужденным видом выражала полное безразличие и равнодушие к его неожиданному появлению из зарослей тростника.

Удобно утопая в душистом сене, устремив в безоблачное небо свои вытянутые к вискам желудевые с поволокой глаза и беспечно покачивая в воздухе согнутыми в коленях ногами в черных полусапожках, она неотрывно следила за парением на распластанных крыльях степного орлана, окровавленного от клюва до хвоста угасавшим закатом, будто и не было для нее в жизни более увлекательного занятия. Хоруженко напряженно, остро, близко, с болью смотрел на Ефросинью, и она, уже давно ему недоступная, была ему в эту минуту желанной как никогда прежде.

Он, скрываясь в одиночестве в плавнях, представлял себе в своем воображении их встречу совсем иной и потому, захлестнутый обидой, горько холодея сердцем, помрачнев, сурово стянул к переносью широкие кустистые брови. Ради этой встречи он все утро посвятил своей внешности, желая предстать перед Ефросиньей в самом выгодном свете: в своем временном жилище на затерянном в плавнях островке брился, подстригал и распушивал усы, начищал и приводил в порядок казацкую одежду, примерял и навешивал на себя старинное, доставшееся от прадеда оружие, хранившееся до поры до времени в тайнике; ради нее он все утро и весь день просидел в засаде у дороги с надеждой на удачу, выслеживая хуторские подводы.

Ему повезло, но все получилось не так, как он ожидал, и та внезапная радость, которая охватила его, когда он увидел одинокую мажару и выскочил к ней наперерез, теперь помимо его желания сменилась тупым ожесточением, тяжело налила его вены кровью, будто свинцом, и всего наполнила трудно сдерживаемой яростью.

Хоруженко покинул хутор в ночь пожара. По многочисленным протокам в нескончаемых зарослях тростника, через большие и малые лиманы он на просмоленной плоскодонке, отталкиваясь шестом от илистого дна, заплыл на сухой островок, с давних пор известный только ему одному. В былые времена, еще до Октябрьской революции, на этом затерянном среди плавней клочке земли многие годы прожил беглый солдат — он, доведенный до отчаяния муштрой и издевательством ротного офицера, заколол того насмерть штыком и вынужден был скрываться. Невесть какие дороги и тропы привели его в плавни, но именно в чаще камышей на него и натолкнулся во время охоты Хоруженко. Истощенный до крайности, оборванный и заросший, весь искушенный комарами, распухший, солдат уже не держался на ногах — часы его были сочны, поэтому скорее всего он и доверил случайному человеку свою страшную тайну.

И Хоруженко тут же на месте принял решение. Не из жалости и сострадания, а поняв безвыходное положение несчастного, он сделал его своим батраком, неотлучно поселил на островке, наделил рыбацкими снастями, всем необходимым для жизни и промысла. С того самого времени за одни лишь харчи и обноски пленник плавней снабжал хозяйский ларек на базаре свежей, вяленой, упеченой и соленой рыбой, черной икрой и раками — покидать свое убежище он боялся и сам, да и Хоруженко, приплывая от срока к сроку за товаром для базарного ларька, нарочито держал солдата в постоянном страхе, в полном неведении всего того, что происходило на белом свете. И кто знает, сколько бы могло продолжаться так, не заблудись однажды в грозу подневольный отшельник на большом лимане и не сведи его судьба с партией мелиораторов. От них он услышал о революции, о том, кто правит теперь страной, узнал, что давно уже нет ни помещиков, ни фабрикантов и что трудовой народ строит новую, свободную жизнь.

Вернувшись после грозы и бури к себе на островок, беглец не смог больше оставаться в одиночестве, его неудержимо потянуло к людям, и это привело к трагической развязке. Желание покинуть навсегда плавни стоило ему жизни. Разъяренный непокорностью своего взбунтовавшегося раба, Хоруженко ударом кулака в голову свалил его на землю и молниеносными взмахами кинжала перерезал ему подколennые и локтевые сухожилия — так в свое время поступали со своими пленниками-казаками абреки, оставляя беспомощного человека на медленную смерть от комаров. И не успел еще тогда Хоруженко, покидая островок, даже пересечь большой лиман, а над ним уже, подсвеченный закатным солнцем, кружась на одном месте, поднимался к небу подобно смерчу кровавый комариный столб.

А когда несколько лет спустя Хоруженко, увлекаемый неприятным для него странным чувством, однажды снова заплыл на знакомый, затерянный в джунглях плавней клочок сухой земли с возвышавшимися на нем турлучной, под камышом, хатой и камышовыми навесами для провяливания соленой рыбы, то в разросшейся осоке нашел лишь белые, омытые дождями кости с оскалившимся черепом, и ему ничего другого не оставалось, как, окончательно заметая следы преступления, небрежно сбросить их носком болотного сапога в воду, на илистое дно.

Тогда он еще не знал, не держал и в мыслях, не мог даже и предположить, что совсем не за горами и то время, когда ему самому доведется поселиться на этом островке, стать отшельником, пережить страшные, ни с чем не сравнимые муки одиночества. Их не могли унять ни вывезенные сюда тайно сундуки с драгоценным домашним добром, накопленным за многие годы, ни полный достаток запасенно-

го на многие месяцы безбедного существования в плавнях всякого продовольствия — от муки и мяса до меда, — ни переправленное из подвалов церкви, хранимое с гражданской войны оружие, которым можно было, по его же мнению, вооружить добрую, должно быть, сотню казаков...

— Ты, Фрося, чего же молчишь? — с трудом сдерживая душивший его гнев, нарушил молчание Хоруженко. — Я ж не до лодыря да пустомели Мирошки Чумака на дорогу вышел, а до тебя, ты бы хоть поздоровкалась...

По смуглому лицу Ефросиньи скользнула тенью досада. Она нехотя, насупив брови, оторвала взгляд от кружившего над камышами орлана, поднялась и, усевшись на пятки, принялась оправлять на обтянутой плюшевой жакеткой высокой груди кисти полушалка. И весь ее облик и поведение открыто говорили о том, что ей была неприятна эта нежданная встреча на дороге и что она не хотела и никак не собиралась скрывать своего недовольства.

Прищурился и без того узкие глаза, она холодно оглядела Хоруженко с головы до ног и тут же отвернулась, в ухмылке покривив губы.

— Шось не упомянула я, чтоб мы тут с тобою свидание назначили, — сказала она.

— Не сердчай, я к тебе не со злом явился!

— А коли с добром, так для какой же такой надобности ты на себя столько всего пованешивал — может, и взаправду разбойником надумал стать? — заметила Ефросинья, запрокидывая голову и снова отыскивая в небе орлана. — Отпустил бы ты нас на самом-то деле, не задерживал, час уже поздний, нам до дому пора...

— Успеет! Ты, Фрося, слазь-ка с гарбы, дело у меня до тебя есть, нам треба по душам побалакать, я сюда из камышов не на смотрины вышел, — пропуская мимо ушей ее слова, сказал Хоруженко и, поковысившись в сторону старого казака, безучастно дымившего на передке мажары трубкой, не то шутил, не то серьезно добавил: — А чтоб не вздумалось Мирошке Чумаку стегануть коней да со страху без моего дозволения не ускакать на хутор, отойдем чуток наперед... И нам и ему спокойнее будет...

— Говори тут, какие у нас с тобою теперь секреты? — вздохнула Ефросинья.

Темнея лицом, нахмурился сурово брови, Хоруженко переступил с ноги на ногу, приподнял над землею винтовку и, зажав в кулаке конец ствола у самой мушки, легко, без всякого напряжения вбросил ее прикладом под мышку. Не спуская с Ефросиньи тяжелого взгляда, он неторопливо заткнул за кавказский ремешок полу черкески, запустил в карман шаровар руку и вытащил жменю все того же своего любимого урюка. Прихватив губами с ладони сразу несколько штук, задвигал бугристыми челюстями и, обгрызая с косточек вязкую мякоть, миролюбиво произнес:

— Ты, Фрося, насупротив моей воли не иди, добром прошу, я ведь все одно от своего не отступлюсь, ты меня знаешь...

Ефросинья покорно, не скрывая досады, поднялась, перешагнула через мельничный жернов и, держась за боковину мажары как за перила лестницы, мягко прошла по селу в конец, спрыгнула на дорогу, направилась краем обочины вперед.

Мирошка Чумака проводил ее настороженным взглядом, сочувственно покачал головой и с огорченным видом принялся набивать заново трубку, время от времени обеспокоенно поглядывая на все более темнеющее небо.

Обойдя мажару с разных сторон, Хоруженко и Ефросинья сошлись в головах лошадей, пошли дальше рядом, не глядя друг на дру-

га, потупившись, оба задумчивые, мрачные, будто и не было между ними никогда и ничего общего. Но именно то, что они шли рядом молча и не спеша по той же самой дороге, по которой, бывало, не однажды возвращались из плавней на хутор после тайных свиданий, чтобы потом, в степи, разойтись по своим домам отдельными тропками, невольно навеяло на Ефросинью воспоминания, однако они не затронули, как прежде, ее сердце. Словно это было вовсе и не с ней, а с кем-то посторонним, о чем она знала случайно по чужим рассказам, а не пережила сама, она припоминала тяжкую ночь после своего ухода из молельной комнаты в доме Хоруженко, но и это воспоминание не вызвало в ее душе ничего, кроме тупого раздражения.

А ведь она тогда почти не сомкнула глаз...

До забрезжившего в окнах рассвета Ефросинья в ту ночь проводилась на постели, обливаясь слезами, то и дело переворачивая мокрую от слез подушку. Она и сама не понимала, отчего плачет — то ли от жалости к самой себе, к нелегкой вдовьей судьбе, то ли от давно утраченного спокойствия зажиточной жизни хозяйки середняцкого хозяйства, истомившего ее не покидавшим ни на миг страхом, то ли от смутного предчувствия каких-то перемен в сложившемся укладе, то ли от порушенного, хотя и тайного, но все же желанного бабьего счастья в любви.

Никуда от себя не денешься — она вспоминала и вспоминала все то хорошее, что было у нее с Хоруженко, тосковала по его скупым ласкам, по-прежнему помимо своей воли влеклась к нему душою — нет, не в том она уже была возрасте, хотя ей было еще совсем немного лет, чтобы легко и просто отказаться от прожитого, безболезненно забыть прошлое. Нет, нет, не те у нее годы, чтобы встать поутру веселой и беззаботной, будто новорожденной на свет заново. И все-таки эта ночь не прошла для нее даром, перевернула в ней все и, главное, заставила понять, что возврата к старому нет и не может быть, что ее судьба уготовила ей неведомую, но совсем другую, новую долю, и она еще неосознанно, слепо, но все же потянулась к ней, как тянется проклюнувшийся из земли росток к нависшему над ним солнцу...

И вот теперь, шагая по дороге рядом с Хоруженко, она оставалась совершенно спокойной и безразличной — в ту недавнюю ночь в ней умерло все прошлое навсегда и безвозвратно и ничто уже, она это ясно понимала, было не в силах его воскресить. И потому-то Ефросинья не испытывала сейчас ничего другого, кроме как желания, чтобы все это поскорее кончилось, и чтобы больше никогда уже между ними не случилось подобной встречи, и даже чтобы она сама, эта встреча, навечно исчезла из ее памяти.

— Ну говори, чего звал? — замедляя шаги и останавливаясь, вымолвила она. — Одни мы тут...

Хоруженко поставил между носков сапог винтовку и, держась двумя руками за ствол, навалившись на него грудью, поднял на Ефросинью глаза. В них не было ни суровости, ни злости, ни властного гнева, ни насмешки, наоборот — из глубины темных зрачков выплескивалась душевная теплота, смешанная с растерянностью, болью и тоскою.

— Измаялся я думками по тебе, сил моих нету, — глухо вымолвил он. — Захотелось слово твое услышать, какая ты есть, глянуть, про жизнь твою узнать...

Ефросинья молча пожала плечами и, потупившись, принялась носком полусапожка катать по дороге подвернувшуюся камышинку.

— Чего ж теперь глядеть, разошлись наши дороги, — сказала она немного погодя.

— Дороги расходятся и сходятся, такая ж у них судьба, они беспмятливые, а люди по-другому,— незлобиво отозвался Хоруженко.— Не рано ли ты, Фрося, меня похоронила, я ж перед тобою ще в добром здравии стою.

— В том моего участия нету, ты сам себя заживо в плавнях похоронил... от людей затаился...

— Нету, думаешь, а кто за мое раскулачивание на собрании руку поднимал?

— Донесли уже?..

— А ты как бы хотела? У меня везде есть верные люди!

— Запасливый...

— Не за себя — за всю Кубань душа болит! Мы готовим, Фрося, большую «свадьбу», и нам без верных людей нельзя. А добрые казаки на нашей святой земле не перевелись, по первому же сигналу сядут на коней, шоб бороться за правое наше дело, и тогда никому несдобровать! — сказал Хоруженко и улыбнулся.— Ну а ты, Фрося, не наспляй брови, журить я тебя не стану и зла не таю, бо знаю, не по своей воле ты голосовала, свое хозяйство сберегала, тебе другого не оставалось... А только попомни мои слова — не верь ты коммунистам, сегодня мое забрали, завтра твое заберут все подчистую! Один у казак путь — надо подниматься, треба рубать хамселов в капусту, гнать всех пришлых с Кубани!

— Не пужай ты меня моим хозяйством, Ларион, кончился мой страх за него, жаль только, поздно... Все с сыновьями мы, что требовалось, на общий двор и свезли, и отвели, и сдали,— вымолвила Ефросинья и, раздавив каблуком камышинку, спросила: — Тебе-то чего от меня теперь надо?

— С нами ты должна быть, но то разговор особый,— ответил Хоруженко,— а вышел я к тебе, потому как не могу без тебя, хоть иногда наведайся до меня в плавни... Не знал я и не гадал раньше, что ты в мою душу, как боль какая, вошла, вовек, кажись, не избавиться...

— Страшно тебе одному в плавнях? — неожиданно мягко и участливо спросила Ефросинья и, не дожидаясь ответа, взглянув ему в глаза, сама же с чисто женской жалостью за него и ответила: — Вижу... страшно... Вышел бы ты к людям, повинился, может, власть бы для тебя и нашла выход...

— Может, еще что присоветуешь?! — перебил ее в гневе Хоруженко.— А в чем я перед властью виноватый? Мое же хозяйство забрали — и я же на колени становись! Ты, я вижу, думаешь, я в пожаре сельсовета виноватый? Так нет же, моя дура Клавдия с дураком зятем на то сами пошли, я б их ежели бы перестрел, так обоих бы арапником засек — они наше дело порушили! Но мы еще поглядим, кто кого!..

— Одумайся, Ларион, пока не поздно, недоброе ты затеял, нету к старому возврата,— вымолвила Ефросинья и, тяжело вздохнув, с печальной улыбкой обронила: — Ну что ж, Ларион, прощевай...

Последние ее слова прозвучали у нее так естественно, просто и безобидно, даже, пожалуй, ласково, как будто они не стояли в сумерках на дороге случайно, уже совсем друг другу чужие, разделенные на два противоположных лагеря самой жизнью, а прощались после одного из своих прежних свиданий на краю плавней, чтобы разойтись по домам разными тропками, все еще опьяненные желанной встречей и томительно-доступной близостью, унося с собою теплую, щемящую сердце надежду на будущее и скорое свидание. И потому-то, в плену своей памяти, настойчиво удерживающей воспоминания о том добром счастливом времени, оглушенный мгновенно представшей перед ним картиной их прошлых расставаний, Хоруженко не стал ее удержи-

вать, а машинально, не отдавая себе ясного отчета в истинном значении ее слов, тихо, как и она, повторил за нею следом:

— Ну что ж, прощевай...

И только тут опомнился, воскликнул с жаром, тряхнув головой:

— Погоди, хиба ж нам положено так прощаться?!

Он порывисто бросился к Ефросинье, обхватил свободной рукой ее за талию, привлек к себе и, повернув лицом к небу, больно надавив при этом газырями щеку, жадно, по-молодому впился в холодные, плотно стиснутые, не отвечающие ему, как прежде, губы. Однако в пылу своего чувства, охваченный лишь одним желанием, он не заметил и этого, а подхватив ее на руки, теряя голову, тяжело и шумно дыша, направился к камышам.

Ефросинья рванулась, выскользнула из его цепкого объятия и отпрянула в сторону. Поправляя сбившийся на затылок полушалок, переводя дыхание, взглянув на него с сожалением, без всякой злости и без какой-либо даже обиды, а скорее в смущении и растерянности, грустно вымолвила:

— Ну что ж ты так? Со мною силою не сладить, ты ж знаешь...

Хоруженко стоял перед нею понурившись и промолчал.

Возвращаясь назад к мажаре, они больше не проронили ни слова.

Сумерки успели перейти в спокойный ранний вечер, и наступила та переходная пора, когда небо еще удерживало на себе зоревые краски отпыхавшего заката, но и в то же самое время уже постепенно начинало наливаться синевою, на которой в любое мгновение могли проступить звезды,— в степи в такой час намного светлее, а в плавнях темнеет на глазах.

С моря, как и обычно после захода солнца, повеяло солоноватой свежестью, султаны камышей закачались, передавая свой озноб по тростникам все ниже и ниже, до самой болотистой воды, и по плавням вместе с сухим шелестом листьев поплыл перестук суставчатых стеблей, монотонный и отчего-то всегда навевающий на душу тревогу, схожую с той, которую порождает печальный перестук молотка на кладбище, загоняющего перед вырытой могилой в крышку гроба гвозди.

Под этот шелест и перестук в полном молчании Ефросинья взобралась на мажару, вновь перешагнула через мельничный жернов, прошла по мягкому сену наперед и опустила на прежнее место позади Мирошки Чумака.

— Ну, побалакали, будем трогать? — спросил ее старый казак, косясь на стоявшего около коней Хоруженко.

— Ты, Мирошка Чумак, не истожай моего терпения, сиди и мовчи, пока тебя не спросят, понял? — мрачно произнес Хоруженко.— Тут я хозяин и что скажу, то и станешь сполнять! Может, я пожелаю с тобою по чарке вина выпить — у мэнэ тут все имеется! А нам с тобою за души дочки и зятя, тобою загубленных, и не грех! Так чи нет?..

— Гостювать у тебя, Ларион Степаныч, мне зараз недосуг — и к ночи дело идет, и охоты нету... Да и кони у нас с утра не кормленные...

Хоруженко оглядел лошадей, похлопал по их сытым крупам ладонью, потрепал за гривы и подошел к мажаре.

— Вы у меня там глядите, чтоб и кони, и быки, и все остальное було в полном порядке! — сказал он, пропуская через кулак вислые свои усы.— Я скоро вернусь — за все спрося! Все мое, что вы с Журбою и Рогачевым забрали, обратно мое будет, а як же ж иначе, вы его наживали? В нем же, в моем хозяйстве, в моей земле, и пот, и кровь, и слезы — все мое! А вам надумалось на дармовщину пожить, на моем горбу разбогатеть, а ото ж такого вы бачили? — Хоруженко потряс над головою винтовкой.— У нас на всех пуль хватит! Ты, может, Мирошка Чумак, полагаешь, шо я в плавнях один? Ошибаешься,



нас тут богато и, дай срок, будет ще больше. До меня стекутся в плавни все, кто свято почитает прадедов, дедов и отцов наших — запорожских казаков. А из-за кордона уже полки славных земляков идут, папа римский в крестовый поход против коммунистов свое войско собирает, так шо большевикам-антихристам всем скоро наступит конец. От праведного суда никто не уйдет! Каждого отступника сабля достанет, мы всем руки пообрубаем, у кого они тянуться до чужой собственности, милости пусть не ждут...

Чем больше Хоруженко говорил, тем больше сам себя распаял, от своих же слов хмелея. Остановиться было выше его сил: обида, горечь, досада, злость, отчаяние, ненависть — все это вместе сразу вдруг хлынуло в его душу мутным потоком и разгорячило до бешенства. И лишь когда он на минуту умолк, чтобы перевести дух, и, сожмнув красноватые, с припухлостью веки, на какое-то время задумался, весь его облик поразил Ефросинью страшной безысходностью, за которой ничего не было, кроме лютой и неукротимой жажды отмщения, желания крушить все и всех направо и налево.

— Я тебе верю, волю тебе дай — так ты и весь свет кровью зальешь, ни старый, ни малый от сабли твоей не схоронится, — проговорил Мирошка Чумак.

— И залью! — встрепенувшись, воскликнул Хоруженко. — Ни перед чем не остановлюсь, надо будет, так и хутор дотла спаяю. А мало мне того будет, я и плавни подожду — нехай вся Кубань сгорит, ежели дело до конца дойдет. Но наперед забегать нечего, скоро мой с полками казаков сын Илья вернется — тот вам покажет!..

Мирошка Чумак в сердцах сплюнул себе под ноги и, сдвинув на затылок свою солдатскую папаху, поднялся на мажаре во весь свой долговязый рост. Не выпуская из рук вожжей, глядя на Хоруженко сверху вниз открыто смеющимися глазами, вымолвил:

— Охолонь ты, Ларион Степаныч, заради бога, остудись... Ты меня стращаешь, а мне не боязно, потому как, бачу я, от страху у тебя такое, ты сам на себя храбрость нагоняешь... Погляди, сколь ты всего на себя повесил, а у меня в руках, кроме батога да вожжей, ничего и нету... И все ж таки не я тебя, а ты меня боисси — вот какая между нас получается история... Против кого ж ты пошел, с кем надумал мериться силою? Ты ж против народной власти иттить надумал, супротив всего трудового народу! И не надейся ты, что старое возвернешь, в твоём хозяйстве пот и кровь не твои, а наши, из нас, бедняков, ты их выжимал... По праву то хозяйство нам досталось, к настоящим хозяевам вернулось...

— Замолкни, продажная твоя душа! — багровея от внезапного удущья, перебил старого казака Хоруженко. — Ты мою Клавдию с зятем выдал, через тебя они в тюрьме сидят! Ты думаешь, я прощу?!

— А ты что ж бы хотел? — спокойно продолжал Мирошка Чумак. — Шоб я, как до сей поры, обо всем, что знаю, молчал? Нет, кончилось то старое время, у меня до жизни душа струнулась...

Хоруженко отступил на несколько шагов назад, вскинул к плечу приклад винтовки. С лица его, мрачного и угрюмого, медленно, что было хорошо видно и в сумерках, схлынула кровь, и оно стало бледным и напряженным. Глаза, утратив гневный блеск, совсем ушли под надбровные дуги, и Хоруженко стянул над ними еще и густые кустистые брови.

— Слазь с гарбы, помолись напоследок, — приказал он глухим, сдавленным голосом.

В тишине плавней, нарушаемой лишь легким шорохом камышей да пофыркиванием лошадей, сухо щелкнул затвор винтовки. Вслед затем, казалось, стало еще тише, еще покойнее, даже тянувший с мо-

ря ветер и тот как будто остановился, и тот замер, словно к чему-то прислушиваясь,— так бывает перед грозой, когда вокруг становится темно от черных клубящихся туч и все застывает в ожидании взблеска молнии и раската грома.

Мирошка Чумак отрицательно покачал головой.

— Молиться мне ни к чему, я неверующий...

— Гляди, твоя забота,— сказал Хоруженко.

— Не стражай ты меня, все одно ж не боязно,— отозвался Мирошка Чумак.— Ты лучше мне поясни, что ты со мною удумал учинить? Чи, как нашего избача, в бричку со слепой лошадей покладешь, чи, может, как батьку Журбы в Тамани, шашкою напополам развалишь?..

Последние слова старого казака заставили Хоруженко вздрогнуть, он даже, казалось, отшатнулся от них назад, к застывшим за его спиной камышам. Прошла минута, пока он овладел собою, нарушил молчание.

— Думал я на первое время, Мирошка Чумак, тебя пострадать, та больно ты много знаешь,— хрипло выдавил он.— И хай нас рассудит пуля...

Неподвижно сидевшая до этого Ефросинья вскочила при последнем слове Хоруженко и встала впереди Мирошки Чумака, раскинув руки, загородив его своим телом.

— Не смей! — прорезал плавни ее отчаянный выкрик.

Немой покой камышей расколол, опалив сумерки вспышкой огня, загрохотавший выстрел. Испуганные кони рванулись с места в намет, унося за собой по дороге раскачивающуюся из стороны в сторону, тарахтящую колесами мажару. Над их выстилавшимися спинами зашвистел кнут Мирошки Чумака. Прижав руки к животу, Ефросинья вяло, будто бы нехотя, закусив побелевшие губы, молча, без стога, навалившись всем телом на старого казака, сползала к его ногам, на сено, на котором только что сидела.



---

---

Ю. КУЗНЕЦОВ



## ПОСЕЩЕНИЕ

Гитара-балалайка,  
Победная струна.  
Достань гостям, хозяйка,  
Зеленого вина.  
Я топну, перетопну  
С пятки на носок.  
Я хлопну, перехлопну  
запад о восток.

Пускай шумит хозяин,  
Пустая трын-трава.  
Ребята, мы гуляем  
До самого утра.  
А чтобы спозаранку  
Не шибко горевать,  
Мы старую гулянку  
Не станем продолжать,  
А головой качнем  
И новую начнем.  
Мы топнем, перетопнем  
С пятки на носок.  
Мы хлопнем, перехлопнем  
запад о восток.

\* \* \*

За дорожной случайной беседой  
Иногда мы любили блеснуть  
То любовной, то ратной победой,  
От которой сжимается грудь.

Поддержал я высокую марку,  
Старой встречи тебе не простил.  
И по кругу, как полную чарку,  
Твое гордое имя пустил.

Ты возникла подобно виденью,  
Победителю верность храня:  
— Десять лет я стояла за дверью,  
Наконец ты окликнул меня.

Я смотрел на тебя не мигая.  
— Ты продрогла!.. — И выпить велел.  
— Я дрожу оттого, что нагая,  
Но такую ты видеть хотел.

— Бог с тобой! — И махнул я рукою  
На неполную радость свою. —  
Ты просила любви и покоя,  
Но тебе я свободу даю.

Ничего не сказала на это  
И мгновенно забыла меня.  
И ушла по ту сторону света,  
Защищаясь рукой от огня.

И с тех пор за случайной беседой,  
Вспоминая свой пройденный путь,  
Ни любовной, ни ратной победой  
Я уже не пытаюсь блеснуть.

## ДУБ

То ли ворон накликал беду,  
То ли ветром ее насквозило,  
На могильном холме во дубу  
Поселилась нечистая сила.

Неразъемные кольца ствола  
Разорвали пустые разводы.  
И нечистый огонь из дупла  
Обжигает и долы и воды.

Но стоял этот дуб испокон,  
Не внимая случайному шуму.  
Неужель не додумает он  
Свою лучшую старую думу?

Изнутри он обглодан и пуст,  
Но корнями долину сжимает.  
И трепещет от ужаса куст  
И соседство свое проклинает.

\* \* \*

Слезы вечерние, слезы глубокие...  
Больно, о больно смотреть!  
Что-то такое в вас есть одинокое.  
Взял да забросил я сеть.

Но тяжело ее было вытаскивать,  
Видно, что чем-то полна.  
Вытащил рыбку и стал ее спрашивать,  
Только немая она.

### КОЛЕСО

Колесо навстречь криво катится,  
Быстрым-быстрое, и внутри пятно.  
Стал я спрашивать: «Ты откуда  
Оторвалося? Куда держишь путь?»  
Но молчит оно, мимо катится,  
Только звон гудит, только пыль стоит.  
Прокатилось, промоталось  
По плакун-траве и по трын-траве.

\* \* \*

На берегу, покинутом волною,  
Душа открыта сырости и зною.  
Отягчена полуземным мельканьем,  
Она живет глухим воспоминаньем.  
О, дальний гул! Воспоминанья гул!  
Ей кажется, что океан вздохнул;  
Взрывает душу новою волною  
И наполняет мутной глубиною.

### ХОЛМ

Я видел: ворон в небесах  
Летел с холмом земли в когтях.

Не дом ли мой блеснул на нем,  
Скрываясь в небе голубом?

А с неба сыпалась земля  
На ослепленные поля.

И наугад по шуму крыл  
Я тень высокую ловил.



---

---

ВАЛЕРИЯ АЛФЕЕВА

★

## ДОМ И САД

*Рассказ*

Сад, размытый и спутанный моросью, истекал капелью. Еще проливали влагу шершавые желобки яблоневого листы, покачивались растрепанные венчики ромашек перед террасой. Дорожка, недавно ручьем сбегавшая по холму, теперь черно уходила в туман между стволами. А надо мной, в померкшей голубизне, сосновая ветка топорщилась промытыми иглами, и на каждую иглу была нанизана светлая капля. Прозрачные и зеркальные, капли отражали, вмещали и мгlistую синеву, и зелень, черноту, свет, не растворяя их, а лишь отделив от принадлежности предметам, будто высвободив тончайшую и влажную нематериальную основу зелени, синевы и черни и щедро окропив ею сад.

Я сидела в деревянном кресле на плитах площадки перед террасой, видела вьющиеся по камню стены стебли с бледно-коричневыми завитками цветов, глеющую за сырыми стволами закатную полосу над рекой, ромашки вдоль края площадки, весь этот запущенный сад, клубящийся моросью и мглой, видела не сквозным нечаянным взглядом — смотрелась в него в упор, с неутолимой жадностью. словно когда-то стерлась во мне память о листьях, травах, и вдруг — может быть, этим ливнем? — смыло завесу, глаз прозрел и сейчас пораженно, с тонкой режью в роговой оболочке от внезапно хлынувшего света вбирал в себя явленный заново образ земли.

Но душа, едва освободившаяся от будничной озабоченности, не была подготовлена к приятию этой омытой земли, и вместе с ощущением ее свежей прелести острым оставалось сознание своей чужеродности, случайности здесь, нерастворимости в тишине.

Сознание это становилось все отчетливее с тех пор, как хозяин ушел. Я была одна в чужом доме, не зная, что мне дозволено здесь. Из отведенной комнаты спустилась этажом ниже по витой лестнице с цветными стойками вместо перил. За проемом двери открылась просторная комната. Переступив символическую черту порога, я оказалась перед черно-красным кирпичным зевом камина с чистыми брусками поленьев. Длинный зеленый прямоугольник стола с медным семисвечником и вазой с лиловыми цветами, шесть кресел темного дерева... В застекленной половине стены, в распахнутой створке, открылся дальний простор лугов. Извилисто пересекали его излучины реки — синевой и блеском по мягкой зелени. Острова на реке, дымчатые кроны ветел и дальше луга, поля, луга до зыбко обозначенной каймы леса...

Утром семья спускается к завтраку, рассаживается в высоких креслах, женщина разливает кофе в чашки с тонким узором, подает

сыр и сливки. Отпив несколько глотков, хозяин дома поворачивает голову к окну, и взгляд его непреднамеренно вбирает светлый простор, мерцание реки и облака над лесом. Утро, вместившее свет и даль, обещает несуетные разговоры, удовольствие от неторопливого завтрака, покой... Но этот воображаемый быт я не могу принять как реальность — иначе пришлось бы усомниться в подлинности собственного нервного московского быта.

Приехав в середине дня в этот дачный поселок на морском побережье, я побродила между разграфленными тесными клетками участков. Пошла через луг, небольшой мост, мимо развалин церкви, синющей узкими оконными проемами, к холму над рекой — он прятал в соснах три-четыре особняка. Седая эстонка с холодными синими глазами на вопрос о комнате ответила «нет», краткость диалога не исчерпала моих надежд, я поговорила еще об этом месте, самом уединенном здесь. «Поэтому я и хочу быть одна», — спокойно разъяснила она. Но проводив до калитки, показала на дом под черепичной крышей: «Спросите там» — и упомянула о «жене-художнице», о том, что «с улицы не берут, но гостей любят».

По заросшим ступенькам я спустилась к террасе с садовой мебелью, постояла перед застекленными запертыми дверьми в каменной стене, скрытой вьющимся растением с золотисто-коричневыми цветами, пахнущими тонко. Увидела очаг и стол под широко разросшейся сосной, запущенный сад, по холму спускающийся к реке, и мысль о возвращении в плоскую асфальтированную часть поселка сама по себе отпала. Прикрыв за собой калитку, я села под сосной напротив дома и стала ждать.

Потом уходила обедать, гулять, возвращалась, и наконец ко мне вышел рослый, слегка сутулящийся мужчина лет, как показалось, пятидесяти, в выгоревших холщовых брюках и без рубашки. Сидя напротив меня в кресле на террасе, склонив набок голову, вежливо осведомился, кто я, откуда, выслушал мои впечатления о его доме. С легким акцентом извинился за то, что через десять минут должен уйти — приехала дама из Голландии, он не хотел бы опоздать, — поэтому он только покажет мне комнату, где я могу расположиться, и оставит ключи от дома, в котором теперь никого нет.

Окно комнаты выходило на углубленный газон с двумя маленькими елочками, на ограду из камня, расцвеченную желто-зелеными овалами и треугольниками мха. Минут через десять хозяин вышел на дорожку к калитке в длиннополом черном сюртуке, с бабочкой под воротником сорочки, с гладко зачесанными волосами. В руке он нес аккуратно обернутые в целлофан цветы. Я окликнула его и, подойдя, спросила, не следует ли мне отдать ему свой паспорт. «Зачем? — засмеялся он, приподняв брови. — Регистрироваться мы не пойдем». И жестом поднятой руки со мной простился.

За оградой в соснах шумел ветер. Пролился обильный мерный, недолгий дождь. Беззвездная ночь опустилась на углубленный газон, скрыв ограду; в доме, мне кажется, больше никто не появлялся.

С хозяином мы встретились как-то случайно в конце следующего дня. Он приветствовал меня улыбкой и взмахом руки, как добрую старую знакомую, и проследовал к калитке. Был он в вечернем светлом костюме, но с портфелем вместо букета.

Однако на третье утро, спустившись на кухню, я застала его там. В выгоревших штанах и фартуке он драил щеткой пол, на газовой плите кипела вода, на столах грудами высилась посуда. Он привычно из-

винился, что не может уделить мне внимания, но предложил зайти часа через два.

Через два часа он стоял посреди вымытого пола в отглаженных брюках и летней рубашке. Вокруг на столах, на полках по росту выстроились кастрюли: отдельно алюминиевые, за ними эмалированные красные с белыми крышками, из-под крышек торчали хвостики красных половников, развернутые в одну сторону. В такой же четкости разложены были кухонные ножи, дощечки для хлеба, расставлены перечницы, солонки, развешаны полотенца в складках. Чисто выбритое лицо хозяина выражало чистосердечное удовольствие от созерцаемого порядка.

— Ну вот...— приговаривал он,— ну вот.

Он провел меня по столовой, открывая буфетные дверцы, выдвигая ящики: большие ложки вложены одна в другую, чайные — в чайные, в отдельных стопках глубокие, мелкие тарелки, блюда, сервизы будничные и для гостей, салфетки простые и расшитые старинной гладью...

— Всем этим вы можете пользоваться. Но лучше потом ставить вещи на их места.— Он улыбался довольно.— Обедать можно в столовой или на свежем воздухе, на террасе.

Вышли на площадку перед застекленными дверьми столовой. Террасу создавал широкий навес балкона и две стены из груботесаного камня, примыкающие к стене дома; с четвертой стороны она была открыта, слегка возвышаясь над площадкой из каменных плит перед садом.

— Это «Старый кабак». Там — кафе «У сосны»... Здесь шкафы для продуктов, пожалуйста...

Я не без страха думала о возможной цене обозначенных благ. Не так давно моя приятельница вернулась из отпуска на морском берегу: владельцы дома разместили в одной комнате пять коек для лиц хотя и одного пола, но совершенно посторонних, брали по полтора рубля в сутки, мотивируя это предоставлением в поочередное пользование кресел и утюга. Но прежде чем недостойные сомнения мной овладели, он произнес:

— Плата... Возможно, рубль в день, если вас это устроит?

Обычно летом приезжают знакомые, объяснил он, но пока дом пустует и... почему иногда не принять гостей?

— Мне шестьдесят восемь лет, и я стал кое-что понимать в людях...

Я решила, что ослышалась:

— Пятьдесят восемь?

— Если бы... Шестьдесят...— подчеркнул он начало слова.— Да, зовут меня Эвальд Карлович.

Так мы познакомились.

Сырые, ветреные, неверные дни проходили над побережьем. С утра сияла под солнцем холодная синева моря, потом небо затягивалось быстро бегущими облаками, на берег шла видимая издали полоса ливня. С гулом рушился он на крыши, тенты, через несколько минут не различить было ни неба, ни моря, только содрогались, металась кроны рябин и сосен, кусты шиповника вдоль пляжа. Но скоро сквозь затихающий ливень пробивалось солнце, пронизывало его, сверкало в каждой мгновенно и косо летящей капле. Ветер разгонял последние облака. На потемневшем песке пустынного пляжа розовели сбитые дождем лепестки шиповника.

Пообедав в пляжном ресторанчике, где кормили сосисками и компотом из слив, я бродила по безлюдным аллеям соснового парка, вы-



сокоствольного, совсем лишенного мелкой поросли, с землей, густо устланной хвоей. Здесь жили три белки. Держались они поблизости одна от другой, часто выбегали на асфальтированную дорожку: посидят, посмотрят во все стороны, сложив передние лапки, насторожив кисточки ушей, и, промчавшись вдоль аллеи, с разгона взметнутся по стволу сосны и в ней пропадают.

Я часами сидела у моря на закате. Такого берега мне и хотелось, тишины и простора. И сырые дни мне нравились, и мглистые вечера, и ветер с моря. Но состояние давней усталости, накопившегося раздражения, напряжения нервов и мозга, в котором я уезжала из Москвы, изживало себя очень медленно. Последние месяцы беспросветной и почему-то безрадостной работы меня измотали. Измотали перепады от иллюзий к краху, причем иллюзии чаще всего были связаны с ожиданием публикации. После двух лет, наполненных только писанием, без отзвука, отклика, без среды, без веры в себя — запас моей творческой да и физической энергии был на пределе. Полмесяца назад, после того как в одной и той же редакции в третий раз сняли один и тот же рассказ, уже набранный, — хотя это был едва ли не самый незначительный из нанесенных мне редакциями и издательствами ударов, — я пролежала весь день лицом вниз, истерически изругала позвонившего нектати знакомого, обнаружила, что веко дергается в нервном тике, и поняла, что надо немедленно уезжать к морю. Море освобождает.

Всю зиму я выкраивала что-то из тех часов, пока сын сидел в своем первом классе, рецензировала, обеспечивая себе призрачную свободу, спешила дописать, переписать, отослать, отнести, получить отзыв и почитать чужое, изводилась от нехватки времени, его разорванности, от невозможности погрузиться в настроение глубоко и надолго. И вот я выключилась из прежнего ритма, выпрыгнула из него, как прыгают с парашютом из наполненного гулом самолета, и теперь словно повисла в пустоте, оглохнув от тишины, еще не видя земли под собой и будто бы к ней не приближаясь.

Вернувшись в дом, чаще всего никого не застав, выходила на террасу с книгой — одной и той же. Сидела в кресле, глядя на мокрый сад, на проросшие между камнями очага ромашки — его, наверное, давно не разжигали. День тихо истаявал во влажные свежие сумерки. Они разливали запахи цветов, были подсвечены закатом, проступавшим за ветками сосны, за стеблями и склоненными головками ромашек. Разросшийся куст белых пионов светился махровыми цветами. У края площадки, над ступенями в сад, все более размытым силуэтом проступала каменная фигурка сидящей женщины, и уже трудно было рассмотреть ягненка на ее коленях. И трудно становилось рассмотреть строки, вникая в их древний, глубокий, еще не совсем внятный мне смысл, заполняя ими эту сквозящую светом сумеречную пустоту.

Прекрасно и благодатно проникновение в другое видение мира, соприкосновение с качественно иным способом его переживания. Будто вдруг получаешь возможность увидеть землю с высоты или сквозь толщу веков. Мир смещается, оказывается расположенным в иной системе координат, с иными градациями ценностей, иными масштабами. И сам ты, размещенный в мире, видишь себя и свое место по-новому, а это заставляет заново осмысливать привычное, сопоставлять. Но открываешь, может быть, не менее удивительное — как бы ни менялись способы отсчета в бесчисленных проекциях мира, остается нечто, почти совпадающее при наложении, принимаемое как благо во все времена. Не оно ли и связывает времена, пронизывая пласты веков главными силовыми линиями? И все новые силы с их изменениями, завихрениями группируются в конечном счете глубинной направленностью этой скрытой энергии...

Не начинается ли подлинная духовная жизнь со способности различать ценности, обусловленные лишь данным временем, но и ограниченные им, и ценности безусловные, не смешивая их, не позволяя себе стать функцией временного, соизмеряясь с ним в меру неизбежности, но не растворяясь в нем без остатка, ему не принадлежа?

Зачем я трачу жизнь на то, чтобы выразить ее словами? Зачем пытаюсь осмысливать то, с чем счастливее было бы совместиться не рассуждая, не ища логических обоснований?

Эти «зачем» стоят передо мной лет двадцать, о них тоже можно вступить в диалог через тысячелетия:

«Ни деятельности, ни дел не создает Владыка мира... однако самосущая природа развивается», — отвечает «Бхагавадгита». Так и обладающий знанием, мудрый, свободный да совершает действия «ради целокупности мира».

Но я не мудра и не свободна, и нет больше сил у меня. Нет никакой уверенности, что это все не напрасно. Страшно подумать, как мало сделано за целую жизнь, страшно признаться, что все не то, или не совсем то, или не так...

«Человек, удовлетворенный собственной обязанностью, достигает совершенства... — слышу я в утешение. — Лучше своя карма, выполненная с недостатком, чем чужая карма, хорошо выполненная».

Своя карма, своя роль в мире, порожденная нашей собственной природой... Каждый несет в себе, проживает собственную истину, и она единственна. Не вычисленная рассудочно, не усредненная, разверстанная на всех, не выраженная в понятиях — она рождается в тебе, стареет, умирает или прорастает в новое качество, она неисчерпаема и переменчива, как все живое. Но не к ней ли мы и продираемся всю жизнь сквозь дебри общих мест, угадывая ее интуитивно, предчувствуя как соответствие собственной природе, как свою подлинность, долг и привилегию, свою свободу?

Через несколько дней Эвальд Карлович познакомил меня с женой Саймой и ее взрослой дочерью от первого брака Айле. Они завтракали на террасе, бросали крошки воробьям, налетавшим веселой стайей. Потом мать и дочь остались в креслах рассматривать журналы мод — мать в открытом сарафанчике, дочь в шортах и широкополой соломенной шляпе, обе сразу вписавшиеся в пейзаж с ромашками и садом.

Сам же Эвальд после завтрака, раздетый до пояса, в старых штанах и брезентовых рукавицах, выламывал из ограды камни и, напрягаясь, сутулясь, носил их вниз, за террасу. Мышцы обозначились буграми, по лицу стекали струйки пота. Но встречаясь со мной взглядом, он улыбался удовлетворенно.

К концу дня в ограде зияла дыра, в которую мог бы проехать грузовик.

— Зачем вы сокрушаете свои владения?

— Иа-йа... — Он распрямился, отирая пот. — Одно строим, другое ломаем.

И стал терпеливо разъяснять, что когда — лет, кажется, десять, восемь назад — возводил ограду, не хватило камня нужной толщины. Прошел к другому крылу ограды, ладонями в рукавицах отмерил разницу между плитами.

— Ну вот... некрасиво. Теперь я нашел подходящий камень.

Значит, восемь лет несоответствие левого и правого крыла ограды не давало ему покоя, и вот наконец...

За террасой выростала из выломанного камня другая стена. Она отделяла участок от соседнего и поддерживала нависший куст шиповника, густо усыпанный цветами. Камни Эвальд прокладывал слоями

земли, добиваясь их параллельности, отходил на несколько шагов, созерцая издали дело своих рук, снова выворачивал, утрамбовывал, постукивал кувалдой.

Только на самом исходе света, позднем в эти летние дни, он на таскал воды из колодца, долго обливался, обтирался. Потом они тихо сидели за ужином, и плечо Эвальда касалось плеча Саймы.

На следующий день Сайма читала, Айле загорала на «индивидуальном пляже» — посыпанной белым песком площадке за очагом, — Эвальд крушил одну стену и возводил другую. А поздно вечером все трое пошли смотреть французский фильм, завезенный в поселковый кинотеатр с колоннами. Эвальд — в пиджаке в крапинку, с повязанным на шее шелковым платком по недавно отошедшей моде (концы платка были заправлены в пуловер) — слегка поддерживал Сайму под локоть.

С этих дней хозяева почти всегда были дома, окончательно перебравшись с городской квартиры. Сайма готовила обед, разделявая на столе террасы свежие овощи с базара, а лук, укроп и всякая мелкая травка для приправы росли между яблонями. Читала, полулежа в кресле на солнце, или рисовала цветы акварелью. Эвальд с утра до ночи копал, пилил, строгал, сколачивал, поднимаясь раньше всех и заканчивая день затемно.

— По каким дням у вас выходной?

— Некогда брать выходной. Много работы по дому. Теперь хочу еще построить летнюю купальню... — Он обводил рукой в воздухе незримые формы. — А на будущий год финскую баню. В общем, как начал строить, так и работы много.

— Давно начали?

— Скоро будет двадцать пять лет. И хорошо еще, что не все достроено...

В голосе его, как всегда, если он говорил о доме, звучала тайная гордость, но и легкая ирония, не позволявшая все же полностью отождествить владельца и владение, вписать его в эту ограду безраздельно.

— Поздно встаете, — посмеивается он, опершись на черенок лопаты. — А надо со светом вставать, со светом ложиться, а пока светло — работать. Так мой отец жил, рыбак, и до девяноста лет прожил.

Спина и грудь Эвальда уже покрылись загаром. Улыбка открывает крепкие крупные зубы. Лицо и фигура оставляют впечатление запаса сил, которых должно вполне хватить на девяносто лет по крайней мере. И проживет он их, наверное, с тем же удовольствием, основательностью и шириной.

Присев на камень, он рассказывает о рыбацкой деревне на острове, об отце, старательно укладывая весомые слова, как плиты в ограду. Он редко рассказывает, еще реже о себе, его прошлое высвечивается для меня нечаянно, отдельными пластами. Так, из случайного упоминания Айле я узнала, что он прошел через всю войну, чудом уцелел, когда его взвод подорвался на заминированном поле в Германии, несколько раз был ранен. Так, еще один слой прошлого приоткрылся попутно, когда, облокотившись на стол после дня работ, после чая, Эвальд Карлович рассказывал, как строил дом заслуженный архитектор по его, Эвальда, замыслу, используя для игры форм естественный склон. Столовая и кухня, выше комната с камином, балкон, еще чуть выше, с окнами на другую сторону, комната, где сейчас живу я, еще повыше комната Эвальда — оттого впечатление свободы, обособленных пространств. Или бордюр кирпичной кладки полукругом над застекленным верхом двери, фонарь на углу террасы — это не мелочи, потому что всю жизнь могут радовать глаз. Потому фонарем занимались три художника: один рисовал общий контур, другой — чугунную

подставку, третий — готический шрифт по кафедральному стеклу. Он приподнялся, щелкнул выключателем. Мягкий свет из-за матового стекла упал на стену, резные листья дикого винограда, отделил нас от стусившейся тьмы сада. Фонарь напоминал старинные уличные фонари, готический шрифт лучисто сквозил светом. Впервые обратив внимание на текст, поняв без перевода лишь слово «мемори» и женское имя, я спросила, в чью это память.

— Йа-йа... в память...

Он покачал головой и замолчал надолго, как с ним иногда бывало. А когда я уже ничего не ждала больше, продолжил:

— В память жены... первой жены. Умерла в сорок три года, молодая. Мечтала о своем доме, но тогда мы не могли строить... Только потом, после...

Глаза его оставались в тени, и мне казалось, что они темны и глубоки. Но с привычной манерой сразу искать переход от тяжелых тем он сложил затрудненно подобранные слова в шутку:

— Есть поговорка: все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать... Вовремя или после, немного попозже.

Здесь действительно любили гостей.

Вот Сайма укладывает на поднос множество бутербродов:

— Приехали шесть человек из Швеции, бывшие соученики Эвальда по школе. И остальные по этому случаю придут в гости, кто здесь живет, в Эстонии.

Кстати, после школы окончил Эвальд экономический факультет университета, много лет был проректором его по административно-хозяйственной части, то есть всегда занимался своим делом и был, должно быть, хорошим хозяйственником. А соученики школьной поры, рассеянные по Европе, иногда возвращаются, чтобы сравнить, вспомнить.

К вечеру они один за другим появляются в раме калитки. Все возрастает Эвальда, выбритые, элегантные, хотя почти все выглядят более рыхлыми, более грузными — более старыми. Скоро дом наполняется гулом незнакомой речи, раскатами смеха, топотом по лестничным переходам, запахом сигарного дыма. Подвижная, разгоряченная Сайма носит и носит снизу, из кухни, закуски. В зале горит камин, зажжены свечи.

Время от времени Эвальд выводит кого-нибудь из гостей на участок, неспешно обводя взмахами руки знакомые мне формы: здесь будет купальня, здесь финская баня...

И до глубокой ночи — шумное застолье, гул и говор.

Утром Эвальд носит воду ведрами из колодца, поливает сад, потом стрижет газон под моим окном.

— Гостям понравился дом? — спрашиваю я в открытое окно.

— Йа...— Он останавливается отдохнуть, распрямляясь.— Тоже приглашали посмотреть свои дома. Я сам ни разу не выезжал, всё они сюда.

— И что вы ответили?

— Что я мог ответить? — Он лукаво прищурил глаза, степенно пригладил волосы ладонями по вискам.— Сказал: мне некогда, работы по дому много.

Мы засмеялись.

— Еще говорят, за садом плохо ухаживаю, яблони разрослись. Я говорю: я не выращиваю яблоки. Это все тут... ну вот сосна, яблони, вот елки посадил недавно—не для продажи... Чтобы тут свободно было... и хорошо, как душа желает. А яблоки я на базаре куплю.

И, опустившись на корточки, продолжает щелкать огромными садовыми ножницами, срезая нежную зелень вытянувшейся травы.

Постепенно и заселяется дом плотнее. Сначала приехала пожилая женщина, гостившая лет уже двенадцать по июлям, переводчица с французского. Потом ее племянница, преподававшая то ли химию, то ли физику в вузе. Они вместе заняли комнату с камином. Потом со знакомой проводницей прибыл мой сын.

С Гришей мы расстались недели две назад, но я успела истоскаться, переволноваться во время его переезда из Москвы ко мне, и теперь настали дни полной и нежной поглощенности друг другом. Зимой мы часто ссорились: постоянно нуждаясь в моем внимании, он не давал мне работать. А сейчас мы оба были свободны. Уезжали на весь день в город, взявшись за руки, гуляли по старинным улочкам, вдоль крепостных стен старого Таллина, заросших клубами сирени. Или сидели в парке, приманивая белок конфетами «цветной горошек» — белки уносили их и тщательно закапывали. Было все еще ветрено и свежо, налетали недолгие дожди, вода в море была холодной, и мы почти не купались. Зато иногда уходили по песку вдоль берега до следующих поселков, еще более зеленых и тихих, с промытыми дождями асфальтированными дорожками, на которые почему-то выползало несметное множество улиток. Мы рассматривали особнячки, скрытые в соснах, каштанах, фруктовых деревьях, черепичные крыши, башенки, витражи, балконы, лоджии, окна мансард, круглые, как иллюминаторы, фонари под навесами входа — эту неповторяющуюся игру стекла, камня, дерева, кирпича, зелени газонов, цветов, решеток на окнах и оград. Но насмотревшись, повернув обратно, мы приходили к выводу, что «наш» дом все-таки лучше.

Живя в нем, «нашем» на четыре недели, я начала понимать, что дом — это не просто увеличенное во много раз пространство моей комнаты в коммунальной квартире, а нечто качественно иное, чего я просто никогда не знала раньше.

С первоначальной свежестью вижу я сад и замечаю перемены в нем. Хорошо идти после дождя за водой к колодцу у реки по ступеням в траве, под сплетенными низко над головой яблоневыми ветвями, потом по колену в сырой траве — и вдруг увидеть расцветшие колокольчики или кустик одичавших анютиных глазок. Хорошо лежать на песке, смотреть, как сын изрисовывает лист за листом парусниками и яхтами, или смотреть в облака над сосной. Вечером хозяин разожжет очаг, и сын мой, городской детеныш, зачарованный пламенем догорающих поленьев, будет бегать, восторженно бормоча, отыскивая щепки и ветки, готовый сжечь все свои картинки, чтобы продлить на мгновение жизнь огня...

Облетит пионовый куст, роняя разом весь белый шар, рассыпавшийся лепестками на ступеньках. Отцветут ромашки, на месте их проступит лиловеющая кайма более поздних цветов... Я слишком пристально все вижу. Это оттого, что я здесь временный, случайный зритель, я словно не живу здесь, а созерцаю. И оттого по-прежнему несвободна здесь, между мной и этими взявшими меня в плен домом и садом будто просвет остается, едва различимая полоска отчуждения, малый зазор, которого нет между мной и вещами, окружающими меня в привычном быте, скажем между мной и пишущей машинкой «Оптим», мной и листом бумаги, книгами, пластинками Шостаковича или Баха. Этого просвета нет пока между мной и сыном...

Зато я начинаю понимать, что такое дом.

Это когда сам выбрал место на холме, где глаз не устает видеть, грудь — вбирать сосновую и речную свежесть. Когда заложил первый камень и много, много лет потом будешь строить, возводить, перестраивать; сотни раз проделаешь путь на грузовике с песком, камнем, щебнем; будешь стареть, пока рисунки и чертежи воплотятся в стекло, в

деревянные стойки, узор кирпичной кладки, и пока выточешь, выкрасишь, укрепишь хотя бы лишь эти стойки от ступеней до потолка, на руках останутся ссадины и мозоли; и будешь настилать, вырезать, вытачивать, привозить, покупать, рассыпать, поливать, сеять, обивать — месяцы, год, три, восемь, пятнадцать — до ломоты в спине и гула в ладонях...

И вот в какой-то из сотен дней — еще и крышу не насталили, но на очищенном от строительного хлама, стружек участке свежая проросла трава — ты остаешься один после ухода рабочих и кладешь кисть на край банки с суриком, потому что подступил нечаянно все освящающий час, один из тех, которыми все окупится, будет оплачено все.

Ты ложишься на теплую землю лицом вверх и видишь над собой шершавую ветку сосны, белый дым облаков над ней, но в этих минутах бездонная обозначилась глубина. Может быть, ты помнишь сейчас, как замерзал на Урале, где формировались эстонские части, как ехал в набитой теплушке по бескрайним осенним полям навстречу смерти, или то прорезанное траншеей снежное поле с замершей картофельной ботвой, где очнулся после разрыва мины, где могло убить, но не убило... Может быть, проходит воспоминание об этом, спрессованное в ощущение бескрайности дорог, по которым провела жизнь, дорог, лесов, болот, в то давнее ощущение затерянности в бескрайнем, холодном, чужом... Или ты видишь, как в дом твой пришли близкие друзья, огонь горит в камине, светловолосая женщина наливает кофе в белые чашки с узором, приносит сыр, сливки, и друзьям хорошо в твоём доме. Или, или... и то, и другое, и третье сразу — словно прозрением многих прежних и будущих лет, соединенных этим мгновением, когда ты лежишь на теплой земле и слышишь, как прорастают в нее твои корни. Здесь отныне всегда ты сможешь остаться один перед землей и небом. Здесь беспредельность земли уже не чужда тебе по плоти, ибо на ней есть принадлежащая тебе малая часть, в которую ты пророс корнями, на которой построил свой дом.

Вот так возникло во мне впервые ощущение дома — прежде всего как возможность остаться наедине с землей, травами, небом. И по пронзительности ощущения я поняла, что этой возможности не было у меня никогда.

Были комнаты студенческого общежития — на пятерых, на троих, комната в редакции газеты — на двоих, в редакции телевидения — человек на двенадцать; были суда с экипажами в восьмьдесят три, семьдесят девять, тридцать семь человек; дома отдыха, дома творчества, большие и малые залы библиотек — университетской, Ленинской, Некрасовской, — вокзалов, аэропортов, кинотеатров, консерваторий; пляжи с лежащими вплотную соучастниками пребывания на морском берегу; столовые, кафе, пирожковые, закусовые; вагоны, купе, такси; коммунальная квартира с еще десятью жильцами разного возраста и душевной организации; гостиницы, музеи, издательства, редакции; очереди в магазинах, в поликлинике с сыном, в газетный киоск... Непрерывно кружащееся движение толпы вокруг, людская толчея, гул голосов за спиной, за стеной, скандал на кухне; наблюдающий, или равнодушный, или оценивающий взгляд в лицо, со стороны, вслед, давка в троллейбусе, чьи-то шаги на палубе, когда ты стоишь у фальшборта и смотришь на воду, чей-то смех рядом, когда ты было затонул в книге со словами, написанными через «Ъ»; локти, глаза, лбы, уши, крики, смех, очереди, давка, раздражение, суета, толчея... Да была ли я когда-нибудь свободна? Можно ли жить, можно ли быть свободной в толпе?

Но почему мне раньше никогда не приходила мысль о доме?

Не потому ли, что у меня вообще не успела развиться привычка и меть? То есть, еще проще говоря, потому что никогда ничего не было. Детство совпало с войной и первыми после нее годами; теперь, покупая сыну фрукты, я почему-то иногда вспоминаю, что в первый раз увидела мандарины лет в восемь, под Новый год их выдали по карточкам, кажется, штуки четыре, и я удивлялась, какие вкусные вещи есть на свете. В студенчестве я жила на стипендию, иногда довольствуясь дневным рационом в пол-литра молока и «городскую», бывшую «французскую», булку — двадцать две копейки за то и другое вместе. Теперь я живу в комнате, смежной с комнатой родственников бывшего мужа. Лет пять назад трещины на ее стенах были прикрыты морскими картами, книжный шкаф однажды распался на составные плоскости, но был собран заново, облезший письменный стол выглядел лет на сто десять. Правда, жилище это было украшено прекрасной репродукцией с картины — «Катти Сарк» под парусами, — в простенке между окнами висел портрет Александра Блока, и, в общем, комната казалась мне даже красивой. Но однажды знакомый литератор, жаловавшийся на отсутствие денег, которых не хватало на покупку машины, нечаянно зайдя, как-то слишком уж откровенно удивился: «Так вы живете здесь?»

Проследив его взгляд, я заметила расплзающиеся из-под карт трещины, всю неприкрытую или плохо прикрытую фотографиями, картинками убогость обстановки — до тех пор мне просто в голову не приходило, что я могу заниматься ремонтом. Хозяйственно-бытовой пласт был безнадежно погребен под несущим, кружащим, затягивающим в омуты и водовороты потоком «отвлеченных» интересов, которые как раз никогда отвлеченными и не были, а составляли самое существо жизни. Ремонт я, однако, сразу сделала, это оказалось несложно и недолго, заодно купила новый шкаф, секретер и большой письменный стол из светлого полированного дерева, с девятью ящичками (для рукописей, черновиков, тетрадей) — на этом хозяйственная кампания закончилась и продолжения не имела до сих пор.

Позже, уйдя с последней штатной должности, стремясь высвободиться для писания, я ограничила дни работы на заработок, а значит, и сам заработок, самым крайним минимумом. Иногда, правда, мною овладевало желание что-нибудь иметь, но это были совсем уж несопоставимые с возможностями и целесообразностью желания. Например, обводы корпуса яхты класса «Дракон» на воде, пропорция между высотой мачт и длиной этого корпуса всегда оставляли в душе моей саднящий след. В реальном же, соответствующем непосредственным нуждам уровне обладания я, кажется, всегда считала себя вполне удовлетворенной, хотя ничего не нажила на земле, где источит гля и развевает ветер...

К восьмому дню рождения моего сына в доме открылась еще одна — потаенная — комната. Мы и не подозревали, что за поворотом лестницы, за нишей в стене есть узкий проход в бар — сплошь выложенную кирпичом комнату с большим кирпичным камином.

Раскрасневшийся Эвальд Карлович никому не уступал роли бармена. Он сидел на отполированном, причудливо-сучковатом обрубке ствола перед раскаленными углями, жарил шашлык на шампурах, предварительно вымочив и обработав мясо по всем правилам высшей кулинарной науки. Сайма, Айле, переводчица с племянницей и мы с сыном разместились вокруг дощатого стола, освещенного тремя свечами. Над нами на стене висела кабанья шкура, по другой стене на выступе в два кирпича шириной тянулся ряд бутылок самых разнообразных

разных форм, расцвеченных пестрыми этикетками и убедительно свидетельствовавших о том, что хозяин дома не был сторонником долгой трезвости. Выступ продолжался над камином — там стояли керамические, фаянсовые, деревянные кувшины, сосуды и кружки. Интерьер дополняло ведро с пивом, водруженное на бочонок в углу.

Виновник торжества, с утра получивший, кроме многих подарков от меня, акварельные краски, альбом, книжки и еще разные милые мелочи от хозяев, счастливо перевозбужденный, поглощал шашлык и упивался лимонадом «Буратино».

Было каких-то несколько минут, когда в баре остались только мы с сыном и Эвальд Карлович. Гриша гасил, зажигал и снова гасил свечку, вдохновенно разглагольствуя, смеясь, блестя глазами. Мне не удалось его утихомирить, и Эвальд Карлович махнул рукой — пусть, мол, сегодня его день.

— Ну вот... Вы спросили, чего не хватает мне, помните? — Он проводил снисходительной улыбкой вылезшего из-за стола и усевшегося перед камином мальчика. — Ну да... дом, финская баня... А я всю жизнь хотел сына. Но нет, не было.

Я вдруг подумала: просто все, чем мы с ним владеем, не совпадает.

Должно быть, отчасти это следствие того, что у нас разная карма, отчасти причина такого различия. А вместе мы свободно «совершаем действия ради целокупности мира», каждый свои. Нас невозможно поменять ролями, нельзя ошастливать одним способом. Мы не можем, никогда не сможем одним и тем же владеть. Эвальд Карлович не уйдет в океан, не напишет символическую пьесу-сказку — я не построю такого дома. А вот нельзя ли и в океан уйти и дом построить? Отчего же нет, можно, но для этого нужно быть не мною и не им, а кем-то третьим. То есть не в том дело, что я никогда не буду иметь своего жилища, нет, даже вполне возможно, что доживу, но я не буду возводить его двадцать пять лет и даже пять не буду... Да просто потому, что мне некогда, мне надо заниматься своим строительством, не хуже и не лучше, только другим, — свои носить камни, укладывать их в фундамент, месяц за месяцем следя, как медленно нарастают стены, до ломоты в спине каждый день разрушать одни и возводить другие ограды.

Хозяин поворачивает шампур, ухаживает за Саймой и гостями, рассказывает об обстоятельствах, при которых были распиты некоторые бутылки, разрезает горячие, сочные куски мяса на своей тарелке, неторопливо поднимает высокую кружку с пивом...

Просто мы сидим с ним по разные стороны пиршественного стола...

...Ночью, уложив наконец едва утомившегося сына, при свете лампы со сквозным плетеным абажуром я возвращусь к «Бхагавадгите». Две-три строки — и несколько набранных петитом страниц комментариев к ним, еще строка — еще страница пояснений. Я пытаюсь понять тайную силу этой краткости, которая сродни краткости заповедей. Наверное, мы разучились говорить о существе и потому так многословны.

«Для не имеющего творческой мысли нет мира, а для не имеющего мира — откуда быть счастьем?» Но сообразно с сущностью каждого бывает его вера и сообразно с сущностью каждого — его счастье. Не действие, а ожидание результатов связывает нас с внешним кругом бытия, налагает узы зависимости от временного, причиняет страдание; порви эти узы — и ты освободишься от власти условных норм, внешних обстоятельств, от разочарований. «Итак, да будет у тебя устремленность к делу, но никогда к его плодам,



да не будет плод действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию». Так же как и Владыка мира, действуй бескорыстно, ибо бескорыстное действие — путь к равновесию...

Отчего же нет мира и нет равновесия в сердце моем? Может быть, «ожидание плодов» как раз и было самым напряженным, самым больным моим нервом? Пусть нет корысти низкой, пусть я жаду отзвука, выхода рассказа, разделенности мысли и состояний... Но и это плод, результат, то, что следует за действием, им не являясь. Значит, нет той высшей подлинности, самозабвения, беспредельности, безоглядности отдачи, которые слышишь в музыке Баха, обращенной к богу. Возможна ли творческая мысль без этой безоглядности? Возможна ли такая безоглядность?

Да будет у тебя устремленность к делу, но никогда к его плодам... Как просто, но как трудноисполнимо.

Но это позже, это из мыслей ночных, когда кончается праздник. А мы еще долго сидим в баре, хотя угли подернулись пеплом, шашлык съеден, выпито пиво, хотя внизу, в столовой, накрыт стол для чая. Потом не хочется расходиться и из-за этого стола, украшенного тортом с восемью свечками.

В проеме распахнутых дверей темно. Мальчик мой постепенно извлекает из торта желтенькие тонкие свечки, устанавливает на тарелке в круг, они долго догорают, истекают воском.

— Можно и зимой приехать, — неспешно говорит Эвальд, откинувшись на спинку кресла, — зимой хорошо. Снегом все засыпает кругом — дороги, реку. В прошлом году снега было так много, что на яблонях ветки обламывались. Приезжайте кататься на лыжах. Дом большой, места на всех хватит.

И мы собираемся приехать, говорим о том, какие купим лыжи, как будем топить здесь печку и, конечно, зажигать камин в баре — после целого дня на ветру, на морозце хорошо посидеть у огня, особенно если над ним лежат шампуры с вымоченным в уксусе мясом...

Зимой мы не поехали кататься на лыжах. Я и не вспомнила об этом. Я готовила к печати книгу рассказов. К весне она лежала на письменном столе пачкой около трехсот пятидесяти машинописных страниц. Мне нравилось пробовать ее на вес — ведь это был единственный весомый результат моего незримого многолетнего строительства со всеми тяготами его.

Прошли еще лето и осень, новая наступает зима. За этот срок рукопись была проведена в издательстве через стадию внутреннего рецензирования, скоро ее обещает прочесть редактор, чтобы вынести окончательное суждение. Объем рукописи странным образом почти не изменился, несмотря на то, что нет у меня «приверженности к бездействию» — несколько новых рассказов я вложила в папку, но почти столько же вынула из нее: они стали казаться мне слабыми.

Теперь я пребываю почти в том же состоянии крайней усталости, в котором уезжала в Эстонию, только нет, пожалуй, прежней нервно-сти, усталость спокойнее и тяжелее...

И вот я думаю сейчас: не оттого ли эта нарастающая с годами тяжесть, что все у меня на первом плане вроде весомое, важное и дни заполнены им до края, а что-то самое простое — ощущение самоценности жизни, умение получать от нее радость — может быть, это не дано?

Может быть, вообще наша русская душевная природа мало приспособлена к счастью? Легкости не хватает? Внутренней свободы?

Время веков, столетий крепостного права, династии Романовых, и все беды, и кровь, и боль нашей земли — все переходит с поколениями и остается в твоей крови, в разуме и сердце? Только Россия могла породить Достоевского, познавшего все наши темные провалы страдания, со взлетами и иступлениями его, самосожжениями в его огне, и знаем мы «утешение от тоски — тоскою еще более глубокой»<sup>1</sup>... А для радости — или нам еще время не выпадало? Или здесь тоже традиции нужны?

Традиции, инерция стиля... Вполне вероятно, к примеру, что мое стремление писать легко совместимо с более приличными условиями быта. Надо было бы всего лишь побольше думать о заработке, но думать не хочется. И дело не в невозможности совместить, а в привычке не иметь, привычке считать это третьестепенным. Тут не о счастье речь, всего лишь об условиях жизни. Но уже не в плане частной биографии, а в более широком, даже историческом, — не слишком ли мы за годы разрух, и голода, и войн привыкли пренебрегать благоустроенностью быта, привыкли не иметь? Не оттого ли и сейчас, когда можем иметь, живем если и хорошо, то безрадостно или некрасиво?

...Мы получили открытку от Эвальда и Саймы. Они спрашивают, что у нас изменилось, и приглашают в гости.

Что-то, наверное, изменилось, хотя об этом не сообщишь открыткой. Я, кажется, и правда не так жду «плодов», а летом мне выпали и дни состояния, близкого к равновесию. Впрочем, они не были связаны ни с бескорыстным действием, ни с творческой мыслью. Раньше всегда было напряженно, нервно, больно, я все выбиралась из кризисов и спадов, чего-то всегда не хватало, что-то новое надо было познать и постичь, сделать. И вдруг стало понятно, что все есть, что все проживаемое — самоценно, что разум — лишь одна из данных нам энергий, и, вероятно, не самая главная... Теперь мне хотелось бы долго жить.

В своей долгой жизни я еще поеду кататься на лыжах в Эстонию, может быть, этой зимой, если не надо будет работать дальше над книгой рассказов. Или хорошо бы приехать к Эвальду и Сайме и войти в калитку сразу после дождя, когда сад дымится, истекает капелью и капли на концах сосновых игл отражают синеву, и чернь, и зелень, и солнечный свет...

<sup>1</sup> А. Блок.



---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАРИНА ЦВЕТАЕВА



## ПОВЕСТЬ О СОНЕЧКЕ

Еще не все наследие Цветаевой-прозаика стало читательским достоянием. К числу неизвестных его страниц относится и «Повесть о Сонечке» — последняя прозаическая вещь Цветаевой.

Лето 1937 года. Франция. Малолюдный поселок на берегу океана. «Огромный, безмерный пляж с огромными, в отлив, отмелями. И огромный сосновый лес». Маленький, в одну комнатку с кухней, домик. Туда приехала Марина Цветаева с двенадцатилетним сыном.

Дочь Ариадна, вернувшаяся в марте 1937 года в СССР, сообщила горестное известие: Софья Евгеньевна Голлидэй, о судьбе которой просила ее узнать Цветаева, умерла около трех лет назад. И Марина Цветаева садится за очередной свой «посмертный подарок» — рекемие подруге молодости. «Это было весной 1919 г. — это была весна 1919 г., — пишет она Анне Антоновне Тесковой. — И с тех пор все спало — жило внутри — и весть о смерти всколыхнула все глубины, а, м. б., я спустилась в свой тот вечный колодец, где все всегда — живо. Словом, это лето я прожила с ней и в ней... Писала все утра, а слышала, слушала ее внутри себя — целый день».

С Софьей Евгеньевной Голлидэй (1896—1935), актрисой и чтицей, талантливейшей из учениц Е. Б. Вахтангова, Цветаева познакомилась в пору своего страстного увлечения театром, длившегося около двух лет. В актерскую среду — точнее, в кружок артистической молодежи, который составляли ученики Вахтангова, — ее ввел П. Г. Антокольский, тогда начинающий поэт. В эту пору (восемнадцатый — девятнадцатый годы) Цветаева написала шесть своих романтических пьес. Под костюмами галантного «осмнадцатого века» в них угадывались фигуры знакомых ей людей театра, и в первую очередь С. Е. Голлидэй. Это она вдохновила Цветаеву на образы героинь в пьесах «Фортуна» (Розанэтта), «Приключение» (Девчонка), «Каменный Ангел» (Аврора), «Феникс» (Франческа), в незавершенной пьесе без названия (Мэри). С. Е. Голлидэй Цветаева посвятила в том же 1919 году цикл «Стихи к Сонечке». Можно сказать, что Голлидэй была в тот год музой Марины Цветаевой, оставив след в ее душе на всю жизнь.

«Это было женское существо, — пишет Цветаева А. А. Тесковой, — которое я больше всего на свете любила... Это просто была любовь — в женском образе».

Начав работать над «Повестью», Цветаева писала: «Моя Сонечка должна остаться». И она оставила нам, воскресила полузабытую актрису, обладавшую самым ценным для Цветаевой даром: деятельной любовью к людям. Романтик воспел романтика, и вновь, как и прежде, прозвучало цветаевское живое о живом — слово благодарности и любви.

Elle était pâle — et pourtant rose,  
Petite — avec de grands cheveux...<sup>1</sup>.

**Н**ет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было — обратное бледности, а все-таки она была — pourtant — rose, и это совместно будет доказано и показано.

Была зима 1918—1919 года, — пока еще зима 1918 года, декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей Студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полной сцене.

«Метель» моя посвящалась — Юрию и Вере, их дружбе — моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий — моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а из встречного видения, особенно — рот, от природы — презрительный, углами вниз, и глаза — обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли — меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей — оказалась, и даже настолько, что ее в 1927 году в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера — корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история — с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 года... Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды  
И шумно спорили за коньяком,  
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,  
К нам ворвалась — с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов  
Над снеговой, над пушкинской Невой  
Ведут полки под переклик горнистов,  
Под зычный вой музыки боевой.

Сам император в бронзовых ботфортах  
Позвал тебя, Преображенский полк,  
Когда в заливах улиц распростертых  
Лихой кларнет сорвался и умолк...

И вспомнил он, Строитель Чудотворный,  
Внимая петропавловской пальбе,  
Тот сумасшедший — странный — непокорный, —  
Тот голос памятный: — Ужо тебе!

— Да что же это, да чье же это такое, наконец?

— Автору — семнадцать лет, он еще в гимназии. Это мой товарищ — Павлик.

Юнкер, гордящийся, что у него товарищ — поэт. От поражения

<sup>1</sup> Она была бледная — и все-таки розовая,  
Крошечная — с пышными волосами... (Франц.)

отыгрывающийся — стихами. Пахнуло Пушкиным: теми дружбамии. И сверху — ответом:

— Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро — новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,  
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть —  
Твои глаза...

А это — из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик — он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая — под множеством имен...

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма, — разыскала Павлика. Павлик жил где-то у храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только — черноглазый: Пушкин — легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни, нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы — так, что мы — внутренне — звякнули не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке — не знаю, сколько, мы оба вышли — тем же черным ходом и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел — и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко:

— Павлик, как Вы думаете — можно назвать то, что мы сейчас делаем, — мыслью?

Павлик, еще более робко:

— Это называется — сидеть в облаках и править миром.

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра. «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра наконец влюбился... И подумайте: студийцы высказывают, а вместо барышни — я!!!»

В один прекрасный вечер он мне Юру — привел.

— А вот это, Марина, мой друг — Юра, — с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза — на это ушло много времени, ибо Юра не кончался, — я обнаружила Верины глаза и рот.

— Господи, да не брат ли Вы... Да, конечно, Вы — брат... У вас не может не быть сестры Веры!

— Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас — вместе и нас порознь — своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был — глубокая ночь, которая была — раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук,  
С братом — брат, с Другом — друг,  
Вместе, на одной постели...

Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плаэд,  
 Полюбила их навеки,  
 Я сквозь сомкнутые веки  
 Странные читаю вести:  
 Радуга: двойная слава,  
 Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!  
 Лучше буду, лучше буду  
 Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась — «Метель».

Чтобы сдержать свое слово — не разводите этих рук, — мне нужно было свести в своей любви — другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить одного Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, — мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле — усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает — дела не меняло.)

Отношение с самого начала — стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе — и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон:

— Вы?

— Я.

— А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к Вам без Павлика?

— Когда?

— Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка — уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени — еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с Юрой наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное — не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я — даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была — он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проведив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, — да ничего, только взгляд: — да? — нет — может быть, да? — пока еще — нет — и двойная улыбка: его восторженного изумления, моя — нелегкого торжества. (Еще одна такая победа — и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 года, не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же — оказался, то я и одарила его Павлика — в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне — для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы — бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей Студии (все они были — студийцы Вахтангова, и Юрий и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу») и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех — бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше — для актера — когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем и год спустя написания «Метели» — та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священны, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен — лицом: 1917 год — Павлик, зима 1918 года — Юрий, весна 1919 года — Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность — моя последняя, посмертная верность.)

Итак — та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но — так, что я боялась — волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала — могу сказать — в а л о м тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом — как пьют! — но и как поют! — самым певучим, за сердце берущим из своих голов:

...И будет плыть в пустыне графских комнат  
Высокая луна.  
Ты — женщина, ты ничего не помнишь.  
Не помнишь...

(настойчиво)

не должна.

Странице — сон.  
Страннику — путь.  
Помни! — Забудь.

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.)

Когда я кончила, все сразу заговорили. Так же полно заговорили, как я — замолчала:

— Великолепно!  
— Необычайно!  
— Гениально!  
— Театрально! —

и т. д.

— Юра будет играть Господина.

— А Лиля Ш. — Старуху.

— А Юра С. — Купца.

— А музыку — те самые безвозвратные колокольчики — напишет Юра Н. Вот только — кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза:

— Ты — не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги коротки.)

Я, молча: «Дама в плаще — моя душа, ее никто не может играть».

Все говорили, а я пылала. Отговорив — заблагодарили. «За огромное удовольствие... За редкую радость...» Все чужие лица, чужие, то есть ненужные. Наконец — он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединяя меня от всех, вместе со мною, к краю сцены:

— Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка.

И х д р у ж б е — м о я л ю б о в ь?

— А это, Марина, — низкий торжественный голос Павлика, — Софья Евгеньевна Голлидэй. — Совершенно так же, как год назад: «А это, Марина, мой друг — Юра». Только на месте мой друг —

что-то проглочено. (В ту самую секунду плечом чувствую: Юрий уходит.)

Передо мной маленькая девочка. Знаю, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, нестерпимо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламени выются! — косы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

— Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это — было, теперь я знаю, что это — есть. Потому что это — правда — было: Вы действительно так стояли. Потому что это Вы стояли. А Старуха — сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом — отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми — дальше нельзя! — глазами — спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня — нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец оглянулась — действительно на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша.

И только тут я заметила, что еще держу в руке ее ручку.

— О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я Вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что Вас нельзя не полюбить безумно — я сама Вас так полюбила сразу...

— А он не полюбил.

— Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я Вас люблю. А его я презираю — за то, что не любит Вас — на коленях.

— Сонечка! А Вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

— Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

— Значит, внутри пылало, а я боялась — всю сцену — весь театр — всю Москву сожгу. Я тогда думала — из-за него, что ему — его — себя, себя к нему — читаю — перед всеми — в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу Вам пылало, Сонечка... Ни меня, ни Вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 года. Вся Сонечка — мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет — нецвет — лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь — до последнего нецвета.

Пылание ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бессменного пожара?

...Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

— Сонечка, откуда — при Вашей безумной жизни — не спите, не едите, плачете, любите — у Вас этот румянец?

— О, Марина! Да ведь это же — из последних сил!

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпитафия:

*Elle était pâle — et pourtant rose...<sup>2</sup>*

<sup>2</sup> Она была бледная — и все-таки розовая (франц.).



То есть бледной — от всей беды — она бы быть должна была, но, собрав последние силы — нет! — пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица — даже самые молодые — цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой улочке, — да, конечно, это был — порт, и она — фонарь, а все мы — тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О, если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет — пишу тебя на Океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.)

Elle avait le rire si près des larmes et les larmes si près du rire — quoique je ne me souviens pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux étaient trop chauds pour les laisser couler, qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts à pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire — des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur — et non de l'humidité, puisqu'avec toute sa bonne volonté — mauvaise volonté des autres — elle ne parvenait pas à en laisser couler une seule.

Et pourtant — si!

Belles, belles, telles des raisins égrénés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer — on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle «pleurer à chaudes larmes?». Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes, et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber — roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, salées comme la mer.

... On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart<sup>3</sup>.

А вот что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном «Roi des Montagnes»:

— Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'étaient ni bleus, ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'était un brun ardent et velouté qui ne se rencontre que dans le grenat de Sibérie et dans certaines fleurs des jardins. Je vous montrerai une scabieuse et une variété de rose première presque noire qui rappellent,

<sup>3</sup> Ее смех был так близок к слезам — а слезы так близки к смеху, — хотя я не помню, чтобы видала их льющимися. Можно было бы сказать: ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, наоборот: блестя слезами, они излучали жар, являли собою образ, ощущение тепла, а не влажности, ибо, при всем своем доброжелательстве (недоброжелательстве — других), она ухитрялась не пролить ни единой слезинки.

И все-таки она проливали слезы.

Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; клянусь, они были обжигающими и при виде ее можно было смеяться от наслаждения! Пожалуй, это и называется «плакать жаркими слезами»! Значит, я видала человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими. У всех других — у меня, у остальных — они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так силен был жар ее щек, что они казались розовыми. Горячие, как кровь, как жемчуг, соленые, как море.

Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски. (Франц.)

sans la rendre, la nuance merveilleuse de ses yeux. Si vous avez jamais visité les forges à minuit, vous avez du remarquer la lueur étrange que projette une plaque d'acier chauffée au rouge brun: voilà tout justement la couleur de ses regards. Toute la science de la femme et toute l'innocence de l'enfant s'y lisaient comme dans un livre; mais ce livre, on serait devenu aveugle à le lire longtemps. Son regard brûlait, aussi vrai que je m'appelle Hermann. Il aurait fait mûrir les pêches de votre espalier<sup>4</sup>.

Понятен теперь возглас Павлика?

Знай, что готов я на любой костер взойти,  
Лишь только бы мне знать, что будут на меня глядеть —  
Твои глаза...

Мое же, скромное:

глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на дне, темно-карие с — на дне — янтарем: не балтийским: восточным: красным. Почти черным, с — на дне — красным золотом, которое временами всплывало: янтарь — растапливался: глаза с — на дне — теплым, потопленным янтарем.

Еще скажу: глаза немножко жмурые: слишком много было ресниц, казалось — они ей мешали глядеть, но так же мало мешали нам их, глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. И еще одно: даже когда они плакали — эти глаза смеялись. Поэтому их слезам не верили. Москва слезам не верит. Та Москва — тем слезам — не поверила. Поверила я одна.

Ей, вообще, не доверяли. О ней, вообще, на мои бьющие по всем площадям восторги отзывались... сдержанно, да и сдержанно-то — из почтения ко мне, сдерживая явный суд и осуждение.

— Да, очень талантливая... Да, но знаете, актриса только на свои роли: на самое себя. Ведь она себя играет, значит — не играет вовсе. Она — просто живет. Ведь Сонечка в комнате — и Сонечка на сцене...

Сонечка на сцене:

выходит маленькая, в белом платьице, с двумя черными косами, берется за спинку стула и рассказывает:

— Жили мы с бабушкой... Квартирку снимали... Жилец... Книжки... Бабушка булавкой к платью прищипливала... А мне — сты-ыдно...

Свою жизнь, свою бабушку, свое детство, свою «глупость»... Свои белые ночи.

Сонечку знал весь город. На Сонечку — ходили. Ходили — на Сонечку. «А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами... Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая...»

«Белые ночи» были — событие.

Спектакль был составной, трехгранный. Первое: Тургенев, «История лейтенанта Ергунова»: молодая чертовка, морока, где-то в слободской трущобе заворазивающая, обморачивающая молодого лей-

<sup>4</sup> Эдмон Абу... в «Горном короле»:

— Какие у нее были глаза, мой любезный господин! Ради вашего же спокойствия я желаю вам никогда не повстречать подобных! Они не были ни синими, ни черными, но цвета особенного, единственного, нарочно для них созданного. Они были коричневыми, горячими и бархатистыми, такой цвет встречается лишь в сибирских гранатах и в некоторых садовых цветах. Я вам покажу скабиозу и сорт штокрозы, почти черной, которые напоминают, не передавая точно, чудесный оттенок ее глаз. Если вы когда-нибудь бывали в кузнице в полночь, вы должны были заметить тот странный коричневатый блеск, который отбрасывает стальная пластина, раскаленная докрасна, вот это будет точно цвет ее глаз. Вся мудрость женщины и вся невинность ребенка читались в них как в книге: но это была такая книга, от долгого чтения которой можно было ослепнуть. Ее взор сжигал — это так же верно, как то, что меня зовут Герман. Под таким взглядом могли бы созреть персики в вашем фруктовом саду. (Франц.)

тенанта. После всех обещаний и обольщений исчезающая — как дым. С его кошельком. Помню, в самом начале она его ждет, наводит красоту — на себя и жилище. Посреди огромного сарая — туфля. Одинокая, стоптанная. И вот — размахом ноги — через всю сцену. Навела красоту!

Но это — не Сонечка. Это к Сонечке — введение.

Второе? Мне кажется — что-то морское, что-то портовое, матроское, — может быть, Мопассан: брат и сестра? Исчезло.

А третье — занавес раздвигается: стул. И за стулом, держась за спинку, — Сонечка. И вот рассказывает, робея и улыбаясь, про бабушку, про жильца, про бедную их жизнь, про девичью свою любовь. Так же робея и улыбаясь и сверкая глазами и слезами, как у меня в Борисоглебском, рассказывая о Юрочке — или о Евгении Багратионовиче, — так же не играя или так же всерьез, насмерть играя, а больше всего играя — концами кос, кстати, никогда не перевязанных лентами, самоперевязанных, самоперекрученных природно, или прядями у висков играя, отстраняя их от ресниц, забавляя ими руки, когда те скучали от стула. Вот эти концы кос и пряди у висков — вся и Сонечкина игра.

Думаю, что даже платице на ней было не театральное, не нарочное, а собственное, летнее — шестнадцатилетнее, может быть?

— Ходил на спектакль Второй Студии. Видал Вашу Сонечку...

Так она для всех сразу и стала моей Сонечкой — такая же моя, как мои серебряные кольца и браслеты — или передник с монистами, — которых никому в голову не могло прийти у меня оспаривать — за никому, кроме меня, ненужностью.

Здесь уместно будет сказать, потому что потом это встанет вживе, что я к Сонечке сразу отнеслась еще и как к любимой вещи, подарку, с тем чувством радостной собственности, которого у меня ни до, ни после к человеку не было — никогда, к любимым вещам — всегда. Даже не как к любимой книге, а именно — как к кольцу, наконец попавшему на нужную руку, вопиюще — моему, еще в том кургане — моему, у того цыгана — моему, кольцу так же мне радующемуся, как я — ему, так же за меня держащемуся, как я за него — самодержавшемуся, неотъемлемому. Или уж — вместе с пальцем! Отношения этим не исчерпываю: плюс вся любовь, только мыслимая, еще и это.

Еще одно: меня почему-то задевало, раздражало, оскорбляло, когда о ней говорили Софья Евгеньевна (точно она взрослая!), или просто Голлидэй (точно она мужчина!), или даже Соня — точно на Сонечку не могут разориться! — я в этом видела равнодушие и даже бездушие. И даже бездарность. Неужели они (они и оне) не понимают, что она — именно Сонечка, что иначе о ней — грубость, что ее нельзя — не ласкательно. Из-за того, что Павлик о ней говорил Голлидэй (начав с «Инфанты»!), я к нему охладела. Ибо не только Сонечку, а вообще любую женщину (которая не общественный деятель) звать за глаза по фамилии — фамильярность, злоупотребление отсутствием, снижение, обращение ее в мужчину, звать же за глаза — ее детским именем — признак близости и нежности, не могущий задеть материнского чувства — даже императрицы. (Смешно? Я была на два, на три года старше Сонечки, а обижалась за нее — как мать.)

Нет, все любившие меня: читавшие во мне называли ее мне — Сонечка. С почтительным добавлением — Ваша.

Но пока она еще стоит перед нами, взявшись за спинку стула, настоим здесь на ее внешности — во избежание недоразумений.

На поверхностный взгляд она, со своими ресницами и косами, со всем своим алым и каштановым, могла показаться хохлушкой, малороссияночкой. Но — только на поверхностный: ничего типичного, на-

ционального в этом личике не было — слишком тонка была работа лица: работа — мастера. Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины — так раковину работает океан — от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и выгиб губ, и общий завиток ресниц — и ушко! — все было резное, точеное — и одновременно льющееся — точно эту вещь р а б о т а л и и е ю ж е — и г р а л и: не только Океан работал, но волна — играла. *Je n'ai jamais vu de perle rose, mais je soutiens que son visage était plus perle et plus rose*<sup>5</sup>.

Как она пришла? Когда? Зимой ее в моей жизни не было. Значит — весной. Весной 1919 года, и не самой ранней, а вернее — апрельской, потому что с нею у меня связаны уже оперенные тополя перед домом. В пору первых зеленых листиков.

Первое ее видение у меня — на диване, поджав ноги, еще без света, с еще-зарей в окне, и первое ее слово в моих ушах — жалоба:

— Как я Вас тогда испугалась! Как я боялась, что Вы его у меня отымете! Потому что не полюбить — Вас, Марина, не полюбить Вас — на коленях — невысказанно, несбыточно, просто (удивленные глаза) — глупо? Потому что к Вам так долго и не шла, потому что з н а л а, что Вас так люблю, Вас, которую любит он, из-за которой он меня не любит, и не знала, что мне делать с этой своей любовью, потому что я Вас у ж е любила, с первой минуты тогда, на сцене, когда Вы только опустили глаза — читать. А потом — о какой нож в сердце! какой нож! — когда он к Вам п о с л е д н и й подошел, и Вы с ним рядом стояли на краю сцены, отгородившись от всего, одни, и он Вам что-то тихонько говорил, а Вы так и не подняли глаз, — так что он совсем в Вас говорил... Я, Марина, правда не хотела Вас любить! А теперь — мне все равно, потому что теперь для меня его нет, есть В ы, Марина, и теперь я сама вижу, что он н е м о г Вас любить, потому что — если бы мог Вас любить — он бы не релетировал без конца «Святого Антония», а святым Антонием бы — был, или не Антонием, а вообще святым...

— Юрием.

— Да, да, и вообще бы никогда бы не обедал и не завтракал...

— Святым Георгием.

— Да. О, Марина! Именно святым Георгием, с копьем, как на кремлевских воротах! Или просто бы у м е р от любви.

И по тому, как она произнесла это у м е р от любви, видно было, что она сама — от любви к нему — и ко мне — и ко в с е м у — умирает; Революция — не Революция, пайки — не пайки, большевики — не большевики — все равно умрет от любви, потому что это ее призвание — и назначение.

— Марина, Вы меня всегда будете любить? Марина, Вы меня в с е г д а будете любить, потому что я с к о р о умру, я совсем не знаю отчего, я так люблю жизнь, но я з н а ю, что скоро умру, и потому, потому все так б е з у м н о, б е з н а д е ж н о люблю... Когда я говорю: Юра — Вы не верьте. Потому что я знаю, что в других городах... Только В а с, Марина, нет в других городах, а — их!.. Марина, Вы когда-нибудь думали, что вот сейчас, в эту самую минуту, в эту самую сию-минуточку, где-то, в портовом городе, может быть, на каком-нибудь острове, всходит на корабль — тот, кого Вы могли бы любить? А может быть — сходит с корабля, — у меня это почему-то всегда матрос, вообще моряк, офицер или матрос — все равно... сходит с корабля и бродит по городу и ищет Вас, которая здесь, в Борисоглебском переулке. А может быть, просто проходит по Треть-

<sup>5</sup> Я никогда не видела розового жемчуга, но утверждаю: ее лицо было еще розовее и еще жемчужнее (франц.).

ей Мещанской (сейчас в Москве ужасно много матросов, Вы заметили? За пять минут — все глаза растеряешь!), но Третья Мещанская — это так же далеко от Борисоглебского переулка, как Сингапур... (Пауза). Я в школе любила только географию — конечно, не все эти широты, и долготы, и градусы (меридианы — любила), — имена любила, названия... И самое ужасное, Марина, что городов и островов много — полный земной шар! — и что на каждой точке этого земного шара (у Вас есть глобус? Я бы показала) — на каждой точке этого земного шара — потому что шар только на вид такой маленький и точка только на вид — точка — тысячи, тысячи тех, кого я могла бы любить... (И я это всегда говорю Юре, в ту самую минуту, когда говорю ему, что, кроме него, не люблю никого, говорю, Марина, как бы сказать, тем самым ртом, тем самым полным и м ртом, потому что и это правда, потому что оба — правда, потому что это одно и то же, я это знаю, но когда я хочу это доказать — у меня чего-то не хватает, ну — как не можешь дотянуться до верхней ветки, потому что верхка не хватает! И мне тогда кажется, что я схожу с ума...) Марина, кто изобрел глобус? Не знаете? Я тоже ничего не знаю — ни кто глобус, ни кто карты, ни кто часы. Чему нас в школе учат?! Благословляю того, кто изобрел глобус (наверное, какой-нибудь старик с длинной белой бородой...), за то, что я могу сразу этими двумя руками обнять весь земной шар — со всеми моими любимыми!

...«Ни кто — часы...»

Однажды она у меня на столе играла песочными часами, детскими пятиминутными: стеклянная стопочка в деревянных жердочках с перехватом-талией — и вот, сквозь эту «талию» — тончайшей струечкой — песок — в пятиминутный срок.

— Вот еще пять минуточек прошло... — Потом безмолвие, точно никакой Сонечки в комнате нет, и уже совсем неожиданно, нежданно: — Сейчас будет последняя, после-едняя песчиночка! Всё!

Так она играла — долго, нахмутив бровки, вся уйдя в эту струечку. (Я — в нее.) И вдруг — отчаянный вопль:

— О, Марина! Я пропустила! Я — вдруг — глубоко — задумалась и не перевернула вовремя, и теперь я никогда не буду знать, который час. Потому что — представьте себе, что мы на острове, кто нам скажет, о т к у да нам знать?!

— А корабль, Сонечка, приезжающий к нам за кораллами? За коралловым ломом? Пиратский корабль, где у каждого матроса по трое часов и по шесть цепей! Или — проще: с нами после кораблекрушения спасся — кот. А я еще с детства-и-отрочества знаю, что «Les Chinois voient l'heure dans l'oeil des Chats»<sup>6</sup>. У одного миссионера стали часы, тогда он спросил у китайского мальчика на улице, который час. Мальчик быстро куда-то сбегал, вернулся с огромным котом на руках, поглядел ему в глаза и ответил: «Полдень».

— Да, но я про эту струечку, которая одна знала срок и ждала, чтобы я ее — перевернула. О, Марина, у меня чувство, что я кого-то убила!

— Вы в р е м я убили, Сонечка:

Который час? — его спросили здесь,  
А он ответил любопытным: — Вечность.

— О, как это чудесно! Что это? Кто этот он и это правда — было?

<sup>6</sup> Китайцы узнают время по глазам кошек (франц.).

— Он—это с ума шедший поэт Батюшков, и это, правда, было.

— Глупо у поэта спрашивать время. Без-дарно. Потому он и сошел с ума — от таких глупых вопросов. Нашли себе часы! Ему нужно говорить время, а не у него — спрашивать.

— Не то: он уже был на подозрении безумия и хотели проверить.

— И опозорились, потому что это ответ — гения, чистого духа. А вопрос — студента-медика. Дурака.— Поглаживая указательным пальчиком круглые бока стопочки: — ...Но, Марина, представьте себе, что я была бы — Бог.. нет, не так: что вместо меня Бог бы держал часы и забыл бы перевернуть. Ну, задумался на секундочку и — к о н ч е н о время. ...Какая страшная, какая чудная игрушка, Марина. Я бы хотела с ней спать...

Струечка... Секундочка... Все у нее было уменьшительное (умалительное, умолительное, умилительное...), вся речь. Точно ее малenькoсть передалась ее речи. Были слова, словца в ее словаре — может быть, и актерские, актрисинские, но, боже, до чего это иначе звучало из ее уст! например — манерочка. «Как я люблю Вашу Алю: у нее такие особенные манерочки...»

Манерочка (ведь шаг, з н а к до «машерочка»!) — нет, не актрисинское, а институтское, и недаром мне все время чудится, ушами слышится: «Когда я училась в институте...» Не могла гимназия не только дать ей, но не взять у нее этой — старинности, старомодности, этого старинного, век назад, какого-то осьмнадцатого века, девичества, этой насущности обожания и коленопреклонения, этой страсти к несчастной любви.

Институтка, потом — актриса. А может быть, институтка, гувернантка и потом — актриса. (Смутно помнятся какие-то чужие дети...)

— Когда Аля вчера просила еще посидеть, сразу не идти спать, у нее была такая трогательная гримасочка...

Манерочка... гримасочка... секундочка... струечка... а сама была... девочка, которая ведь тоже — уменьшительное.

— Мой отец был скрипач, Марина, б е д н ы й скрипач. Он умер в больнице, и я каждый день к нему ходила, ни минутки от него не отходила — он только мне одной радовался. Я вообще была его любимицей... (Обманывает ли меня или нет — память, когда я слышу: придворный скрипач? Но какого двора — придворный? Английского? Русского? Потому что — я забыла сказать — Голлидэй есть английское «hollyday» — воскресенье, праздник. Сонечка Г о л л и д э й: это имя было к ней привязано — как бубенец!)

— Мои сестры, Марина, красавицы. У меня две сестры — и обе красавицы. Высокие, белокурые, голубоглазые — настоящие леди. Это я такая дурнушка, чернушка...

Почему они не жили вместе? Не знаю. Знаю только, что она непрерывно была озабочена их судьбою — и делом заботилась.

— Нужно много денег, Марина, нужно, чтобы у них были х о р о ш и е платья и обувь, потому что они,—с глубоким придыханием восторга,— красавицы. Они высокие, Марина, стройные — это я одна такая маленькая.

— И Вы, такая маленькая, младшая, должны...

— Именно потому что такая маленькая. Мне, не-красавице, мало нужно, а красавицам — всегда — во всех сказках — много нужно. Не могут же они одеваться — как я!

(Белая блузка, черная юбка или белое платьице — в другом ее не помню.)

Однажды в какой-то столовой (воблиный суп с перловой крупой, второе сама вобла, хлеба не было, Сонечка отдала Але свой) она мне их показала — сидели за столиком, ей с высоты английских шей кивнули (потом она к ним побежала) — голубоглазые, фарфоровые, златоволосые, в белых, с выгибом, великокняжнинских щляпах...

— Гляди, Алечка, видишь — эти две дамы. Это мои сестры. Правда, обе — красавицы?

— Вы — лучше.

— Ах ты дитя мое дорогое! Это тебе лучше, потому что ты меня любишь.

— Я потому Вас люблю, что Вы лучше всех.

Ребенок, обезоруженный ребенком, смолк.

Повинуясь, очевидно, закону сказки — иначе этого, с моей страстью к именам, не объяснишь, — я так и не спросила у ней их имен. Так они у меня и остались — сестры. Сестры — Золушки.

М а т ь помню как Сонечкину з а б о т у. Написать маме. Послать маме. Должно быть, осталась в Петербурге, откуда родом была сама Сонечка.

(Недаром ее «Белые ночи».)

— Я же знаю, Марина, я сама так ходила, сама так любила... Когда я в первый раз их прочла... Я никогда не читала их в первый раз! Только я в «Белых ночах», не только она, но еще и он, тот самый мечтатель, так никогда и не выбравшийся из белой ночи... Я ведь всегда двоюсь, Марина, не я — двоюсь, а меня — два, двое: даже в любви к Юре: я — я, и я — еще и он, Юра: все его мысли думаю, еще не сказал — знаю (оттого и не жду ничего!), мне смешно сказать: когда я — он, мне самой лень меня любить... Только с Вами, Марина, я — я и еще я. А верней всего, Марина, я — все, кто белой ночью так любят, и ходят, и бродят... Я сама — белая ночь...)

Обнаружила я ее Петербург сразу, по ее «худо» вместо московского «плохо».

— А это очень худо?

— Что?

— Говорить «худо». — И сама смеется.

— Для Вашего худа, Сонечка, одна рифма — чудо.

Кто и откуда,  
Милое чудо?

Так возникла Розанэтта из моей «Фортуны» (Лозэна), так возникла вся последняя сцена «Фортуны», ибо в этом: «кто и откуда?» — уже весь приказ Розанэтте (Сонечке) быть, Розанэтте, дочке привратника, которая:

...Я за последней волею прислана.  
Может, письмо Вам угодно оставить родным,  
Может быть, локон угодно отрезать на память.  
Все, что хотите — просите! Такой уже день:  
Все Вам позволено нынче!

О, какая это была живая Сонечка, в этом в с ё, говоримом за час перед казнью, в этом часе, даримом и творимом, в этом последнем любовном и последнем жизненном часе, в предсмертном часе, вмещающем в с ю любовь.

В этом — Розанэтта — имени.

(Сонечка! Я бы хотела, чтобы после моей повести в тебя влюбились — все мужчины, изревновались к тебе — все жены, исстрадались по тебе — все поэты...)

Началась Сонечка в моих тетрадах с ее жалобного, в первый приход ко мне, возгласа:

— О, Марина! (Эта умница ни разу не назвала меня «Ивановна», как с «Белыми ночами», сразу — второй (тысячный) раз.) — Как я бы Вашу Даму в «Метели» — сыграла. Как я знаю каждое движение, каждую интонацию, каждый перерыв голоса, каждую паузу — каждое дыхание... Так, Марина, как я бы, — ее никто не сыграет. Но я не могу — я такая маленькая...

Не ростом — не только ростом — мало ли маленьких! — и малenькость ее была самая обыкновенная — четырнадцатилетней девочки — ее беда и прелесть были в том, что она этой четырнадцатилетней девочкой — была. А год был — девятнадцатый. Сколько раз — и не стыжусь это сказать — я за наш с ней короткий век жалела, что у нее нет старого, любящего, просвещенного покровителя, который бы ее в своих старых руках держал, как в серебряной оправе... И одновременно бы ею, как опытный штурман, правил... Моей маленькой лодочкой — большого плавания... Но таких в Москве девятнадцатого года — не было.

(Знаю, знаю, что своей любовью «эффект» «ослабляю», что читатель хочет сам любить, но я тоже, как читатель, хочу сама любить, я, как Сонечка, хочу «сама любить», как собака — хочу сама любить... Да разве вы еще не поняли, что мой хозяин — умер и что я за тридцать земель и двудесять лет — просто — умер?!)

...Ни малейшего женского кокетства. Задор — мальчишки (при предельно женственной, девической, девчонческой внешности), лукавство — *lutin*<sup>7</sup>. Вся, что немцы называют, «Einfall»<sup>8</sup>. (Сонечка, я для тебя три словаря граблю! Жаль, английского не знаю — там бы я много для тебя нашла. А — в испанском!..)

Ряд видений: Наташа Ростова на цветочной кадке: «Поцелуйте куклу!»... Наташа Ростова, охватив колена, как индус, как пес, поющая на луну, пением уносимая с подоконника... Огаревская Консуэла, прощающаяся с герценовской Наташей у дилижанса... Козэтта с куклой и Фантина с Козэттой... Все девические видения Диккенса... Джульетта... Мирэй... Миньона, наконец, нет, даже о н: *Mignon*, — тот мальчик-арфист, потом ставший Миньонкой, которого с какой-то своей *Wanderung*<sup>9</sup> привел домой к матери юноша, ставший — Гёте.

(Знаю, что опять ничего не даю (и много — беру), однажды даже вычеркнула это место из рукописи, но они меня так теснят, обступают, так хотят через Сонечку еще раз — быть...)

Но главное имя — утаиваю. И прозвучит оно только в стихах — или нигде.

И вот, потому что ни одной моей взрослой героиней быть не могла — «такая маленькая», — мне пришлось писать маленьких. Маленьких девочек. Розанэтта в «Фортуне», Девчонка в «Приключении», Франческа в «Конце Казановы» — все это Сонечка, она, живая, — не вся, конечно, и попроще, конечно, ибо, по слову Гейне, поэт неблагоприя-

<sup>7</sup> Шаловливость (франц.).

<sup>8</sup> Причуда (нем.).

<sup>9</sup> Поездок (нем.).



тен для театра и театр неблагоприятен для поэта,— но всегда живая, если не вся — она, то всегда — она, никогда: не-она.

А один свой стих я все-таки у нее — украла: у нее, их не писавшей, в жизни не написавшей ни строки,— я, при всей моей безмерной, беспримерной честности — да, украла. Это мой единственный в жизни плагиат.

Однажды она, рассказывая мне о какой-то своей обиде:

— О, Марина! И у меня были такие большие слезы — крупнее глаз!

— А Вы знаете, Сонечка, я когда-нибудь это у Вас украду в стихи, потому что это совершенно замечательно — по точности и...

— О, берите, Марина! Все, что хотите — берите! Все мое берите в стихи, всю берите! Потому что в Ваших руках все будет жить — вечно! А что от меня останется? Несколько поцелуев...

И вот, три года спустя (может быть, кто знает, день в день) стих:

В час, когда мой милый брат  
Миновал последний вяз  
Вздохов мысленных: — Назад!  
Были слезы — больше глаз.

В час, когда мой милый друг  
Огубал последний мыс  
Вздохов мысленных: — Вернись!  
Были взмахи — больше рук.

Руки прочь хотят — от плеч!  
Губы вслед хотят — заклысть!  
Звуки растеряла речь,  
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость...  
— Господи, взгляни на нас! —  
Были слезы больше глаз  
Человеческих — и звезд  
Атлантических...

(А атлантические звезды горят над местечком Lасапаи-Осеап, где я свою Сонечку — пишу, и я, глядя на них вчера, в первом часу ночи, эти строки вспомнила — наоборот: что на океане звезды больше глаз! Вот и сошелся круг.)

Эти стихи написаны и посланы Борису Пастернаку, но автор и адресат их — Сонечка.

И последний отблеск, отзвук Сонечки в моих писаниях — когда мы уже давно, давно расстались — в припеве к моему «Молодцу»: «А Маруся лучше всех!» (краше всех, жарче всех...) — в самой Марусе, которая, цветком восстав, пережила самое смерть, но и бессмертье свое отдает, чтобы вместе пропасть — с любимым.

— Марина, Вы думаете, меня Бог простит — что я так многих целовала?

— А Вы думаете — Бог считал?

— Я — тоже не считала.

...А главное, я всегда целую — первая, так же просто, как жму руку, только — не удержишь. Просто никак не могу дожидаться! Потом каждый раз: «Ну кто тебя тянул? Сама виновата!» Я ведь знаю, что это никому не нравится, что все они любят кланяться, кланчить, искать случая, добиваться, охотиться... А главное — я терпеть не могу, когда другой целует — первый. Так я, по крайней мере, знаю, что я этого хочу.

— Марина, я никогда не могла понять (и себя не понимаю), как можно — только что целовавшись — говорить молитву. Теми же губами... Нет, не теми! Я, когда молюсь — никогда не целовалась и когда целуюсь — никогда не молилась.

— Сонечка! Сонечка! От избытка сердца целуют уста Ваши.

Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства. (Я была года на три старше, по существу же — на всю себя. Во мне никогда ничего не было от «маленькой».)

Братски обнимала.

Нет, это был сухой огонь, чистое вдохновение, без попытки разрядить, растратить, осуществить. Беда без попытки помочь. Вот об этом мой французский рассказ одному моему французскому другу пятнадцать лет спустя. Друг прошел, рассказ остался. Пусть останется.

Je ne me souviens pas de l'avoir embrassée hors le baiser usuel, presque machinal du bonjour et de l'adieu. Ce n'était pas de la mauvaise — ou bonne — honte, c'était — mais la même chose qu'avec le tu: je j'aimais trop, tout était moins.

Car un baiser, quand on n'aime pas — dit tellement plus, et quand on aime — dit tellement moins, est tellement moins. Boire pour reboire encore. Le baiser en amour c'est l'eau de mer dans la soif. (Eau de mer ou sang — bon pour les naufragés !) Si cela a déjà été dit — je le redis. L'important, ce n'est pas de dire du neuf, c'est de trouver seul et de dire vrai.

J'aimais mieux garder ma soif entière.

Et — une chose qui n'a sûrement, pas sa simplicité même, jamais été écrite : le baiser en amour c'est le mauvais chemin menant à l'oubli de l'autre. De l'aimé, non à l'aimé. Commenant par baiser une âme, on continue par baiser une bouche et on finit par baiser — le baiser. Anéantissement.

Mais je l'embrassais souvent de mes bras, fraternellement, protectionnellement, pour la cacher un peu à la vie, au froid, à la nuit.

...Ma petite enfant que je n'ai jamais laissée rentrer seule.

Et simplement je n'y avais jamais pensé — qu'il y avait — ça, cette возможность entre gens comme nous. (Cette impasse). Ce n'est que maintenant, quinze ans après que j'y pense, pleine de gratitude de n'y avoir alors pas même-pensé<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Не помню, чтобы я ее целовала, кроме поцелуев обычных, почти машинальных, при встрече и прощании. И это не было из-за дурной — или хорошей — стыдливости, это было — так же, как с «ты»: я любила ее слишком, все прочее было меньше.

Ибо когда не любят, поцелуй говорит настолько больше, а когда любят — настолько меньше; сам по себе он недостаточен. Пить, чтобы пить вновь. Поцелуй в любви — это морская вода во время жажды. (Морская вода или кровь — хороши для потерпевших кораблекрушение!) Если это уже было сказано — повторю. Ибо важно не новое сказать, а найти единственно верное слово.

Я предпочитала не утолять жажду вовсе.

И еще одна вещь, о которой никогда не писали, несмотря на ее очевидность: поцелуй в любви — дурной путь, ведущий к забвению. От любимого, но не к любимому. Начав с поцелуя души, продолжают поцелуем уст и кончают поцелуем — поцелуя. Уничтожением. Но я часто обнимала ее братски, покровительственно, чтобы немного оградить от быта, от холода, от ночи.

...Мой маленький ребенок, которому я никогда не позволяла возвращаться одному.

Да я просто не думала об этом — ибо оно было — была эта реальность между такими, какими были мы,— была эта безысходность. Только теперь, пятнадцать лет спустя, я вспоминаю обо всем исполненная благодарности за то, что тогда все это не приходило мне в голову. (Франц.)

Сонечка жила в кресле. Глубоком, дремучем, зеленом. В огромном зеленом кресле, окружавшем, обступавшем, обнимавшем ее, как лес. Сонечка жила в зеленом кусту кресла. Кресло стояло у окна, на Москве-реке, окруженное пустырями-просторами.

В нем она утешалась от Юры, в нем она читала мои записочки, в нем писала мне свои, в нем учила свои монологи, в нем задумчиво грызла корочку, в нем неожиданно, после всех слез и записочек — засыпала, просыпала в нем всех Юр, и Вахтангов, и Вахтанговых...

*C'était son lit, son nid, sa niche*<sup>11</sup>.

К Сонечке идти было немножко под гору, под шум плотины, мимо косога забора с косее его бревен надписью: «Исправляю почерк»... (В 1919 году! Точно другой заботы не было! Да еще — такими буквами!)

Стоит дом. В доме — кресло. В кресле — Сонечка. Поджав ноги, как от высыющей воды прилива. (Еще немножко — зальет.) Ножки прыгивают, ручки — навстречу:

— Марина! Какое счастье!

Заботливо разгружает меня от кошелки и черезплечной сумки. Сонечку не нужно убеждать не сажать меня в кресло: знает твердость моего нрава — и навыков. Сажусь на окно. Подоконник низкий и широкий. За ним — воля. За спиной — воля, перед глазами — любовь.

— Марина! Я нынче была у ранней обедни и опять так плакала. — Деловито, загибая в ладонь пальчики: — Юра меня не любит, Вахтанг Леванович меня не любит, Евгений Багратионович меня не любит... А мог бы! хотя бы как дочь, потому что я — Евгеньевна, — в Студии меня не любят...

— А — я?!

— О! Вы! Марина, Вы меня всегда будете любить, не потому что я такая хорошая, а потому что не успеете меня разлюбить... А Юра — уже успел, потому что я сама не успела... умереть.

(Любить, любить... Что она думала, когда все так говорила: любить, любить?..)

Это напоминает мне один мой собственный, тогда же, вопрос солдату бывшего полка наследника, рассказывавшему, как спасал знамя:

— Что Вы чувствовали, когда спасали знамя?

— А — ничего не чувствовал: есть знамя — есть полк, нет знамени — нет полка.

Есть любовь — есть жизнь, нет любви...

Сонечкино любить было — быть: не быть в другом: сбыться.)

Сжалась в комочек, маленькая, лица не видно из-за волос, рук, слез, прячется сама в себя — от всего — как владимирская нянька Надя про мою дочь Ирину: угнеживается... А вокруг и над и под — лес, свод, прилив кресла.

По тому, как она в него вгребалась, вжималась, видно было, до чего нужно было, чтобы кто-нибудь держал ее в сильных широких любящих старших руках. (Ведь кресло — всегда старик.)

По Сонечке в кресле видна была вся любящность ее натуры. (Натура — слово е е словаря, странно-старинного, точно переводного из Диккенса.) Ибо вжималась в него не как кошка в бархат, а как живой в живое.

Поняла: она у него просто сидела на коленях!

<sup>11</sup> Оно было ее постелью, ее гнездом, ее конурой (франц.).

Чтобы немножко развлечь ее, отвлечь ее от Юры, рассказываю, насказываю ей, как мы вчера ходили с Алей пешком на Воробьевы горы, как я посреди железнодорожного моста, увидев сквозь железные перекладины — воду, от страха — села, как Аля заговаривала моему страху зубы тут же изобретенной историей: как мост тут же раздался и мы с ней тут же упали в воду, но не потонули, потому что нас в последнюю минуту поддержали ангелы, а поддержали — потому что в последнюю минуту узнали, что «эта дама с солдатской сумкой через плечо» — поэт, а эта девочка с офицерскими пуговицами — ее дочь, и как ангелы на руках отнесли нас на ярмарку и потом с нами катались на карусели («Вы, Марина, со своим ангелом на льве, а я со своим на баране...»), и как потом эти ангелы отнесли нас в Борисоглебский переулочок, и остались с нами жить, и топили нам плиту, и воровали нам дрова («...потому что эти ангелы были не ангелы, а... Вы сами, Марина, знаете, как и это были ангелы...»).

И как мы, с Алиной и ангельской помощью, действительно перешли мост и действительно катались на карусели: я — на льве, она — на баране... и как я ей тут же за хороший перевод через мост покупаю на лотке какую-то малиновую желатиновую трясу, и как она ее исто-во, наподобие просфоры, ест, и как потом нас перевозят через реку не ангелы, а двое мужиков в красных рубахах, в одном из которых она узнает своего обожаемого Вожатого из «Капитанской дочки», — и так далее — и так далее... — до Сонечкиного просветления — потом смеяния — потом сияния...

— Марина, я тогда играла в провинции. А летом в провинции — всегда ярмарки. А я до страсти люблю всякое веселье. Бедное. С розовыми петухами и деревянными кузнецами. И сама ходила в платочке. Розовом. Как надела — ну, просто чувство, что в нем родилась. Но у меня во всем это чувство, от всего: и в косынке и огромной белой шляпе моих сестер... я иногда думаю: хоть корону надень! — но нет, провалится: ведь у меня ужасно маленькая голова: смехотворная — нет, нет, не говорите! Это — волосы, а попробуйте меня обрить! Говорю Вам, ничего не останется!.. Марина, Вы бы меня любили бритую? Впрочем, Вы уже меня любите — бритую, потому что перед Вами всякий — бритый, перед Вами даже Юрочка — бритый, нет, полубритый: арестант! Марина, я страшно много говорю? Неприлично много и сразу обо всем, и обо всем все сразу? Вы знаете, нет минуты, когда бы мне не хотелось говорить, даже когда плачу: плачу — навзрыд, а сама говорю. Я и во сне все время говорю: спорю, рассказываю, доказываю, а в общем — как ручей по камням — бессмыслица, Марина! Меня же никто не слушает. Только Вы. Ах, Марина! Первый человек, которого я любила, — он был гораздо старше меня, больше чем вдвое, и у него уже были взрослые дети — за это и любила, — и он был очень снисходительный, никогда не сердился, даже он мне часто шутя, с упреком: «Ах, Соня! Неужели Вы не понимаете, что есть минуты, когда не нужно говорить?» А я — продолжала — не переставала — не переставая говорила — мне все время приходит в голову, все сразу — и такое разное. Я иногда жалею, что у меня только один голос зараз... Ой, Марина, вот я и договорилась до чревоущителя!

...Так — про ту ярмарку. Раз иду в своем платочке и из-под платочка — вижу: громадная женщина, даже баба, бабища в короткой малиновой юбке с блестками под шарманку — танцует. А шарманку вертит — чиновник. Немолодой уже, зеленый, с красным носом, с кокардой. (Нос сам в виде кокарды.) Тут я его страшно пожалела: бедный! должно быть, с должности прогнали за пьянство, так он —

с голоду... А оказалось, Марина, от любви. Он десять лет тому назад где-то в своем городе увидел ее на ярмарке, и она тогда была молоденькая и тоненькая и, должно быть, страшно трогательная. И он сразу в нее влюбился (а она в него — нет, потому что была уже замужем — за чревовещателем), и с утра стал пропадать на ярмарке, а когда ярмарка уехала, он тоже уехал и ездил за ней всюду, и его прогнали с должности, и он стал крутить шарманку, и так десять лет и крутит и не заметил, что она разжирела — и уже не красивая, а страшная... Мне кажется, если бы он крутить — перестал, он бы сразу все понял — и умер... Марина, я сделала ужасную вещь: ведь его та женщина ни разу не поцеловала — потому что если бы она его хоть раз поцеловала, он бы крутить перестал: он ведь этот поцелуй выкручивал! — Марина! я перед всем народом... Подхожу к нему, сердце колотится: «Не сердитесь, пожалуйста, я знаю Вашу историю: как Вы все бросили из-за любви, а так как я сама такая же...» и перед всем народом его поцеловала. В губы. Вы не думайте, Марина, я себя — заставила, мне очень не хотелось, и неловко, и страшно: и его страшно, и ее страшно, и... просто не хотелось! Но я тут же себе сказала: завтра ярмарка уезжает — раз. Сегодня последний срок — два. Его никто в жизни не целовал — три. И уже не поцелует — четыре. А ты всегда говоришь, что для тебя выше любви нет ничего, — пять. Докажи — шесть. И — е с т ь, Марина, поцеловала! Это был мой единственный трудный поцелуй за всю жизнь. Но не поцелуй я его, я бы уж никогда не посмела играть Джульетту.

— Ну а он?

— Он? — С веселым смехом:

Стоит как громом пораженный  
Евгений...

Да я и не смотрела. Пошла, не оглядываясь. Должно быть — до сих пор стоит... Десять лет, десять лет пыльных площадей и пьяных мужиков, а поцеловала — все-таки не та!.. А вот еще, Марина, история — про моряка Пашу...

Где история про моряка Пашу, о котором у меня в записной книжке весны 1919 года только запись: «Рассказ Сонечки Голлидэй про моряка Пашу» — а рядом свободный листок для вписания так и не вписанного. Пропал моряк Паша! Заплыл моряк Паша!

О, кресло историй, исповедей, признаний, терзаний, успокоений...

Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был — сундук, рыжий, кожаный, еще тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом.

— Сонечка, что в нем?

— Мое приданое! (Какое — потом узнаем.) Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж! По самому серьезному [ее произношение]: с предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с флердоранжем, с фатюю... Я ненавижу венчаться... в штатском! Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить: мы уже год как женаты. Это без-дарно. Потому что — и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать, и я хочу, чтобы меня поздравляли — и чтобы подарки были — а главное — чтобы плакали! О, как я буду плакать, Марина! По моему Юрочке, по Евгению Багратионьчу, по театру, по всему, всему тому, потому что тогда уже — кончено: я буду любить только его.

Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был — порядок. Немыслимый, несбыточный в революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдви-

нутого. Ни одной (моей или Юриной) записочки. Или все — под подушкой! Это была комната институтки на каникулах, гувернантки на кондициях, комната — сто, нет — двести лет назад. Или еще проще — матросская каюта: порядок не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так гардемарин стоит навтыжку.

И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом (и еще одной вещью, о которой — потом!). А вернувшись, эту воблу — об стенку — била. Все — Сонечка, самолично, саморучно.

Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом, где все было сдвинуто — раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось все дальше и дальше — пока не уходило за пределы стен: в подарок? в покражу? в продажу?

Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом (все тот же по нынешний день), его безмерная свобода и... сюрпризность: вот уже *boîte à surprises*<sup>12</sup> с возникающими из-под ног чудесами — гигантская *boîte* с бездной вместо дна, неустанно подающей все новые и новые предметы, зачастую — *sans pom*<sup>13</sup>...

Сонечке мой дом д е т с к и нравился, как четырнадцатилетнему ребенку, которым она была.

Чтобы совсем все сказать о моем доме: мой дом был — диккенсовский: из «Лавки древностей», где спали на сваях, а немножко и «Оливера Твиста» — на мешках, Сонечка же сама — вся — была из Диккенса: и Крошка Доррит — в долговой тюрьме, и копперфильдова Дора со счетовой книгой и с собачьей пагодой, и Флоренс с Домби-братом на руках, и та странная девочка из «Общего друга», зазывающая старика еврея на крышу — н е б ы т ь: «Montez! Montez! Soyez mort! Soyez mort!»<sup>14</sup> — и та, из «Двух городов», под раздуваемой грозой кисеею играющая на клавишине и в стуке первых капель ливня слышащая топот толп Революции...

Диккенсовские девочки — все — были. Потому что я встретила Сонечку.

Сонечкина любовь к моему дому был голос крови: атавизм.

(Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем: вот моя Сонечка. У «Белых ночей» — три автора. Мою Сонечку писали — три автора.

Как ей было не с у м е т ь — «Белых ночей»?!)

Приходила я к ней всегда утром — заходила, забегала одна, без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии — точно ночи у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла, в темном золоте паркета.

— Ах, Сонечка, взять бы Вас вместе с креслом и перенести — в другую жизнь. Опустить, так с него и не сняв, посреди осьмнадцатого века — Вашего века, когда от женщины не требовали мужских принципов, а довольствовались — женскими добродетелями, не требовали идей, о радовались — чувствам, и во всяком случае — радовались поцелуям, которыми Вы в девятнадцатом году всех только пугаете. Чтобы с Вашего кресла свешивались не эти вот две квадратных железных необходимости, а — тувельки, и чтобы ступали они не по московскому булыжнику, а — вовсе не ступали, чтобы их подошвы были — как у еще не ходивших детей. Ибо Вы (все искала Вам подходя-

<sup>12</sup> Коробка сюрпризов (франц.).

<sup>13</sup> Безмянных (франц.).

<sup>14</sup> Поднимайтесь! Поднимайтесь! Умрите! Умрите! (Франц.)

щего слова — драгоценность? сокровище? joyau? bijou?) — Kleinod!<sup>15</sup> и никто этого в Москве девятнадцатого года — не видит, кроме меня, которая для Вас — ничего не может.

— Ах, Марина! Мне так стыдно было перед ним своих низких квадратных тупоносых ног!

Перед «ним» — на этот раз не перед Юрой. Сонечка в мою жизнь вошла вместе с моим огромным горем: смертью Алексея Александровича Стаховича, в первые дни его посмертья. Кто для меня был Алексей Александрович Стахович — я уже где-то когда-то рассказывала, здесь дам только свои неизданные стихи к нему:

Хоть сто мозолей — трех веков не скроешь!  
Рук не исправишь — топором рубя!  
О, сокровеннейшее из сокровищ:  
Порода! — узнаю тебя.

Как ни коптись над черной сковородкой —  
Все вокруг тебя твоих Версалея — тишь.  
Нет, самую косой косовороткой  
Ты шею не укоротишь!

Над снежной грудой иль над грубной сажей  
Дугой согбен — все ж гордая спина!  
Не окриком — все той же барской блажью  
Тебе работа задана.

. . . . .

Но если вдруг, утомлено получкой,  
Тебе дитя цветков протянет — в дань,  
Ты так же поцелуешь эту ручку,  
Как некогда — царицы длань.

(Один из слушателей, тогда же: «Что это значит: утомлено получкой?» «Когда человек, продавец, устает получать». (Непонимающие глаза.) «Устает получать деньги, ну — продавать устает». — «Разве это бывает?» Я, резво: «Еще как. Вот с Львом Толстым случилось: устал получать доходы с Ясной Поляны и за сочинения графа Л. Н. Толстого — и вышел в поле». «Но это — исключительный случай, гений, у Вас же речь (мой собеседник — поляк) — о „дитя“». — «Мое дитя — женщина, а получать ведь вопрос терпенья, а женщины еще менее терпеливы, чем гении. Вот мое «дитя» сразу и подарило розу Стаховичу...»).

Прибавлю еще, что Сонечка со Стаховичем были в одной Студии — Второй, где шли и Сонечкины «Белые ночи» с единственным действующим лицом — Сонечкой, и «Зеленое кольцо» с единственным действующим лицом — Стаховичем (кольцо — молодежь).

Вот об этих-то leçons «bon ton, maintien, tenue»<sup>16</sup> Сонечка мне и рассказывала, говоря о своих тупоносых башмаках.

— Это был такой стыд, Марина! Каждый раз сгорала! Он, например, объясняет, как женщине нужно кланяться, подавать руку, отпускать человека или, наоборот, принимать. «Поняли? Ну, пусть кто-нибудь покажет. Никто не может? Ну, Вы — Голлидэй, Соня». И выхожу, Марина, сгорая со стыда за свои грубые низкие ужасные башмаки с бычьими мордами. В таких башмаках проходить через весь зал — перед ним, танцовавшим на всех придворных балах мира, привыкшим к таким уж туфелькам... ножкам...

<sup>15</sup> Сокровище (нем.).

<sup>16</sup> Уроках хороших манер, умения держаться, поведения (франц.).

О ножки, ножки, где вы ныне,  
Где мнете вешние цветы?

Но выхожу, Марина, потому что другому — некому, потому что другие — еще хуже, не хуже одеты, а... ну, еще меньше умеют... дать руку, отпустить гостя. О, как бы я все это умела, Марина, если бы не башмаки! Как я все это глубоко, глубоко, отродясь все умею, знаю! Как все — сразу — узнаю! И он всегда меня хвалил — может быть, чтобы утешить меня в этих ужасных башмаках? — «Так, так, именно — так...» и никогда на них не смотрел, точно и не видел, как они меня — жгут. И я не глядела, я ведь только до боялась, до того, как он скажет: «Ну, Вы — Голлидэй, Соня!» А когда уже сказал — кончено, я свободно шла, я о них и не думала — о, Марина! я до них не снисходила. Но он их — отлично замечал, потому что, когда однажды одна наша ученица пожаловалась, что не умеет, «потому что башмаки тяжелые»: «Какова бы ни была обувь — остается поступь. Посмотрите на Софью Евгеньевну: кто скажет, что у нее на каждой ножке — по пуду железа, как у узника Бонивара?»

— Сонечка, а знаете ли Вы сказку о маленькой Русалочке?

— Которая танцевала на ножках? Но ведь это в тысячу раз легче, чем на утюгах! Потому что это именно утюги... битюги... Это моя самая любимая сказка, Марина! Всякий раз, как я ее читаю, я чувствую себя — ею. Как ей хотелось всплыть — и как всплыла и увидела верхний мир и того мраморного мальчика, который оказался мертвым... и принцем, и как потом его оживила — и онемела — и как потом немая танцевала перед ним на ножках... О, Марина, ведь это высшее блаженство — так любить, так любить... Я бы душу отдала — чтобы душу отдать! Ах, Марина! Как я люблю — любить! Как я безумно люблю — сама любить! С утра, нет до утра, в то самое до утра — еще спать и уже знать, что опять... Вы когда-нибудь забываете, когда любите — что любите? Я — никогда. Это как зубная боль — только наоборот, наоборотная зубная боль, только там ноет, а здесь — и слова нет. (Подумав: поет?) Ну, как сахар обратное соли, но той же силы. Ах, Марина! Марина! Марина! Какие они дикие дураки.

Я, все же изумленная:

— Кто?

— Да те, кто не любят, сами не любят, точно в том дело, чтобы тебя любили. Я не говорю... конечно... — устаешь — как в стену. Но Вы знаете, Марина, — таинственно, — нет такой стены, которую бы я не пролюбила! Ведь и Юрочка... минуточками... у него почти любящие глаза! Но у него — у меня такое чувство — нет сил сказать это, ему легче гору поднять, чем сказать это слово. Потому что ему нечем его поддержать, а у меня за горою — еще гора, и еще гора, и еще гора... — целые Гималаи любви, Марина! Вы замечаете, Марина, как все они, даже самые целующие, даже самые как будто любящие, боятся сказать это слово, как они его никогда не говорят! Мне один объяснял, что это... грубо... — фыркает, — отстало, что: зачем слова, когда — дела? (То есть поцелуй и так далее.) А я ему: «Э-э! нет! Дело еще ничего не доказывает, а слово — все». Мне ведь только этого от человека нужно: люблю, и больше ничего, пусть потом что угодно делают, как угодно не любят, я делаю не поверю, потому что слово — было. Я только этим словом кормилась, Марина, потому так и отошала. О, какие они скупые, расчетливые, опасливые, Марина! Мне всегда хочется сказать: «Ты только — скажи, я проверять — не буду». Но не говорят, потому что думают, что это — жениться, связаться, не развязаться. Если я первым скажу, то ни-



когда уже первым не смогу уйти. (Они и вторым не говорят, Марина, никоторым.) Точно со мной можно и е-первому уйти!

Марина! Я — в жизни! — не уходила первая. И в жизни — сколько мне ее еще Бог отпустит — первая не уйду. Я просто не могу. Я всегда жду, чтобы другой ушел, потому что мне первой уйти — легче перейти через собственный труп. (Какое страшное слово! Со всем мертвое. Ах, поняла: это тот мертвый, которого никто никогда не любил. Но для меня и такого мертвого нет, Марина!) Я и внутри себя никогда не уходила первая. Никогда первая не переставала любить. Всегда — до последней возможности, до самой последней капельки — как когда в детстве пьешь. И уж жарко от пустого стакана — а все еще тянешь, и только собственный пар!

Ах, знаете, Вы будете смеяться — это была совсем короткая встреча — в одном турне — не важно кто — совсем молодой — и я безумно в него влюбилась, потому что он все вечера садился в первый ряд — и б е д н о одетый, Марина! не по деньгам садился, а по глазам, и на третий вечер так на меня смотрел, что — либо глаза выскочат, либо сам вскочит на сцену. (Говорю, двигаюсь, а сама все кошусь: ну, как? нет, еще сидит.) Только это нужно понять! Потому что это не был обычный влюбленный мужской е д я щ и й взгляд (он был почти мальчик) — это был пьющий взгляд, Марина, он глядел как завороженный, точно я его каждым словом и движением — как на нитке — как на канате — притягиваю, наматываю — это чувство должны знать русалки — и еще скрипачи, верней смычки — и реки... И пожары, Марина!.. Что вот-вот вскочит в меня — как в костер. Я просто не знаю, как доиграла. Потому что у м е н я, Марина, все время было чувство, что в него, в эти глаза — оступлюсь. И когда я с н и м наконец за кулисами (знаю, что это ужасная пошлость, но в с е пошлость, как только оно г д е, и с к а л ы, на которых сидели д е в ы д'Аннунцио, — ничуть не лучше!)... за этими несчастными кулисами поцеловалась, я ничего не чувствовала, кроме одного: спасена! ...Это длилось страшно коротко. Говорить нам было не о чем. Сначала я все говорила, говорила, говорила, а потом — замолчала. Потому что нельзя, я — не могу, чтобы в ответ на мои слова — только глаза, только поцелуй! И вот лежу утром, до-утром, еще сплю, уже не сплю, и вдруг замечаю, что все время что-то повторяю, да, — губами, словами... Вслушалась — и знаете, что это было? — е щ е п о н р а в ь с я! Еще чуточку, минуточку, секундочку понравься!

— Ну и?..

— Нет. Он н е с м о г.

— Чего?

— Еще — понравиться. Не смог бы — даже если бы услышал. Потому что Вы не думайте: я не его, спящего, просила — мы жили в разных местах, и вообще... — я в воздух просила, может быть — Бога просила, я просто заклинала, Марина, я сама себя заклинала, чтобы еще немножко вытянуть.

— Ну и?

С сияющими глазами:

— Вытянула. Он — не смог, я — смогла. Никогда не узнал. Все честь честью. И строгий отец-генерал в Москве, который даже не знает, что я играю: я будто бы у подруги (а то вдруг вслед поедет, ламповщиком сделается?) — и никогда не забуду (это не наврала), и когда уже поезд трогался — потому что я на людях никогда не целуюсь — поцеловала е г о розы в окне... Потому что, Марина, любовь — любовью, а справедливость — справедливостью. Он не виноват, что он мне больше не нравится. Это не вина, а беда. Н е е г о вина, а м о я беда: бездарность. Все равно что разбить сервиз и злиться,

что он не железный. А пьеса — когда мы так друг в друга влюбись — была Юрия Слезкина. Смешное имя? Как раз для меня. Мне даже наш антрепренер сказал: «Маленькая Сонечка, Вы все плачете, вот бы Вам замуж за Юрия Слезкина». — Деловито: — А он, Вы не знаете, Марина, — старик?

(Знаю, что разбиваю единство повествования, но честь — выше художества.

Это «еще понравься!» — мой второй плагиат.

Как та чахоточная, что в ночь  
Стонала: еще понравься!

И дальше:

Как та, чахоточная, что всех  
Просила: еще немножко  
Понравься!..

И — конец:

Как та — с матросом — с тобой, о жизнь,  
Торгуюсь: еще минутку  
Понравься!..

Так, в постепенности, даже и сохранена, пронесена сквозь стихи и допроизнесена вся Сонечкина просьба. Ибо будь Сонечка старше, она бы именно так — кончила.)

— Ну, Сонечка, дальше про Стаховича. Кроме поклонов, о чем еще были эти уроки?

— Обо всем. Например — как надо причесываться. «Женская прическа должна давать — сохранять — охранять форму головы. Никаких надстроек, волосы должны только — и точно — обрамлять лицо, чтобы лицо оставалось — главным. Прямой пробор и гладкие зачесы назад, наполовину прикрывающие ухо, — как у Вас — Голлидэй, Соня». «Алексей Александрович! А ведь у меня... не очень гладко!» — я, смеясь. «Да, но это — природные завитки, потому что у Вас природная волна, и рама остается, только — немножко — рококо... Я говорю об общей линии: она у Вас проста и прекрасна, просто — прекрасна». (О, Марина, как я в эти минуты гордилась! Потому что я чувствовала: он меня не только из тех, что перед ним, а из всех, что за ним, — выделяет!..) Еще о том, как себя вести, когда, например, на улице падает чулок или что-нибудь развяжется: «С кем бы Вы ни шли — спокойно отойти и не торопясь, без всякой суеты, поправить, исправить непорядок... Ничего не рвать, ничего не торопить, даже не особенно прятаться: спо-койно, спокойно... Покажите Вы, Голлидэй! Мы идем с Вами вместе по Арбату, и Вы чувствуете, что у Вас спускается чулок, что еще три шага — и совсем упадет... Что Вы делаете?» И — показываю. Отхожу от него немножко вбок, нагибаюсь, нащупываю резинку и спо-койно, спо-койно... «Браво, браво, Голлидэй, Соня! Если Вы действительно с лю-бы-м спутником, а не только со мной (и у него тут такая чудесно-жалкая, насмешливая улыбка, Марина!)... старым учителем... сохраните такое хладно-кровие...» Однажды я не удержалась, спросила: «Алексей Александрович, откуда Вы все это знаете: про падающие чулки, тесемки, наши чувства, головы?.. Откуда Вы нас так знаете — с головы до ног?» И он, серьезно (ровно настолько серьезно, чтобы все поверили, а я — нет): «Что я все знаю — неудивительно: я старый человек, а вот откуда у Вас, маленькой девочки, такие вопросы?» Но всегда, всегда я показывала, всегда на мне показывали, на других, как не надо, на мне — как надо, меня мальчишки так и звали: стаховичев показ.

— А девочки — завидовали?

Она, торжествующе:

— Лопались!! Это ведь была такая честь! Его все у нас страшно любили, и если бы Вы знали, какие у нас матрешки. И вдобавок настоящие, напыженные! И — в каких локонах! — Фыркает. — У них настоящие туфли, дамские.

— Но почему Вы, Сонечка, неужели Вы так мало зарабатываете?

Она, кротко:

— У других мужья, Марина. У кого по одному, а у кого и по два. А у меня — только Юры. И мама. И две сестры. Они ведь у меня...

— Красавицы. Знаю и видала. А Вы — Золушка, которая должна золу золить, пока другие танцуют. Но актриса-то — Вы.

— А зато они — старшие. Нет, Марина, после папиной смерти я сразу поняла — и решила. А и х, — показывает ножку, — я все-таки ненавижу. Сколько они мне вначале слез стоили! Никак не могла привыкнуть.

— Марина! Это было ужасно. Он впервые пришел в Художественный театр после тифа — и его никто не узнал. Просто — проходили и не узнавали, так он изменился, постарел. Потом он сказал одному нашему студийцу: «Я никому не нужный старик...» А как он пел, Марина! Какой у него был чудесный голос!

(Сидим наверху в нашей пустынной деревянной кухне, дети спят, луна...)

Да, то был вальс — старинный, томный...  
Да, то был дивный

(обрывая, как ставят точку)

вальс!  
Когда бы молод был,  
Как бы я Вас любил!

«Алексей Александрович! Это — уж Вы сами! Этого в песне нет!» — мы ему, смеясь. «В моей — есть».

Почему Вы, Алексей Александрович, женщинам — и жемчужинам — и душам — знавший цену, в мою Сонечку не влюбились, не полюбили ее пуще души? Ведь и вокруг нее дышалось «воздухом осьмнадцатого века». Чего Вам не хватило, чтобы пережить то страшное марта? Без чего Вы не вынесли — еще одного часа?

А она была рядом — живая, прелестная, готовая любить и умереть за Вас — и умирающая без любви.

Вы, может быть, думали: у нее свои, молодые... Видала я их! Да и Вы — видали.

Как Вы могли ее оставить — всем, каждому, любому из тех мальчишек, которых Вы так бесплодно обучали «bon ton, maintien, tenue»...

Был, впрочем, один среди них.. Но о нем речь — впереди.

В театре ее не любили: ее — обносили. Я часто жаловалась на это моему другу Вахтангу Левановичу Мchedелову (ее режиссеру, который Сонечку для Москвы и открыл).

— Марина Ивановна, Вы не думайте: она очень трудна. Она не то что капризна, а как-то неучтима. Никогда не знаешь, как она встретит замечание. И иногда — неуместно смешлива (сам был — глубоким меланхоликом) — ей говоришь, а она смотрит в глаза — и смеется. Да так смеется, что сам улыбнешься. И уроку — конец. И престижу — конец. Как с этим быть? И — не честолюбива, о, совсем нет,

но — властолюбива, самовластна: она знает, что нужно — так, и — никаких.

— А может быть, она действительно знает, и действительно нужно — так?

— Но тогда ей нужен свой театр, у нас же — студия, совместная работа, ряд попыток... Мы вместе добиваемся.

— А если она уже отродясь добилась?

— Гм... В «Белых ночах» — да. Она вообще актриса на самое себя: на свой рост, на свой голос, на свой смех, на свои слезы, на свои косы... Она и с к л ю ч и т е л ь н о одарена, но я все еще не знаю, одаренность ли это актерская — или человеческая — или женская... Она — вся — слишком исключительна, слишком — исключение, ее нельзя употреблять в ансамбле: только ее и видно!

— Давайте ей главные роли!

— Это всегда делать невозможно. Да она и не для всякой главной роли годится — по чисто внешним причинам — такая маленькая. Для нее нужно бы специально ставить: ставить ее среди сцены — и все тут. Как в «Белых ночах». Все знает, все хочет и все может — сама. Что тут делать режиссеру? (Я, мысленно: «Склониться».) И, кроме того, мы же студия, есть элементарная справедливость, нужно дать показать себя — другим. Это актриса западного театра, а не русского. Для нее бы нужно писать отдельные пьесы...

— Вахтанг Леванович, у Вас в руках — чудо.

— Но что мне делать, когда не это — нужно?

— Не нужно самому — отдайте в хорошие руки!

— Но где они?

— А я Вам скажу: из Вашего же обвинительного акта скажу: эти руки — в осьмнадцатом веке, руки молодого англичанина-меланхолика и мецената — руки, на которых бы он ее носил — в те часы, когда бы не стоял перед ней на коленях. Чего ей не хватает? Только двух веков назад и двух любящих, могущих рук — и только собственного розового театра — раковины. Разве Вы не видите, что это — дитя-актриса, актриса в золотой карете, актриса-птица? Malibran, Аделина Патти, oiseau-mouche<sup>17</sup>, а совсем не студийка Вашей Второй или Третьей Студии? Что ее обожать нужно, а не обижать?

— Да ее никто и не обижает — сама обидит! Вы не знаете, какая она зубастая, ежистая, неудобная, непортивная какая-то... Может быть, прекрасная душа, но — ужасный характер. Марина Ивановна, не сердитесь, но Вы все-таки ее — не знаете. Вы ее знаете поэтически, человечески, у себя, с собой, а есть профессиональная жизнь, товарищеская. Я не скажу, чтобы она была плохим товарищем, она просто — никакой товарищ, сама по себе. Знаете станиславское «вхождение в круг»? Так наша с Вами Сонечка — сплошное вхождение из круга. Или, что то же, — сплошной центр... И — удивительно злой язык! А чуть над ней пошутить — плачет. Плачет и тут же — что-нибудь такое уж ядовитое... Иногда не знаешь: ребенок? женщина? черт? Потому что она может быть настоящим чертом!

(На секундочку меня озарило: так о нелюбимых не говорят! так говорят о любимых: о тщетно, о прежде любимых! Но никто о ней не говорил — иначе, и во всех она осталась — загвоздкой: не люби-ли — с загвоздкой.)

— Марина! У меня сегодня ужасное горе!

— Опять наш с Вами ангел?

— Нет, на этот раз не он, а как раз наоборот! У нас решили

<sup>17</sup> Колибри (франц.).

ставить «Четыре черта» и мне не дали ни одного, даже четвертого! даже самого маленького! самого пятого!

(Тут-то она и сказала свое незабвенное: «И у меня были такие большие слезы — крупнее глаз!»)

Да, ее считали злой. Не высказывали мне этого прямо, потому что меня считали — еще злей, но в ответ на мое умиление ее добротой — молчали — или мычали. Я никогда не видала более простой, явной, вопиющей доброты всего существа. Она все отдавала, все понимала, всех жалела. А — «злоба»? — как у нас с Ходасевичем, иногда только вопрос, верней — ответ, еще верней — рипост языковой одаренности, языковая с д а ч а. Либо рипост — кошачьей лапы.

Petite fille modèle — et Bon petite Diable. Toute ma petite Сонечка — immense — tenue dans la C-tesse de Ségur. On n'est pas com-patriotes pour rien!<sup>18</sup>

(Графиня де Сегюр — большая писательница, имевшая глупость вообразить себя бабушкой и писать только для детей. Прошу обратить внимание на ее сказки «Nouveaux Contes de Fées» (Bibliothèque Rose)<sup>19</sup> — лучшее и наименее известное из всего ею написанного, — сказки совершенно исключительные, потому что совершенно единичные (без ни единого заимствования — хотя бы из народных сказок). Сказки, которым я верна уже четвертый десяток, сказки, которые я уже здесь, в Париже, четырежды дарила и трижды сохранила, ибо увидеть их в витрине для меня — неизбежно — купить.)

Два завершительных слова о Вахтанге Левановиче Мчеделове — чтобы не было несправедливости. Он глубоко любил стихи и был мне настоящим другом и настоящей человечности человеком, и я бесконечно предпочитала его блистательному Вахтангову (Сонечкиному «Евгению Багратионычу»), от которого на меня веяло и даже дуло — холодом головы: того, что обыватель называет «фантазией». Холодом и бесплодием самого слова «фантазия». (Театрально я, может быть, ошибаюсь, человечески — нет.) И если Вахтанг Леванович чего-нибудь для моей Сонечки не смог, потому что это что было в с ё, то есть полное его самоуничтожение, всеуничтожение, небытие, любовь. То есть, общественно, вопиющая несправедливость. Вахтанг Леванович бесспорно был лучше меня, но я Сонечку любила больше. Вахтанг Леванович больше любил Театр, я больше любила Сонечку. А почему не дал ей «хотя бы самого маленького, самого пятого» — да, может быть, и черти то были не настоящие, а аллегорические, то есть не черти вовсе? (Сомнительно, чтобы на сцене четыре действия сряду — четыре хвостатых.) Я этой пьесы не знаю, мнится мне — из циркового романа Германа Банга «Четыре черта». Мне только было обидно за с л о в о. И — слезы.

Нет, мою Сонечку не любили. Женщины — за красоту, мужчины — за ум, актеры (mâles et femelles)<sup>20</sup> — за дар, и те, и другие, и третьи — за особость: опасность особости.

Toute les femmes la trouvent laide,  
Mais tous les hommes en sont fous...<sup>21</sup>

Первое — да (то есть в стихах, как раз наоборот), второе — нет.

<sup>18</sup> Примерная девочка и милый чертенок. Вся моя маленькая Сонечка — безмерно — похожая на графиню де Сегюр. Недаром они соотечественницы. (Франц.)

<sup>19</sup> «Волшебные сказки» (Розовая библиотека) (франц.).

<sup>20</sup> Самцы и самки (франц.).

<sup>21</sup> Все женщины находили ее безобразной,  
Но все мужчины были от нее без ума... (Франц.)

Ее в самый расцвет ее красоты, и дара, и жара — ни один не любил, отзывались о ней с усмешкой... и опаской.

Для мужчин она была опасный... ребенок. Существо, а не женщина. Они не знали, как с ней... Не умели... (Ум у Сонечки никогда не ложился спать. «Спи, глазок, спи, другой...», а третий — не спал.) Они всё боялись, что она (когда слезами плачет!) над ними — смеется. Когда я вспоминаю, кого моей Сонечке предпочитали, какую фальшь, какую подделку, какую лжеженственность — от лже-Беатрич до лже-Кармен (не забудем, что мы в самом сердце фальши: театре).

К слову сказать, она гораздо больше была испаночка, чем англичаночка, и если я сказала, что в ней ничего не было национального, то чтобы оберечь ее от первого в ее случае — напрашивающегося — малороссийского-национального, самого типичного-национального. Испанское же женское лицо — самое ненациональное из национальных, представляющее наибольший простор для человеческого лица в его общности и единственности: от портрета — до аллегии, испанское женское лицо есть человеческое женское лицо во всех его возможностях страдания и страсти, есть — Сонечкино лицо.

Только — географическая испаночка, не оперная. Уличная испаночка, работница на сигарной фабрике. Заверги ее волчком посреди севильской площади — и станет — своя. Недаром я тогда же, ни о чем этом не думая, о чем сейчас пишу, сгоряча и сразу назвала ее в одних из первых стихов к ней — маленькая сигарера! И даже — ближе: Консуэла — или Кончита — Конча. Concha — ведь это почти что Сонечка!

— О, да, Марина! Ой, нет, Марина! Конча — ведь это: сейчас кончится, только еще короче!

И недаром первое, что я о ней услышала — Инфанта. (От инфанты до сигареры — испанское женское лицо есть самое а-классовое лицо.)

Теперь, когда к нам Испания ближе, Испания придвинулась, а лже-Испания отодвинулась, когда каждый день видим мертвые и живые женские и детские лица, мы и на Сонечкино можем напасть: только искать надо — среди четырнадцатилетних. С поправкой — неповторимости.

Еще одно скажу: такие личики иногда расцветают в мещанстве. В русском мещанстве. Расцветало в русском мещанстве — в тургеневские времена. (Весь последний Тургенев — под их ударом.) Кисейная занавеска и за ней — огромные черные глаза («В кого уродилась? Вся родня — белая»). Такие личики бывали у младших сестер — седьмой после шести, последней. «У почтмейстера шесть дочерей, седьмая — красавица...»

На слободках... На задворках... На окраинах... Там, где концы с концами — расходятся.

Этому личику шли бы — сережки.

И еще — орешки. Сонечка до страсти любила орехи и больше всего, из всего продовольственно-выбывшего, скучала по ним. И в ее смехе, и в зубах, и в самой речи было что-то от разгрызаемых и раскатывающихся орехов, точно целые белкины закрома покатались.

— Такие зеленые и если зубами — кислые, это самое кислое, что есть: кислей лимона! кислей зеленого яблока! И вдруг — сам орех: крэмовый, снизу чуть загорелый, и скок! пополам, точно ножом разрезали — ядро! такое круглое, такое крепкое, это самое крепкое, что есть! две половинки: одна — Вам, другая — мне. Но я не только лесные люблю (а их брать, Марина! когда наверху — целая гроздь, и еще, и еще, и

никак не можешь дотянуться, гнешь, гнешь ветку и — вдруг! — вырвалась, и опять вверху качается — в синеве — такой синей, что глаза горят! такие зеленые, что глаза болят! Ведь они — как звезды, Марина! Шелуха — как лучи!)... я и городские люблю, и грецкие, и американские, и кедровые — такие чудные негрские малютки!.. целый мешок! и читать «Войну и мир», я мир — люблю, Марина, а войну — нет, всегда — нечаянно — целые страницы пропускаю... Потому что это мужское, Марина, не наше...

...От раскатываемых орехов, и от ручья по камням — и струек по камням и камней под струйками — и от лепета листвы («Ветер листья на березе перелистывает...»), и от тихо сжимаемых в горсть жемчугов — и от зеленоватых ландышевых — и даже от слез градом! — всем, что в природе есть круглого и движущегося, всем, что в природе смеется, чем природа смеется, — смеялась Сонечка, но, так как всем сразу: и листвою, и водою, и горошинами, и орешинами, и еще — белыми зубами и черными глазами, то получалось несравненно богаче, чем в природе...

... — словом:

Все бы я слушал этот лепет,  
Все б эти ножки целовал...

Мужчины ее не любили. Женщины — тоже. Дети любили. Старики. Слуги. Животные. Совсем юные девушки.

Все, все ей было дано, чтобы быть без ума, без души, на коленях — любимой: и дар, и жар, и красота, и ум, и неизъяснимая прелесть, и безымянная слава — лучше имени («Та, что — «Белые ночи»...»), и все это в ее руках было — прах, потому что она хотела — сама любить. Сама любила.

На Сонечку нужен был поэт. Большой поэт, то есть такой же большой человек, как поэт. Такого она не встретила. Их в Москве девятнадцатого года — не было.

— О, Марина! Как я их любила! Как я о них тогда плакала! Как за них молилась! Вы знаете, Марина, когда я люблю — я ничего не боюсь, земля под собой не чувствую! Мне все — куда ты! убьют! там — самая пальба! И я каждый день к ним приходила, приносила им обед в корзиночке, потому что ведь есть — надо? И сквозь всех красногвардейцев проходила. «Ты куда идешь, красавица?» — «Большой маме обед несу, она у меня за Москва-рекой осталась». — «Знаем мы эту больную маму! С усами и с бородой!» — «Ой нет, я усатых-бородатых не люблю: усатый — кот, а бородатый — козел! Я, правда, к маме!» (И уже плачу.) «Ну, ежели правда — к маме, проходи, проходи, да только в оба гляди, а то неровен час — убьют, наша, что ли, али юнкерская пуля — и останется старая мама без обеду...»

Сонечка обожала моих детей: шестилетнюю Алю и двухлетнюю Ирину. Первое, как войдет — сразу вынет Ирину из ее решетчатой кровати.

— Ну как, моя девочка? Узнала свою Галлиду? Как это ты про меня поешь? Галли-да, Галли-да! Да?

Ирину на колени, Алю под крыло — правую, свободную от Ирины руку. («Я всегда ношу детей на левой, Вы тоже? Чтобы правой защищать. И — обнимать».) Так и вижу их втроем: застывшую в недвижимом блаженстве группу трех голов: Ирину крутолобую, чуть было не сказала — круторогую, с крутыми крупными бараньими ярко-золотыми завитками над выступами лба, Алину бледно-золотую, куполком, рыцаренка, и между ними — Сонечкину гладко-вью-

щуюся, каштановую, то застывшую в блаженстве совершенного объятья, то ныряющую — от одной к другой. И — смешно — взрослая Сонечкина казалась только ненамного больше этих детских:

Мать, что тебя породила,  
Раннею розой была:  
Она лепесток обронила,  
Когда тебя родила...

(Только когда я вспоминаю Сонечку, я понимаю все эти сравнения женщины с цветами, глаз с звездами, губ с лепестками и так далее — в глубь времен.

Не понимаю, а заново создаю.)

...Так они у меня и остались — группой. Точно это тогда уже был — снимок.

Когда же Ирина спала и Сонечка сидела с уже-Алей на коленях, это было совершенное видение Флоренс с Домби-братом: Диккенс бы обмер, увидев обеих!

Сонечка с моими детьми была самое совершенное видение материнства, девического материнства, материнского девичества: девушки, нет — девочки-Богородицы:

Над первенцом — Богородицы:  
Да это ж — не переводится!

— Ну, теперь довольно про Галлиду, а то я зазнаюсь! Теперь «Ай ду-ду» давай. (Вполголоса нам с Алей: почти что то же самое!) Как это ты поешь, ну?

Ай ду-ду,  
Ай ду-ду,  
Сидит воен на дубу.  
Он таёт во тубу.  
Во ту-бу.  
Во ту-бу.

Так, так, моя хорошая! Только еще продолжение есть: «Труба точеная, позолоченная...» — но это тебе еще трудно, это когда ты постарше будешь.

И так далее — часами, никогда не уставая, не скучая, не иссякая.

— Марина, у меня никогда не будет детей.

— Почему?

— Не знаю, мне доктор сказал и даже объяснил, но это так сложно — все эти внутренности...

Серьезная, как большая, с ресницами, уже мерцающими, как зубцы звезды.

И Большого горя для нее не было, чем прийти к моим детям с пустыми руками.

— Ничего нет, ничего нет сегодня, моя девочка! — она, на вопиюще-вопрошающие глаза Ирины. — Я, понимаешь, до последней минуты ждала, все надеялась, что выдадут... Но зато обещаю тебе, понимаешь, непременно обещаю, что в следующий раз принесу тебе еще и сахару...

— Сахай давай! — Ирина — радостно-повелительно.

— Ирина, как тебе не стыдно! — Аля, негодуя, готовая от смущения просто зажать Ирине рукою рот.

И Сонечкино подробное разъяснение — ничего, кроме «сахар», не понимающей Ирине — что сахар — завтра — когда Ирина ляжет



совсем-спать, и потом проснется, и мама ей вымоет лицо и ручки, и даст ей картошечки, и...

— Кайтошка давай!

— Ах, моя девочка, у меня сегодня и картошечки нет, я про завтра говорю...— Сонечка, с искренним смущением.

— Сонечка! — Аля, взволнованно.— С Ириной никогда нельзя говорить про съедобное, потому что она это отлично понимает, только это и понимает и теперь уже все время будет просить!

— О, Марина! Ведь сколько я убивалась, что у меня не будет детей, а сейчас — кажется — счастлива: ведь это такой ужас, я бы просто с ума сошла, если бы мой ребенок просил, а мне бы нечего было дать... Впрочем, остаются все чужие...

Чужих для нее не было. Ни детей, ни людей.

Две записи из Алиной тетради весны 1919 года (шесть лет).

«Пришел вечер, я стала уже мыться. Вдруг послышался стук. Я еще с мокроватым лицом, накинув на себя Маринину шелковую шаль, быстро спустилась и спросила:

— Кто там? (Марина звала ту полудевочку — актрису Софью Евгеньевну Голлидэй.)

Там, за дверью, послышались слова:

— Это я, Аля, это Соня!

Я быстро открыла дверь, сказав:

— Софья Евгеньевна!

— Душенька! Дитя мое дорогое! Девочка моя! — воскликнула Голлидэй, я же быстро взошла через лестницу к Марине и восторженно сказала:

— Голлидэй!

Но Марины не было, потому что она ушла с Юрой Н. на чердак.

Я стала мыть ноги. Вдруг слышу стук в кухонную дверь. Отворяю. Входит Софья Евгеньевна. Она садится на стул, берет меня на колени и говорит:

— Моего милого ребенка оставили! Я думаю — нужно всех гостей сюда позвать.

— Но как же я буду мыть ноги?

— Ах да, это худо.

Я сидела, поживив лицо на мягкое плечо Голлидэй. Голлидэй еле еле касалась моей шали. Она ушла, обещав прийти проститься, я же вижу, что ее нет, и в одной рубашке, накинув на себя шаль, вхожу к Голлидэй и сажусь к ней на колени. Там были Юра С., еще один студиец и Голлидэй, а Марина еще раньше ушла с Юрой Н. на чердак. Я пришла совсем без башмаков и сандалий, только в одних черных чулках. Трогательно! Юра С. подарил мне белый пирожок. Голлидэй была весела и гладила мои запутанные волосы. Пришла знакомая Голлидэй, посылались чьи-то шаги по крыше. Оказалось, что Марина с Юрой Н. через чердачное окно вместе ушли на крышу. Юра С. влез на крышу со свечой, воскликнув:

— Дайте мне освещение для спасения хозяйки!

Я сидела на подоконнике комнаты, слегка пододвигаясь к крыше. Голлидэй звала свою знакомую и говорила:

— Ой, дитя идет на крышу! Возьмите безумного ребенка!

Подошла барышня, чтобы взять меня, но я билась. Наконец сама Голлидэй сняла меня и стала нести в кровать. Я не билась и говорила:

— Галлида гадкая! Галлиду я не люблю!

Она полусмеялась и дала меня С — ву, говоря, что я слишком тяжела для ее рук. Только что они усадили меня, как я вдруг уви-

дала Марину, которая сходила с чердака. (Голлидэй когда несла меня, то все говорила: «Аля, успокойся! Ты первая увидишь Марину!») Марина держала в руках толстую свечу в медном подсвечнике. Голлидэй сказала Марине:

— Марина, Алечка сказала, что она меня не любит!  
Марина очень удивилась — как я думаю.

У нас была актриса Сонечка Голлидэй. Мы сидели в кухне. Было темно. Она сказала мне:

— Знаешь, Алечка, мне Юра прислал записочку: «Милая девочка Сонечка! Я очень рад, что Вы меня не любите. Я очень гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня». А я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше любили. А не презирали.

Но я ей ничего не сказала. У Сонечки Голлидэй маленькое розовое лицо и темные глаза. Она маленького роста, и у нее тонкие руки. Я все время думала о нем и думала: „Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он правда гадкий человек, он бы этого не писал“.

...Не гадкий. Только — слабый. Бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно — и обидно — питаемой его красотой. Что я помню из его высказываний? На каждый мой резкий, в упор, вопрос о предпочтении, том или ином выборе — «Не знаю... Все это так сложно...» (Вариант: «Так далеко не просто...») По существу же — «мне так безразлично...») Зажигался только от театра, помню, однажды больше часу рассказывал мне о том, как бы он сделал (руками сделал?) маленький театр и разделил бы его на бесчисленное количество клеток, и в каждой — человечки, действующие лица своей пьесы, и междуклеточной — общей...

— А что это были бы за пьесы... В чем, собственно, было бы дело?..

Он, таинственно:

— Не знаю... Этого я еще пока не знаю... Но я все это прекрасно вижу... — Блаженно: — Такие маленькие, почти совсем не видеть... Иногда — неопределенные мечты об Италии:

— Вот, уедем с Павликом в Италию... будем ходить по флорентийским холмам, есть соленый, жгутами, хлеб, пить кьянти, рвать с дерева мандарины...

Я, эхом:

— И вспоминать — Марину..

Он, эхом эха:

— И вспоминать — Марину..

Но и Италия была из Гольдони, а не из глубины тоски.

Однажды Павлик — мне:

— Марина! Юра решил ставить Шекспира.

Я, позабавленно:

— Ну-у?

— Да. Макбета. И что он сделает — половины не оставит!

— Он бы лучше половину — прибавил. Взял бы — и постарался. Может быть, Шекспир что-нибудь забыл? А Юра — вспомнил, восполнил.

Однажды, после каких-то таких его славлюбивых бредней — он ведь рос в вулканическом соседстве бредового, театрального до кости Вахтангова — я ему сказала:

— Юра, услышьте раз в жизни — правду. Вас любят женщины, а Вы хотите, чтобы Вас уважали мужчины.

Его товарищи-студийцы — кроме Павлика, влюбленного в него, как Пушкин в Гончарову — всей исключенностью для него, Павлика, такой красоты (что Гончарова была женщина, а Юра — мужчина, не меняло ничего, ибо Пушкин, и женясь на Гончаровой, не обрел ее красоты, о с т а л с я маленьким, юрким и т. д.) — но любовь Павлика была еще и переборотая ревность: решение любить — то, что, по существу, должен был бы ненавидеть, любовь Павлика была — чистейший романтизм — итак, кроме Павлика, его товарищи-студийцы относились к нему... снисходительно, верней — к нам, его любившим, снисходительно, снисходя к нашей слабости и обольщаемости: «Юрий... да-а...» — и за этим протяжным да не следовало — ничего.

(Их любовь с Павликом была взаимная ревность: Юрия — к дару, Павлика — к красоте, ревность, за невозможностью вытерпеть решившая стать и ставшая — любовью. И еще — тайный расчет природы: вместе они были — лорд Байрон.)

Весь он был — эманация собственной красоты. Но так как очаг (красота) естественно-сильнее, то все в нем казалось и оказывалось недостаточным, а иногда и весь он — ее недостойным. Все-таки трагедия, когда лицо — лучшее в тебе и красота — главное в тебе, когда товар — всегда лицом, — твоим собственным лицом, являющимся одновременно и товаром. Все с него взыскивали по векселям этой красоты, режиссеры — как женщины. Все кругом ходили, просили. (Я одна подала ему на красоту.) «Но помилуйте, господа, я никогда никому ничего такого не обещал...» Нет, родной, такое лицо уже есть посул. Только оно обещало то, чего ты не мог сдержать. Такие обещания держат только цветы. И драгоценные камни. Драгоценные — насквозь. Цветочные — насквозь. Или уж — святые Себастианы. Нужно сказать, что носил он свою красоту робко, ангельски. (Откуда мне сие?) Но это не улучшало, это только ухудшало — дело. Единственный выход для мужчины — до своей красоты не снисходить, ее — презирать (пре-зри: гляди поверх). Но для этого нужно быть — больше, он же был — меньше, он сам так же обольщался, как все мы...

Как описать ангела? Ангел ведь не состоит из, а сразу весь. Предстает. Предстоит. Когда говорит ангел, никакого сомнения быть не может: мы все видим — одно.

Только прибавлю: с седою прядью. Двадцать лет — и седая, чистого серебра, прядь.

И еще — с бобровым воротом шубы. Огромной шубы, потому что и рост был нечеловеческий: ангельский.

Помимо этого нечеловеческого роста, «фигуры» у него не было. Он сам был — фигура. Девятнадцатый год его ангельству благоприятствовал: либо беспредельность шубы, либо хламида святого Антония, то есть всегда — одежда, всегда — туманы. В этом смысле у него и лица не было: так, впадины, переливы, «и от нивы и до нивы — гонит ветер прихотливый — золотые переливы...» (серебряные). Было собирательное лицо ангела, но до того несомненное, что каждая маленькая девочка его бы, из своего сна, узнала. И — узнавала.

Но зря ангельский облик не дается, и б ы л о в нем что-то от ангела: в его голосе (этой самой внутренней из наших внутренностей, недаром по-французски *organe*), в его бережных жестах, в том, как, склонив голову, слушал, как, приподняв ее, склоненную, в двух ладонях, изнизу — глядел, в том, как внезапным недвижным видением в дверях — вставал, в том, как без следу — исчезал.

Его красота, ангельскость его красоты, его все-таки чему-то — учила, чему-то выучила, она диктовала ему шаг («Он ступает так осторожно, точно боится раздавить какие-то маленькие невидимые

существа»,— Аля), и жест, и интонацию. Словом (смыслом) она его научить не могла, это уже не ее разума дело,— поэтому сказать он ничего не мог (ничего было!), выказать — всё.

Поэтому и обманывались: от самой простой уборщицы — до нас с Сонечкой. «Так любит, что и сказать не может...» (Так — не любил, никак не любил.) «Какая-то тайна...» Тайны не было. Никакой — кроме самотайны такой красоты.

Научить ступить красота может (и учит!), поступить — нет, выказать — может, выскazać — нет. Нужному голосу, нужной интонации, нужной паузе, нужному дыханию. Нужному слову — нет. Тут уже мы вступаем в другое княжество, где князя — мы, «карлики Инфанты».

Не «было в нем что-то от ангела», а — все в нем было от ангела, кроме слов и поступков, слова и дела. Это были — самые обыкновенные, полушкольные, полукактерские, если не лучшие его среды и возраста, то и не худшие, и ничтожные только на фоне такой красоты.

Я сказала: в каком-то смысле у него лица не было. Но и лика — личины — не было. Было — обличие. Ангельская обличовка рядового (и нежилого) здания. Обличие, подобие (а то, что я сейчас делаю — надгробие), но все-таки лучше, что — было, чем — не было бы!

Ему — дело прошлое, и всему этому уже почти двадцать лет! его тогдашний возраст! — моя стихотворная россыпь «Комедьянт», ему, о нем, о живом тогдашнем нем, моя пьеса «Лозэн» (Фортуна), с его живым возгласом у меня в комнате, в мороз, под темно-синим, осьмнадцатого века фонарем:

...да неужели ж руки  
И у меня потрескаются? Черт  
Побрал бы эту стужу! Жаль вас, руки,—

(это «черт» звучало нежнее лютни!) — вижу игру темно-синего цвета и светло-синей тени на его испуганно свидетельствуемой руке... Ему моя пьеса (пропавшая) «Каменный ангел»: каменный ангел на деревенской площади, из-за которого невесты бросают женихов, жены — мужей, вся любовь — всю любовь, из-за которого все топились, травились, постригались, а он — стоял... Другого действия, кажется, не было. Хорошо, что та тетрадь пропала, так же утопла, отравилась, постриглась — как те... Его тень в моих (и на моих!) стихах к Сонечке... Но о нем — другая повесть. Сказанное — только чтобы уяснить Сонечку, показать, на что были устремлены, к чему были неотторжимо прикованы в ту весну 1919 года, чем были до краев наполнены и от чего всегда переливались ее огромные, цвета конского каштана, глаза.

Сонечка! Простим его ангельскому подобию.

Однажды я зашла к нему — с очередным даром. Его не застала, застала няньку.

— Вот книжку принесли Юрочке почитать — и спасибо Вам. Пуццай читает, развлекается. А мало таких, милая Вы моя, — с приносом. Много к нему ходят, с утра до ночи ходят, еще глаз не открыл — звонят, и только глаза смежил — звонят — и все больше с пустыми руками да поцалуями. Да я тем барышням не во осуждение — молоденькие! а Юрочка — хорош-расхорош, завсегда хорош был, как родился, хорош был, еще на руках был — все барышни влюблялись, я и то ему: «Чего это ты, Юра, уж так хорош? Не мужское это дело!» «Да я, няня, не виноват». Конечно, не виноват, только мне-то двери отворять бегать от этого — не легче... Пуццай целуют (все равно

ничего не выцалуют), а только: коли цалуешь — так позаботься, чтобы рису, али пшена, али просто лепешечку — Вы же видите, какой он из себя худющий, сестра Верочка который год в беркулезе, неровен час, и он: одно лицо, одна кровь — не ему, понятно, он у нас стеснительный, не возьмет, — а ко мне на кухню: «нате, мол, няня, подкрепите своего любимого». Нет, куда там! Коли ко мне на кухню, так — что не любит — плакаться. И голова пуста, и руки пусты. Зато рот по-олон: пустяками да поцалуями. А зато одна к нему ходит — золото. (Две их у меня — носят, только одна — строгая такая, на манер губернантки, и носик у них великоват будет, так я сейчас не про них...) Вы барышню Галлиде знаете? Придет: «Юрочка дома?» Сначала по отчеству называла, ну а потом быстро пообвыкла, меня стесняться перестала. Дома, говорю, красавица, только спит. «Ну, не будите, не будите, я и заходить не хотела, только вот — принесла ему, только вы, няня, ему не говорите...» И пакетец сует, а в пакетце — не то чтобы пшено али ржаной хлеб, а завсегда булочка белая: ну, белая... И где она их берет?! Или носки сядет штопать. «Дайте мне, нянечка, Юрочкины носки». — «Да что вы, барышня, нешто это ваших молодых ручек дело? Старухино это дело». — «Нет уж!» И так горячо-горячо, ласково-ласково в глаза глядит. «Вы меня барышней не зовите, а зовите — Соня, а я вас — няня». Так и стала звать — Сонечка, как малюточку. Ну уж и любит она его — сказать не могу! Носки перештопает, рубашечку погладит (а наш-то все спит, не ведает!), поцалует меня в щеку, «кланяйтесь, няня, Юрочке» — и пойдет. Сколько раз я своему красавцу говорила: «Не думай долго, все равно лучше не сыщешь: и красавица, и умница, и работница, и на театре играет — себя оправдывает, и в самую что ни на есть темнющую ночь к дохтуру побежит, весь город на ноги поставит, а уж дохтура приведет: с такой женой болеть можно! А уж мать твоим детям будет хороша, раз тебя, версту коломенскую, в сыновья взяла. И ростом — под стать: ты — во-о какой, а она — ишь какая малюточка!» (Мне: «Верзилы-то завсегда малюточек любят»). Только мал золотник, да дорог.

— А он?

— Стоит, улыбается, отмалчивается. Не любит — вот что.

— Другую любит?

— Эх, милая вы моя, никого-то он не любит, отродясь не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки.

(Я, мысленно: «И себя в зеркале».)

— Так про Сонечку чтоб досказать. Не застанет — веселая уходит, а застанет — завсегда со слезами. Прохладный он у нас.

— Прохладный он у Вас.

Зеркало — тоже прохладное.

У Сонечки была своя нянька — Марьюшка. «Замуж буду выходить — с желтым сундуком — в приданое». Не нянька — старая прислуга, но старая прислуга зажившаяся — все равно нянька. Я этой Марьюшке ни разу за всю мою дружбу с Сонечкой не видала — потому что она всегда стояла в очереди: за воблой, за постным маслом и еще за одной вещью. Но постоянно о ней слышала, и все больше, что «Марьюшка опять рассердится» (за Юру, за бессонные ночи, за скормленное кому-то пшено...).

Однажды стук в дверь. Открываю. Черное, от глаз, лицо — и уже с порога:

— Марина! Случилась ужасная вещь. В моей комнате поселился гроб.

— Что-о-о?

— А вот слушайте. Моя Марьюшка где-то прослышала, что выдают гроба — да, самые настоящие гроба... (пауза) — ну, для покойников — потому что ведь сейчас это — роскошь. Вы же знаете, что Алексею Александровичу сделали в Студии — всюду будто уже выдали, а у нас не выдают. Вот и ходила — каждый день ходила, выхаживала — приказчик наконец терпение потерял: «Да скоро ли ты, бабка, помрешь, чтоб к нам за гробом не таскаться? Раньше, бабка, помрешь, чем гроб выдадим» — и тому подобные любезности, ну, а она — твердая: «Обещшано — так обещшано, я от своего не отступлюсь». И ходит, и ходит. И наконец нынче приходит — есть! «Ну, дождалась, бабка, своего счастья? — И ставит ей на середину лавки — голубой. — Ну-ка примерь, уместись в нем со всеми своими косточками?» — «Умещусь-то умещусь, — говорит, — да только не в энтот». — «Как это еще — не в энтот?» — «Так, — говорю, — потому что энтот — голубой, мужеский, а я — девица, мне розовый полагается. Так уж вы мне, будьте добры, розовенький, потому что голубого не надо нипочем». «Что-о, — говорит, — карга старая, мало ты мне крови испортила, а еще — девица оказалась, в розовом нежиться желаешь! Не будет тебе, чертова бабка, розового, потому что их у нас в заводе нет». «Так вы уж мне тогда, ваше степенство, беленький, — я ему: испужалась больно, как бы совсем без гробику не отпустил, — потому что в мужеском голубом лежать для девицы — бесчестье, а я всю жизнь от младенческих пелен до савана честная была». Тут он на меня ногами как затопчет: «Бери, чертова девица, что дают — да проваливай, а то беду сделаю! Сейчас, орет, революция, великое сотрясение, мушшин от женщин не разбирают, особенно покойников... Бери, бери, говорю, а то энтим самым предметом угроблю!» — да как замахнется на меня гробовой крышечкой-то! Стыд, страм, солдаты вокруг — гогочут, пальцами — тычут... Ну, вижу, делать нечего, взвалила я на себя свой вечный покой и пошла себе, и так мне, барышня, горько, скоко я за ним таскалась, скоко насмешек претерпела, а придется мне упокоиться в мужеском голубом». И теперь, Марина, он у меня в комнате. Вы над дверью полку такую глубокою видели — для чемоданов? Так она меня — прямо-таки умолила: чтобы под ногами не мешался, а главное — чтобы ей глаз не язил цветом. «Потому что как на него взгляну, барышня, так вся и обольюсь обидой». Так и стоит. (Пауза.) Я, наверное, все-таки когда-нибудь к нему — привыкну!

(Это было в вознесенье 1919 года.)

Четвертым действующим лицом Сонечкиной комнаты был — гроб.

А вот моя Сонечка, увиденная другими глазами: чужими.

— Видел сегодня Вашу Сонечку Голлидэй. Я ехал в трамвае, вижу — она стоит, держится за кожаную петлю, что-то читает, улыбается. И вдруг у нее на плече появляется огромная лапа, солдатская. И знаете, что она сделала? Не переставая читать и даже не переставая улыбаться, сняла с плеча эту лапу — как вещь.

— Это — живая она! А Вы уверены, что это она была?

— О да. Я ведь много раз ходил смотреть ее в «Белых ночах», та же самая, в белом платье, с двумя ксами... Это было так... прэзлэстно (мой собеседник был из Царства Польского), что весь вагон рассмеялся и один даже крикнул: браво!

— А она?

— Ничего. И тут глаз не подняла. А только, может быть, улыбка стала чуть-чуть шире... Она ведь очень хорошенькая.

— Вы находите?

— С опущенными веками и этими косами — настоящая мадонна.

У нее, вероятно, много романов?

— Нет. Она любит только детей.

— Н-но... это же не...

— Нет, это мешает.

Так я охраняла Сонечку от — буржуйских лап.

Романы?

Je n'ai jamais su au juste ce qu'étaient ses relations avec les hommes, si c'étaient ce qu'on appelle des liaisons — ou d'autres liens. Mais rêver ensemble ou dormir ensemble, c'était toujours de pleurer seule<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Я никогда не знала в точности, каковы были ее отношения с мужчинами: были ли они тем, что называют любовными связями или иными узами. Но мечтать ли вместе, спать ли вместе — а плакать всегда в одиночку. (Франц.)



---

---

# О ЧЕ РЖИ НА ШИХ ДНЕ Й

МУРАД АДЖИЕВ

★

## САМЫЙ БОЛЬШОЙ, БОЛЬШОЙ ТАЙМЫР

**Н**а юго-западе полуострова Таймыр, где чахлая тайга уже захватила земли распластанной тундры, на огромной лесной опушке, среди низких лиственниц и высоких гор расположился крупнейший город Заполярья — индустриальный Норильск.

В сравнении со старейшинами — Москвой, Киевом, Новгородом, Псковом — Норильск даже не мальчишка, а грудной ребенок. Но ребенок особенный. Многие города затрачивали века, чтобы достичь такого бурного расцвета, а в Норильске за четыре предельно сжатых десятилетия построили новые современные проспекты и улицы, возвели корпуса крупнейшего в нашей стране горно-металлургического комбината, соорудили современную железную дорогу — самую северную в мире.

Что же заставило советских людей в далекой и холодной стране — суровом Таймыре строить город почти со стопятидесятитысячным населением? Многие полагают, что только освоение и разработка руд цветных металлов. Но это не совсем так.

Сперва был уголь. Именно он, черные блестящие пласты которого подходили к самой поверхности, и привлек в свое время первых «промышленных людей» на неведомую далекую речку Норильскую...

Наверное, меня тоже можно отнести к разряду «промышленных людей». Я летел в Норильск в обычную производственную командировку на горно-металлургический комбинат.

— Норильск рожден никелем и медью, — услышал я от норильчанина в самолете.

— А вот и нет, — осмелился я возразить. — Так и прозябал бы норильский уголь с цветными металлами, если бы не... сибирское зерно. Странное сочетание? Однако это так.

На чем основывал я свои утверждения?

...После отмены крепостного права в 1861 году в центральных районах России «скопилось» много безземельных крестьян, часть которых пошла в города. Другая же часть поехала на просторы Сибири, где земля была пока ничейная.

Богатые урожай, отличные пастбища для скота быстро делали иных предприимчивых сибиряков зажиточными. В хозяйствах появилось много излишков пшеницы, мяса — продуктов, которые зачастую попросту пропадали даром. Поэтому-то зарождающееся сибирское хозяйство и стало искать выхода на внешние рынки.

По знаменитому сибирскому тракту — сухопутной дороге — много на телеге не увезешь, а другого наземного транспорта не было. По рекам тогда далеко не плавали. Вот и получалось, что сибиряки богатели зерном и в то же время остро нуждались в других житейских товарах. Золотодобытчикам требовались маши-



ны — а как доставить их по бездорожью? Сибиряки искали выхода в центральную Россию, в Европу. Тогда единственно возможный путь был водный, вниз по сибирским рекам, в Арктику. Но когда построили железную дорогу, зачем же плыть в суровую Арктику? — ведь рядом великая транссибирская железнодорожная магистраль. Загружай вагоны сибирскими товарами и вези. Увы, самый простой путь обертывался... самым дорогим. Помещики центральной России испугались дешевого зерна, которое густым потоком хлынуло было из Сибири. По их просьбе царское правительство обложило ввоз и вывоз сибирских товаров большими пошлинами. И возникла ситуация, когда есть дорога и в то же время ее нет.

Сибирские «промышленные люди» знали, где искать обходные пути, нелегкие, но выгодные, — через Арктику.

...Еще задолго до строительства железной дороги многого достигли арктические экспедиции, возглавлявшиеся шведом Адольфом Эриком Норденшельдом. После удачных походов на Шпицберген и в Гренландию Норденшельд на маленьком рыболовецком судне «Превен» в 1875 году прошел через пролив Югорский Шар, далее через Карское море в устье Енисея. Затем отважный путешественник поднялся вверх по Енисею до маленького сибирского городка Енисейска. А отсюда домой, в Швецию, он уже ехал «сухим» путем.

На следующий год швед повторил свое легендарное плавание. Совершить сибирское путешествие Норденшельда пригласил известный сибирский золото-промышленник М. Сидоров. А годом позже, в 1877 году, русский моряк Шваненберг совершил беспрецедентный поход из устья Енисея в Петербург на речной шхуне «Утренняя заря» с образцами сибирских товаров.

Своими путешествиями и Норденшельд и Шваненберг доказали возможность плавания вдоль хотя бы части северного побережья Сибири, что было безусловно очень важно для экономического развития гигантских дремлющих земель...

И все же до революции плавание в Арктике и в устьях рек Обь и Енисей было эпизодическим, случайным. Обычно моряки шли наудачу — повезет или нет. Через Карское море с 1876 по 1919 год из Сибири и в Сибирь попытались пройти только 122 грузовых судна, причем 36 из них погибли или возвратились неразгруженными, получив повреждение во льдах. За это время перевезено всего 45 тысяч тонн грузов, то есть меньше того, что ныне перевозит морское судно за один рейс.

Для обеспечения движения кораблей потребовалась срочная разведка месторождений каменного угля. На Севере уголь не добывали, и на обратный рейс его приходилось брать с собой, занимая дорогое место в трюмах. Об угле близ села Дудинка, что в низовьях полноводного Енисея, знали давно...

Однажды старик эвенк поведал в дудинском трактире заезжему купцу Сотникову тайну речки Норильской. Там, в тундре, валялся волшебный черный камень, который мог гореть. Если в костер бросить таинственный камень, то он из черного станет красным. И обжигающее тепло пойдет тогда от костра.

Сотников быстро сообразил, что это за камень. Предпримчивый купец поехал на речку Норильскую и скоро организовал здесь добычу угля. За одну только зиму 1893/94 года Сотников добыл тысячи пудов первоклассного угля и на оленях доставил его в Дудинку.

Почти весь уголь тогда сразу же купили для судов русской гидрографической экспедиции полковника А. И. Вилькицкого, которая искала возможные будущие арктические трассы для торговых кораблей. Полковник Вилькицкий дал прекрасный отзыв: «Дудинский уголь совершенно такой же, как английский». А английский в те времена считался лучшим в мире.

Уголь Александрово-Невской копи (так тогда называли Норильское месторождение) получил путевку в жизнь. А вскоре сын купца Сотникова, студент горного факультета Томского технологического института, приехавший на побывку к отцу в Дудинку, случайно набрел на рудное месторождение, что недалеко от угольного, и собрал образцы горных пород. Руды оказались медно-никель-

левые, имелась в них и платина. Поставили Сотниковы у речки Норильской заявочные столбы и обратились с просьбой разрешить разрабатывать месторождения угля и меди. О платине и никеле — ни слова. На речке Норильской построили они первую медеплавильную печь и за долгую зиму выплавили почти двести пудов меди.

Вот каким был Норильск до революции. На том месте, где сейчас благоустроенные дома и проспекты, стояло несколько грубо отесанных столбов, на которых Сотниковы сделали свои отметины. А невдалеке от тех столбов охотник из Дудинки Потанин собрал нехитрую промысловую избушку и прожил в ней несколько лет. И все. Больше ничего, кроме дикой тайги, суровой природы и богатейших сокровищ, спрятанных в подземелье Таймыра.

...Когда я рассказал своим попутчикам эту историю, авторитет мой как «знатока» Севера несколько поднялся.

Позже, дома у Виктора Григорьевича Петрова, инженера-норильчанина, мне пришлось с большими подробностями дважды пересказывать сравнительно недавнюю историю Таймыра. А ведь были в тех краях еще два столетия назад Дмитрий и Харитон Лаптевы. Проезжали здесь и торговые люди из древней столицы Севера — Мангазеи...

Харитон Лаптев писал: «А река Пясина вышла из озера Пясинского. Озеро это мелкое, но токмо серединой идет глубокая вода от реки Норильской, в него впадающей».

Вот, оказывается, когда уже был Норильск, только без домов, без металлургического комбината, без рудников, но... был.

После Великой Октябрьской социалистической революции вышло постановление, подписанное В. И. Лениным, об организации гидрографической экспедиции в моря Северного Ледовитого океана. С этого времени, с 1918 года, начинается планомерное изучение будущей трассы Северного морского пути, открывающей наиболее дешевый водный путь к северным берегам Сибири и в устья сибирских рек.

В 1919 году Сибирский геологический комитет организовал небольшую экспедицию в низовья Енисея для поисков месторождений каменного угля. Возглавил экспедицию молодой геолог, только что окончивший горное отделение Томского технологического института, Николай Николаевич Урванцев.

Успех экспедиции Урванцева был потрясающим: кроме открытых и изученных угольных месторождений, геологи отыскали наконец и медно-никелевые.

По мнению некоторых историков, о норильской руде сибирякам известно было еще в глубокой древности. Но одно дело знать, где она, и совсем другое — какая она, сколько ее. Экспедиция Урванцева одна из первых детально разведала это чудо-месторождение. Вот почему теперешние норильчане по праву и величают Урванцева отцом города, его патриархом.

Это он сказал, что добра, припрятанного в тех местах, хватит на многие годы. Если посмотреть на карту Сибири и где-то в среднем течении реки Енисей, немного севернее того места, где Ангара заканчивает свой бег, сделать аккуратную пометку, а севернее Норильска — другую, то тогда получишь примерные размеры той гигантской рудной кладовой, которой богат Норильск. Именно ради добычи этих сокровищ и построили советские люди город.

Погода на Севере меняется удивительно быстро. Вот и мы, когда вылетали из Москвы, полагали, что скоро будем в Норильске... Самолет делает вынужденную посадку на одном из северных аэродромов, не дотянув до Норильска каких-то полутора часов. Будем ждать погоды.

В такие часы вынужденного безделья невольно начинаешь задумываться о тех трудностях, с которыми каждый день сталкиваются северяне. Конечно, сама жизнь устроена так, что все самое лучшее в ней добывается с трудом. Чем труднее путь, тем радостнее победа. А путь к норильским сокровищам нелегкий.

Что такое суровый климат? Когда мороз за пятьдесят. Когда зимой подолгу

не бывает солнца. Можно еще продолжить перечисление «северных неудобств», но все это будет неполно, если не сказать: когда ветрено, когда очень ветрено, когда ураган страшной силы дует день, другой, неделю, а на улице жестокий мороз.

У географов есть такой термин «балл суровости климата». Необходимость появления этого «балла» как раз в том, чтобы сравнивать погоду разных районов нашей планеты. По специальной формуле, предложенной Бодманом, зная температуру воздуха и силу ветра, можно определить суровость климата любой местности.

Так вот по этому показателю Норильск уступит, пожалуй, только Антарктиде и еще нескольким холодным точкам планеты.

Почему Норильску так не повезло?

У жарких тропических стран, близ берегов Кубы берет свое начало теплое течение океанических вод. Воды Гольфстрима заходят далеко на север, в моря Северного Ледовитого океана. Там, где властвует Гольфстрим, нет льда, там много рыбы, морского зверя — словом, бурная жизнь круглый год.

Теплые водяные потоки заходят и в наше Баренцево море, делая крупнейший северный порт Мурманск не замерзающим круглый год. Но проникнуть дальше островов Новой Земли, которые встали преградой на пути, Гольфстрим не может, да и слишком уж много он отдал тепла на своем долгом пути. За Карскими Воротами Арктика как бы растекается по континенту, захлестывая огромные просторы Западной Сибири, Красноярского края и углубляясь далеко в Якутию.

А у берегов Новой Земли сталкиваются теплая, влажная весна Баренцева моря и очень холодная, сухая арктическая зима Карского моря. Природа такого соседства не терпит. Происходит очень быстрое смешивание теплых и холодных масс воздуха.

Большого контраста погоды, как у Новой Земли, найти на Севере трудно, вот поэтому здесь (Таймыр и Норильск не очень уж далеко от тех мест) свирепые ураганы. А влажность теплого океанического воздуха превращается в снег, который обильно покрывает землю Таймыра.

Ураганный ветер, поднимая в воздух огромное количество снежинок, делается колючим и злым. Маленькие снежинки летят быстрее курьерского поезда, со скоростью 150—180 километров в час. Лютая пурга иногда метет по две недели.

А летом черные, рваные тучи своими лохмотьями достают до самой земли.

...Ждать милостей погоды нам пришлось недолго. На следующий день мы уже были в аэропорте Норильска. Так, к пяти часам полета прибавились еще двадцать — на ожидание.

Когда подлетали к Норильску, я беспокоюсь поглядывал вниз: где же знаменитый на весь мир город?

Среди ровной разглаженной тундры виднелись большие коричневые заплатки — островки леса. Наверное, сотни две озер — просто луж блестело на солнце. Железная дорога уходила куда-то вдаль. Здание аэровокзала, аэродромные постройки — и все.

Города не было.

Задавать попутчикам вопрос мне показалось неудобным. Оказывается, в город нужно еще ехать на электричке.

Железная дорога за Полярным кругом. Ни в одной другой стране мира такого не встретишь. Я представил себе, как выглядел в этих краях первый паровозик, который в 1937 году, окутанный белыми облаками пара, посвистывая, начал коптить голубое небо тундры.

Узкоколейная дорога соединяла тогда Дудинку, порт на реке Енисей, с Норильском. Конечно, это был еще не город. Несколько бараков, рудники, шахты — и все. Но главное — открывались огромные возможности для рождения нового города.

Дорогу строили зимой. В лютую арктическую стужу. Шпалы и рельсы кла-

ли прямо на ледяное полотно. Конечно, дорога получилась не очень прочная. Паровоз-«кукушка» часто сходил с рельсов, много вагонов вести не мог. А о скорости движения и говорить не приходилось. Однажды поезд из Дудинки в Норильск — 128 километров — шел более двадцати суток. Вот что такое километры в тундре!

В первую трудную зиму перевезли почти две с половиной тысячи тонн грузов. Очень много! Ведь раньше грузы к Норильску подвозили на оленях. Хотели было возить на лошадях, но скоро от этого пришлось отказаться: уж очень не приспособлена лошадь для работы в тундре. Николай Николаевич Урванцев вспоминает, что когда привезли первых лошадей в Дудинку, то посмотреть на диких животных сбежалось все население поселка. А скоро по всем стойбищам Таймыра поползли слухи о таинственных безрогих оленях с очень длинным хвостом...

К лету первая железная дорога Норильска попросту расползлась и утонула в болоте.

На следующий год построили хорошее насыпное полотно. И тогда вечная мерзлота стала давать уроки хозяйствования. Летом земля под дорогой согревалась, и она проседала (опять проваливалась). А зимой наоборот. Откуда ни возьмись на ровном месте медленно начинал вырастать холм — полотно пучилось и разрывалось на куски. Бывали случаи, когда сильная пурга заносила паровозик и вагон по самые крыши.

Много надо терпения, выдумки и настойчивости, чтобы научиться жить на Севере.

Инженер М. Г. Потапов предложил оригинальный и простой способ. Если наклонные к ветру щиты немного приподнять над землей, то потоки воздуха будут завихряться. И искусственный вихрь станет сметать весь отложенный на железнодорожном полотне снег словно метлой. Идея оказалась удачной. Часами протащив Потапов около своих опытных сооружений, выбирая самый удобный угол наклона щита. И скоро снежная стихия, казавшаяся непреодолимой, была побеждена, а Потапова прозвали Дядя Снегодув.

Со временем научились не бояться и вечной мерзлоты. Рельсы и шпалы подняли высоко над землей, насыпав на мерзлый грунт много мелкого камня и песка. Получилась насыпная подушка, через которую летнее тепло уже не могло пройти до вечной мерзлоты и растопить ее. Сейчас, когда едешь в удобной электричке в Норильск, около дороги ровным забором возвышаются «памятники» смелой инженерной мысли первооткрывателей Норильска...

И все-таки я не согласен, что панорама города поражает. Нет. Такого чувства я не испытал. И здание аэропорта и железная дорога — это прелюдия, начало чего-то крупного, большого. Поэтому если внимательно, с интересом присматриваешься к этой части, пусть маленькой, но составляющей единое целое с большим и сложным горно-металлургическим и жилым комплексами, то сам город уже удивить не может. Он закономерное продолжение дороги, аэропорта.

И все же Норильск удивителен!

В такой глухомани построить новый современный город. Сейчас подобное кажется чем-то обыденным, будничным. Наверное, потому, что мы привыкли к подобного рода героическим свершениям. Каждый год в Сибири закладываются новые города. Каждый год едут новые добровольцы строить их.

Но представим на одну минутку то далекое время, когда поднимался Норильск.

Новый город возникал на пустом месте, когда кругом за сотни и тысячи километров не было ни одного крупного населенного пункта с мало-мальски развитой промышленностью.

На новостройку везли из центральных районов страны буквально все, вплоть до самой последней мелочи, до гвоздя. Сейчас легко говорить «везли». Но на чем везли? Как? Ведь будущий город стоял на несудоходной реке Норильской. До ближайшего речного порта на Енисее, до Дудинки, 128 километров бездорожной тундры.

Вот тогда-то и стал расти рыбацкий поселок Дудинка — ворота Норильска, ворота Таймыра. Рекой и морем сюда доставляли грузы, здесь, как грибы после дождя, появились склады. А дальше — самые трудные 128 километров. Вначале грузы везли на древнем транспорте — на оленях, на собаках. Уже потом по железной дороге.

Первые дома будущего города строили из дерева. На сруб в лесу можно было найти бревна. Но когда стали пилить доски, возникли новые трудности. Лиственница (а именно она служила основным строительным материалом) — очень смолистое дерево, поэтому ее трудно, почти невозможно пилить. Нужно все время промывать засмоленную пилу в керосине, поэтому и работа продвигалась очень медленно.

Здания начали строить как обычно: фундамент, пол, стены, потолок, крыша, но, конечно, без учета вечной мерзлоты. Очень скоро такое новое здание пришло в негодность. Стены опасно наклонялись, крыша и потолок валялись куда-то вниз, а пол, наоборот, стремился вверх.

И началась долгая, упорная борьба человека с вечной мерзлотой. Началось с того, что грунт под фундаментом пробовали равномерно оттаивать. Потом в траншеи опять укладывали фундамент... Но и в этом случае здание быстро рушилось. И решили строить дома на сваях.

Первый дом на сваях, как избушка на курьих ножках, вызывал у многих улыбку, удивление. Но удивляться надо было не форме фундамента, а другому. Дом стоял! Прочно! Надежно!

Все хорошо. Только очень уж долгий и трудоемкий это процесс — рыть в мерзлоте котлован, закладывать опоры — сваи. Потом и это упростили. Стали бурить широкие скважины, в которые вставляли уже готовые сваи и заливали свободное пространство цементным или специальным раствором. Получался монолит из свай, грунта и раствора. И уже на эти свайные опоры как бы навешивали будущее здание.

Вот так инженерная мысль дала новый тип северного города — города на «воздушной подушке».

А сейчас еще больше упростили сложные фундаментные работы, или, как их называют строители, работы нулевого цикла. Самоходная буровая машина быстро прожигает в грунте пяти-шестиметровую скважину. В других случаях, если грунт позволяет, его оттаивают. Сваю легко опускают в скважину с оплавленными стенами или в оттаянный паровой иглой киселеобразный грунт. Вскоре запас холода вокруг свай берет свое, грунт охлаждается, еще немного времени, раствор замерзнет — и опора готова.

На такие сваи можно ставить пяти-шестизэтажные дома. Но... опять северное «но». А как «утеплить» стройку? В условиях Норильска сделать это очень сложно: девять месяцев в году мороз, пурга. За короткое лето много ли построишь?

Стали над строящимся кирпичным зданием, вернее над его стенами, делать легкий деревянный сарай — тепляк — с печуркой. А затем отказались от этих допотопных тепляков. Оказалось, что делать кирпичную кладку можно и на морозе. Зимой цементный раствор замерзает, а летом тает и схватывается, каменеет.

Сейчас из кирпича в Норильске строят все меньше и меньше — хлопотное это дело. Быстрее и лучше получается из панелей и блоков.

А вот еще проблема. Норильчанам нужны современные дома с горячей и холодной водой, с ваннами и санузлами, с отоплением и мусоропроводом. Но как эти сложные инженерные коммуникации подвести к дому? Опять эта мерзлота!

Трубы теплоизолировали и, как дома, стали укладывать на особые сваи, на эстакаду. Вечномерзлый грунт под ними не оттаивал. Но такие эстакады перегораживали улицы, дворы — не пройти, не проехать. И опять инженеры подсказали правильное решение. Посередине улицы вырыли траншею, по бокам и по дну которой уложили железобетонные плиты. Получился желоб-коллектор, в

который установили небольшие опоры и уже на них аккуратно положили теплые трубы. Они как бы повисли в воздухе, не соприкасаясь со стенками, с мерзлотой. А сверху коллектор закрыли плитами, на которых потом разбили газоны.

Вот почему посередине многих улиц Норильска тянется ровный газон, на котором через каждые сорок—пятьдесят метров, как большие белые скворечники, вылезают из-под земли отдушины коллектора...

Современный Норильск — самый крупный в СССР, да, пожалуй, и в мире, город на «воздушной подушке». Широкие асфальтированные улицы, многоэтажные жилые и общественные дома, универсальные и продовольственные магазины, театр, кинотеатры, Дома культуры и плавательный бассейн, ателье мод, телецентр и Дворец спорта...

Десятки тысяч свай забито в вечную мерзлоту. И вот уже двадцать лет держат они на себе все эти жилые и общественные здания. Держат надежно, прочно.

Однако и по сию пору нет единого мнения по поводу строительства северных городов. Силой воображения архитекторы уже «построили» на бумаге много поселений в северном исполнении. Но очень уж они различны. А главное, в них не отводится порой место... человеку и скупой северной природе.

Судите сами. Одно время в печати широко пропагандировался проект города под единой крышей. Удобно. Ему не страшна пурга, морозы — все это там, на улице, а внутри оранжерея. Собственно, получался даже не город, а два больших, очень длинных здания, между которыми, заменяя небо, повисала прозрачная синтетическая крыша. Между домами вечно зеленел бы зимний сад, чтобы северяне не затосковали в долгую полярную ночь. На первых этажах, «окна разинув, стоят магазины» вперемежку с кафе, детскими садами, библиотеками, кинотеатром. Остальные этажи — под квартиры со всеми современными удобствами. А от этого чудо-города, как прозрачные рукава-трубопроводы, протянутся крытые переходы к рудникам, обогащательным фабрикам.

Допустим, что автоматическая система будет чутко саморегулироваться на заданную температуру воздуха. Когда нужно, подогреет, когда нужно, охладит. Но страшно даже предположить, что случится с таким городом-теплицей, если произойдет непредвиденное — система выйдет из строя (может же случиться такое). Кроме того, как учат физики, чтобы в зимнем саду температура воздуха была плюс пятнадцать градусов, на третьем этаже следует создать маленькую северную Сахару в плюс сорок пять — пятьдесят градусов, а на шестом уже не надо кипятить чайник — здесь стоградусная жара, настоящая финская сауна...

Снег, которым метель усыплет крышу, будет быстро таять, и скоро огромная ледяная шапка накроет город. Месяца через два-три тысячетонный ледяной купол раздавит архитектурное северное чудо вместе с его зимним садом, плавательным бассейном и современными удобными квартирами.

Такова реальность!

В северных поселках прижились уже двухэтажные деревянные дома. И, вероятно, они наиболее оптимальны для условий Севера. Именно эти пока все же дома-баракы нужно переоборудовать в современные двухэтажные коттеджи с электрокухней, отоплением, скрытым в стенах, ванной, горячей водой...

Почему-то с каждым годом бетон и кирпич, стекло и металл вытесняют дерево из списка строительных материалов. Но почему? В такой несевойной стране, как Англия, специалисты приводят целый ряд доводов в пользу зданий из готовых деревянных конструкций.

Во-первых, возводить здание из деревянных кубиков можно очень быстро, а главное, такой монтаж (даже не строительство) экономически очень эффективен, выгоден. Во-вторых, деревянные здания в три раза меньше «теряют» тепла, чем каменные. Значит, в три раза меньше нужно топлива на их обогрев. А для Севера это очень важно!

Существуют проекты десятиэтажных зданий из готовых деревянных конструкций. Например, одноэтажный дом бригада из восьми рабочих собирает

всего за два часа. Три-четыре дня уходит на монтаж десятиэтажного здания. Что может быть лучше для условий Севера?

Такие небоскребы «в северном исполнении» можно соединить между собой теплыми галереями-переходами. Получится город.

А студенты Московского архитектурного института предложили проект нового города-поселка. На большом свайном «столе» площадью в один гектар размещается весь поселок. Само же строительство, точнее не строительство, а монтаж, выглядит так. Обыкновенный грузовик привозит контейнер, из которого достают несколько складывающихся ячеек, разворачивают их, как детскую книжку с картинками, и к вечеру жилища готовы... Так растет город. Конечно, квартиры такого города со всеми современными удобствами. Все поместится на большом «столе»: и школа, и магазин, и детский сад. А под «столом» повиснут трубы с горячей и холодной водой.

Если потребуется, то можно поставить несколько «столов» в ряд. И будет город «на большом столе».

Я неспроста предложил экскурс в градостроительные дебри. Героический эксперимент Норильска, хоть и увенчанный успехом, широкого подражания на Севере все же не найдет. Слишком дорого, особенно эксплуатация зданий, улиц. Зимой, например, десятки бульдозеров, автогрейдеров, снегоуборочных машин чистят город, они вывозят примерно 600 тысяч тонн снега. Это даже не гора, а целые горы. Вот почему галереи-коридоры необходимы новому типу северных городов.

Тепло норильским домам дают ГРЭС, электростанция на реке Хантайка и газ, который выдыхает газопровод Мессояха — Норильск. Тепла с каждым годом требуется все больше и больше, ведь железобетонный город растет. С утроенной энергией растут и расходы тепла.

Пока энергетические потери, пусть даже большие, для Норильска еще незаметны, по крайней мере не очень ощутимы (природный газ Мессояхского месторождения и воды реки Хантайка надежно обеспечивают энергетическую базу города). Однако для других северных городов проблема, из чего строить, зачастую может и должна стать решающей.

...Электричка готовилась замедлить свой бег. Это чувствовалось по суете в вагонах, по тому, как однообразный дикий пейзаж весенней тундры, долго тянувшейся за окном, изменялся, все больше становился индустриальным. Возвышенности, переросшие потом в мощные горы — плато Путорана, вытеснили тундру. Вдруг показались из-за поворота огромные заводские трубы, венчающие строгие, выделяющиеся среди гор прямоугольники корпусов завода.

Скоро поезд остановился, и крупные буквы на трехэтажном вокзале известили приезжих: «НОРИЛЬСК».

На привокзальной площади я невольно засмотрелся на прекрасное асфальтированное шоссе с непрерывным потоком машин. Среди северных гор оно казалось совершенным. Нас поджидал сверкающий на солнце красно-белый автобус.

...Вдалеке грудой красных, синих, желтых кубиков возникли какие-то неясные постройки. Они росли, увеличивались, становились рельефнее, пока наконец не превратились в современные кварталы жилых многоэтажных домов, а шоссе, по которому мы ехали, — в главную городскую магистраль, ворвавшуюся в город прямо из тундры.

Так вот ты какой, Норильск, таинственный и открытый, большой и одинокий среди горных отрогов плато Путорана. Город как бы прижат к самому подножью горы Медвежьей. Но особенно грандиозен вид горно-металлургического комбината, махиной вырастающего прямо из горы.

В темную полярную ночь тысячи лампочек и прожекторов яркими гирляндами озаряют город, комбинат, а по шоссе, как светлячки, снуют автомобили...

Ходишь по Норильску и в архитектуре города находишь что-то знакомое, уже виденное в Ленинграде, подмеченное в Москве. И вместе с тем ничего общего с Ленинградом и Москвой — архитектура здесь своя, норильская. В городе нет

старых зданий, а новые не собраны в кучу — вдоль улиц тянутся законченные ансамбли домов.

Может быть, кому-то Норильск показался другим, но первые очень сильные впечатления, произведенные на меня далеким заполярным городом, останутся на всю жизнь. Как ни парадоксально, но эти впечатления проникнуты чем-то нежным, солнечным и теплым.

Я понимаю, что Норильск не всегда так приветлив, как в день нашего знакомства. Я видел здесь и знаменитую пургу, которая лавиной стремилась стереть, сровнять постройки, накрывая их жестким белым одеялом, и глубину черной полярной ночи, изгнавшей с небосклона великое светило, — только широкие сполохи северного сияния, зимние отголоски солнца, издали посылали на ступенную землю холодный свет.

Первое впечатление... Оно остается надолго. В 1970 году я впервые увидел Норильск. Прошло всего пять лет — и уже новый Норильск, очень похожий на тот, прежний, и измененный, предстал вновь передо мной.

Те же ансамбли домов, и новые девятиэтажные башни среди них как бы врезались в городской пейзаж.

Дворец спорта, самый северный, — тогда, пять лет назад, начинающаяся стройка. Внимание мое останавливает плакат: «На севере Красноярского края значительно расширяется производство меди и никеля на Норильском горно-металлургическом комбинате, на проектную мощность вводится Усть-Хантайская ГЭС». Скупая, по-деловому лаконичная запись из Директив XXIV съезда партии. Она определила и темп и направление работы. Потребовалось менять энергетическую базу, технически перевооружить цехи, усилить сложное подсобное хозяйство.

Именно в прошедшую пятилетку дала ток самая северная в стране гидроэлектростанция на реке Хантайка. Тогда же родился богатейший рудник «Комсомольский».

Так реализовали задание партии, задание народа норильчане.

Суровый Таймыр, о котором знали давно и о тайнах которого только сейчас начинают узнавать, один из крупнейших полуостровов мира, площадь которого около 400 тысяч квадратных километров... На южном рубеже индустриальный центр Заполярья — Норильск. «Таймыр, и особенно его север и северо-восток, — наименее изученная область нашей родины». Так ученые пишут о Таймыре сейчас.

«Ходиша люди старии воевати на Югру и Самоядь» — а так было писано в новгородской грамоте более восьмисот лет назад. Самоядью наши древние предки называли земли в устье Енисея и Таймырский полуостров, а Югрой — район полярного Урала и севера Западной Сибири.

Странная судьба у полуострова — быть тысячу лет назад открытым и оставаться неизвестным.

На севере Таймыра нет почвы, а значит, нет никакой растительности. На поверхности только голые серые камни, большие и малые. От этого пейзаж кажется пустынным, безжизненным, холодным. Здесь очень мало животных. Только в короткое и холодное лето прилетают редкие птицы вывести птенцов. На восточном берегу в бухте Марии Прончищевой сохранилось материковое лежбище моржей, куда приплывают северные исполины погреться среди теплых, но голых летних скал на незаходящем северном солнце.

В арктической пустыне, где моржи устраивают себе курорт, слово «лето» весьма хрупко, условно. Это время круглосуточного солнца и нередких снегопадов, частых штормов, когда огромные ледяные поля вновь пригоняются ветром и течением к самому побережью и становится опять холодно, как зимой. Даже солнце, выглянувшее из-за туч, не может растопить тяжелые льды. Нужно ждать следующего шторма, когда ветер отгонит полярных пришельцев...

Кое-где с побережья видны на далеком горизонте тупозубчатые очертания далеких холмов — это уже предгорья Бырранга. Чем ближе к ним, тем больше и больше пустая прибрежная полоса наполняется жизнью. Вот за голые камни



зацепилась куртинка мха. А вот неизвестно откуда взявшиеся полярные маки алым цветом озарили голые камни. Постепенно жизнь захватывает всё большие и большие земли.

Ближе к горам ледяную землю тундры уже застелил сплошной ровный моховый ковер, на который лето выплеснуло несчетные капли луж и озер. Сюда темными ручьями стекаются стада диких и домашних оленей.

В этих безжизненных северных горах только на берегах речки Неркайхатари, защищенной скалами от холодных дуновений Арктики, оазисом на несколько квадратных километров вытянулись реликтовые заросли мохнатой ивы и карликовой ольхи. Ученые не могут ответить на вопрос, как эти деревья сюда попали. Причем не просто северные карлики. Нет. Вековые «гиганты» высотой в два метра, а толщиной ствола в семь сантиметров.

Южные склоны гор Бырранга обрываются, их подножья омывают воды крупнейшего полярного озера — Таймыр. Летом сюда, на свою суровую родину, прилетают тысячи пернатых. Вода здесь чистая, прозрачная и очень холодная. Озеро свободно ото льда всего три месяца в году.

По долинам рек, впадающих в озеро, встречаются луговые участки, которые в летний период покрываются цветущим зеленым ковром. Великое множество цветов украшает тундру все лето. Озер на Таймыре, может быть, тысяча, может быть, несколько тысяч. И вся эта бескрайняя болотно-озерная тундра кормит огромное количество водоплавающих птиц.

С первым теплом, когда лед только-только начинает вскрываться, над бесчисленными озерами кружат крикливые стаи уток и гусей, за ними следуют беспокойно попискивающие кулики и голосистые чайки. Здесь же гнездится самая красивая птица Севера — краснозобая казарка. Причем гнездится только здесь, и нигде больше в мире. На плавающих озерных островках устраивает гнездо самая таинственная птица Севера — розовая чайка. Человек, увидевший розовую чайку, считается счастливым: такая удача редко кому выпадает — раз в пятьдесят лет.

В тундре, как на море, не чувствуешь расстояний. Здесь нет ничего, что может служить точкой отсчета. Только кое-где уродливые лиственницы, карликовые березки, одинокие кустики травы поднимаются над плохо разглаженной пестрой землей. А еще можно увидеть грибы подберезовики, только для тундры это название не совсем подходит. Какой же гриб подберезовик, если он иногда по размерам больше маленькой тундровой березки, — скорее надберезовик.

По кочкам, словно зажженные факелы, сияют яркие желтые цветы на низкорослых крепких стеблях. Это жарки, или таймырская роза, северный подснежник. Они зацветают в тундре самыми первыми: в низинах еще снег, холодно, а на холмах и проталинах уже засветились маленькие желтые лампочки.

Но несмотря на всю свою строгую красоту, цветы на Севере не пахнут. Здесь нет опыляющих насекомых — бабочек, пчел, — поэтому привлечь запахом и ярким цветом некого.

С первым весенним теплом из тайги тучи комаров, оводов, мошки оккупируют тундру, и воздух буквально звенит, и все тонет в их невыносимом писке.

Как известно, скоро в хозяйстве советского Севера, возможно, будет пополнение. Весной 1975 года завезли из Аляски на восточное побережье озера Таймыр двадцать овцебыков — доисторических обитателей тундры. Ранее перевезенные на Таймыр овцебыки из Канады отлично акклиматизировались на новом месте и благополучно перенесли тяготы полярной ночи. Теперь на побережье озера пасется два стада возвращенных на свою древнюю родину животных. На Аляску овцебыков когда-то завезли из Гренландии, а на островах Канадского арктического архипелага они живут с незапамятных времен.

Человек вновь проявил интерес к животным, только на смену охотникам пришли ученые. Оказывается, овцебыки легко одомашниваются. В Америке, в Канаде с 50-х годов проводятся опыты по приручению лохматых отшельников

Севера. В 70-х годах на острове Шпицберген норвежские ученые организовали экспериментальную ферму, где также начали разводить овцебыков. А выгода в этом деле немалая: мясо овцебыков вкусное и питательное. Может быть, самок научатся еще и доить. Тогда не нужно будет в северные города завозить дорогих и абсолютно не приспособленных к жизни в тундре коров, не нужно везти целые стога сена, тонны комбикормов. Ведь одомашненные стада овцебыков могут пастись в холодной тундре круглый год.

Установлено, что одно животное сбрасывает ежегодно два-три килограмма тонкой и прочной шерсти, которая пока бесцельно разносится по тундре. Возможно, в будущем люди будут стричь овцебыков, как стригут сейчас овец.

Пока это все, конечно, только взгляд в будущее, но вполне реальный. Пройдет лет сорок — пятьдесят — и на просторах Таймыра вместе с оленеводческими совхозами появятся и овцебыководческие.

Сейчас для возрождения утраченного вида арктической фауны на Таймыре заповедана большая территория, где овцебыки будут спокойно пастись под наблюдением ученых — биологов и охотоведов...

Кончилось мое пребывание на Таймыре. После путешествия по студеной земле я возвращаюсь в Москву. Не спеша развернувшись над норильским аэропортом, самолет взял курс на запад. Внизу медленно проплывала молчаливая тундра, которая уже не казалась одинокой и безжизненной.

Здесь оставался Норильск.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Б. СВЕТАИЧНЫЙ



## ГОРОЖАНИН И СРЕДА

«**М**ы все космонавты, все до одного. Мы летим на космическом корабле под названием Земля, совершающем свое бесконечное путешествие вокруг Солнца. Наш благословенный корабль снабжен системами жизнеобеспечения столь остроумными, что они самообновляются, и столь щедрыми, что они могут удовлетворять потребности миллиардов людей.

Испокон веков мы принимали их как нечто само собою разумеющееся, считали их возможности безграничными. Наконец мы решили произвести ревизию, и первые же ее результаты внушают тревогу. Ученые предупреждают, что нам грозит беда. Если мы не перестанем злоупотреблять нашими системами жизнеобеспечения, они попросту откажут. Мы должны следить за их сохранностью, иначе нас ждет наказание, и это наказание — смерть...»

Эта выдержка взята из статьи «На пути к экологической катастрофе», опубликованной в Вашингтонском «Нэшнл джиографик мэгэзин».

Откуда такая крайняя тревога? Чем она порождена? Это парадоксально, но современная индустриальная революция, двинувшая человечество далеко вперед по пути технического прогресса и производства массы материальных благ, вдруг неожиданно повернулась к нему другой своей стороной.

В современном мире, и в особенности в странах капитализма, большая часть населения и подавляющая часть промышленности сосредоточена в крупных городах. А когда огромный город окружен и начинен внутри сотнями крупных предприятий, которые днем и ночью, словно рукотворные вулканы, извергают в атмосферу миллионы кубометров газа, за одни лишь сутки сбрасывают на головы людям десятки большегрузных самосвалов пыли и золы, когда на улицах большого города за один лишь день сгорают эшелоны цистерн с бензином, — это не место для нормальной жизни человека.

Во многих крупных капиталистических городах отравление атмосферы стало буквально устрашающей проблемой. О ней не перестают говорить на сотнях международных встреч и конференций. Загрязнение воздуха приводит порою к катастрофам, подобным большим стихийным бедствиям.

В газетах США можно часто встретить упоминание о смоге. Что это такое? Образованию его обычно способствует так называемая температурная инверсия — атмосферное явление, которое препятствует нормальной циркуляции воздуха. Бывали периоды, когда затянувшаяся температурная инверсия над Нью-Йорком уносила сотни человеческих жизней.

Смог разъедает нейлоновые чулки в Чикаго и Лос-Анджелесе, разрушает исторические каменные памятники и здания в Венеции и Кельне. Быстро развивающийся индустриальный Денвер, многие годы гордившийся своим кристально чистым воздухом, сейчас постоянно окутывается густым туманом, смешанным с дымом и копотью.

Десять десятых загрязняющих воздух примесей в США состоят в основном из невидимых, но крайне опасных газов, большую часть которых составляет окись углерода, выбрасываемая в основном через выхлопные трубы автомобилей и авто-

бусов. На втором месте находится окись серы, выделяемая при сжигании на электростанциях и заводах угля и нефти с большим содержанием серы.

Заметим, что внутренняя поверхность легких человека, их альвеольно-капиллярной «мембраны», через которую происходит обмен газов между наружным воздухом и венозной кровью, огромна. Она достигает девяноста квадратных метров. И вот на всю эту поверхность, покрытую нежнейшей пленкой, пронизанной кровеносными сосудами, при каждом вдохе устремляется, налипает и въедается в нее вся пыль и нечисть, содержащаяся в загрязненной атмосфере. Как выдержать эту постоянную осаду, если древний египетский обелиск, высеченный из крепчайшего камня, — Игла Клеопатры за девяносто лет пребывания в одном из парков Нью-Йорка подвергся большому разрушению ядовитыми газами и кислотами, чем за все три тысячи лет в Египте! Подсчитано, что каждый день только один город Нью-Йорк извергает в воздух более 4 тысяч тонн окиси углерода, более 3 тысяч тонн двуокиси серы, около 300 тонн промышленной пыли.

Особенно угрожающие масштабы приобрело загрязнение воздуха в Лос-Анджелесе, славившемся когда-то идеальными природными условиями. Теперь он первый на планете по насыщению автомобилями.

Нельзя сказать, чтобы встревоженные горожане ничего не предпринимали для охраны своего здоровья. Под их давлением власти округа Лос-Анджелеса создали специальный комитет и предоставили ему полномочия пресекать случаи загрязнения воздуха. Комитет сделал немало — привлек к суду нарушителей постановлений, закрыл мусоросжигательные печи, после чего власти начали вывозить мусор за шестьдесят пять километров от города. На нефтеперегонных заводах установлено оборудование для снижения содержания серы, улавливания и повторного использования зловонных отходов.

Однако, вместо того чтобы исчезнуть, сетует «Тайм», бурый удушливый туман стал еще хуже. Виновники этого — 3 750 тысяч автомобилей Лос-Анджелеса, производящие 12 420 тонн из общего количества в 13 730 тонн примесей, выбрасываемых ежедневно в воздух над округом.

За последние пять лет в Японии каждый третий житель получил какое-нибудь заболевание вследствие загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства.

В Токио полисмен-регулирущик вынужден время от времени оставлять свой пост, чтобы в специальном помещении глотнуть кислорода.

Не случайно здесь вновь ставится вопрос о перенесении столицы из этого гиблого города в другое место. Одни предлагают разместить ее на склонах пока еще чистой Фудзи, другие — на искусственном острове, который можно было бы насыпать в Токийском заливе. Океан занял слишком много места, и его нужно потеснить. Правительство отпускает миллиарды иен для срочного исследования этой проблемы. К сожалению, вопрос решается по принципу: испортил одно место — занимай другое...

Горько слышать, но даже в Афинах, чтобы спасти от разрушения растворенными в воздухе кислотами бесценный памятник архитектуры — Парфенон, всю его поверхность собираются покрыть прозрачной полимерной пленкой... А по свидетельству лондонской «Обсервер», с каждым вдохом житель города, «не ведая того, получает «допинг» в виде двуокиси серы, углекислого газа и свинца».

Обличительные разоблачения на страницах прессы капиталистических стран звучат часто как глас вопиющего в пустыне. Воздух остается таким же прокопченным. Потребовалась настоящая катастрофа в Лондоне, чтобы вывести городские власти из состояния самоуспокоенности: «великий лондонский туман» 1952 года «в течение одной недели унес 4 тысячи жизней, еще несколько тысяч погибли в последующие три месяца. Только четыре года спустя появился «закон о чистом воздухе». Тем не менее в декабре 1962 года катастрофа повторилась. На этот раз «погибло 750 лондонцев», свидетельствует пресса.

Кто же повинен в отравлении атмосферы и кто должен отвечать за это? Весьма характерный ответ на эти вопросы дает вышедшая в США книга «Исчезающий воздух». В заключительной главе ее ученый Дон Эспозито пишет: «Надежды

людей на чистый воздух наталкиваются на обман. на сговор промышленных корпораций, которые используют свое влияние на государственных деятелей... Надежды на чистый воздух убиваются уступками правительства, могучим нажимом промышленников на конгресс и на государственные агентства, призванные бороться за чистоту воздуха». Поставщики нефтепродуктов в США оказывают яростное сопротивление внедрению электромобилей, которые несут угрозу их огромным прибылям. Упорные сражения по вопросу об очистке бензина от вредных примесей происходят в Англии, где воротилы нефтеперерабатывающей промышленности предпочитают травить людей, но не нести расходов на очистку... Руководствуясь тем же принципом, в погоне за максимальной прибылью продолжают отравлять воду и воздушную среду промышленные концерны ФРГ.

Для советской социалистической действительности немислимо подобное отношение к проблеме защиты среды.

В наших городах здоровье человека охраняет целая система законов, санитарных норм и правил. Год от году все большее влияние на оздоровление городов и окружающей среды будет оказывать принятое в 1973 году постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов.

Если в нескольких словах выразить суть и главное содержание основных направлений развития народного хозяйства СССР на предстоящую пятилетку, то это — забота о благе советского человека.

Для архитекторов, градостроителей, врачей-гигиенистов одной из главных задач будет всемерное и неотложное оздоровление городской среды.

Уже сейчас в городских поселениях нашей страны живет более 150 миллионов человек, а лет через пятнадцать эта цифра возрастет до 200 миллионов. Поэтому вопрос о наиболее целесообразном устройстве городов становится все более важным, так как от этого устройства в огромной степени зависит благополучие их населения.

За последние годы в области оздоровления воздушного бассейна городов у нас проводится огромная работа, о которой подробнее мы еще будем говорить. В частности, на ТЭЦ, в промышленных и коммунальных котельных широким фронтом идет замена угольного топлива менее токсичным — жидким топливом и почти безвредным газом. На тысячах промышленных предприятий вводятся в действие пылеулавливающие и газоочистные установки.

Предпринимаются поистине грандиозные усилия для очистки воздушной среды в наших городах. Но было бы наивным полагать, что загрязнение среды — явление очень тревожное для всей планеты — не коснулось наших городов. Неослабное внимание партии, правительства к этой проблеме обязывает особенно нетерпимо относиться к любым нарушениям в данной области, зорко следить за тем, чтобы подобных нарушений становилось все меньше и меньше.

Сложность и противоречивость явления, о котором идет речь, состоит в том, что оно в конечном счете рождено и ежечасно продолжает порождаться современной технической революцией и уже сейчас превратилось во всеобъемлющую, глобальную проблему — в полном смысле в «проблему века», перед которой нередко встает в тупик и сама, казалось бы, всемогущая, научно-техническая революция, призванная служить на благо людям.

В самом деле: мы изобретаем и производим все новые и новые очистные установки для обезвреживания промышленных отходов. Но вместе с тем усиленно растет и сама промышленность — химическая, металлургическая, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, цементная. Она дает людям много полезной продукции, но она же заражает воздух, воду, землю. Два начала — доброе и злое — постоянно борются друг с другом, и победа пока еще далеко не всегда остается за «добром». Больше того — мы нередко читаем тревожные сообщения на эту тему на страницах наших журналов и газет. Многие предприятия Свердловска, например, сбрасывают в реку Исеть сточные воды, насыщенные маслами и нефтепродуктами. Концентрация их с каждым годом увеличивается. Когда-то

прозрачная, богатая ценной рыбой Исеть ныне превращается в поток мутной воды, где трудно обнаружить какую-либо живность. Такое постигает не одну уральскую реку. Вблизи Красноуральска течет Айва, впадающая в Салду. Не пытайтесь закидывать в нее удочку, в такой «воде» рыба не водится.

Печать сообщает, что многие населенные пункты, расположенные на берегах Белой, Камы, вынуждены использовать отдаленные источники водоснабжения, так как брать воду из этих рек небезопасно. Такие крупные реки, как Волга, Обь, Енисей, Урал, Северная Двина, на некоторых участках сильно загрязнены. О многих небольших речках в промышленных районах и говорить не приходится.

Во многих случаях неблагоприятно обстоит дело и с охраной атмосферного воздуха. Концентрация взвешенных частиц окиси углерода, сернистого газа, а кое-где окислов азота и других вредных газов иногда намного превосходит предельно допустимые нормы.

Прискорбно то, что нередко мы сами портим наши города. Возьмем для примера один из характерных в этом смысле городов — центр индустриального Кузбасса Новокузнецк. Он возник и рос вместе с нами, своими руками мы рыли котлованы для его домен и мартеновских печей, сами закладывали первые дома. За сорок с лишним лет он превратился из заводского поселка в город, где живет более полумиллиона жителей.

Его судьба была у нас в руках, он мог бы стать образцом градостроительного мастерства и гигиены. А сколько в нем сделано ошибок, которые теперь так трудно исправлять.

Уже первый городок строителей, Верхняя Колония, был построен на склоне горы, прямо над площадкой завода. Сначала казалось, что жить здесь, поблизости от работы, на солнечном пригорке, хорошо и удобно. Однако скоро строительная площадка превратилась в действующий комбинат, где год от году строились все новые доменные печи и мартеновские цехи, расширялась заводская ТЭЦ. Трубы завода окутывали прилегающую местность дымом и пылью; в конце концов пришлось искать другое место для жилья, а поселок постепенно переносить на новую площадку.

Почти то же произошло и с Нижней Колонией, построенной с другой стороны, прямо у городской ограды. Правда, теперь и этот поселок выносятся подальше от заводских дымов.

После войны тогдашнее руководство Министерства черной металлургии решило построить в Новокузнецке, и без того перенасыщенном заводами, большую агломерационную фабрику металлургического комбината. Это явилось для горожан неприятной новостью, ибо новая фабрика закрывала «открытое окно» — в сторону широкой и зеленой поймы многоводной Кондомы. Несмотря на все протесты города, министерство настояло на своем.

В последующем, чтобы расселить возрастающее население города в более благоприятных условиях, пришлось построить дорогостоящий мост через реку Томь и осваивать на ее левом берегу «Ильинскую площадку» для нового городского жилого района.

Конечно, вредные выделения выбрасываются в воздух с частичной очисткой, однако дело в том, что в мире нет еще технических решений для полной очистки промышленных газов от окиси углерода, сернистого и серного ангидридов, окислов азота, фенолов и некоторых других веществ. Учитывая это, до 2000 года из двухкилометровых санитарно-защитных зон в Новокузнецке намечается вынести более пятисот тысяч квадратных метров, или около половины всей расположенной в них жилой площади, — прежде всего малоэтажные и малоценные дома.

Мы привели в пример Новокузнецк, но многое из сказанного можно отнести и к некоторым другим промышленным центрам.

Город Губаха на первых порах строился рядом с промышленными предприятиями, а предприятия — без очистных сооружений. Правда, все это делалось «временно» и «в порядке исключения». Но вот минули годы — и пришлось перенести жилые районы на другое, здоровое место. Стоимость этой операции определе-

на равной стоимости строительства самих предприятий. В Новокузнецке на организацию санитарно-защитных зон вокруг предприятий с компенсацией сносимого жилищного фонда будут затрачены немалые суммы.

В наши дни порой приходится слышать упреки в «недалековидности» такой градостроительной политики. Однако надо помнить, что в предвоенные годы такая «политика» подчас порождалась рядом обстоятельств. Прежде всего крупных предприятий в городах строилось не так уж много. Эффективных способов очистки отходящих газов и сточных вод от многих вредных примесей еще не было, а необходимая для этого промышленность только зарождалась. Да и обходилась очистка очень дорого — ведь даже и сейчас стоимость очистных сооружений часто составляет до 30 процентов стоимости основного технологического оборудования. Если же учесть ограниченные возможности нашей экономики в те годы, необходимость максимально развивать тяжелую промышленность в условиях нарастающей военной опасности и экономить для этого каждую копейку, то станет ясно, что во многих случаях мы иначе поступать тогда и не могли. Примерно то же можно сказать и о первых послевоенных годах, когда нам снова приходилось напрягать все силы на восстановление промышленности и городов, разрушенных войной.

Теперь другое дело: методы очистки промышленных выбросов далеко продвинулись вперед, для их обезвреживания и улавливания ценных компонентов из отходов производства создана специальная отрасль промышленности и главное — нет такой необходимости экономить на строительстве очистных сооружений. Больше того — ныне государство строго запрещает подобную «экономию». В сметах строительства заводов всегда предусматриваются средства на очистные сооружения, без которых ввод в эксплуатацию предприятий считается недопустимым.

Чем же объяснить, что и до сей поры мы бьем тревогу по поводу некоторых грубых нарушений санитарных норм и правил?

Конечно, иногда подобные явления все еще объясняются нехваткой оборудования. Мощности заводов, производящих очистные сооружения, не всегда достаточны, и сейчас поставлена задача их интенсивного развития, а вместе с тем и дальнейшего совершенствования технологии самой очистки. Однако во многих случаях причина — местные, узковедомственные интересы, отсутствие производственной культуры и ответственности.

Именно поэтому неудовлетворительно организована очистка сточных вод на некоторых содовых и нефтеперерабатывающих заводах, химических и целлюлозно-бумажных комбинатах. Нередко уже возведенные очистные сооружения не работают либо действуют неэффективно. Опасность такого положения станет очевидной, если учесть, что количество сбрасываемых в водоемы промышленных сточных вод постоянно возрастает. Известно, например, что удельный (суммарный по всему технологическому циклу) расход воды на производство одной тонны чугуна составляет сейчас 250 кубических метров, а к 2000 году достигнет примерно 400 кубометров. Производство тонны синтетического волокна требует расхода 500 кубических метров воды, а на тонну хлопчатобумажных тканей идет от 300 до 1100 кубических метров! Эти отрасли промышленности непрерывно развиваются, темпы же очистки сточных вод нередко отстают со всеми в буквальном смысле «вытекающими» из этого неприятными последствиями.

В деле санитарного оздоровления городов Министерству здравоохранения предоставлена вся полнота власти вплоть до закрытия действующих вредных производств. На него возложена ответственность за здоровье десятков миллионов граждан, которые вправе надеяться, что при строгом надзоре никто не сможет причинить им вреда, не понеся заслуженной кары. Для этого государство создало специальную службу с целой армией санитарных врачей.

К сожалению, некоторым представителям санитарного надзора недостает в их работе должного характера и гражданского мужества. Подчас они не выдерживают, уступают мощному нажиму влиятельных хозяйственников и зачастую позволяют не считаться с собой. А считаться ведь должны. Ныне соответствующие законы направлены к тому, чтобы виновные в их нарушении привлекались к ответ-

ственности как за уголовные деяния. Примеров строгого наказания за нарушения санитарных требований уже немало.

До последнего времени главный метод защиты городов от вредного воздействия промышленных выбросов заключался в том, что между заводами и жилой застройкой устанавливались определенные зоны санитарного разрыва. Они принимались по нормам — от пятидесяти метров до двух километров и более, в зависимости от характера производства и количества выбросов. Такие разрывы и раньше было соблюсти непросто. Теперь же, при строительстве огромных химических заводов, вырабатывающих совершенно новые виды продукции, иногда требуются разрывы в пять, десять, пятнадцать и даже больше километров. Но и это часто не дает должного эффекта. Да и выполнение подобных требований в ряде случаев стало практически невозможным. В так называемых зонах вредности пропадают зря огромные массивы сельскохозяйственных земель, ценнейшие для застройки территории. И здесь, видимо, наука еще должна сказать свое слово.

Большие санитарные разрывы увеличивают расстояния до мест работы, протяженность и стоимость дорог и транспортных путей, магистральных линий водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплофикации, связи. А вредные отходы, как сернистый газ, хлор или фтористые соединения, резко сокращают урожайность сельскохозяйственных культур. Сколько же ценных продуктов вместе с газами и пылью в буквальном смысле слова вылетает в трубу!

Отсюда ясно, что пассивное бегство от промышленных вредностей все дальше и дальше в наше время научно-технической революции должно уже рассматриваться как дань отсталости в производстве, как анахронизм, с которым надо бороться. Да и вообще один лишь вынос предприятий за пределы городов не может разрешить проблему.

Радикальное решение санитарного оздоровления наших городов должно пойти по новому, прогрессивному пути. Это обезвреживание и утилизация промышленных выбросов, пылеулавливание, герметизация вредных производств, изыскание более совершенных методов очистки сточных вод, дымов и газов, применение «кругооборота» в использовании воды, применяемой на технологические нужды, внедрение новых технологических процессов производства, переоборудование вредных предприятий, расположенных вблизи жилых районов, под выпуск безвредной продукции, замена твердого и жидкого топлива газом.

То, что достигается такими комплексными методами, можно показать на примере Москвы. Только за последние годы в нашей столице газифицировано около 1500 промышленных и коммунальных объектов, ликвидировано более 4 тысяч мелких котельных, построены очистные сооружения на 780 промышленных предприятиях и в автохозяйствах. На московских предприятиях эксплуатируется в настоящее время свыше 7 тысяч пылеулавливающих установок. Свыше 300 предприятий, вредных в санитарном отношении, либо реконструированы, либо их производство в пределах города вообще прекращено. Благодаря очистке сточных вод на набережных Москвы-реки прямо в центре города рыбаки снова удят рыбу...

Сейчас Москва — одна из наиболее чистых и здоровых столиц в мире. Некоторые зарубежные гости с трудом могут поверить, что в ней расположены тысячи предприятий, дающих значительную долю всей огромной промышленной продукции страны. В атмосфере Москвы почти нет взвешенной пыли и дыма, а содержание окиси углерода уже сейчас в два раза ниже, чем в Лос-Анджелесе, в три раза ниже, чем в Вене, в пять раз ниже, чем в Мюнхене, почти в десять раз ниже, чем в Лондоне и Риме. И все же сделать предстоит еще очень многое. Нижнее течение Москвы-реки в пределах города все еще сильно загрязнено мутными водами Яузы, Сетуни, Чуры, Котловки и других.

Большая оздоровительная работа ведется в десятках и сотнях других промышленных городов. Хочется сказать несколько добрых слов и о Новокузнецке, который приводится здесь в качестве одного из самых незавидных примеров. Горисполком разработал план комплексных мероприятий по оздоровлению среды на предстоящие годы, который успешно претворяется в жизнь. Генеральным планом



города предусматривается постепенно довести концентрацию всех вредных промышленных выбросов до санитарно допустимых норм.

Если говорить о будущем, то главной целью в области защиты окружающей среды от вредных выбросов промышленности должно быть создание такой технологии производства, при которой все компоненты и «отходы» этого производства, и полезные и «вредные», в конечном счете полностью использовались бы, превращаясь в нужную для народного хозяйства продукцию. Такое производство имеется уже сейчас, например, на некоторых мясокомбинатах. Много ценных побочных продуктов может быть получено в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, горнообогатительной промышленности.

Это настоятельное требование времени. В противном случае при огромных и непрерывно возрастающих масштабах производства строительство все более мощных, сложных и дорогих очистных сооружений в значительной степени сведет на нет экономический эффект от самой промышленности.

Остановить этот разорительный и, в сущности, малопродуктивный процесс можно только кардинальным изменением стратегического направления борьбы с промышленными вредностями — путем создания «безотходных» производств.

Казалось бы — какое влияние может оказать новая технология производства на устройство и архитектуру городов, на образ жизни их обитателей? А между тем при безотходном производстве все это изменится радикальным образом, потому что заводы можно будет размещать уже не на далеких городских окраинах, а прямо в «теле» города, среди жилых районов. При этом исчезнет наконец извечный бич работающего населения — так называемые челночные поездки на работу и обратно и ставшая уже серьезной проблемой «транспортная усталость». Резко сократится потребность в городском транспорте и расходы на его устройство, жители сэкономят массу драгоценного времени, а заодно и средств на бесполезные передвижения, используя дополнительный досуг для отдыха, воспитания детей, для спорта и культурных развлечений. Заводы же превратятся в светлые, красивые сооружения среди зелени деревьев, с необычной, впечатляющей архитектурой, которую дают возможность создать многообразные процессы различных производств.

...Автомобиль! Символ XX века — блестящее олицетворение техники и образа жизни нашего времени. Гордость человечества, обретшего наконец веками вивавшую в мечтах безграничную свободу передвижения.

И вместе с этой новоявленной свободой сколько породил он неожиданных проблем! В те теперь уже давние времена, когда создавались первые моторы, их конструкторам и в голову не приходило, что в нашу пору мировой автомобильный парк достигнет фантастической цифры в 250 миллионов машин, а поток автомобилей до краев захлестнет крупнейшие поселения планеты и катастрофически отравит их атмосферу. «Белый смог» от разлагающихся в солнечных лучах автомобильных газов стал бичом японских крупных городов. Здесь на улицах для задыхающихся пешеходов уже можно видеть автоматы, продающие несколько «затяжек» чистым воздухом...

Непроста эта проблема и у нас.

Даже сейчас, когда наши города еще сравнительно слабо насыщены автотранспортом, через наиболее напряженные их магистрали в часы пик проносятся по две-три тысячи и более автомобилей в час, и, судя по сложившейся тенденции, это количество непрерывно возрастает. К 1980 году, согласно предварительным прогнозам, автомобильный парк наших городов увеличится в три-четыре раза. Такие темпы автомобилизации страны обязывают незамедлительно готовиться к ее последствиям. В данном случае речь пойдет не о ликвидации заторов транспорта (это особая проблема), а о борьбе с загрязнением воздуха выхлопными газами машин. Ведь в некоторых наших городах уже теперь содержание вредных примесей в уличном воздухе во много раз превышает уровень предельно допустимых норм. Расчеты говорят, что если своевременно не принять необходимых мер, то к 1980 году концентрация этих вредных газов увеличится еще в 2—2,5 раза. Как

отвести нависшую угрозу? Однозначного ответа, к сожалению, здесь нет. Нужен целый комплекс продуманных технических, градостроительных и организационных мер.

Прежде всего необходимо совершенствовать сами транспортные средства. Известно, что при неотлаженном двигателе количество токсичных веществ в выхлопных газах, главным образом окиси углерода, примерно в пять раз больше, чем при исправном, а между тем, как показывает практика, до 90 процентов всех находящихся в эксплуатации автомобилей обычно работают именно с неотлаженным мотором. Следовательно, уже только одно несложное мероприятие по организации надлежащего содержания и профилактического контроля за состоянием машин может дать весьма существенный эффект.

Еще большее значение имеет обезвреживание выхлопных газов, для чего применяются так называемые дожигатели, или нейтрализаторы, окиси углерода, углеводородов и других органических соединений — альдегидов, теряющих при окислении свои токсические свойства. Это платиновые или палладиевые катализаторы, ускоряющие реакцию окисления. Первые устанавливаются на дизельных двигателях, вторые — на бензиновых. Уже существующие конструкции дожигателей гарантируют уменьшение вредных выбросов в два раза, а при их совершенствовании смогут увеличить степень очистки выхлопных газов до 85—95 процентов, причем долговечность дожигателей возрастет с 40 тысяч до 160 тысяч километров пробега машины. Хотя эти приборы и у нас и за границей применяются уже довольно энергично, однако до оборудования ими всего автопарка еще очень далеко. Существуют и другие типы нейтрализаторов — жидкостные, керамические, комбинированные.

Большую опасность, особенно для детского организма, представляют содержащиеся в выхлопных газах соединения свинца, который добавляется к этилированному бензину в качестве антидетонатора, препятствующему взрыву топливной смеси.

Сейчас вместо свинцовой начали применять марганцевую присадку, токсичность которой примерно в сто раз меньше, то есть практически отсутствует. Применение марганцевого антидетонатора позволит к тому же использовать во всех случаях более дешевые палладиевые нейтрализаторы, что значительно облегчит решение проблемы обезвреживания выхлопных автомобильных газов.

Однако существует и другой не менее перспективный путь снижения их токсичности. Это перевод двигателей автомобилей и автобусов на сжиженный или сжатый природный газ. При сгорании он дает в два-три раза меньше вредных продуктов горения, чем традиционные виды топлива. В Москве уже принято и начинает претворяться в жизнь решение о переводе в ближайшие годы на сжиженный газ всего автотранспорта города, что сделает атмосферу города еще более чистой и здоровой. Особенно большой эффект должен дать перевод на новый вид горючего городских автобусов. Это прогрессивное начинание вызвало живой интерес и отклик во многих крупных зарубежных городах.

Большое значение имеет и модернизация самих моторов. Сейчас над совершенствованием автомобильных двигателей работают конструкторы во многих странах мира. Энергичная работа в этом направлении ведется и у нас. В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте создано принципиально новое устройство для уменьшения загрязнения автомобилями атмосферы токсичными веществами, основанное на регулировании процесса горения топлива. Уже сейчас оно запатентовано во всех крупнейших «автомобильных» странах мира. Его применение обеспечивает уменьшение выброса автомобилями окиси углерода на 25—40 процентов, других вредных веществ — в несколько раз. Изобретенное устройство по размерам не превышает десяти сантиметров, весит меньше пятисот граммов, может устанавливаться как на новых, так и на старых автомобилях, экономит много топлива, и особенно моторного масла, и практически не увеличивает стоимости двигателя.

Успешно проводятся экспериментальные работы с так называемым форкамерным зажиганием.

В Венгрии сконструировали автобус-гибрид. При нормальном ходе его небольшой дизельный двигатель с электрогенератором дает ток электромотору, приводящему в движение колеса. При увеличении нагрузки дополнительно вступает в действие аккумулятор, зарядка которого производится при движении на холостом ходу. Загрязнение воздуха при такой конструкции в десять раз меньше, чем при пользовании дизельными двигателями. В печати сообщалось также об испытании «чистого» двигателя в США, топливом для которого служит смесь воздуха, газообразного водорода и паров бензина.

Однако надо сказать, что все это хоть и эффективные, но только полумеры. Радикальный путь оздоровления городской атмосферы от выхлопных газов — это, в конечном счете, окончательный отказ от автомобильных двигателей внутреннего сгорания и замена их электрическими двигателями. Над этой проблемой сейчас упорно работают во всех «автомобильных» странах мира. Давно уже проходят испытания электромобили и у нас. По некоторым данным, на всей планете уже насчитываются многие десятки тысяч машин с аккумуляторными двигателями, но заменить автомобили они пока еще не в состоянии. До сих пор все дело было в малой емкости аккумуляторов, их громоздкости и большом весе. Наибольшей мощностью обладают серебряно-цинковые аккумуляторы, но их стоимость слишком велика для массового применения. На обычных же аккумуляторах электромобили пока дают скорость лишь в пределах до 60—70 километров в час, а их пробег без подзарядки не превышает сотни километров. Для массового городского транспорта эти характеристики, конечно, неприемлемы.

Многие западные фирмы работают над усовершенствованием обычных свинцово-кислотных батарей, надеясь увеличить их энергоемкость в полтора раза. Интенсивно разрабатывается новый тип цинково-воздушной батареи с энергоемкостью в пять раз большей, чем у обычных батарей, хотя и обладающей другими недостатками. Еще большую энергоемкость обещают дать серно-натриевые батареи, создаваемые, например, фирмой «Форд».

По-видимому, проблема замены автомобилей электромобилями радикально будет решена лишь после нового крупного научного открытия, которое позволит преодолеть существующий сейчас на этом пути принципиальный технический порог. Предвидеть сроки такого открытия, как и всякого открытия вообще, к сожалению, невозможно. Вполне вероятно, что оно произойдет гораздо раньше, чем мы можем ожидать, и все, что нами говорилось до сих пор, окажется пессимистическим гаданьем. Буквально каждый месяц приносит все новые и новые вести об успехах на этом важном фронте. Может быть, одним из самых обнадеживающих за последнее время нужно считать сообщение о том, что у нас уже проходят испытания электромобили с пробегом без подзарядки батарей до пятисот километров! Этот электромобиль, созданный ленинградскими учеными, работает на принципиально новом электрохимическом воздушно-магниевом генераторе с электромотором.

Но и после «электромобильной» революции человечество потратит немало времени, пока сумеет заменить на новые машины четверть миллиарда добротных «старичков», на производство которых оно затратило десятки лет труда и астрономические по размерам средства.

И поэтому наряду с постоянным совершенствованием автомобилей мы должны помогать дыханию наших городов средствами их правильной планировки и озеленения, памятуя о том, что газоны, деревья и кустарники — это безмолвные санитары наших городов, друзья и неусыпные труженики, непрестанно фильтрующие и вылавливающие из городской тропосферы всяческую нечисть и поглощающие окись углерода и океаны выплеснутой машинами углекислоты. Ведь только благодаря этому мы каждое утро, выходя на улицу, снова можем полной грудью вдыхать здоровый, посвежевший за ночь воздух. Отлично помогают и широкие, прямые магистрали, по которым, словно по каналам, вливаются из озелененных пригородных зон живительные реки кислорода. Таких магистралей еще мало. Их надо создавать!

За последние десятилетия глобальной санитарной проблемой крупных городов стал... мусор! Если ежедневно, ежечасно не освобождать от мусора дома и улицы, город немедленно погрязнет в нечистотах. И странный парадокс: чем выше уровень культуры человека, тем больше мусора он производит. Когда-то главными компонентами мусора были пищевые отходы, теперь же все большую его долю составляют бумага, газеты, журналы, металлические банки и стеклянные бутылки, а в последние десятилетия — огромное количество полимерных материалов: отслужившие синтетические ткани, изношенные трикотажные изделия и пластиковая обувь, полиэтиленовая пленка и пакеты, посуда из пластмассы и прочая продукция современной химии. Всего этого добра каждый житель большого города выбрасывает не меньше кубометра в год. Считают, что к 2000 году «продуктивность» мусора достигнет в среднем двух кубических метров на каждого горожанина. В Москве уже сейчас при 7 с лишним миллионах жителей из города ежегодно вывозится 8 миллионов кубометров бытовых отходов, или около полутора миллионов тонн. Эти исполинские горы мусора почти полностью и ныне отправляются на свалки, изобретенные нашими предками еще тысячи лет тому назад.

Но и здесь «количество переходит в качество»: свалки продолжают наступление, они «захватывают» сотни и тысячи гектаров ценных земель в окрестностях крупных городов, загрязняют их воздух, почву, водоемы, «оскверняют» окружающий ландшафт... А что же будет дальше? Ведь свалки все растут, а существуют-то они целые десятки лет — до полной минерализации отбросов. Но ни металлы, ни стекло, ни полимеры практически не минерализуются вообще и могут накапливаться бесконечно в неизменном виде. Не приходится говорить уже о том, что на уборке городского мусора занято огромное количество машин и людей при них, вывозящих мусор за десятки километров, причем расстояния эти все увеличиваются, достигая пятидесяти — шестидесяти и более километров.

Все это очень накладно для экономики любой страны. Поэтому за последние годы в передовых странах получают все большее распространение мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы. Мусор на них сначала сортируется: металлические компоненты извлекаются магнитным сепаратором, прессуются в крупные брикеты и отправляются на переплавку, органические вещества обычно тоже отбираются и перерабатываются в специальных биокамерах с помощью бактерий в компост для удобрений, стекло дробится, а бумага, тряпки и картон, дерево и прочие горючие материалы сжигаются в котельных установках с утилизацией тепла.

Наибольшие трудности и здесь создают пластмассы. Они плохо горят, сильно заплавливают и выводят из строя колосниковые решетки, а при сгорании выделяют зловонные дымы и вредные химические соединения, которые пока почти не поддаются очистке.

Проблемы эти повсюду одинаковы. Вот что писал по этому поводу вашингтонский «Нэшнл джиографик мэгэзин»: «В прошлом году американцы выбросили 50 миллиардов жестянок из-под консервов, 30 миллиардов стеклянных банок и бутылок, 4 миллиона тонн пластмассы. Куда все это делось? Главным образом на свалки. Сжигание имеет свои трудности: значительная часть мусора не горит, к тому же при сгорании некоторых пластиков образуется ядовитый дым. Свалки тоже создают проблемы. Химические вещества могут загрязнять грунтовые воды, а гниющий мусор выделять метан. Находить места под городские свалки становится все труднее».

Как сократить астрономическое количество выбрасываемых бутылок? В Швеции эту проблему пытаются решить путем изготовления пластмассовых бутылок для пива, которые после опорожнения выбрасываются и постепенно под воздействием ультрафиолетовой радиации солнца распадаются до пылевидных частиц. Ученые в США и других странах также работают над созданием бутылок, которые могли бы распадаться под действием солнечного света или растворяться в воде.

Даже ученые-атомники заняты проблемой уничтожения мусора. Они хотят создать мусоросжигательную печь, в которой будет использована управляемая

термоядерная реакция для создания температур порядка миллионов градусов. При таких колоссальных температурах мусор должен испаряться, оставляя после себя исходные элементы, такие, как железо, медь или кремний, которые можно будет использовать повторно. Не знаю, насколько эффективной будет подобная «стрельба» по мусору из термоядерных орудий, однако так или иначе эти планы наглядно говорят о значении, которое приобрела сама проблема.

Но это дело будущего. А сейчас, чтобы переработать только весь московский мусор, надо дополнительно к имеющимся двум построить около пятнадцати больших заводов стоимостью в несколько миллионов рублей. И все же пока это единственный реальный путь решить проблемы, связанные с обезвреживанием и уничтожением гигантской массы городских отходов, предотвратить дальнейшее загрязнение городских окрестностей и захламенение ценных городских земель.

Правда, в той же Швеции сбор и утилизация мусора кое-где превращена в доходный бизнес. Существуют фирмы, которые по договорам с домохозяйками вручают им разноцветные целлофановые мешочки: в красный хозяйки собирают пищевые отходы, в желтый — картон, бумагу, хлопковое тряпье, а в синий — бутылки, банки, пластмассы и синтетику. За рассортированный в таком порядке мусор сборщики платят хозяйкам какую-то мизерную мзду, зато фирма получает готовое для утилизации сырье.

Следует признать, что советским людям едва ли импонирует такой скрупулезный педантизм. Однако «широта натуры» превращается подчас в нерасчетливость и бесхозяйственность, в результате которых в мусоропровод летит все без разбора, превращаясь в nepотребную смесь картофельных очистков, разброуших газет, старой обуви и битого стекла...

И все же проблема требует крупномасштабного, индустриального решения.

В ближайшие десятилетия мы окажемся свидетелями резких изменений и в транспортировке мусора. Вместо армии людей и машин, занимающихся этим дорогостоящим и к тому же «грязным» делом, создаются автоматизированные системы пневматического мусороудаления из домовых сборников и транспортировки бытовых отходов по подземным трубопроводам непосредственно к мусороперерабатывающим заводам или к районным накопительным станциям, откуда мусор будет отправляться на заводы специальным большегрузным транспортом.

Первую такую пневматическую систему централизованного мусороудаления у нас намечается построить в ближайшие годы в Москве, в экспериментальном жилом районе Северное Чертаново. Потом такие же гигантские «пылесосы» для целых городских районов возникнут и в других местах.

И еще одна острейшая проблема — шум!

Рождена она опять-таки современной машинной революцией! Подавляющая часть всех шумов в крупных городах создается транспортом, причем интенсивность этих шумов с каждым новым десятилетием нарастает не менее чем на 20 процентов.

Максимально допустимым уровнем шумового фона в городах медики считают 30—40 децибел А. Это примерно такой шум, который ощущает человек в квартире при закрытых окнах на малооживленной улице с небольшим движением. «Допустимым» он считается потому, что не вызывает заметного нервного раздражения и утомления, к такому шуму можно привыкнуть, «не обращать на него внимания», при нем можно более или менее нормально спать и даже при длительных воздействиях он не вызывает явных болезненных явлений.

Зато всякое дальнейшее увеличение «звукового давления», особенно при длительном его воздействии, человеческий организм переносит очень болезненно даже тогда, когда мы этого непосредственно как будто бы не ощущаем.

Установлено, что уже при звуковом давлении в 60 децибел возрастают расстройства эндокринной системы, значительно увеличивается число неврозов и психозов. Недаром еще в некоторых городах древней Греции запрещались громкие звуки ночью, а кузнецам и жестянщикам разрешалось работать только за

пределами города. Чем громче звук, тем сильнее он травмирует организм: при длительном шуме в 90 децибел может нарушиться слух, а за пределами 120 децибел шум вызывает уже физическую боль и становится невыносимым.

На современных транспортных магистралях поток автомобилей создает звуковой фон напряженностью до 90 децибел и даже более.

Чем дальше наука углубляется в изучение влияния шума на здоровье человека, тем к более тревожным выводам она приходит. Сейчас уже считается бесспорным, что даже сравнительно небольшой шум крайне затрудняет умственную, особенно творческую работу, ослабляет память, притупляет внимание, резко снижает производительность труда. Особенно заметно сказывается его вредное действие на успеваемость школьников и на их нервную систему. Еще вреднее шум для маленьких детей. Во время сна травмирующее действие шума отнюдь не ослабляется, а, напротив, сказывается примерно в полтора раз сильнее, чем в бодрствующем состоянии. Не зря же испокон веков считалось, что для сна требуется полная тишина.

Не приходится удивляться пагубному действию шума на организм человека, если учесть полную незащитность его нервной системы против этого стресса, врожденную неспособность противостоять ему. Человек выдерживает все, к чему испокон веков его причила суровая природа, — голод, холод, дожди и непогоду. Но постоянного грохота и шума он вынести не может, ибо это противоестественно для его существа... И вот, как это ни странно, человек, достигший небывалых высот цивилизации и техники, сам сознательно обрушил на себя такую лавину диких звуков, которая подавила и контузила его.

Значит ли это, что человек навсегда останется незащитным перед этой гибельной лавиной? Конечно, за какие-то десятилетия он не может перестроить свой созданный природой организм, но переделать созданные им самим машины, города, порядок поведения людей он не только может, но теперь уже обязан во имя собственного бытия.

Однако шум — это враг упорный, «изворотливый», коварный. Он может быть побежден лишь при одном условии — если наступление на него вести разом по всему большому фронту, не оставляя для контратаки буквально ни одной отдушины, ни одной лазейки. Для этого нужен целый комплекс согласованных и дополняющих друг друга мер.

Мы уже говорили об электромобилях. Это транспорт будущего. Он освободит наши города не только от душливого смрада, но и в решающей степени от шума. Конструкторы работают и над другими безвредными и малошумными транспортными средствами — паромобилями, машинами с тепловыми элементами. Большое значение имело бы обязательное оборудование автомобилей, и особенно мотоциклов, высокоэффективными глушителями. Все доводы о том, что они снижают мощности моторов и вызывают повышение стоимости машин и их эксплуатации, должны быть решительно отмечены. Покупающий машину пусть знает, что он обязан оплатить устройство, защищающее здоровье окружающих, и не вправе ради личного комфорта наносить ущерб другим, а себе... В данном случае, как, впрочем, и в других, сопоставление здоровья с экономией на нем должно быть признано совершенно аморальным и потому недопустимым.

Контрнаступление на загазованность и шум можно и должно вести также средствами правильной планировки и застройки городов.

Один из важных принципов нашего градостроительства — создание жилых микрорайонов, внутри которых допускается лишь тот транспорт, который непосредственно обслуживает проживающее в них население. Однако если для жителей таких районов проблема загазованности и шума во многих случаях, можно сказать, решена, то в районах старой застройки, особенно центрах крупных городов, она приобретает все большую остроту.

Возьмем для примера хотя бы Ярославль. До революции в нем жило около 100 тысяч человек. Компактная застройка города достаточно удобно обслуживалась сходящимися к центру узкими улицами — въездами из Москвы, Углича, Рыбинска и Костромы. Ныне в Ярославле более полумиллиона жителей, застройкой

занята огромная территория в сотни квадратных километров. В городе появилось немало новых жилых районов, а вот магистральных улиц почти не добавилось. Совмещенные потоки из грузовых и легковых автомобилей, троллейбусы, автобусы, трамваи, направляясь к центру города, идут практически по тем же старым узким улицам, сотрясая расположенные на них дома грохотом. Необходимо расширять сеть магистральных улиц в городах, создавая своего рода коллекторы скоростного и грузового автомобильного движения в обход общегородского центра и жилых районов. Столь же важно форсировать строительство транзитных автодорог в обход городов, как это уже сделано в Москве, Минске, Курске, Владимире.

Представляется, что существенным недостатком генерального плана столицы, разработанного сорок лет тому назад, является отсутствие на Садовом кольце и набережных тенистых бульваров, призванных напоить соседние районы прохладным, чистым воздухом.

Как и все градостроительные ошибки, исправить эту тоже очень трудно, и все же, думаю, будущие жители Москвы когда-нибудь ее обязательно исправят. Есть для этого прекрасные примеры — хотя бы новые набережные в Куйбышеве, где из центрального района города по каждой улице можно спуститься к Волге, на берегах которой протянулись скверы, цветники, широкие благоустроенные пляжи. Великолепно выглядят выросшие на месте свалок и лабазов бульвары-набережные в Ростове-на-Дону, Волгограде и в особенности — на протяжении целых километров — в Омске. Такие примеры с каждым годом множатся.

Как помочь людям, проживающим на шумных улицах?

Прежде всего на чисто транспортных магистралях по возможности должны размещаться здания нежилого назначения — магазины, учреждения, конторы, ремонтно-бытовые мастерские и т. п., где человек проводит ограниченное время, а не живет постоянно. Ввиду того, что число подобных учреждений не так уж велико, здания для них могут быть сравнительно невысокими. Однако, располагаясь по фронту магистралей, они создадут как бы звуковые волнобои, защищая от шума расположенные в глубине кварталов многоэтажные жилые дома.

Если же на шумных магистралях все же приходится строить жилые дома, то их надо располагать не столько параллельно улице, как это зачастую делается сейчас, сколько перпендикулярно к ней. Тогда часть звуковых волн гасится торцевыми стенами, другая же, постепенно ослабевая, уйдет между ними в глубину квартала.

Некоторые думают, что от шума хорошо спасают высотные дома. Это ошибка. Увеличение этажности обычно приводит лишь к повышению стоимости домов, но не приносит заметного эффекта как средство спасения от шума. На девятом — двенадцатом этажах он практически остается таким же, что и на четвертом.

Хорошая защита от транспортных шумов — высокие деревья с густой кроной и обильным лиственным покровом. При этом пространства между ними заполняются густым кустарником. Однако такие посадки надо делать не в виде традиционных осевых бульваров, зажатых между проезжими частями улицы, а по обеим ее сторонам, создавая тем самым промежуточный заслон между проходящими машинами и окнами домов. Конечно, такой заслон более эффективен летом, но и зимой даже небольшое снежное покрытие на деревьях и газонах поглощает часть «звукового излучения».

А что же делать, если дом уже стоит на узкой шумной улице и перед ним нет ни экранирующих зданий, ни деревьев? По большей части жители таких домов в ущерб здоровью попросту смиряются с судьбой. А между тем есть полная возможность в значительной степени обезопасить их от уличного шума с помощью сравнительно несложных средств. Это прежде всего плотные оконные притворы с эластичными герметизирующими прокладками из пористых синтетических пластмасс и в особенности утолщенное оконное стекло и тройное остекление. К сожалению, такие звукоизоляционные материалы и конструкции оконных блоков у нас пока почти не производятся.

Этот пробел промышленность должна восполнить во имя сохранения здоровья миллионов горожан, многие из которых, кстати говоря, сами с готовностью оплатили бы не столь большие расходы по переоборудованию своих окон.

Радикальным же решением как в смысле звукоизоляции, так и в отношении защиты от выхлопных газов (не говоря уж о повышении скорости и безопасности движения) должны быть признаны подземные, хорошо вентилируемые городские магистрали. Конечно, устройство их требует повышенных расходов, но за ними будущее. Они освободят пространство города для бульваров, скверов, озелененных пешеходных аллей. Первые такие подземные артерии уже проектируются для Москвы и других наших крупных городов. Даже простой транспортный туннель под площадью или перекрестком заметно уменьшает шум и загрязненность воздуха.

Придет, наверно, время, когда городские магистрали будут покрываться пневматическими резино-кордными коврами, исключающими шум от машин, но это пока что только опыт.

Особо следует сказать об административных средствах борьбы с возбудителями городского шума. Надо ограничить движение грузовых машин в ночное время, особенно в жилых районах, полностью запретить после одиннадцати часов езду по городу на мотоциклах без глушителей. Подсчитано, что только один лихой мотоциклист, мчащийся по ночным улицам большого города, способен разбудить заразу более ста тысяч жителей! За неурочный шум в квартире, от которого страдают лишь соседи, у нас справедливо налагают штраф, а «пулеметный обстрел» мотоциклами целых городских районов почему-то считается в порядке вещей.

В некоторых зарубежных странах ответственность за нарушение уличной тишины весьма строгая. В штате Нью-Джерси (США) штраф за нарушение ночной тишины в городе достигает нескольких тысяч долларов; в Швейцарии считается грубым нарушением тишины хлопанье автомобильной дверцей; во Франции могут конфисковать машину, на которой совершено повторное нарушение шумового режима.

Чтобы город дышал легко и свободно, ему нужны огромные легкие. Эти легкие — пригородные леса и парки. Каждый город должен иметь зеленое окружение. Природу нужно не только эксплуатировать, но и помогать ей, неустанно обогащать ее. Сейчас ставится задача дать каждому большому городу зеленый пояс шириной не менее пяти — десяти километров. Одновременно должны вестись широкие работы по озеленению территорий самих городов. Очень многое в этой области уже делается, но это особая большая тема.

В государственных планах развития народного хозяйства специально устанавливаются задания по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. В этом году предусматривается повысить темпы водоохранного строительства, и в первую очередь сооружений по очистке промышленных и городских стоков. Будет увеличено оборотное и повторное использование воды.

На промышленных предприятиях увеличится количество установок по улавливанию вредных веществ из отходящих газов. На 11 процентов увеличится выпуск оборудования для строительства новых и реконструкции действующих очистных установок<sup>1</sup>.

Местные Советы, министерства, ведомства, руководители предприятий, строек — вся советская общественность и каждый гражданин в отдельности должны проникнуться сознанием ответственности за безусловное и повседневное выполнение этих решений.

Мы уже сказали, что проблема оздоровления окружающей человека среды — глобальная проблема и в ее решении заинтересованы все люди нашей планеты. Сотрудничество в этой области по единым согласованным программам должно

<sup>1</sup> Из доклада Н. К. Байбакова на сессии Верховного Совета СССР 2 декабря 1975 года.



принести большой успех. Широкие работы такого рода ведутся социалистическими странами в рамках СЭВ. Хорошим началом нужно считать организацию и совместную работу смешанных советско-американских групп по охране воды от загрязнений и по технологическим способам борьбы с выбросами в атмосферу от промышленных источников и транспортных средств. Совместные исследования, в частности, организуются в Ленинграде и Сент-Луисе, имеющих для сопоставления необходимые условия и экспериментальные базы. Между СССР и США происходит оживленный обмен специалистами по оздоровлению окружающей среды, и эти работы уже дают важные результаты. Развивается сотрудничество также с Францией, Швецией и другими странами.

Совместными усилиями человечества грозная «проблема века» должна быть решена.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛ. МИХАЙЛОВ



## РИТМЫ СЕМИДЕСЯТЫХ

Семидесятые годы.. Давно ли критики «прогнозировали» развитие литературы на текущее десятилетие. И вот уже первые пять лет стремительно пронеслись по рельсам 70-х, оставляя истории заметные вехи человеческой деятельности в экономической, политической и духовной жизни. Мы подводим итоги девятой пятилетки, ставшей важнейшим шагом во внутреннем развитии страны, важнейшим шагом на пути строительства коммунизма, и сейчас, в дни XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза, вспоминаем слова из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии. «С продвижением нашего общества по пути коммунистического строительства,— говорилось в нем,— возрастает роль литературы и искусства в формировании мировоззрения советского человека, его нравственных убеждений, духовной культуры».

Именно под таким углом зрения и рассматривает критика текущий литературный процесс, именно мировоззрение нашего современника, весь комплекс нравственной и духовной жизни его и составляет главный предмет художественного творчества.

Само собою разумеется, что литература, как явление духовной жизни, неразложима на короткие отрезки, этапы ее развития определяются иным содержанием, но это не мешает нам рассматривать текущий литературный процесс, его особенности, тенденции, примечательные явления на каком-то определенном промежутке времени, рассматривать в связях с прошлым, в перспективе развития.

С этой точки зрения поэзия 70-х годов, как и вся наша литература, дает немалую пищу для критических разборов и размышлений, тем более что она видится органичным продолжением тенденций, возникших

в середине 60-х годов. И вот что любопытно: казалось бы, проза еще в конце 60-х основательно «потеснила» поэзию и прочно завладела читательским вниманием, однако интерес к поэзии на самом деле несколько не иссяк, споры вокруг поэзии не утихают и их ничуть не меньше, чем о современной прозе. Значит, внутри нее происходят какие-то процессы, которые продолжают волновать и критику и читателей, которые отражают перемены в духовной жизни общества.

Не заглядывая далеко в прошлое, посмотрим, с чем пришла поэзия к началу 70-х, какие споры вызывала, что обещала в будущем, что ей предсказывали наши критические пророки.

В 60-х годах стала более явственно, чем прежде, проявляться близость поэзии к традициям, к испытанным временем эстетическим ценностям. К концу десятилетия эта тенденция возобладала как господствующая. Но тогда же в творчестве некоторых поэтов проявились симптомы самоуспокоенности, интроспективной замкнутости, снижения общественного тонуса лирики. Обнажились и сопутствующие явления: идеализация патриархальной старины, игнорирование социальных противоречий в подходе к прошлому, противопоставление деревни городу с его машинной цивилизацией, искажающей якобы характер естественных человеческих отношений. В этом сказалась специфическая реакция на научно-техническую революцию, ее отражение в быту, в городском жизненном укладе.

Поэты и критики заговорили о народности, о национальных традициях, стало ясно, что разными людьми в эти понятия вкладывается разное содержание. Наиболее радикально настроенные, по-своему трактуя народность и традиции, предлагали пе-

реценку... целых столетий в истории русской поэзии.

В одной из дискуссий 1968 года Елена Ермилова высказалась о том, что со времен Апухтина «русский классический стих как традиция закрыт для нас многими пластами». Критик не развертывает аргументации, но утверждает, что «живого чувства традиции у иных наших поэтов почти нет», есть только интерес к ней, порождающий стилизацию. Еще более категорично, уже в другой дискуссии, высказался Анатолий Ланщиков. К пушкинским началам, считает он, то есть к подлинно народным, национальным традициям, русская поэзия приблизилась лишь во второй половине 60-х годов. «Это направление видит в поэзии ее самоценное (!) значение...» — пишет Ланщиков. И называет имена: Анатолий Передрев, Николай Рубцов, Валентин Сидоров, Владимир Соколов.

Вообще говоря, в рассуждениях критиков о народности и национальных традициях шкала ценностей была чрезвычайно подвижной. Перечислим для примера имена, которые в этой связи называл Юрий Идашкин. Он разделил поэтов на три группы. Первая группа — «более близких к лучшим традициям отечественной поэзии»: А. Межиров, Вл. Соколов, В. Цыбин, С. Куняев, С. Кузнецова, М. Соболев, В. Сидоров, М. Румянцев, Дм. Ковалев, Ф. Чуев, Р. Казакова, И. Волгин. Вторая группа — чье творчество характеризуется «наиболее ценным» в эти годы: Н. Асеев, И. Сельвинский, А. Прокофьев, П. Антокольский, С. Кирсанов, Н. Ушаков, Н. Браун; и дальше (почему-то названные «во-вторых») — Б. Ручьев, Я. Смеляков, Вас. Федоров, снова А. Межиров, Е. Исаев, снова Вл. Соколов, И. Рядченко, Н. Доризо. Третья группа — поэты, которые «много сделали для того, чтобы отстоять русский стих от чуждых ему влияний»: С. Викулов, В. Гордейчев, снова Дм. Ковалев, снова В. Цыбин, А. Передрев, снова С. Куняев, Н. Рубцов, снова В. Сидоров, В. Костров... Во всех трех порядках рядом стоят имена поэтов, чья эстетическая «несовместимость» легко доказуема. Но существенно здесь другое — эти и иные перечни имен нужны были не больше как для противопоставления «громким» поэтам предшествующего периода.

Некоторые критики высказывали конкретные суждения и давали оценку творчеству Евтушенко, Вознесенского, Р. Рождественского и еще нескольких поэтов (после

этих трех список варьировался), с которыми они отождествляли особое направление. В. Чалмаев, например, находил в их творчестве «рационалистический гигантизм, псевдофилософское великанство», прикрывающие «чувство неполноценности перед всем вечным, таинственным, что всегда живет в мещанине». Оценка по своей сути и терминологии уникальная. Собственный идеал критика раскрывается полнее, когда он «аттестует» названных поэтов (кроме их троих, еще назван Винокуров), обвиняет их в «трусости перед вечностью», в духовном «пигмействе» и т. д. В. Чалмаев предсказывает приход «безумцев, которые способны будут навевать и разгадывать эти золотые сны», в их пришествии критик видит спасение от «обыденного сознания» как основного признака упадка современной поэзии.

Максималистский спрос В. Чалмаева к духовному содержанию поэзии (и современной и будущей) мог бы быть поддержан, если бы, во-первых, наряду с этим не проявлялось высокомерное пренебрежение к «рационалистическим идеям» и, во-вторых, духовность мыслилась бы не только обращенной к вечности, не только в «золотой сон», но и в современную действительность.

Что же касается Беранже, который подсажал В. Чалмаеву образ «золотого сна» и идею грядущих безумцев, способных не только навевать его, но и разгадывать, то ведь хорошо известно, как сам Беранже был далек от снобизма.

По сути, но не по терминологии, такой же крайней точки придерживается и В. Кожин. Успех Евтушенко и других он целиком связывает с «легкой» поэзией, стихотворством, поэтической беллетристкой, специально рассчитанной на популярность. Такое объяснение представляется слишком внешним, недиалектичным.

Но В. Кожин был прав тогда, когда заметил, что задача критики (и, конечно, поэтов — тоже!) состоит в осознании сложностей и трудностей освоения классических традиций в поэзии. Кажущаяся легкость привычного, традиционного стиха многими воспринималась не как результат вдохновенного творчества и гигантского напряжения умственной и нервной энергии, а как легкость сочинения, писания, переложения своих наблюдений и мыслей в стихотворную форму. Это предупреждение, поддержанное некоторыми другими критиками, прозвучало вовремя.

Критика обратила внимание и на то, что

в «деревенском» русле поэзии сказалась ограниченность кругозора, что наряду с появлением талантливых Н. Рубцова, О. Фокиной, А. Жигулина и некоторых других, органично выразивших мир сельского жителя России, публиковались стихи, утверждающие принципиальную замкнутость в сельской сфере. Кичливое хвастанье своим крестьянским происхождением входило в моду среди части стихотворцев, почуявших в «деревенской» теме золотую жилу, на которой можно было найти поэтический капитал. Эпигоны же, стихотворцы малоодаренные, сложную социальную проблематику свели к простой формуле: деревня — хорошо, город — плохо. В этом элементарном противопоставлении и скрыта тенденция антиисторического подхода к прошлому, идеализации патриархальной старины, ухода от современности.

К чести нашей критики надо сказать, что естественную, возможно обусловленную временем, тягу к «исходности», к природе, наконец, к «малой» своей родине таких поэтов, как А. Яшин или Вас. Федоров, их глубокую внутреннюю озабоченность социальными и нравственными проблемами деревенской жизни критика в общем поняла и поддержала. Она справедливо была озабочена в то же время понижением общественного тонуса в творчестве иных поэтов. Торопливые выводы и заключения насчет поэтического ренессанса, связанного с деревенской музой, естественно, встречали возражения. Позволю себе процитировать несколько строк, написанных автором этой статьи в 1970 году («Вопросы литературы», № 11, стр. 25—26):

«Не всем, кто сегодня тщится представлять в поэзии деревню, достаёт на это таланта и естественного ощущения себя сельским жителем. Для тех же, кто этими свойствами обладает в достатке, должна наступить пора более решительного, освещенного аналитической мыслью и исторической перспективой вторжения в современность со всеми ее сложными взаимосвязями и диалектическими противоречиями».

Словом, поворот к традициям, к устойчивым эстетическим формам, отразивший косвенно процесс стабилизации общественной жизни страны, проходил небезболезненно, не без существенных потерь. Понимая это, многие критики и поэты, принимавшие участие в различных дискуссиях, возлагали новые надежды на 70-е годы.

НТР выдвинула серьезные проблемы как

в области психологической, нравственной, так и эстетической. Проблемы, которые нелегко решить «сразу». Если урбанист А. Вознесенский подкупающе легко и непринужденно сравнивал себя с архитектурным ансамблем аэропорта («Аэропортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот — аэропорт!») и столь же непринужденно и ововодно принимал предложенный НТР ритм жизни и соответствующий ему характер творческого поведения, то Н. Рубцов лишь в сельском покое, на лоне природы ощущал раскрепощение души и, тревожимый предчувствиями, оберегал свой сельский приют, как, бывало, Есенин от «железных врагов», от «вокзального дыма»:

Мелькнет покоя сельского страница,  
И вместе с чувством древности земли  
Такая радость на душе струится,  
Как будто вновь поет на поле жница  
И дни рекой зеркальной потекли...

Снега, снега... За линией железной  
Укрomный, чистый вижу уголок.  
Пусть век простит мне ропот

беспользнь,  
Но я молю, чтоб этот вид безвестный  
Хотя б вокзальный дым не заволон!

Смысл метафоры «вокзальный дым» ясен. Так же, как и «железная» линия, это символ промышленного века, века НТР. Символ не очень новый, но в стихах Рубцова его ординарность искупается неподдельным волнением и обезоруживающей искренностью. Кажется, ни у кого в стихах не было столь откровенно выраженного признания «беспользности» войны с «веком», с техническим прогрессом, с машинной цивилизацией, которые резко меняют привычный уклад жизни.

Николай Рубцов оказал заметное влияние на молодых поэтов 70-х годов, хотя надо отметить, что далеко не все из них правильно поняли противоречивый характер творчества этого весьма одаренного и на редкость органичного поэта. Органичного именно в своей привязанности к истокам, к миру сельской жизни, из которого он вышел.

Некоторых молодых поэтов заворожала элегическая интонация стихов Рубцова, его ностальгия ухода, прощания. И кстати говоря, она характерна также для поэта другого, старшего поколения, не менее органично выразившего свою кровную связь с деревней, Н. Тряпкина. «Элегии старому пепелищу» — так назвал поэт цикл стихотворений в книге «Жнива» (1974). Сколько

любви, нежности, щемящей грусти в этом прощании с родным деревенским гнездом!

Луговая, лесная, полынная,  
Никому не известная весь!  
Про тебя моя слава былинная,  
Про тебя моя лучшая песнь.

С городьбою ржаная околица,  
Да в сторонке, во ржи—дубячок...  
Ты—моя золотая глаголица,  
Ты—мой травный душистый пучок.

Но и Рубцов и Тряпкин понимают неизбежность перемен в укладе жизни и не противятся им. «Клокочет котлами, готовый в поход, мой лещ пассажирский — речной пароход. Сейчас просигналим — и выйдем туда, где звонко на кручах поют города...» — возглашает Тряпкин. «Я вырос в хорошей деревне...» — говорил о себе Рубцов и добавлял затем: «Мужал я под грохот «МАЗов» на твердой рабочей земле...» И вот вывод: «Но хочется как-то сразу жить в городе и в селе». Не случайны для этого поэта его поиски места в жизни, его метания. В молодости он работал на заводе, плавал на судах рыболовного флота на Севере, возвращение после морской одиссеи в деревню вносит коррективы в мировидение поэта, усложняет его понимание диалектики взаимоотношений города и деревни. Рубцовский символ — звезда полей — становится символом их исторически обусловленной связи:

Звезда полей горит не угасая  
Для всех тревожных жителей земли,  
Своим лучом приветливым касаясь  
Всех городов, поднявшихся вдаль.

Судьба поэта всегда исключительна и неповторима, поэтому неповторимо и его творчество. Идущим вослед дано опровергать или продолжать и развивать то, что сделано предшественниками, но не дано повторять их. Вот почему сегодня важно, что же в творческом наследии Николая Рубцова привлекает молодых поэтов.

Эпигонское повторение элегических мотивов, как правило, демонстрирует не душевную драму, не противоречия внутреннего развития, а элементарное непонимание происходящего в мире, скудость чувств, консерватизм мышления.

К современному укладу жизни, вызванному НТР, к ее новому ритму и стилю молодое поколение психологически подготовлено лучше, чем старшее поколение. И для него гораздо естественнее открыться на

встречу новому, попытаться художественно осмыслить его, отразить эволюцию характера и весь комплекс духовной и нравственной жизни современника.

Но именно на этот путь молодые поэты встают робко и неуверенно. Объяснить робость и неуверенность можно отсутствием опыта, образцов (новизна жизни и новизна ощущений предполагает и новизну эстетического претворения). Традиционный же путь кажется им легче. По крайней мере, на нем меньше неожиданностей, меньше опасности споткнуться. Но отсутствие дерзости, риска у молодых объяснить уже труднее.

Вообще же «деревенская» лирика 60-х и 70-х годов дала немало проникновенных стихов о родине, о русской природе, обострила ощущение «малой» родины, откуда человек делает первый свой шаг в большой мир, откуда начинается познание большого мира. Она и есть исток, начало, конкретный символ родины в ее державном величии, ибо с этого уголка земли начинается для юного человека и простирается вдаль обширная страна, гражданином которой он осознает себя, повзрослев.

Родина! Хатой саманной,  
Стылой лозой у плетня,  
Далью пустой и туманной  
Снова ты манишь меня.

Свет золотой и тревожный.  
Что еще там, впереди?  
На обнаженные пожни  
Скоро прольются дожди.

Все ли я сделал на свете,  
Чтобы спокойно глядеть  
В дали холодные эти,  
В эту сентябрьскую медь?

Перед «малой» родиной обостряется, конкретизируется чувство ответственности человека, гражданина за собственное поведение — вот что примечательно в этом отрывке из стихотворения Анатолия Жигулина и что характерно для лучших лирических стихов о родине.

Лирическая поэзия ощущает и стремится выразить полноту жизни, богатство и разнообразие впечатлений. Панорама сегодняшней поэзии многокрасочна и многозвучна. Страна наша увидена поэтами в пылу обновления, человек, наш современник, — в росте. Естественно, что и сельская новь так или иначе находит отражение в лирике.

Если десятилетие или полтора назад в поэзии, тематически связанной с деревней,

немалое место занимали стихи аналитического свойства, раскрывавшие социально-экономические противоречия, стихи, в которых сильный акцент делался на трудностях деревенского бытия, то ныне эта проблематика почти исчезла из поэзии, все меньше появляется и стихов, идеализирующих патриархальную старину. Сегодня внимание поэзии привлекает духовный и нравственный климат сельской жизни, духовный и нравственный мир сельского жителя. Тема труда и благосостояния колхозника наполняется философским содержанием — как нравственная цель, как выражение сущности характера сельского труженика, как государственное дело. Приходит трезвое понимание диалектики деревенской жизни, закономерности, исторической неизбежности социальных перемен.

Очень характерно в этом смысле признание, которое сделал Валентин Сидоров, поэт, отдавший некоторую дань идеалистическим описаниям старины. Он не щадит себя: «...был смешон я в рвении напрасном, когда вперед, не ведая преград, я шел с лицом, повернутым назад». Показательное признание. И конечно, оно отражает личный опыт не только В. Сидорова, но и некоторых других поэтов. Сама жизнь заставила их изменить творческое поведение и обратить взгляд в современность. Обаяние прошлого потускнело под напором времени, под напором живой, динамически развивающейся действительности, в которой есть свои сложности и противоречия, будни и праздники, которая прекрасна осуществлением многих надежд и перспективами дальнейшего обновления, духовного и нравственного совершенствования человека. Сельская поэзия меняет свой наряд на более современный, хотя делает это осмотрительно и не без робости.

Завороженные трелью жаворонка в поднебесье, мы как-то притупили слух к автомобильным гудкам. Нас загипнотизировала в поэзии сельская ностальгия, и будто уже не слышно шума городского, будто из поэзии начисто исчезли урбанистические мотивы...

Так ли это на самом деле? Может быть, действительно, сопротивляясь машинизации, автоматизации быта, стремясь ограждать суверенность лирики в век НТР, поэты намеренно и даже демонстративно отвернулись от города? Ведь даже Андрей Вознесенский, откровенный урбанист в поэзии

60-х, сегодня целый раздел книги озаглавил «Небом единым жив человек!». И обратите внимание, что происходит у него с бобрами, потревоженными в своих жилищах техникой:

Метод нашли, ревуны коварные.  
Стоит затронуть их закуток,  
Выйдут и плачут

пред экскаватором —  
экскаваторщик наутек!

Да, конечно, и Вознесенский вышел за городскую заставу, но при всем том он остался поэтом современного города.

Я — попутчик

Научно-технической революции.  
При всем уважении к коромыслам  
хочу, чтобы в самой дыре завалюющей  
был водопровод и движение мысли.  
За это я стану на горло песне,  
устану —

коллеги поддержат за горло.  
Но певчее горло

с дыхательным вместе,  
живу, не дыша от счастья и горя.  
И если для чрезвычайных мер  
Революция потребует

одного чел. поэта —  
я — ЧП НТР!..

И полемическая направленность (стихотворение называется «Диалог обывателя и поэта о Научно-технической революции»), и переключки с Маяковским («я стану на горло песне...»), и наступательная ирония к оппоненту — все говорит о том, что Вознесенский по-прежнему стоит на урбанистических позициях<sup>1</sup>.

Нет, город не перестал питать поэзию своими страстями.

Город в лирике Владимира Соколова поначалу казался возникшим из блоковской традиции («От дворинок московских синяя, таинственная глубина! В изломах крыш, в их смуглых линиях доверчивость и тишина»). Позднее антиподом к старинным арбатским особнякам появится в их дворах бульдозер. В 60-х годах В. Соколов написал

<sup>1</sup> Любопытно заметить, что к этой декларации уже в конце стихотворения Вознесенский делает такое дополнение:

При этом.  
скансу, вырываясь из тисков стишка,  
всем горлом, которым дышу и пою:  
«Да здравствует Научно-техническая,  
перерастающая в Духовную!»

Так «разъяснительные» строки наводят на мысль о том, что поэт здесь ограждает себя от интолкований.

стихотворение, в котором весьма ощутима тяга к исходности:

Хотел бы я долгие годы  
На родине милой прожить,  
Любить ее светлые воды  
И темные воды любить.

Но Соколов не утрачивает трезвости социального мышления, не ограничивает понятия родины сельским пейзажем, крестьянским бытом, как было у некоторых поэтов, он говорит о своей близости «к Магнитной горе». Тут же поэт называет себя «детищем нежного леса». Поэту городскому удалось и в общем и в конкретном образе родины соединить ее сельское и индустриальное лицо. Лес и Магнитная гора — знаки единства.

Обращает на себя внимание и такое обстоятельство: поэты, устремившись из города на лоно природы или в деревню, увидели городскую окраину, причем увидели как будто впервые. Раньше всех, пожалуй, о ней написал Соколов, потом Горбовский, Передреев, Дмитриев... Каждый нарисовал свою картину окраины, но почти все ощутили в ней некий диалектический узел сегодняшнего бытия, столкновение противоречий. Особенно это заметно в стихах Анатолия Передреева и Олега Дмитриева.

Околица родная, что случилось,  
Окраина, куда нас занесло,  
И города из нас не получилось,  
И навсегда утрачено село.

Вот где, по мнению Передреева, узел противоречий — в переходности. Переходность таит в себе драматизм столкновения старого и нового — в психологии, в быту, в сознании. Знаменательно еще и другое признание Передреева, выражающее сознание переходности. «В этом городе старом и новом не найти ни начал, ни конца...» — пишет он с горечью. Здесь, в городе, «нелегко потеряться задаром, нелегко оставаться собой». Но заканчивается стихотворение такими словами: «Я не вынесу чистого поля, одиноко мерцающих звезд!» Если учесть, что Передреев — один из тех поэтов, у которых деревенская ностальгия нашла очень эмоциональное выражение («Воспоминание о селе»), то можно сказать, что признание его весьма симптоматично.

«Окраина» Олега Дмитриева иная, чем у Передреева. Она увидена горожанином в отличие от городского неопита Передреева. Но и в его картине наступления города на

зеленую стену леса звучит нота сожаления, но и в его строках слышится боль за утрату прекрасного уголка природы: «К стволу привалившись плечом, стою я, зажмурясь от боли, как будто мечом, рассечен границей асфальта и поля...».

В стихах такого плана, конечно, можно услышать отголоски экологических проблем, волнующих ныне все человечество, но поэтическая интерпретация общих забот, как правило, носит еще и личную окраску. И личное острее, эмоциональнее проявляется у поэтов сельского происхождения, ближе связанных с природой, с истоками, с отчим домом, наконец.

Новое открытие родины, ее зрелое познание к городскому поэту Вл. Соколову приходит через природу. В данном случае выход за городскую черту чрезвычайно обогатил культуру чувств, восприятие прекрасного. Учась у природы естественности, простоте, гармонии, поэт отблагодарил ее проникновенным поэтическим воспроизведением в стихах. Его искусство пейзажа эмоционально, оно питается искренней любовью к земле, к родине, оно подчинено этой любви — негромкой, не любящей словесных изъяснений на людях, но от этого не менее глубокой и ревностной. Об этом, кстати, сказано прямо: «Не уважаю неровных». Почему? «Им, равнодушным, все равно, когда, какое, чье зерно взойшло на их, не чьих-то, нивах». Сказано необычно резко и определено для Соколова.

Есть живая, непосредственная связь между обращением Соколова к природе, к родине, к ее истории, к поискам гармонии в жизни — с одной стороны, и к классическим традициям в поэзии — с другой. Он никогда не поддавался соблазну новаций, его вживание в традиции было органичным. Общение же поэта с природой не отвратило его от города, но оживило ее красками городскую тему («Льет дождик, пахнущий полынью, над омраченную Москвой»). Оно значительно расширило его представление о родине, о России.

Соколов «неудобен» для цитирования, когда надо личным свидетельством подтвердить нравственно-эстетические позиции поэта, он не любит ни деклараций, ни прямых признаний. Но вот признание другого поэта, тоже весьма сложной биографии души, Глеба Горбовского:

Город, город, я твой помазанник,  
я владыка твоих дворов.  
Я твоею сажей измазанный,

я твоим здоровьем здоров,—  
твоя почва и твой покров...  
Я и город—одно творение:  
он—сияние, я—горение!

Горбовский тоже, со своей стороны, подходил к городской окраине, хотя ему больше знакомы тайга, походная палатка. В стихотворении «Моя окраина» нет того драматизма, который есть в стихах Передреева или Дмитриева. Страсть к познанию он утоляет в путешествиях, там же постигает драматизм противоречий жизни.

В последней своей книге «Долина» (1975) поэт уже с явной иронией пишет о том, как поехал «рожать книгу» в уединенье, к «снежным верхам». Зато с горной вершины видно, как «на склоне планеты большая Камчатка дымит!», видна и «родимая крыша в ногах у балтийской воды...» (это уже из другого стихотворения). Какая точка для обозрения! «Но просится сердце обратно, куда-то туда, в сенокос, к стальному изгибу дороги, к ползучим пахучим дымам, где мы себе сами и боги, и вечность, и весь ее храм!»

Далеко и надолго уезжал поэт из родного города, храня в сердце любовь к нему, и всегда возвращался с новым грузом впечатлений, обогащенный новым знанием жизни. Он входил в город, как бы заново открывая его.

Из плеяды поэтов, обретших зрелость к началу 70-х, пожалуй, наиболее универсален как «поэт города» Олег Дмитриев. С Соколовым его сближает любовь к природе, истый горожанин, он, «как мальчик», готов поверить, «что лесные появятся боги в поясах из травы и цветов!». И природа органически входит в лирику Дмитриева, откликаясь на эту любовь.

Ощущение города у Олега Дмитриева, характерное для многих горожан — он любит и клянет его, он рвется из города и не может жить без него. Он искренне признается: «Мое отдохновение — Москва: Заязье, Арбат, Замоскворечье...» Знакомый мотив. Знакомый по Окуджаве, по Соколову. Но у Дмитриева, москвича по рождению, есть преимущество детского, непосредственного ощущения большого города. Поэтому в его стихах такое важное место занимает образ старой, довоенной Москвы. Город в лирике Дмитриева — это целая самостоятельная тема, отражение духовной и нравственной жизни современника в ее наименее поэтически исследованном варианте. Если город Вознесенского начи-

нается с великолепного архитектурного ансамбля — аэропорта,— напоминающего и «реторту неона» и «автопортрет» лирического героя, порождения именно этого, сегодняшнего, НТРовского города, то Дмитриев входит в него через тихий арбатский переулок или через Замоскворечье.

Да ему и входить не надо, он с а м вышел оттуда, он — дитя той, довоенной и послевоенной Москвы. Точка мировидения определяет не только тематику, но и поэтику. Неспешная манера письма Дмитриева — как благодарная дань прошлому и в то же время приглашающий жест будущему.

Жаворонок все-таки не заглушил автомобильного гудка, городские мотивы не исчезли из нашей поэзии. Они, правда, звучали в какой-то момент приглушенно. Поэты города, словно прислушиваясь к себе, вдруг прерывали песню, начинали тосковать о реке, поле и лесе, но жизнь брала свое. Атмосфера большого города, стремительные ритмы технического и промышленного развития в конце концов не могли не раздвинуть тематические горизонты лирики, не могли не обнаружить новые идейные, нравственные и психологические аспекты постижения современной действительности. Сближение «городских» поэтов с природой, сельским бытием обострило чувство родины, понимание прекрасного.

Весною прошлого года наша страна торжественно отметила тридцатилетие великой победы над гитлеровским фашизмом. Это был всенародный праздник, по своему размаху, эмоциональности превзошедший прежние годовщины. Вероятно, нетрудно найти психологические и этические объяснения этому взрыву эмоций.

Великая Отечественная война всегда в памяти советских писателей. Но в 70-е годы определился качественно новый подход художников к отражению войны, ясно обозначилась их обращенность к нравственным, философским проблемам, связанным с войной.

Уместно напомнить, что многие поэты фронтовой плеяды не однажды уже «прощались» с военной темой, как бы признавая ее исчерпанность. Задачу свою они понимали четко. «Раскрыть духовные начала подвига и передать нравственные ценности поколения своим преемникам — молодым людям современности и будущего...» — писал один из них — Сергей Наровчатов. Это



понимали и другие, и, очевидно, порою им начинало казаться, что все возможное в этом направлении ими сделано...

Но так только казалось. Поэты-фронтовики вновь и вновь возвращались к своему боевому прошлому, к трагическим и героическим страницам истории народа. Им все еще хотелось не упустить конкретных деталей, подробностей, запечатлевшихся в памяти, оставить потомкам как можно больше живых свидетельств о прошлом. Сергей Орлов на вопрос: «Что знаю я о мире и войне?» — отвечал: «Я знаю лишь подробно-сти одни. Я ими обожжен и зачарован». Он озабочен тем, чтобы в памяти народа сохранился подробный опыт войны.

Между тем лирика Орлова уже в 60-е годы явно тяготеет к аналитическому и философскому осмыслению мира. А в 70-х и военная тема меняет характер. «Зарницы памяти», как и прежде, освещают конкретные события, эпизоды, случаи — то веснушчатое лицо юной санинструкторши, выносящей с поля боя раненого танкиста, то старшину, учившего молодых солдат с марша вкапываться в землю, то двух голодных женщин на вокзале в Тихвине, попросивших проезжего фронтовика продать им хлеба... Но опыт поэзии 60-х годов обогатил поэта. Из груди впечатлений, фактов, событий он высекает искры мысли, многозначного вывода или открытого размышления. Скажем, стихотворение о старшине, который не давал поблажки бойцам, проходя с ними военную науку. Так вот наука эта пригодилась не только на войне, но и в мирной жизни, она вошла в опыт, сформировала характер.

По годам я давно уж маршал,  
А судьбой навсегда солдат.  
Трудно в землю врываться с марша,  
Но нельзя отходить назад.

Концовка стихотворения не однозначна, она далеко выходит за пределы военного опыта, она типизирует характер, нормы поведения в критических ситуациях, она суммирует, помимо личного, иной опыт, наблюденный в жизни. Поэтому нравственный пафос стихотворения вполне современен.

И еще об одном стихотворении Орлова — «Мы говорим, задумываясь редко...». В нем осмысливается нравственная мера времен войны — «с кем бы пошел в разведку?» — и неожиданно оборачивается на себя сегодняшнего: мол, время настало такое (имеется

в виду возраст), что надо думать о том, «кто с тобой пойдет?».

Не слишком ли жестоко по отношению к себе? «Крутые горки укатали сивку...» — с грустью признается поэт. «Ах, не в разведку, в юность на побывку, и запастись бы верой и теплом». Вот тогда можно было бы, как прежде, не «с кем я пошел бы?», а просто, без предвзятости: «Кто со мной, ребята? — и помолчать. И два шага вперед...»

Поэт не хочет принимать в расчет возраст, солдат должен оставаться в строю до конца жизни. Только горькое сожаление о прошедшей молодости напоминает, что прибытка сил ждать неоткуда. Нравственная же норма поведения остается прежней, солдатской.

«Война для нас,— сказал Михаил Дудин,— оказалась главным потрясением: сопротивляясь ей, мы выковали свой характер, свое мировоззрение, мироощущение, свое отношение к жизни». Наверное, что-то заложено в этом характере такое, из-за чего военное поколение не поддается моральной амортизации. Нельзя не ощутить духовное и нравственное здоровье в стихах, полных молодой энергии, активного отношения к жизни, полных гражданского темперамента.

Я родом не из детства—из войны.  
Прости меня, в том нет моей вины...

В этих строках Юлии Друниной глубоко драматический смысл. Девчонкой, десятиклассницей пошла она на войну, взвалила на свои хрупкие девичьи плечи мужскую тяжесть ратной службы в самое горькое и трудное для родины время. Она входила во «взрослый» мир под вой снарядов и посвист пуль. Она может сказать — от своего имени и от имени сверстниц: «Мы пред нашей Россией во всякое время чисты».

И пишет ли Друнина о любви и верности, о нашей обыденности, о насущных проблемах современности,— фронтовые ассоциации пронизывают образную структуру ее стиха, обостряют нравственные коллизии, уточняют критерии. Ее письменный стол — «бруствер», ограждающий поэта от «артналета суеты». Нравственной мерой поведения у нее, как и у Орлова, становится солдатская мера.

Друнина говорит: «Для меня неверность в дружбе побольнее, чем в любви». Разве мы не ощутим за этими словами военный, фронтовой опыт, когда солдатское братство было нравственным законом и многим людям спасало жизнь!

Разумеется, Юлию Друнину, как и других поэтов военного поколения, нельзя связывать только с военной темой. Лирика ее тематически разнообразна (для этого достаточно полистать хотя бы последние книги — «Не бывает любви несчастливой» и «Окопная звезда»), но речь идет о сквозном мотиве ее, о том непреходящем, что составляет стержень лирического характера, что является мерой человеческой совести. Да, признается она, «время новые просило песни, я понимала это, но опять домой невозвратившийся ровесник моей рукою продолжал писать».

Для Друниной, для всех поэтов фронтовой плеяды сквозная тема — тема долга перед павшими, тема минувшей войны. Это и новые попытки понять, откуда взялась такая сила характера в годину бедствия, что помогла выстоять и победить врага («Война»); это и воспоминание: «...Шли беженцы сквозь столицу, гоня истомленный скот. Тревожно в худые лица смотрел сорок первый год»; это и щемящее душу признание в том, как по-сестрински «жалела» стриженных мальчиков, сверстников своих, едущих в теплушках к фронту...

Как бы ни были «быстры» тридцать прошедших лет, это все-таки большой срок («Цвет пламени, цвет знамени, цвет крови! Четыре долгих, тридцать быстрых лет...»). И как бы ни был велик этот срок — живет в сердце «от ожога след». Он и обращает память в прошлое, к образу умирающей санитарки, которая шепчет: «Я еще, ребята, не жила...» — и к тому дню, когда «из последних траншей сорок пятого года» лирическая героиня Друниной «долго смотрела» в будущее («Кто из юных пророков стрелкового взвода мог представить, какими мы будем тогда?..»).

В то время ни Юлия Друнина, ни, видимо, другие ее сверстники не могли конкретно представить себя нынешних. Нынешних, «щитом» для которых стали воспоминания о войне, о фронтовом братстве, о мужестве солдат — «прочным щитом для сердца, защищающим от жизненных передраг. Свет окопной звезды пронизывает стихи, книги Юлии Друниной. Окопная звезда — символ высокой нравственности и беззаветного служения родине...

Здесь нет возможности хотя бы бегло остановиться на многих стихах и циклах стихов о войне, написанных в последние годы. С. Орлов и Ю. Друнина представляют ту ветвь военно-патриотической лирики,

которая, не отрываясь от конкретности, обращена к нравственной проблематике.

Младшие представители этого поколения в ином плане обращались к военному прошлому. Мне уже приходилось писать о том, что поэтам, вступившим в войну совсем еще юными на втором, победоносном ее этапе, трудно было соперничать со старшими товарищами в отражении подробного фронтового опыта, как боевого, так и психологического и нравственного. Не поэтому ли, скажем, Евгений Винокуров, начинавший со стихов о войне, потом в течение многих лет почти не возвращался к этой теме?..

70-е годы вновь вернули его к прошлому, к боевой молодости. И его, и Константина Ваншенкина и, в меньшей мере, Александра Межирова. Ваншенкин, правда, и раньше не оставлял эту тему — он не раз писал об армейской службе, о встречах с однополчанами, — но в последние годы его стихи приобрели отчетливо выраженный философский характер. Я не отношу эту тенденцию в поэзии целиком к 70-м годам, достаточно, например, вспомнить поэму Егора Исаева «Суд памяти» или стихотворение Ваншенкина «Солдаты», лирические медитации Твардовского, некоторые стихи Межирова, чтобы понять, что поэзия и прежде уделяла немалое внимание философскому осмыслению войны как события, решавшего исторические судьбы народов.

Историческая дистанция, видимо, позволяет заново взглянуть на прошлое, с новой временной вершины оценить значение событий, надолго определивших характер общественного развития.

Давно ушла война,  
И не в единый миг  
Отхлынула волна  
Товарищей моих.

Отхлынула волна,  
И обнажилось дно.  
И стала даль видна  
С годами заодно.

«Костры воспоминаний» (так называется стихотворение Ваншенкина) не только освещают «даль», они приближают ее к сегодняшнему дню, просвечивают новым, ближним светом. Из таких сближений времен рождаются порой наблюдения и выводы, может быть и небравурные, но хотя бы уже потому привлекающие внимание, что далеки от всех поэтических шаблонов в обдумывании вечной темы жизни и смерти.

Избегнув насильственной смерти,  
 Всю долгую жизнь человек  
 Рассказывать будет, поверьте,  
 Как гибели этой избег.

Как стиснут был смертной игрою  
 И как промахнулась беда...

Ваншенкин — поэт ясной, незамутненной мысли, но в его стихах о войне, особенно в стихах 70-х годов, все чаще встречаются попытки из конкретного, событийного жизненного материала извлечь сущность общечеловеческого. Опыт минувшей войны дает неисчерпаемый материал для углубления психологического и философского разреза его лирики.

А Евгений Винокуров с тридцатилетней дистанции хочет понять, как и когда в нем родился поэт, как и когда заалели над ним «будущего творческие зори». В молодости мало кто из поэтов об этом задумывается — чаще программируют себя на будущее. Это сейчас Винокурову, впрочем, как и некоторым другим, стало ясно, что — преданный долгу, службе, думающий о войне до победного конца — он не зря хранил в полевой сумке заветную тетрадку («И дело не в мундире офицера, я весь тому принадлежал всецело, тому, чему не мог сказать и сам...»).

Даже старшие, писавшие еще до войны (С. Орлов, например), порою скрывали свое «поэтическое лицо» от товарищей. Младшие (Винокуров, Ваншенкин) и себе-то боялись признаться в этом увлечении. Зато сейчас они возвращаются к началу, ищут первичные импульсы, осмысливают их значение.

Философский аспект войны, народного опыта в лирике не обрел еще того исторического масштаба, который он обретает в прозе 70-х годов, да у лирики и возможности и задачи несколько иные. В любом случае ассоциации военных лет являются своеобразным стимулятором жизнедеятельности, гражданской активности для поколения ветеранов, подчиняющих себе время.

Будучи начинающим, но уже обоженным второй мировой войной поэтом, Михаил Луконин в 1943 году мечтал о том, чтобы стихи его выразили силу чувства, равную той, которая заключена в коротких строках солдатского письма, и столь же могучую, совсем не показную волю к победе («Фронтовые стихи»). Это ему и удалось, как и другим поэтам солдатской, фронтовой закалки.

Традиции военно-патриотической лирики, утверждавшейся с необыкновенной стра-

стью и талантом поэтами фронтового поколения, подхвatzываются поколением их сыновей. Преемственность не нарушается, ибо в стихах молодых тоже видна сила характера, психологическая и нравственная устойчивость и широта исторического мышления.

Время показало, что и ныне не исчерпана тема воинского подвига народа, что вторая мировая война остается и, по-видимому, надолго останется предметом художнического внимания. Опыт военного поколения поучителен зрелым пониманием долга, беспримерным мужеством, идейной и нравственной стойкостью, патриотизмом, которые прошли испытание железом и кровью. Именно этот опыт сообщает огромную значительность и эмоциональность поэтическому слову, строке, стихотворению, обращенному к людям.

#### Ритмы 70-х...

Полстолетия назад Маяковский с грубоватым юмором, но и не без гордости предсказывал, что «пониманье» стихов в скором времени будет «выше довоенной нормы». С тех пор уже вторая мировая война стала историей. И в количестве «выработок» и в «пониманье» стихов перекрыты все предыдущие «нормы». Включившись в производственную терминологию, попутно заметим, что выше стал и средний уровень их поэтического качества.

Сколько-нибудь полно обозреть современную поэзию практически невозможно, но критика обязана уловить те тенденции, те черты нового, которые возникают в жизни и в творческом процессе буквально на наших глазах, обязана увидеть перспективы поэтического развития. В большом потоке стихов всегда и непременно выделяются какие-то наиболее заметные явления, они, как правило, и определяют лицо поэзии. Здесь, конечно, не удалось сказать о многом из того, в чем проявляются те или иные нравственно-эстетические воззрения. Такая задача и невыполнима в рамках одной статьи. Здесь я стремился рассмотреть два-три аспекта огромной темы сегодняшней поэзии, ее устремленности в день завтрашний. Суждения же общего порядка отнюдь не категоричны, они как заметки на полях только что прочитанной книги, продолжение которой следует...

Человеку, включенному в стремительный ритм жизни 70-х годов, может показаться, что ритмы поэзии не соответствуют дина-

мике прогресса (если еще при этом вспомнить начальный период социалистического строительства, когда поэзия сама подгоняла время: «Время, вперед!»). Ныне мы живем в век ускоренного социального прогресса, в век научно-технической революции, но поэтические ритмы, как мне представляется, обнаруживают тенденцию не к ускорению, а скорее к замедлению.

Естественно, что процессы духовной жизни нельзя механически сравнивать с социальными преобразованиями, с развитием естественных наук, техники, производства. Здесь господствуют свои законы. Что касается поэзии, то, по крайней мере, одно объяснение ее «ритмики» напрашивается: боязнь того, что стандартизация жизни, подчиненная все ускоряющемуся ее темпу, приведет к стандартизации и рационализму художественного сознания, заставляет поэзию противиться спринтерской гонке, где-то внутри ее зреет убеждение, что можно и медленно поспешая быть вровень с веком.

Вероятно, в оглядке на проверенные временем эстетические ценности, в неторопливости и сосредоточенности, с какими поэзия постигает духовную жизнь общества, есть свое внутреннее оправдание, свой резон. Нельзя сбрасывать со счета и обаяния классических образцов поэзии, обаяния, которому подчинены многие наши поэты. В достигаемой ими похожести на эти образцы, в их открытой традиционности заложена беспронятная эмоциональность.

Станислав Куняев написал несколько «Хроник» (см. его книгу «В сентябре и в апреле...», 1975) — «Калужскую хронику», «Хронику пятидесятих годов» и др. Вот начало первой из них:

На стыке снега и дождя  
я, вновь беспечный, как дитя,  
приехал к матери в Калугу  
затем, чтоб в городе родном  
забыться отроческим сном,  
проснуться и услышать вьюгу.

Типичный повествовательный стих, полузабытая традиция в чистом виде. Теперь приведем некоторые слова и сочетания слов, чтобы дать представление о стилистике «Хроник»: дале, даруй, знаменьце, узрел, влеком, полцарства за коня, кладбище, сладостные сны, храня в душе счастливый жар... Реминисценции: «Ни друга. Ни семьи. Ни дома»; «...да ветер сладостный до слез, да песни — как их? — «ветровые»; «Живу

на родине, и дым отчизны горек, но приятен...» Традиционно-повествовательные обороты: «Но я забыл сказать, что вдруг мой опаленный солнцем друг...»; «Я продолжаю свой рассказ...» А если еще добавить к этому такого типа повествовательные куски: «...На стадионе был аврал, шла перестройка стадиона (успеть к открытию сезона!), за самосвалом самосвал ссыпали гравий, грохотали...», — то читатель может задать вопрос: что это — примитив, наивная непосредственность?

Такой вопрос может задать читатель, не знающий Куняева, не знающий его способности чеканить поэтическую строку, не знающий его стихов, полных драматического напряжения чувств и мыслей самого современного характера. В «Хрониках» налицо сознательный расчет на обаяние привычного, легко воспринимаемого. И читая, вы действительно легко входите в эмоциональную атмосферу повествования, потому что это — поэзия: она в данном случае не бередит душу, не вносит тревожных ощущений, она как колыбельная песня — убаюкивает.

Еще более свежий пример — «Струфиан» Д. Самойлова («День поэзии». 1975):

Дул сильный ветер в Таганроге.  
Обычный в пору ноября.  
Многообразные тревоги  
Томили русского царя.  
От неустройства и досад  
Он выходил в осенний сад  
Для совершенья моциона...

Опять-таки традиционное повествование со всеми почти присущими ему элементами стилистики и стиховой структуры. И опять-таки автор стихотворения хорошо известен как поэт глубокий, как мастер.

Попробуем задать вопрос: нужны ли такие стихи сегодня и не означают ли они некоего движения вспять? Видимо, нужны и, видимо, не означают, раз это — поэзия. Но если посмотреть на это явление с другой стороны, то можно заметить, что односторонняя ретроспективная эстетическая ориентация порождает в поэзии довольно унылую монотонность. Иногда прочтешь несколько книг, и впечатление такое, что прослушал множество разных песен на один мотив.

Сегодняшней поэзии недостает ярко эстетического разнообразия. Можно, разумеется, сказать, что есть у нас Леонид Мартынов, есть Андрей Вознесенский, ну а мо-

ложе? Назвать некого. Поэты словно забыли о том, какой простор для эстетических исканий предоставляет им метод социалистического реализма. По этому поводу уместно специально напомнить то место из доклада Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС, где говорится: «Мы за внимательное отношение к творческим поискам, за полное раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе метода социалистического реализма».

Новаторство в искусстве всегда сопряжено с риском: новизна раздражает вкусы читателей, воспитанных на иных образцах, и не все новое в конце концов утверждает себя. Но ревнивое отношение к «сложным» писателям не способствует эстетическому обогащению литературы. Следует прислушаться к словам Леонида Леонова: «Я не думаю, что литература должна быть легкой для читательского восприятия».

Вошли в учебники слова благодарности «школе» Хлебникова, сказанные выдающимися поэтами современности. Но даже канонизация этих выдающихся поэтов не сняла недоверия к поэтике их учителя. Эксперименты Хлебникова со словом и до сих пор некоторым профессиональным литераторам кажутся странными.

Под свист и улюлюканье входил в русскую поэзию Маяковский, и лишь очень немногие прозорливые люди вроде Горького за внешней бравадой, эпатажирующими строчками, головоломными словесными трюками увидели яркий талант поэта нового времени. Без экспериментальных стихов и поэм молодого Маяковского, без «корявого говора миллионов», который отнюдь не традиционным элементом вошел в его поэзию, невозможно представить зрелое творчество классика литературы социалистического реализма.

Акцентируя внимание на эстетическом многообразии поэзии, нельзя не иметь в виду, что оно теснейшим образом связано с богатством и многообразием духовной жизни общества. Бехер считал новаторской ту литературу, которая, во-первых, открывает истинно новое в нашей жизни и, во-вторых, в своих творениях разносторонне воплощает это истинно новое. Разносторонне — это и есть эстетически многообразно, в соответствии с духом новизны самого открытия.

Новаторство в области формы — это введение в обиход новой выразительности.

Стало быть, обогащение традиций — тоже новаторство. Все дело в масштабах, в значении эстетических открытий для будущего развития литературы. Но любое даже самое маленькое формальное новшество по сути своей экспериментально. Пробы смелые, с «покушением на традиции», порой встречают неприятие, дают повод противопоставлять им простоту, которая, по отношению к диалектической логике, является, мол, истинно народной. Причем на место простоты подлинного искусства подставляется не мудреная простота выражения, лишь граничащая с искусством, а то и вовсе не имеющая к нему отношения. Народность — не синоним простоты.

Другое дело, что простота и ясность выражения самых сложных и самых противоречивых состояний, раздумий, конфликтов, впечатлений являются идеалом искусства. Но путь каждого значительного художника — это длительный и нередко тернистый путь к идеалу, через сложность — к простоте и ясности, от эксперимента, лабораторных проб — к органическому синтезу искусства. В поэзии это путь Маяковского, Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Сельвинского...

Так в чем же дело — в нехватке ли молодых оригинальных талантов или незначительном отношении к ним? Многие поэты сегодня действительно ориентируются на классику, и все же у молодых, особенно в последнее время, нередко обнаруживается страсть к обновлению стиха. Лозунг: больше поэтов, хороших и разных! — стоит на повестке дня. Задача критики всячески помогать его претворению в жизнь.

Наша поэзия последнего десятилетия, несомненно, обогатилась новыми талантами, новыми заметными произведениями. Развитие ее шло под знаком классических традиций, эстетической разработки и обогащения канонических форм стиха, поисков красоты и гармонии, углубления лирического начала.

Сейчас некоторые критики не без оснований говорят об эпизации лирики, что означает укрупнение масштаба поэтического мышления и чувствования. За этим, конечно, стоит и духовный рост личности, широта ее интересов, глубина интеллекта, культура чувств.

Нельзя, например, не восхищаться одним из старейших наших поэтов, недавно отметившим свое семидесятилетие, Леонидом

Мартыновым. Сумма человеческого опыта, которая находит отражение в его творчестве, поражает широтой, разнообразием, богатством. Мартынов, может быть, как никто другой из поэтов его поколения впитывает в себя открытия науки и техники и стремится осмыслить их, сохраняя при этом глубоко позитивный подход к НТР.

Читая последнюю по времени книгу Мартынова «Гиперболы», все время ощущаешь этот неиссякаемый интерес поэта ко всему происходящему в мире — к тому, что было, что есть и что будет. Связь трех времен была и остается непрременным условием постижения мира в лирике Мартынова. Он хорошо знает и любит историю, когда-то специально занимался ею, писал исторические поэмы, и все же у поэта есть особая точка отсчета времени, та точка, от которой начинается путь к «беспредельным рубежам», к идеалу, — 1917 год.

Мартынов — поэт неожиданностей, потому что он постоянно в поиске. В поиске новизны. Его поэзия полна вопросов и ответов, загадок и отгадок. такова бесконечная цепь познания.

Будет это, будет это —  
Новый ветер налетит,  
Но и ясные ответы  
Для кого-то он и где-то  
Вновь в вопросы превратит:  
Этот вечный, ежечасный  
Голос бури, грохот гроз,  
Чтоб неожиданно перерос  
Снова в некий день прекрасный  
Тот ответ в другой вопрос.

За стихами Леонида Мартынова ощущается личность в высокой степени современная, масштабно мыслящая, это и придает эпический размах его поэзии, выводит ее на стремнину духовной жизни общества.

Эпичность лирики нельзя сводить «к утрате субъективности», как это иногда делается в критике. Такое суждение высказывалось, в частности, о стихах Игоря Шкляревского. Возможно, в его последних стихах (из книги «Ревность», из публикаций в периодике) и заметна некоторая «утрата субъективности», но тенденция к эпизации лирики проявляется в другом — в более объемном представлении о мире, в сосредоточенности на серьезных проблемах человеческого бытия, в живой связи лирического «я» с миром и человечеством. Можно было бы даже назвать несколько стихотворений Шкляревского, чтобы адресовать к ним читателя, но лучше все-таки процитировать стихи, даю-

щие хотя бы приблизительное представление о том, какие мысли и какие страсти тревожат сердце поэта.

Я слышал, как росла трава,—  
сухие листья подымала!  
Казалось, что земля шептала  
свои глубинные слова...

Я понимал слепую связь  
любой идеи отвлеченной  
с пыльцой орешника зеленой,  
летающей в солнечную грязь.

Я смутно постигал исток  
всех новостей и потрясений —  
какой-то умерший цветок  
менял характер поколений.

Какой-то мальчик отъезжал  
от сельской школы на телеге,  
и свист скворца торжествовал  
над скукой в 21-м веке!

Чистейший колыхался звук —  
откупорил березу дятел.  
И школяра честнейший внук  
был звуку этому подвластен.

А я ему подвластен был.  
Он из своей грядущей дали  
за мною пристально следил —  
и очи звездами сияли!

Сокращения, неизбежные при цитировании, ослабили лирический сюжет стихотворения, но не исказили ни характера, ни масштаба в ощущении мира, времени, жизни Земли. В стихах такого эпического звучания заметен рост самосознания личности. Поэт становится в них средоточием жизнедеятельности.

По-иному эпична лирика Юрия Кузнецова. Его книга «Во мне и рядом — даль» стала заметным событием поэтической жизни и вызвала к себе пристальное внимание критики и читателей. В таких случаях находит место и неумеренным восторгам, которые могут дезориентировать поэта. Новые публикации показывают, что Кузнецов относится к поэзии серьезно. Настолько серьезно, что стихотворение «Перо», которое у другого поэта могло бы показаться претенциозным, в контексте стихов Кузнецова звучит без всякой фальши. Вот это стихотворение:

Орлиное перо, упавшее с небес.  
Однажды мне вручил прохожий, или  
бес.  
—Пиши! — он так сказал и подмигнул хитро. —  
Да осенит тебя орлиное перо!

Отмеченный случайной высотой,  
Мой дух восстал над общей суетой.

Но горный лед мне сердце тяжелит.  
Душа мятется, а рука парит.

Идея избранничества поднимает поэта над суетой обыденности к горным высотам Душа, но он не испытывает легкости, его душа чувствует земное притяжение и служит надежным мостом связи меж плотью и духом, живую действительностью и парением мысли.

Цикл из десяти стихотворений Юрия Кузнецова, опубликованный недавно, событие, по крайней мере, не меньшее по значению, чем выход его книги. Он замечателен именно эпической мощью, лирической дерзостью, с которыми поэт объемлет мир. Он чувствует, как «в человеке роится планета», он видит его способным подталкивать тысячелетия ползущий ледник. Большого драматического напряжения чувство поэта достигает на могиле отца, в монологе, обращенном к нему («Мне у могилы не просить участия. Чего мне ждать?.. Летит за годом год.— Отец! — кричу.— Ты не принес нам счастья! — Мать в ужасе мне закрывает рот»). Читая новые стихи Юрия Кузнецова, проникаешься ощущением, что поэт обрел силу, уверенность, зрелость человека нового времени, что он осознает всю сложность и трудность задачи поэтического освоения современного мира, но не страшится ее.

...Рано подводить окончательные итоги поэтического развития 70-х годов и сверять их с прогнозами, хотя уже сейчас видна несостоятельность некоторых предсказаний. Современники, как правило, ворчат, недовольные состоянием текущей литературы, идеал почти всегда видится где-то в прошлом. И конечно — в будущем. Само недовольство, конкретно выраженное, есть отражение идеала. Но критике все-таки полагается проявлять рассудительность и трезвость.

Какие бы претензии мы ни предъявляли литературе, искусству или, как в данном случае, поэзии, мы находим в них отражение тех процессов, которые происходят в нравственной и духовной жизни общества.

Поэзия 70-х годов, по моему мнению, дает некоторое представление о том, как сложно и порою драматично происходит адаптация человека в условиях бурного технического и промышленного прогресса, в условиях бурно развивающейся урбанистической цивилизации.

Естественно, что необходимо какое-то время, чтобы не только умом, но и сердцем ощутить закономерность радикальных перемен, психологически перестроиться, внутренне принять новый ритм жизни, чтобы поэзия обрела более современное звучание. Поучительны, поэтически трогательны, конечно, и сами противоречия эмоционального характера, нашедшие отражение в лирике 70-х, но важнее другое — симптомы психологической перестройки, тенденции к сближению с современностью в главном русле ее развития.

Сама атмосфера нынешней действительности, пафос преобразований, энтузиазм народа при завершении девятой пятилетки, XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза и готовность с не меньшим энтузиазмом трудиться над выполнением десятого пятилетнего плана — все это, естественно, оказывает влияние и на творческое поведение, и на характер и направление творчества художников слова.

Поэты, как и представители других родов литературы, с большим желанием и энтузиазмом включились в общественную и пропагандистскую деятельность накануне съезда партии. Участились их встречи с читателями, поездки на новостройки, на предприятия промышленности, в колхозы и совхозы. Такие встречи не только обогащают знанием жизни, впечатлениями, опытом, но и мобилизуют творческую энергию на постижение современной действительности, развивают вкус к новизне.

В поэзии возникают новые ритмы, новые мотивы, рождаются новые связи с миром. А вместе с этим крепнут надежды на более смелое, решительное, соответствующее духу времени обновление поэзии.



---

У. ГУРАЛЬНИК,  
доктор филологических наук

★

## ПРАВДА ИСТОРИИ, ПРАВДА ИСКУССТВА

· «Блокада»: роман и его критики

1

**Н**асколько оправдано обращение историка литературы к книге, которая, можно сказать, вчера вышла из-под пера автора?

У критики свои преимущества: первые впечатления, как правило, самые яркие и острые. Но проходит время. Оно обычно вносит свои коррективы, случается — весьма существенные, в первоначальные представления, в оценки, репутации литературных произведений. Долговечными остаются те критические суждения, которые зиждутся на прочном историко-литературном фундаменте.

Не хотелось бы иллюстрировать эту мысль хрестоматийными примерами. Но как не вспомнить, скажем, статей Белинского о Гоголе. Они выдержали «испытание временем», в частности, и потому, что «Петербургские повести», «Ревизор», «Мертвые души» рассмотрены в нерасторжимой связи с литературным движением, творчество писателя проверяется логикой этого движения.

Классики литературной критики не ограничивались констатацией очевидного. Им удавалось прогнозировать литературное развитие в целом, предугадать направление творческой эволюции художника. Автор «Очерков гоголевского периода русской литературы» в небольшой статье о ранних сочинениях Льва Толстого указал на такие редкостные новаторские качества дарования этого писателя, которые в полную меру проявились десятилетия спустя — в

«Воине и мире», «Анне Карениной», «Воскресении». Столь же проникновенен анализ «Униженных и оскорбленных» Достоевского в Добролюбовской статье «Забитые люди». Раскрывая с позиций материалистического понимания искусства реальное содержание и объективный смысл творчества Достоевского конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, местами вступая в полемику с романистом, критик всесторонне аргументирует принципы идейно-эстетического анализа, которых он придерживается. И читатель воочию убеждается в плодотворности метода Добролюбова.

Концептуальность критики — непреложное условие ее научности.

Когда Александр Фадеев в качестве руководителя писательской организации в свое время обратился к маститым филологам — сотрудникам академических литературоведческих институтов с призывом активнее вмешаться в современный литературный процесс, он исходил из ясного понимания, что заметного сдвига, качественного подъема «текущей критики» можно добиться, только обогатив ее подлинно научной методологией. В ту пору дело, в сущности, кончилось тем, что известный пушкинист написал хорошую статью о «Судьбе человека» Шолохова, а исследователь творчества Крылова — рецензию на сборники современных баснописцев. Еще несколько литературоведов выступили с содержательными журнальными публикациями на актуальные темы. Ныне нет резкой границы между так называемой оперативной критикой и историко-литературной наукой, они



постоянно вступают во взаимодействие. И это, в конечном счете, благотворно сказывается на обеих сторонах.

Критические разборы основательны, если явления современной литературы, различного масштабы и разнохарактерные, органично «вписываются» в широкую историческую перспективу, занимают свое место в общей панораме литературной жизни. Но говоря о научности литературной критики, вряд ли стоит ограничиваться ссылкой на отдельные примеры удачного сочетания «оперативности» и историзма. Важно определить ее общий уровень.

По инерции принято обвинять критику в том, что она «отстает». Между тем после постановления ЦК КПСС о литературно-художественной критике ею достигнут определенный прогресс. В настоящих заметках речь пойдет о печатных откликах на одно из самых популярных современных произведений советской литературы о войне. Их аналитический обзор, надеемся, позволит не только более отчетливо разобраться в идейно-образном содержании романа Александра Чаковского «Блокада», но и прояснить некоторые тенденции, характеризующие нашу литературно-художественную критику сегодня, на конкретном примере определить ее сильные и слабые стороны.

## 2

Печать щедро откликнулась на появление новой работы А. Чаковского — отдельных частей «Блокады», а потом и романа в целом. Не считая попутных суждений об этом произведении в статьях о книгах на «военную тему», уже опубликовано более двадцати пяти журнально-газетных статей и рецензий, специально ему посвященных. «Принципы создания характеров» в романе исследуются в научных «Трудах Самаркандского университета» (1972, вып. 200). О книге А. Чаковского пишут дипломные сочинения студенты филологических факультетов. Не за горами, видать, и диссертации.

Сорок с лишним отзывов зарегистрировали библиографы в связи со съемками киноэпопеи «Подвиг Ленинграда» и выпуском в прокат первой части фильма — экранизации романа «Блокада». Немало добрых слов о последнем крупном произведении Чаковского было сказано в дни шестидесятилетия писателя и присвоения ему высо-

кого звания Героя Социалистического Труда. Наконец, мимо «Блокады», естественно, не прошел ни один автор литературно-критического обзора, приуроченного к тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне.

По единодушному признанию как читателей, так и критики «Блокада» относится к числу заметных явлений в нашей современной прозе.

Магистральное развитие послевоенной литературы о войне идет по пути все более полного раскрытия правды о сложной и героической эпохе борьбы с фашизмом. Тяготение к эпической глубине в осмыслении событий минувшей войны становится одной из характерных черт современного литературного процесса. Выдвинув этот тезис, В. Севрук в своей статье «Литература народного подвига» («Коммунист», 1970, № 7) в качестве примера ссылается на «Блокаду» А. Чаковского, в центре которой — советский народ и ленинская партия, предстающие как творцы истории. Автору романа, по словам критика, удалось «раскрыть побудительные мотивы подвига, характер советского человека». Отмечается как немаловажное достоинство романа активность авторской позиции. Роман обостряет нашу социальную зоркость, показывает историческую закономерность нашей победы. «Самой логикой художественного повествования, — говорится в статье, — А. Чаковский вскрывает несостоятельность искусственно зауженного представления о сложной и героической эпохе войны».

Эта оценка характерна для большинства печатных отзывов о «Блокаде», об идейном пафосе произведения. Так, рецензируя первые три книги романа, ленинградский критик Е. Жило справедливо подчеркивал, что историзм «Блокады» определяется не внешними, очевидными признаками, не только тем, что в ней активно действует большое количество партийных, государственных и военных деятелей разных стран. Историзм романа в другом. «Он — и в упорных попытках Чаковского проникнуть в глубинные процессы эпохи; и в его стремлении поставить те важнейшие проблемы, социальные и нравственные, художественное исследование которых дало бы читателю верное представление о том, что происходило в жизни нашей страны в 1940—1941 годах. Наконец, историзм книги, безусловно, и в настойчивых поисках автором художественной формы, адекватной избранно-

му жанру; потому вопросы композиции, методы раскрытия характеров, специфика сюжета — все это стало для Чаковского задачей первостепенной важности» («Звезда», 1972, № 5).

Помогли читателям глубже воспринять содержание романа «Блокада», понять его замысел, разобраться в сложной структуре произведения квалифицированные, требовательные и доброжелательные отзывы Б. Сучкова, И. Козлова, А. Дымшица, Арк. Эльяшевича, А. Елкина и других критиков. Надо полагать, что и автору романа они дали немало, особенно на трудном завершающем этапе работы над книгой.

И все-таки подводить итоги критического раздумья о романе, думается, еще рано. Рано по нескольким причинам.

Книгу А. Чаковского, по всему видно, ожидает долгая жизнь. И хотя в связи с «Блокадой» высказан уже ряд плодотворных суждений об историко-литературном процессе последнего десятилетия, о специфике развития «военной темы» в искусстве социалистического реализма, о направлениях поиска новых художественных решений, сделано это пока еще бегло, как бы второпях. Авторы большинства статей ограничиваются тезисной постановкой сложных теоретико-литературных вопросов, зачастую уходят от конкретного ответа на них. В частности, остается не решенной до конца проблема жанра «Блокады». Не внесена достаточная ясность в соотношение документально-исторического материала, обильно привлеченного писателем, и художественного вымысла романиста. Нуждается в уточнении понимание публицистической природы книги А. Чаковского и ее полемического задания.

Солидная в целом критическая литература о «Блокаде» сама нуждается в критике. Нельзя пройти мимо пробелов, которые образовались при оценке романа А. Чаковского, поскольку пробелы эти носят, так сказать, типологический характер: нечто подобное мы ведь наблюдаем и при анализе других значительных явлений современного словесного искусства.

Так, критики ограничиваются самыми общими замечаниями, касаясь места «Блокады» в литературном процессе и в творчестве ее автора, в ряду других произведений о войне, и в первую очередь среди книг о ленинградской эпопее. Даже в отличающихся академической основательностью работах Л. Ивановой «Мужество духа

(Героический характер современной прозы о войне)» и В. Борщукова «Связь времен (Идейно-эстетические особенности современной прозы о войне и критика)», напечатанных в сборнике «Литература великого подвига» (выпуск 2, 1975), этому кругу вопросов уделено несколько скромных абзацев. Авторы других вошедших в названный сборник самобытных по своей сути статей, в том числе посвященных концепции человека и проблеме психологизма в современной военной прозе, обошли своим вниманием роман А. Чаковского.

Серьезной разработки ждет еще тема блокады Ленинграда в литературе и искусстве. Она лишь обозначена, например, Л. Плоткиным в небольшой статье «В перспективе истории» («Нева», 1970, № 4). Здесь названы — только названы — стихи, поэмы и очерки Н. Тихонова, О. Берггольц, В. Инбер, А. Прокофьева, кратко охарактеризованы романы «Балтийское небо» Н. Чуковского и «Дом и корабль» А. Крона. Критик имел дело лишь с начальной частью эпопеи А. Чаковского, и сопоставления, проводимые им, естественно, носили самый предварительный характер.

Итак, рассматривая критическую литературу о романе «Блокада» (самые ранние отклики датированы 1968 годом), мы намерены остановить внимание читателя на двух взаимообусловленных аспектах. Один связан непосредственно с оценкой произведения А. Чаковского, другой — с теми литературно-теоретическими проблемами, которые с неизбежностью попутно возникают.

Соглашаясь с одними критиками, оспаривая мнение иных, мы, разумеется, не претендуем на «окончательные» решений.

То обстоятельство, что «Блокада» А. Чаковского дает повод для серьезного разговора на темы сложные и актуальные, говорит в пользу романа: произведения обычные такой потребности не вызывают.

### 3

Новый роман, безусловно, демонстрирует рост мастерства А. Чаковского — художника. Рост этот сказывается в приемах развертывания грандиозной исторической панорамы и в умении открывать впечатляющие характеры, находить свежие детали, психологические подробности.

Автор «Блокады», приступая к роману, имел уже за плечами немало книг. А. Ча-

ковский всегда был писателем современности, чутким к движению времени и поднимающим острые социально-нравственные проблемы. Однако и «Это было в Ленинграде» и другие его произведения в сравнении с «Блокадой» кажутся локальными: там интерес читателя привлекался преимущественно к судьбе небольшого круга действующих лиц. Все остальное служило лишь активным фоном, на котором разворачивалось романное действие. «Блокада» построена принципиально по-иному, что потребовало от писателя немалой творческой смелости, больших усилий. И надо признать, что в основном — пусть не без издержек — А. Чаковский с поставленной им перед собой качественно для него новой задачей справился.

Не будем повторять сказанного в печати об общепризнанных крупных достоинствах и более или менее очевидных недостатках книги. Обратим внимание в первую очередь на разночтения в трактовке творческого метода Чаковского. Несмотря на то, что эти разногласия в конечном счете вроде бы и не отражаются на общих выводах, не колеблют в целом положительного отношения к роману, они представляют принципиальный интерес. Ибо за кажущейся незначительностью разночтений стоят существенные различия в понимании современного состояния, направления и перспектив литературного развития, разные тенденции нашей эстетической мысли.

Литературная критика, эта «движущаяся эстетика», точно сейсмограф, регистрирует сдвиги, происходящие, условно **выражаясь**, в подпочвенных глубинных слоях, которые питают наше искусство.

Естественно, что участники перманентных дискуссий о так называемом романтическом начале в литературе социалистического реализма, обратившись к роману А. Чаковского, не могли не вовлечь его в орбиту своих теоретических споров. Но в ряде статей неожиданно чуть ли не на первый план выдвинулся, казалось бы, не нуждающийся в усложненной аргументации вопрос: «Блокада» — реалистическое или романтическое произведение?

Мы вовсе не утрируем. Вчитаемся в работы двух опытных критиков — Ивана Козлова и Аркадия Эльяшевича, содержащие анализ «Блокады». Первому принадлежит, помимо журнальных откликов на роман, вступительная статья к шеститомному соб-

ранию сочинений писателя. Неоднократно печатно высказывался о «Блокаде» и Арк. Эльяшевич. Оба критика высоко оценивают книгу. Выводы их почти дословно совпадают. Но за близкими по звучанию выводами — едва ли не полярные позиции в понимании эстетической природы анализируемого произведения, творческого метода автора романа.

Чтобы разобраться в этом парадоксе, предоставим слово каждому критику. Сначала Ивану Козлову.

В дельной вступительной статье к собранию сочинений А. Чаковского, синтетическом очерке творчества писателя, отмечается связь между «Блокадой» и книгой «Это было в Ленинграде». О последней сказано, что «это произведение реалистически запечатлело существенные стороны героической и трагической поры военной блокады, характер советского человека в дни великих испытаний его нравственных и физических сил и тем обрело себе право на долгую жизнь» (см.: Александр Чаковский. Собрание сочинений в шести томах. М. 1974, т. 7, стр. 10. Разрядка моя.— У. Г.).

«Это было в Ленинграде» рассматривается как зерно «Блокады», которая «не отменила» тот, написанный по горячим следам, еще в военное время роман. Но в эпоху, по словам И. Козлова, сказалось движение времени, рост художественного мастерства писателя, опыт народа. События показаны в исторической перспективе. Этого не хватало диалогии «Военный корреспондент» и «Лида». Чаковский шел от фрагментарности к панорамности. Новый роман масштабен.

С небольшими уточнениями та же концепция изложена в статье «Чутко слушаю время» («Октябрь», 1974, № 11).

Наконец, в обзоре «Война. Время. Литература» И. Козлов, снова возвращаясь к «Блокаде», подчеркивает: «Главная отличительная особенность состоит в том, что роман Чаковского написан на документальной основе... он и в событийной стороне, и в составе действующих лиц, и в их расстановке во многом зависим от фактической истории обороны города — она ведет роман. Некоторые события тех дней... автор излагает буквально в хронологической последовательности, как это было в самой действительности, как отражено в соответствующих документах. Но считать

«Блокаду» на этом основании произведением документальным не придет в голову: цель писателя состояла в том, чтобы романскими средствами раскрыть подвиг человеческого духа, передать то великое и могучее, одолеть чего враг оказался не в состоянии, — нравственную стойкость советских людей в величайшем сражении Великой Отечественной войны... Жизнь давала автору бесчисленное число примеров мужества один ярче другого, и это был для него тот драгоценный строительный материал, из которого лепились характеры героев» («Новый мир», 1975, № 5).

Читатель, надеемся, простит нам эту длинную выписку — хотелось по возможности полнее раскрыть позицию критика. Оставим пока в стороне замечания, касающиеся характера документализма произведения. К проблеме документализма, здесь сформулированной несколько невнятно, с оговорками, мы вернемся особо. Но яснее ясного, что Иван Козлов определенно говорит о реалистических «романных средствах», позволивших писателю раскрыть величие народного подвига. Критик обосновывает это свое утверждение. Он видит своеобразие авторской типизации в сочетании документа и вымысла, подчеркивая, что «здесь художественный вымысел строго контролировался подлинной судьбой того или иного реального лица».

Точка зрения И. Козлова в принципе нам представляется основательной. Другое дело, что следовало бы попытаться определить индивидуальное своеобразие, специфику реалистического метода именно создателя «Блокады». Однако сомнений в реалистичности самого метода романиста не возникает.

Но вот концепция другого критика. Арк. Эльяшевич — автор статьи «У стен Ленинграда», напечатанной сперва в «Литературной России», а затем в десятом выпуске сборника «Литература и современность» (1970). Как член редколлегии «Литературного обозрения» он провел на Кировском заводе в Ленинграде читательскую конференцию, посвященную роману А. Чаковского. Сокращенная стенограмма этого примечательного, глубоко заинтересованного обсуждения «Блокады» обнародована. В своей вступительной речи критик точно определил задачу обсуждения, в котором приняли участие рабочие и инженеры Кировского и других заводов города-героя, ученые, писатели, партийные работники. На-

ряду с оценкой популярного романа под углом зрения «книга и жизнь», «книга и история», «книга и реальная блокада Ленинграда» есть еще, сказал тогда Арк. Эльяшевич, критерий «книга и писатель, биография писателя». Но и этот критерий не исчерпывает разговора. Есть еще один пласт: роман «Блокада» и наш современный литературный процесс. То есть место романа Чаковского среди других произведений советской литературы о Великой Отечественной войне. «Мы не сможем справедливо оценить роман Чаковского, если будем рассматривать его вне того, что думают и делают другие наши писатели» («Литературное обозрение», 1973, № 8).

Не будем подробно излагать содержание разговора о книге, состоявшегося в мае 1973 года на легендарном Кировском заводе, одном из «героев» «Блокады». Отметим только, что иные читательские высказывания по глубине проникновения в замысел художника и зрелости анализа романа вполне стоят на уровне профессиональной критики.

Судя по отзывам, читатели с доверием относятся к фактографической основе романа А. Чаковского и видят в нем прежде всего густое реалистическое произведение искусства.

Арк. Эльяшевич, один из ревностных пропагандистов романтического начала в нашей литературе, напротив, оспаривает принадлежность «Блокады» к «аналитическому», иначе говоря, «собственно реалистическому» потоку современной прозы («Литература и современность», сборник 10). Правда, он признает, что его оппоненты имеют определенные основания отнести «Блокаду» к «собственно реалистической», «аналитической» литературе: строгая документальность, трезвый политический анализ, «объективированность изложения», отсутствие пейзажей и «лирических отступлений», «деловой», лишенный метафор и украшений язык, даже несколько старомодная «толстовская» интонация рассказа о событиях и не менее «старомодная» композиция, когда повествование ведется от лица «всеведущего» автора, стоящего над своими героями и в стороне от них... Тем не менее критик настаивает на принадлежности «Блокады» — в отличие, скажем, от «сто процентно» реалистических романов К. Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются» — к произведениям «объективно-романтического» склада.

Книга А. Чаковского вписывается, по словам Арк. Эльяшевича, в ряд, веками которого были в разное время «Два капитана» В. Каверина, романы Ю. Германа, «Непокоренные» Б. Горбатова, «Морская душа» Л. Соболева, «Белая береза» М. Бубеннова и др.

От такой постановки вопроса было бы легкомысленно просто отмахнуться. Поэтому обратимся к аргументации критика. Она им достаточно развернута.

Во-первых, говорит Арк. Эльяшевич, почти все герои «Блокады» задуманы не только как типические характеры, но и как символы определенных идей и нравственных категорий. Во-вторых, образы эти очерчены резко, прямолинейно, одной-двумя чертами и несут в себе «идеальное, возвышенное начало». В-третьих, писатель доводит человеческие страсти до их крайнего напряжения; герои романа — люди, одержимые своими идеями, готовые на любые жертвы во имя поставленной цели. В-четвертых, силы добра и зла предстают здесь в своем очищенном от всяких примесей, предельно ясном облики. В-пятых, действие строится по принципу романтической антитезы: на одном полюсе — защитники Ленинграда, носители идей мира и демократии, на другом — фашистские заправилы и одуроченные ими солдаты. Наконец, герои романа «таинственно молчат» или, наоборот, произносят монологи, в которых откровенно и открыто высказывают свои взгляды и идеи, свое отношение к событиям. Ко всему этому надо, по мысли критика, еще добавить, что А. Чаковский, не довольствуясь драматизмом самой исторической ситуации, запутывает фабулу, в которой главную роль играют вовремя не разгаданные тайны, роковые случайности, поразительные встречи. Романтическую атмосферу усиливают и эффектные концовки глав и внезапные переходы от «тьмы» к «свету». В стороне оставлены психологические переживания солдат, бытовые подробности — внимание концентрируется на изображении подвига советского воина...

Перед нами, таким образом, довольно стройная, хорошо продуманная в деталях концепция. «Ценность романтического изображения действительности, — итожит Арк. Эльяшевич, — зависит от того, в какой степени возвышение и сгущение характеров, очищение характеров от всего мешающего выявлению заложенной в них нравственной идеи... соответствует логике жизни. са-

мой сути исторических и общественных тенденций эпохи... Романтическими средствами писатель лишь подчеркивает романтическую самих исторических событий» («Литература и современность», сборник 10).

В отвлеченном теоретическом плане, так сказать, в «очищенном» виде концепция эта по-своему убедительна, тем более что она обставлена диалектически звучащими оговорками: Чаковский и раньше «щедро использовал приемы романтической изобразительности, ставя их каждый раз на службу реалистическим целям». Наконец, подчеркивая, что романтическое начало не случайная, а важная черта творческого облика писателя, автор статьи «У стен Ленинграда» заканчивает миролюбиво и компромиссно: «Как бы ни оценивать «Блокаду» — с позиций ли реалистической или романтической эстетики, бросаются в глаза масштабность этого произведения, его напряженная динамичность, глубокий драматизм».

Мы с пониманием относимся к теоретическим поискам Арк. Эльяшевича. Об его солидной книге «Единство цели, многообразие поисков в литературе социалистического реализма» (1973) мне в свое время довелось одобрительно высказываться на страницах «Литературной газеты». Плодотворно стремление критика показать современный литературный процесс во всем его многоцветии. В упоминавшемся выступлении на читательской встрече Арк. Эльяшевич умно и убедительно говорил о талантливых книгах, хороших и разных, посвященных войне. О романах, широко охватывающих события фронта и тыла, рассматривающих войну и с маршальского командного пункта и из окопа пехотинца. О книгах типа романа Юрия Бондарева «Горячий снег», сила которых в умении воссоздать необычайно яркие картины фронтовой жизни советских солдат и офицеров, рисовать батальные сцены. И о военной прозе, представленной повестями талантливейшего Василя Быкова, в которых конкретный рассказ о боевых событиях каждый раз «осложняется» большой философской темой и приобретает характер притчи, реалистического инсценирования.

Эти определения критика точны и перспективны. Что же касается его суждений о творческом методе автора «Блокады», то им, на мой взгляд, недостает последовательности. Релятивизм в эстетике и крик же

(«Как бы ни оценивать «Блокаду» — с позиций ли реалистической или романтической эстетики...») малопродуктивен. Отдельные конкретные наблюдения Арк. Эльяшевича, касающиеся художественной специфики книги Чаковского, подкупают своей тонкостью. Но намерение уложить многоплановый сложный реалистический роман в условные и тесные рамки излюбленной критиком теоретической схемы вызывает протест. Аргументация в пользу «идеального, возвышенного начала», «романтического» пафоса имеет, конечно, и свои резонансы. Но, увлеченный умозрительными построениями, Арк. Эльяшевич не замечает, что временами он невольно становится на сторону тех теоретиков, которые исходят из недоверия к изобразительным и выразительным потенциям «чистого» реализма и все яркое, масштабное, динамическое, впечатляющее в литературе и искусстве склонны числить, если можно так выразиться, преимущественно по ведомству романтическому.

## 4

Критики охотно и часто цитируют — не могут не цитировать, ибо редко когда в их руки попадает такой выигрышный материал, — беседу А. Чаковского и литературоведа П. Топера, напечатанную в августовской книге «Вопросов литературы» за 1973 год. В самом названии публикации — «Документ, вымысел, образ» — очерчен тот круг спорных и сложных вопросов, которые роман А. Чаковского с новой силой ставит перед литературной теорией.

Популярностью у читателя «Блокада» во многом обязана документальной своей основе. Участники упоминавшегося обсуждения романа на Кировском заводе в Ленинграде отмечали близость эпопеи Чаковского «по идеям» мемуарам Г. Жукова, К. Рокоссовского, А. Яковлева. По словам доктора географических наук профессора Гидрологического института И. Попова, в годы войны офицера Ленинградского фронта, в романе «поразительно точно воспроизведен целый ряд ситуаций. Восприятие у нас с автором оказалось одинаковое». Однако с удовлетворением констатируем, что романист располагает огромным историческим материалом, которым он широко пользуется, этот читатель отвергает утверждения, будто тут «простое введение» документов в текст:

«События описаны в романе настолько убедительно, что перестаешь ощущать, что здесь творческий домысел, а что действительный факт».

О том же, но еще более определенно говорил и другой участник читательского обсуждения, первый заместитель секретаря парткома Кировского завода М. Голованов. Мысль писателя, сказал он, опирается на надежную документальную основу, но «ценность романа «Блокада» как художественного произведения от этого не падает. Одно дело — документы, воспоминания участников войны, а другое дело — литература, которая создает типические характеры, рассказывает обо всем образно» («Литературное обозрение», 1973, № 8).

Подобные суждения читателей многого стоят: вопреки «ликвидаторским» прогнозам иных теоретиков, предвещавших чуть ли не закат художественной литературы, «беллетристики», в условиях «информационного взрыва», современный читатель — и не только «лирик», но и «физик» — вовсе не удовлетворяется документалистикой, рассказами бывалых людей о пережитом страной и народом. Мемуарные свидетельства участников и очевидцев знаменательных исторических событий при всей своей привлекательности, значительности и интересе не могут претендовать — да они и не претендуют — на подмену художественных обобщений, эстетических форм освоения действительности. Не иссякает и не иссякнет, что бы об этом ни думали некоторые футурологи, живая потребность человека в эстетическом наслаждении, в образном познании окружающего мира, в художественном осмыслении опыта прожитого.

Доказательств тому множество. И прием, который читатели оказывают роману Александра Чаковского «Блокада», — одно из них.

Нелегко путь от факта к образу, от мемуарного свидетельства к художественному обобщению, от исторического документа к искусству слова. Не каждому литератору дано этот крутой подъем одолеть.

Историки литературы на примерах классических произведений (скажем, «Былого и дум» Герцена, «Истории моего современника» Короленко, «Жизни Клима Самгина» Горького) пристально изучают процесс «переплавки» руды факта в чистое золото искусства, решают проблему соотношения правды факта и правды вымысла. К сожа-

лению, не всегда итоги академических исследований, весьма поучительных, становятся достоянием нашей критики. Не потому ли почти каждый раз, встречаясь с художественным произведением, построенным на документальном материале, мы начинаем теоретизировать, так сказать, на уровне «нулевого цикла»? Но, с другой стороны, и с этим тоже надобно считаться, каждый новый случай (конечно, коли речь идет о настоящем искусстве) неповторим, по-своему уникален и не поддается интеграции. Один и тот же документальный материал лежит, например, в основе трех первоклассных, но столь непохожих романов об одном и том же историческом деятеле — Степане Разине. Каждый из трех художников — Чапыгин, Злобин, Шукшин — шел своим непроторенным путем.

В методике отбора, использования, обработки документального материала, в самом отношении к факту проявляются творческая индивидуальность и творческие возможности данного художника.

Теоретическая беззаботность критики в отношении к так называемой документалистской литературе (термин, сознаем это, несовершенен и условен, поскольку подразумевает сочинения разнокалиберные и различного характера) нередко сурово мстит за себя. Пожалуй, ни одна область художественного творчества не подвержена столь интенсивным набегам всякого рода ремесленников, как эта. Но прогресс искусства определяется не ими. Говоря о лучших документальных книгах, посвященных Великой Отечественной войне, мы с благодарностью называем такие произведения, как «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры (1946), «Подпольный обком действует» А. Федорова (1947; новые главы опубликованы в журнале «Новый мир», 1975, №№ 2, 3), «Это было под Ровно» Д. Медведева (1948). Их авторы, Герои Советского Союза, активные участники антигитлеровской войны, став литераторами-профессионалами, внесли свою лепту в дальнейшее развитие добрых классических традиций.

Были в послевоенной советской литературе выдающиеся художественные достижения. «Молодая гвардия» А. Фадеева, повествующая о драматической истории комсомольского подполья Краснодона, по сей день остается, на наш взгляд, непревзойденным образцом творческого решения одной из едва ли не самых трудных идейно-эстетических задач: сплава правды факта с

правдой вымысла. Этот высокий уровень остается недостижимым для многих авторов, которые претендуют на ответственную роль художественных летописцев нашей эпохи.

Значение «Блокады» А. Чаковского, помимо всего прочего, нами усматривается еще и в том, что этот роман, отнюдь не безупречный в частности, реабилитирует в глазах многомиллионного читателя самый жанр историко-документального повествования. Это осознается почти всеми критиками, писавшими о «Блокаде». Но до конца вклад А. Чаковского в развитие литературы, питающейся историко-документальным материалом, еще не раскрыт.

В упомянутом интервью «Документ, вымысел, образ» сам А. Чаковский довольно подробно останавливается на обозначенном в заглавии публикации круте проблем, формулирует свое творческое кредо. Весьма заманчиво заглянуть в святая святых художника — в его творческую лабораторию. Высказывания романиста заслуживают тщательного изучения. Однако с отдельными его суждениями, как мы увидим, вряд ли стоит безоговорочно соглашаться.

Поистине практика шире теории. Но по достоинству оценить плоды творческой практики можно, только опираясь на развитую теоретическую систему знаний.

## 5

Любопытно, что определение жанровой природы «Блокады» поначалу поставило, можно сказать, в затруднение некоторых наших даже многоопытных критиков. Правда, и сам А. Чаковский в интервью «Вопросам литературы» несколько беззаботно отнеся к этой стороне дела. «Мне очень трудно определить жанр «Блокады», — сказал он тогда. — Если кто-то считает, что это историческая хроника, у меня не будет никаких возражений; может быть, это историческая хроника. Если кто-то желает видеть в ней исторический роман, ну что же, тем лучше для «Блокады», пусть это будет исторический роман. Я меньше всего думал о жанре» («Вопросы литературы», 1973, № 8).

Между тем речь идет вовсе не о схоластическом интересе к академической терминологии.

История мировой и особенно русской литературной классики знает немало случаев, когда произведения экстраординарные, ше-

девы искусства слова поначалу воспринимались — и не только консерваторами от поэтики — как «нарушение» всех и всяческих норм. Эпопея «Война и мир», как известно, одних смущала, других даже возмущала своей кажущейся громоздкостью. Не укладывались в принятые традиционные представления об историческом романе и другие сочинения; современная писателю критика, например, не жаловала Стендаля-романиста.

Тем не менее с порога отметить выработанную веками жанровую классификацию было бы легкомыслием. К ней надо относиться не догматически, как к застывшему кодексу общеобязательных правил, а творчески. Это помогает по возможности глубже разобраться в идейном содержании романа, лучше понять логику повествования, ближе рассмотреть арсенал приемов и средств художника в их взаимодействии.

П. Топер, автор книги «Ради жизни на земле» (1971; 2-е изд. в 1975 году), комплексного исследования военной темы в советской, русской классической и современной западной литературах, беседуя с Чаковским, отметил: «Критики «примерируются» к «Блокаде», пытаясь определить ее жанровые особенности. Ее называли в печати «художественно-публицистическим» романом, романом «панорамным», сочетанием «исторического» и «психологического» романа и т. д.». Со временем к перечисленным определениям прибавились и новые. «Блокаду» называли еще и «историко-политическим» романом, подчеркивая, что автор, создавая произведения в этом жанре, должен в равной мере «обладать и знаниями исторического характера и мастерством психолога, в одном лице быть публицистом, лириком, художником-баталистом, уметь видеть и мировые события и «успеть» разглядеть в лицо отдельных их участников».

Элементы всех названных жанровых разновидностей действительно обнаруживаются в «Блокаде», но это не эклектическая смесь, а органическое единство, содержащее уже и некое новое качество.

Художника надо судить, памятуя завет Пушкина, по законам, им самим над собой принятым. А. Чаковский, думается, не совсем точно назвал себя «историком-беллетристом». Зато он очень недвусмысленно сформулировал задачу, которую ставил перед собой, работая над романом. Если «Это бы-

ло в Ленинграде», условно говоря, книга лирическая и в ней нет широкого показа военных действий, роли военного командования в обороне города, роли партийного руководства, то в «Блокаде» писатель, по его словам, стремился «показать эпопею ленинградской обороны не изолированно, а как часть всенародного подвига, в самых широких связях, в больших закономерностях истории» («Вопросы литературы», 1973, № 8).

И в этом, по признанию критики и читателей, романист преуспел.

В сравнительно обширной литературе о «Блокаде» преимущественное внимание, к сожалению, уделено результату, а не творческому процессу. Какими путями шел автор к реализации своего замысла? На этот вопрос критика еще не ответила.

Обретения А. Чаковского как автора «Блокады» очевидны. Но были у романиста и потери — их не могло не быть при решении столь грандиозной задачи. Не все трудности в художественном воплощении темы народного подвига А. Чаковскому удалось преодолеть. Об этом тоже необходимо сказать — этого требуют интересы искусства в целом, это диктуется заботой о дальнейшем творчестве Чаковского. Писатель далеко еще не достиг своего потолка.

Об отдельных несовершенствах романа критики писали. Арк. Эльяшевич, например, обратил внимание на то, что «самые разные персонажи у писателя нередко выражают свои мысли в сходных фразеологических конструкциях, а отсюда и строй этих мыслей приобретает порой однообразие» («Литература и современность», сборник 10). Стертой показалась речь иных персонажей романа и участникам читательской конференции на Кировском заводе. Изъян серьезный.

Отмечалась композиционная незавершенность романного повествования, необязательность иных сюжетных линий, нарушение необходимых пропорций. Говорилось также о том, что автор порой увлекается политической, исторической стороной событий, военно-стратегическими вопросами, а вот «народного быта» в романе мало-вато.

Не было такого профессионала-критика или думающего читателя, который бы не заявил, что Чаковскому больше удалось образы героев реальных, нежели вымышленных. Так, образ Жукова выписан рельефно,



точнее — вылеплен, настолько он осязаем. «Человек твердой воли, резкий в обращении, жесткий, но умный, дальновзоркий и талантливый полководец — таким представлен маршал Жуков в третьей книге, в сцене заседания Военного Совета — кстати, одной из лучших сцен романа» («Литературное обозрение», 1973, № 8. Из выступления библиотечаря Н. Алексеевой).

По мнению украинского писателя В. Козаченко, особенно удалась романисту эпизоды в Ставке советского Верховного Главнокомандования, в Генеральном штабе, в рабочем кабинете Сталина; воочию ощущается многотрудная работа Ленинградской партийной организации в Смольном. «Все это написано с подлинно исторических позиций, в соответствии с правдой истории, написано с проникновением в самую суть происходящего, с глубоким психологическим раскрытием образа мыслей, душевных состояний, волевой собранности и целеустремленности Сталина, Жданова, Шапошникова, командующего Ленинградским фронтом генерала армии Жукова, наркома Военно-Морского Флота адмирала Кузнецова» («Знамя», 1973, № 7).

Того же мнения и И. Козлов, заявивший, что в массе своей интереснее написаны образы исторических личностей, чем вымышленные герои. По словам читателей, Вера Королева в романе индивидуально плохо различима. Не всеми ощущается как индивидуальное лицо и Анатолий Валицкий. Исключение в этом отношении составляют образы Ивана Максимовича Королева, кадрового рабочего-кировца, и старого петербуржца, настоящего русского интеллигента Валицкого-старшего. «Емким, психологически точным» назвал В. Козаченко в упоминавшейся статье портрет академика архитектуры В. Хмара в статье «Традиции плодотворные, традиции обязывающие» подчеркивает, что в последней, пятой книге «Блокады» автор заметно стал внимательнее к вымышленным героям, чем в предыдущих частях. «Он как бы отвечает на упрек, высказывавшийся прежде, что порою в «Блокаде» историк теснит романиста. Наши встречи с рядовыми участниками битвы за Ленинград стали продолжительней и ярче. Перед нами впечатляюще воссозданы эпизоды суровой повседневности города, его защитников» («Литературное обозрение», 1975, № 7). В. Хмара говорит об умении писателя даже на сравнительно немногих страницах нарисовать «психологически ем-

кий портрет». В качестве примера критик приводит образ генерала Говорова.

И все-таки сказанным главный упрек не снимается: как и другие критики, автор «Литературного обозрения» утверждает, что и в новой книге, в последней ее трети, вымышленные, «романные» герои вновь слишком надолго отодвигаются на второй план, отчего начинают казаться необязательными...

Все это действительно так. Однако ни один критик «Блокады», по сути, и не попытался теоретически осмыслить этот казус. А стоило бы только затронуть вопрос о соотношении героев вымышленных и реальных, как за ним встали в полный рост те же вопросы о соотношении правды факта и правды вымысла, о реалиях жизни и реалиях искусства, о способах и приемах «переплавки» жизненного материала, накопленных художником наблюдений в чистое золото искусства, о прототипичности персонажей исторического повествования и т. д. и т. п. И хотя обо всем этом сказано немало хрестоматийно убедительного в академических трудах по теории литературы, да и в университетских учебных пособиях тоже, критики как-то теряются каждый раз, когда сталкиваются на практике с новым вариантом решения старой, как сама литература, задачи.

Смелее других к этой проблематике подошел А. Чаковский в беседе, опубликованной на страницах «Вопросов литературы». Романист признал задачу сочетания вымысла и документа не только одной из самых интересных, но и самых сложных из всех, которые встают перед писателем. Оставив критикам возможность теоретизировать, художник рассказал о своем личном опыте, о своих принципах отбора материала и «сплава» документа с вымыслом. Примечательно в этом рассказе, на наш взгляд, признание невозможности для художника «идти целиком за воспоминаниями», за свидетельствами участников событий, «просто воспроизводить написанное другим», то есть покорно следовать за так называемой правдой факта.

Беллетристы-ремесленники, как правило, уповают на силу документа, обаяние факта. Не мудрствуя лукаво они тасуют и перетасовывают выдержки из документов, пересказывают воспоминания, «расцветчивая» их расхожими эпитетами, ссылаются на свидетельства очевидцев.

Художник совсем в другом видит свою задачу.

«Зачем нужна твоя книга,— резонно задавался вопросом автор «Блокады»,—если все это можно прочесть в мемуарах?» Писатель настаивает на необходимости внести «что-то свое, новое» и, не ограничиваясь мемуарами, документами, «их дополнить, сделать общую картину более объемной».

Разделяя пафос этого заявления, обратим, однако, внимание на робость, точнее сказать — осторожность, с какой писатель определяет свои естественные права и обязанности.

Правда искусства отличается от правды жизни, хотя и не противоречит ей. Не только иные читательские письма, полученные автором «Блокады», свидетельствуют о непонимании этой истины. Ее подчас игнорирует и литературно-художественная критика. А. Чаковский вынужден был даже «пожаловаться»: «Сколько бы вы ни говорили, что хотя канва вашего произведения историческая, тем не менее это не научное исследование, а роман, убедить тех читателей, кто требует «буквального» воспроизведения жизни, бывает очень трудно».

Но что требовать от рядового, не искусственного в тонкостях эстетики и теории литературы читателя, если с рудиментами «буквалистского» подхода к художественному произведению встречаешься и в серьезных статьях о романе «Блокада»?

Начнем с того, что беспочвенно, теоретически несостоятельно самое противопоставление персонажей вымышленных и реальных. Ссылки на высокие классические образцы только усугубляют логическую ошибку. «Исторический» Кутузов, с которым на страницах «Войны и мира» встречается князь Андрей Болконский, хотя он и «списан» с живого прототипа, не адекватен исторической личности великого русского полководца. Кутузов в «Войне и мире» — образ художественный, плод художественной фантазии Льва Толстого, его творческого гения. Романного Кутузова мы видим глазами писателя, как и Пьера Безухова. Поэтому-то так естественно и ненавязчиво «стыкуются» в «Войне и мире» эпизоды исторические и вымышленные, персонажи реальные и выдуманые. Здесь сказываются и своеобразие толстовской историко-философской концепции, его мировосприятия и мироощущения, и, что не менее важно, природа, законы эстетического освоения действительности.

По тем же непреложным законам живут Александр Невский и Иван Грозный в фильмах С. Эйзенштейна, Петр Первый и Емельян Пугачев в романах А. Толстого и В. Шишкова, Грибоедов и Пушкин в сочинениях Ю. Тынянова, Владимир Ильич Ленин в кинодилогии М. Ромма и А. Каплера. Нельзя схематично делить героев произведения художественного на реальных и вымышленных. И те и другие, по меткому определению П. Топера, должны быть в равной мере живыми в мире, созданном творческим воображением писателя. К тому же, добавим, реальные личности могут стоять и за героями, которые нам, читателям, кажутся вымышленными. Таковы, думается, старый питерский рабочий-большевик Королев или майор Звягинцев.

Разумеется, параллели неизбежны: читатель историко-документальной эпопеи будет сопоставлять генерала Жукова, персонажа «Блокады», с тем Жуковым, который встает со страниц книги маршала «Воспоминания и размышления». Правда искусства всегда проверяется правдой жизни — это аксиома. Но эти понятия не идентичны. Одно не претендует на подмену другого.

Заблуждаются те, кто полагает возможным ограничить свой духовный мир чтением одной лишь документальной литературы, считая увлечение «беллетристкой» пустой тратой времени, поскольку художественное произведение, мол, не столь богато информацией. Такие рассуждения в ходу, они модны. Но разве и мы, литературоведы и критики, иногда не вооружаем «аргументами» утилитаристов подобного рода?

Недоверие к силе вымысла, к познавательному значению образа, к его информационной насыщенности подчас сказывается самым неожиданным образом. Так, вряд ли И. Козлов намеревался идти на уступки людям, нигилистически, пренебрежительно относящимся к художественной литературе, которая якобы потеряла в век научно-технической революции свое значение, исчерпала свои возможности. Но он невольно все-таки пошел им навстречу, утверждая следующее: «Думается, что та военная эпопея, о которой у нас уже давно говорят, спорят, называя ее то советской «Войной и миром», то Главной книгой о войне, будет содержать и добрую долю публицистики. В силу многих обстоятельств, диктуемых и глубиной мысли, для которой вряд ли хватит только образного вы-

ражения, и назначением этой мысли — объяснить эпоху, события, человека, и, конечно же, полемикой, которую ведет советская литература, защищая от наших идейных врагов большую правду о великом, непреходящем подвиге народа...» («Новый мир», 1975, № 5. Разрядка моя.— У. Г.).

О публицистичности «Блокады» и полемичности романа — чуть ниже. Здесь же обратим внимание на утверждение о недостаточности «только образного выражения». Сколь ответственным ни было бы «назначение мысли», художественная литература, если она действительно таковой является, обладает достаточно гибким арсеналом средств именно для ее образного выражения. Образ — могучее средство познания. Другое дело, что иные большие художники в силу специфики своего дарования или с обдуманном намерением прибегают зачастую к средствам прямого публицистического выражения своих идей. Сошлемся хотя бы на философско-публицистические рассуждения Льва Толстого в «Войне и мире».

Но можно ли на этом основании говорить о бессилии образа или о его сравнительной недостаточности? (Попутно отметим, что наша критика права, когда развенчивает ту мнимую «поэзию образов», которая маскирует скудость знаний, узость кругозора, но это уже совсем другая проблема.)

А. Чаковский как-то признался, что ему интереснее писать, а читателю, по его мнению, интереснее читать об исторических личностях. «Сказывается то, что здесь есть огромное поле для читательского воображения. Если я называю имя «Вера», это ничего еще не говорит читателю, но если я называю имя «Жуков», то это рождает тьму ассоциаций — вот в чем дело» («Вопросы литературы», 1973, № 8).

Подобные высказывания по меньшей мере спорны.

Автор «Блокады» имеет, конечно, право, опираясь на собственный опыт, говорить о преимущественном своем интересе к личностям историческим. Но можно ли, обобщая, утверждать их фатальное превосходство над вымышленными героями? В искусстве, в мире, созданном художниками, живут на равных и герои, имеющие исторических прототипов, и персонажи вымышленные. Читателям «Войны и мира» многое говорит имя Кутузов. Но «тьму ассоциаций» рож-

дает, «огромное поле» для читательского воображения открывает и имя Наташа Ростова...

Так мы опять и опять возвращаемся к проблеме соотношения факта и вымысла в историко-документальном повествовании. Художественная практика знает бесконечное множество индивидуальных вариантов их сочетания, взаимодействия. Кстати, в монографии И. Вайнберга «За горьковской строкой» («Советский писатель», 1972) эта проблематика разносторонне раскрывается на опыте основоположника социалистического реализма, его работы над итоговым произведением — эпопеей «Жизнь Клима Самгина». «Чистого вымысла», отрешенного от объективной действительности, в реалистическом искусстве не бывает. За каждым «вымышленным» образом — пропущенные через душу художника реальные жизненные впечатления.

Нельзя забывать о «чуде искусства». Оно неиссякаемо. И как проникновенно сказал старейший советский литератор Виктор Борисович Шкловский, выступая на одном из международных симпозиумов, — история отливается в определенные формы, они постепенно застывают, а слово художника размывает их, вновь и вновь наполняя живым человеческим содержанием.

## 6

Несколько слов о публицистичности «Блокады».

Анализируя первую книгу романа А. Чаковского и называя роман историческим, ленинградский критик и литературовед Л. Плоткин обнаружил в нем два сюжета: один из них подсказан реальным ходом самого времени, а другой, по словам критика, может быть назван внутренним сюжетом. В нем отражаются судьбы рядовых людей, попавших в бурный круговорот больших жизненных потрясений.

Вероятно, надо было сказать и о том, как взаимодействуют эти «два сюжета» — ибо если бы они существовали в романе автономно, каждый сам по себе, цена «Блокаде» была бы совсем не та.

Л. Плоткин с сожалением отмечал, что «внутренний сюжет» в первой книге еще не обрел необходимой силы художественной убедительности. Что же касается «исторического сюжета», то он, по признанию кри-

тика, «разработан А. Чаковским интересно и широко. Кое-где, правда, образное видение мира вытесняется публицистикой. Материал самой истории присутствует иногда как бы в «чистом» виде, не найдя образного воплощения. Но, в общем, вся эта линия в «Блокаде» написана сильно и достоверно» («Нева», 1970, № 4).

Спустя пять лет примерно то же самое, но уже о пятой книге, скажет и критик «Литературного обозрения» В. Хмара.

О публицистичности «Блокады» нельзя говорить «между прочим», ибо она пронизывает все повествование и есть его органическое качество. Публицистический пафос автора проявляется не только в «отступлениях», полемических или иных рассуждениях о характере начальной фазы войны — он сказывается на своеобразии типизации, на архитектонике романа в целом. И глубоко правы те критики, которые признают публицистичность одной из стилевых особенностей «Блокады». Вслед за И. Козловым мы склонны признать органическим вплетение, так сказать, рассудочно-оценочного элемента в эмоционально-образную ткань повествования. И в этом усматриваем не промах, а достижение А. Чаковского — художника, в этом видим своеобразие его дарования.

Публицистичность романа обычно связывается с его полемическим заданием. По признанию самого автора, он хотел в «Блокаде» быть не только летописцем, но и солдатом. Роман уже сыграл — и несомненно будет и впредь играть — активную роль в развенчании ложных концепций о характере войны с германским фашизмом, о движущих силах и истоках великой нашей победы. Подрастают поколения людей, знающих о войне только по книгам, кинофильмам, учебникам истории. Между тем существуют такие издания, как «900 дней» американского журналиста Гаррисона Солсбери или «Осада Ленинграда» его соотечественника Леона Гура, тонко фальсифицирующие правду о бессмертном подвиге города на Неве, колыбели Октября. Оставить их без ответа в нашей литературе было бы кощунством по отношению к памяти жертв блокады.

Но видеть полемический накал только в публицистичности «Блокады», на наш взгляд, принципиально неверно: утверждение истины о войне с фашизмом, развенча-

нию неправды о героическом прошлом служит вся эпопея. Этой задаче подчинена вся образная структура произведения, его композиционный строй, расстановка действующих лиц, развертывание конфликтных ситуаций. Что же касается прямых публицистических выводов, полемических замечаний, авторского «вмешательства» в ход повествования, то они вытекают, как правило, из логики сюжетного развития. И в этом, думается, прежде всего причина прочного успеха романа у современного читателя.

Писатель не скрывает своего несогласия с трактовкой событий начала войны в ряде литературных произведений, созданных во второй половине 50-х — начале 60-х годов. Подчас односторонне характеризовалась и предвоенная советская действительность — время сложное, драматичное и героическое. «Блокада» знаменует собой шаг вперед нашей художественной литературы в подлинно партийном осмыслении исторического прошлого.

Однако не надо путать идеологически целеустремленную дискуссионность романа А. Чаковского с другими его аспектами. У каждого художника, естественно, свои эстетические симпатии и антипатии. Зрелый мастер обычно отдает предпочтение своим излюбленным, проверенным им на практике, годами отточенным приемам выражения «любимой мысли». Критика отмечает существенные отличия «Блокады», скажем, от симоновской трилогии. Правомерны сопоставления романа А. Чаковского и с другими значительными произведениями о войне. Сопоставляя, сравнивая, устанавливая сходства и различия, критик, исходя из собственных эстетических привязанностей, может, естественно, отдавать предпочтение тому или иному явлению искусства. Но притом будем помнить, что сила и будущность литературы социалистического реализма в ее многообразии, в свободе проявления творческой инициативы, в неустанных поисках новых оригинальных решений.

Появление первых серьезных научных исследований о военной теме в советской многонациональной литературе радует. Но литературоведческие работы делаются годами, им нелегко поспеть за быстро развивающимся современным художественным процессом. Тем большая ответственность ложится на текущую литературную критику.

## 7

Сегодня, может быть, как никогда раньше ощущается потребность в синтетической критике, в больших обобщениях. Вместе с тем пора от суммарных обзоров перейти к конкретному сопоставительному анализу наиболее значительных современных произведений о Великой Отечественной войне. Повышение теоретического уровня анализа предполагает значительное расширение плацдармов исследований.

Отличительной особенностью последнего десятилетия признается интенсивнейшее взаимодействие разных искусств, ведущее, как правило, к их взаимообогащению. На «стыках» искусств — классических, традиционных и молодых — рождаются новые эстетические ценности. В частности, романы и повести о войне, будь то шолоховское «Они сражались за Родину» или «А зори здесь тихие...» Б. Васильева, «Живые и мертвые» К. Симонова или «Горячий снег» Ю. Бондарева, становятся достоянием не только читателей, но и миллионов кино- и телезрителей, живут новой жизнью на сценах драматических и музыкальных театров. Герои литературы, персонажи любимых книг благодаря современным средствам массовой коммуникации входят практически в каждый дом.

Можно ли не считать с этим процессом? Тем более что не всегда он протекает безболезненно, а нередко сопровождается и огорчительными идейно-эстетическими потерями.

Отрадно, что историки литературы наконец-то вплотную подходят к теоретическому осмыслению проблем «инобытия» литературы, к исследованию новых, ранее неизвестных форм ее бытования. Критика же (равно как и искусствознание) пока что довольно инертно реагирует на эти явления, полагая, должно быть, что «на Шипке все спокойно». В лучшем случае дело ограничивается рецензиями на инсценировки и экранизации. Появилось несколько работ о литературной классике в современном театре и кино (в том числе дискуссионный сборник «Книга спорит с фильмом»). Но беда в том, что кругозор большинства авторов ограничен их специальностью. Отдельные отрасли нашей литературно-художественной критики по старинке продолжают функционировать автономно, обидно обособленными друг от друга. Озабоченная каждая своими чисто

специфическими интересами, игнорируя положение вещей у «соседа», театральная критика неохотно кооперируется с кинокритикой, кинокритика, в свою очередь, за редким исключением остается почти безучастной к теоретико-практическим проблемам критики литературной. (Как об исключении можно сказать о выступлениях А. Аникста, А. Анастасьева, М. Кузнецова, Л. Аннинского и немногих других литераторов и искусствоведов — «многостаночников», мыслящих «широкоформатно», большими категориями, одинаково увлеченно работающих как в литературной, так и в театральной и кинокритике.)

В начале наших заметок была названа солидная цифра — сорок с лишним откликов в газетах и журналах на фильм — экранизацию романа «Блокада». Хотя работа над «переводом» романа-эпопеи А. Чаковского на язык экрана еще не завершена, но и по первой части вполне можно судить о многом. Появление киноверсии популярного произведения литературы позволяет по-новому взглянуть и на первооснову. Если перед нами не рабская копия книги, не мертвенная иллюстрация, а творческая работа, критике предоставляется счастливая возможность путем сопоставительного анализа двух произведений определить своеобразие каждого из них, глубже и тоньше разобраться в поэтике и идейно-образной системе романа.

К сожалению, этой возможностью критика пока еще не воспользовалась. Среди статей, рецензий и репортерских отчетов о фильме мало найдется публикаций проблемных, аналитических. Единственный заслуживающий в этой связи внимания материал — подборка «Память поколений» — напечатан в журнале «Искусство кино» (1974, № 9). До этого дважды — в 1971-м и 1973-м — в том же издании бегло сообщалось о замысле и задачах фильма, создаваемого по роману «Блокада» ленинградским кинорежиссером М. Ершовым.

Крепнущее содружество искусств требует и от разных отраслей нашей литературно-художественной критики объединения усилий во имя решения общих задач.

Подводить итоги еще рано. Но уже сейчас, не боясь впасть в грех преувеличения, можно сказать, что А. Чаковский написал книгу значительную и весомую, своевременную. Что касается ее изъянов, то сам романист о них судит строже, нежели некото-

рые его критики. «Я достаточно трезво сужу о художественных достоинствах «Блокады»,— признался писатель в беседе с корреспондентом «Вопросов литературы»,— и прекрасно понимаю, что человек с большими, чем у меня, способностями мог бы написать и более сильно, и более впечатляюще, но и я подвержен, очевидно, тому пафосу русской литературы, который присущ ей на протяжении если не веков, то многих и многих десятилетий. Ибо русскую литературу всегда и прежде всего занимал ответ на вопрос: как жить? Это вопрос морального обязательства писателя, его чувства ответственности» («Вопросы литературы», 1973, № 8).

Речь идет о работе, которой художник отдал десять лет жизни. Сознание ответственности перед читателем — залог новых его творческих удач.

Успех «Блокады» не случаен. Он продиктован в первую очередь гражданской зрелостью романиста. «Утвердить историческую правду — правду, включающую в себя, как и сама жизнь, и хорошее и плохое,— что может быть дороже писателю, когда он берется за историческую тему такой важности и актуальности!» В этом утверждении Александра Чаковского ключ к пониманию его замысла. Поистине — уходить от исторических фактов нельзя и незачем. История на нашей стороне и историческая правда — с нами.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**В. Боборыкин.** Истина ради жизни.— **М. Шаталин.** Пульс времени.— **Б. Галанов.** Прощание с Византией.— **В. Этов.** Достоевский как издатель и редактор.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Якушев.** Системный анализ проблем управления.— **В. Молчанов.** Африка: средства массовой информации и идеологическая борьба.— **Б. Марушкин.** Из истории русско-американских отношений.

## Литература и искусство

### ИСТИНА РАДИ ЖИЗНИ

Сергей Залыгин. Комиссия. Роман. «Наш современник», 1975, №№ 9—11.

Открывается роман С. Залыгина величественной картиной Сибири с ее тысячеверстными лесами, степями, горными грядами, океанскими побережьями. А вслед затем и время действия обозначено писателем как пора величественная и тревожная: «Осень одна тысяча девятьсот восемнадцатого года наступала, жизнь с каждым днем становилась непонятнее: порядка все меньше, страха все больше, война все ближе, власть неизвестнее».

После такого зачина невольно ждешь событий широкого размаха, движения людских масс, по крайней мере чего-то не менее напряженного, чем в залыгинской же «Соленой Пади». Однако внимание автора останавливается на событии, которое на столь широком фоне непросто и рассмотреть. Сам автор сообщает о нем — то ли с удивлением, то ли с иронией: «Какое случилось в борова деревне Лебяжке событие: там была выбрана Лесная Комиссия!»

Тем не менее к делам и судьбе этой Комиссии, которая выбрана в Лебяжке, борова деревне, как раз и стягивается действие романа. Лебяжка — глушь такая, что даже ближние деревни кажутся чужими и безмерно далекими. Все в этом «оазисе» свое, неповторимое: и сама его история, перело-

женная в сказки, которые рассказываются лебяжинцами «у камелька» в часы особенной душевной близости друг к другу, и принятый здесь язык, удивительно емкий и выразительный.

Казалось бы, перед нами обособленный крестьянский мир, берегущий и лелеющий свою непоколебленную «органику». А между тем постепенно разгораются в Лебяжке такие события, такая борьба идей, принципов, нравов, натур, что для обозначения ее масштабов потребуются слова не меньше как «эпоха», «история», «судьба народная». И как ни обособлено действие «Комиссии», в романе улавливаешь нечто роднящее его с произведениями широкого эпического размаха.

Залыгинская Лебяжка — деревня особая: и похожая на любую другую русскую деревню и непохожая. Стоит она у ленточного бора, одного из тех, что пересекают сибирские степи из конца в конец и «весь мир вокруг себя преобразуют». Сама жизнь людская «издавна становилась иной при ленточных борах, не степная была там и затерянная жизнь, не лесная, глухоманная — была она просторна пашенной землею и не бедна лесом, его дарами; была не вдали от всего света, но и не жалась, не лепилась к большакам».

Таковы географические «координаты» Лебяжки. История ее тоже неординарна. Произошла она от слияния двух каждого по-своему необычных племен: от кержак-ков-староверов, людей суровых, непреклонных, не покорившихся и самой царице-немке, когда посягнула она на их веру, и от полуятских переселенцев, веселых жизнелюбов, бойких да острых на язык.

Так и получилось — отчасти по прихоти истории с географией, отчасти по авторскому умыслу, — что сошлись в Лебяжке как будто обыкновенные крестьянские типы и характеры, а в то же время и необыкновенные. Живут в ней пахари-философы, пахари — политики, художники, воины, общественные деятели. Каждый со своим взглядом на мир, на человечество, на все жизненное устройство. И нисколько не странно, что Комиссия, созданная лебяжинцами с весьма определенной целью — для охраны леса от чужих и своих порубщиков, — очень скоро превратилась в этакий деревенский парламент, в котором, как и полагается парламенту, с первых дней работы развернулись прения — о войне и мире, о революции и власти, о законе и беззаконии.

Прения эти уже сами по себе чрезвычайно интересны. Возникает, скажем, спор о том, как делить между лебяжинцами общественный лес. Член Комиссии Василий Дерябин, крайне радикально настроенный фронтовик, предлагает: «Давайте поделим наш лесной запас на лиц только мужского полу и на вдов». Председатель Комиссии Петр Калашников возмущается:

« — А чего ради, товарищ Дерябин, происходила революция, когда более половины рода человеческого все одно останется в утеснении? Ведь революция делается не за ради меньшинства, а за ради огромного большинства! Да я лично скорее помру от стыда, чем пойду за такой революцией!

— Ну, и не ходи! Не сильно-то она в тебе, малахольном, нуждается! И не у тебя она спрашивает — какой ей быть!

— А у кого?

— У самой себя!

— Не так! Никто революцию ради ее же самой не делает. Ее делают для народной справедливости и блага! Только!

— А еще председатель нашей Комиссии! Еще считаешься политически зрелым товарищем! Для блага народа что необходимо? Победа революции! А победа когда будет? Когда революция перво-наперво будет любыми средствами заботиться о себе и даже

перешагивать через любые блага, хотя бы и народные. Сперва она должна победить, после — наводить хотя бы свою собственную справедливость!»

Интересны не только идеи и суждения лебяжинских парламентариев, но и сам характер вспыхивающих между ними схваток. Их дебаты — это отнюдь не политические игры с хорошо разработанной у каждого своей тактикой. Они не умеют отделять самих себя от своих концепций. И не отвлеченные «взгляды» сталкиваются в их спорах, а характеры, натуры, мало того — целые человеческие миры. Впрочем, это уже относится не только к Комиссии — ко всей Лебяжке в целом.

Во многих произведениях события развиваются в каком-то одном плане, в одной плоскости, допустим социально-исторической, или нравственно-бытовой, или психологической; случается, что душевные и нравственные состояния, быт играют здесь как бы подсобную роль — призваны оживить, углубить, драматизировать изображение исторических событий, социальных конфликтов и прочее. В «Комиссии» самые разные планы соединены в одно объемное, стереоскопическое и стереофоническое целое. В ней много воздуха и обилие не укладывающихся в привычные логические схемы связей и противоречий.

Стоит подчеркнуть характерное отличие «Комиссии» от других романов о судьбе народа в условиях революции и гражданской войны, допустим от «Вечного зова» А. Иванова или «Судьбы» П. Проскурина. В «Вечном зове» нити человеческих судеб тянутся на огромные временные расстояния. Идут годы, меняется соотношение классовых сил, а с ним и формы борьбы, но сама борьба не прекращается ни в мирную, ни тем более в военную пору. Закаленными в ней и хорошо вооруженными для ее продолжения в любых условиях и приходят герои эпопеи из далекого прошлого в наши дни. Жизни их как бы «позтапно» отражают жизнь народа, его движение в намеченных автором исторических границах. То же самое можно сказать о романе П. Проскурина «Судьба» и некоторых других эпических полотнах последнего десятилетия.

В романе С. Зальгина нет этого исторического «панорамирования». Действие его локализовано во времени и пространстве. И не развивающиеся жизненные пути героев оказываются в центре изображения, а все новые и новые грани их нравственной орга-



низации, их упорной работы по освоению мира.

Как и повсюду в России революционных лет, в Лебяжке резко обострилась классовая борьба. Гражданская война хоть еще и не дошла до нее и не расколола всю ее на два стана, но уже развела в одну сторону кулаков, в другую — бывших фронтовиков с Василием Дерябиным во главе. И вот уже богатей Гришка Сухих, бросая вызов Комиссии и всей Лебяжке, захватывает часть общественного леса. И кто-то в отместку поджигает его усадьбу. И в доме другого кулака, Прокопия Круглова, собираются люди, вынашивающие свои особые планы, связанные с воцарением в Сибири Колчака. А дерябинские ребята сколачивают вооруженный отряд с намерениями явно противоположными...

Бедняки и кулаки лебяжинские как бы распложились по краям большого середняцкого материка. А «материк», сама середняцкая масса, хоть и живет в постоянном напряжении, не спешит принимать ни ту, ни другую сторону. Поддерживает ее в этом состоянии и Комиссия, которая жаждет сохранить мир в Лебяжке и по наказу «лучшего человека», девятилетнего Ивана Ивановича Саморукова, изо всех сил «воюет против войны, делает ей все наперекор». Финал этих усилий Комиссии оказывается трагическим: появляются в Лебяжке колчаковские каратели и не кто иной, как члены Комиссии да те, кто был так или иначе к ней близок, становятся их первыми жертвами.

Если бы этот историко-политический и социальный план был единственным в романе или, по крайней мере, основным, можно было бы с легким сердцем скрепить все содержание «Комиссии» четким и определенным выводом: в огне классовой борьбы, перерастающей в вооруженную борьбу, старания всякого рода «миротворцев» безнадежны и вредны. У всех, кому действительно дороги интересы народа, в этих условиях нет и не может быть иного пути, как путь решительной и беспощадной борьбы за его полное освобождение.

Но отнюдь не по одним классовым граням разбегаются трещины в лебяжинском обществе. За классовым встают поиски духовные, нравственные. А ими охвачены буквально все персонажи «Комиссии».

В смутное время, когда «жизнь с каждым днем становилась непонятнее», лебяжинцев с особенной силой охватывает жажда исти-

ны. Одним она нужна, как и святому Лаврентию, ради самой истины, другим — ради жизни. При этом и те и другие понимают ее всякий по-своему.

«Блажной» мужик Кудеяр, ушибленный страхом перед грядущим концом света, зовет односельчан к подвигу во искупление тяжких грехов. Для Кирилла Панкратова, обладающего даром художника, нет истины более высокой, чем искусство его, которому он отдается с полным самозабвением. У поручика Смирновского, первого лебяжинского мужика, дослужившегося до офицерского чина, своя вера...

Надо сказать, каждый из лебяжинцев, не исключая и Кудеяра, достаточно стройно и убедительно излагает свою концепцию, свои взгляды на смысл и сущность человеческого бытия. Правда, подавляющее большинство лебяжинцев, которым все же ближе истина ради жизни, не принимает ни одной из них. Но точно так же не принимает это большинство и тех идей, которые проповедует Василий Дерябин, к слову говоря, фигура, под пером автора получившаяся несколько схематичной. И можно понять мужиков Лебяжки, людей деятельных, артельных, умеющих постоять за себя, когда они без особого энтузиазма воспринимают слова Дерябина о том, что все в их жизни было «не так — не по разуму, не по порядку, а ровно в помойной яме! И даже хуже», что «надо все переделать заново, не так, как было, ну а ежели обратно ничего не выйдет — обломки пустить под откос!». Дерябинская «революция», которая лишь «у самой себя» должна спрашивать, какой ей быть, и «перво-наперво... любыми средствами заботиться о себе», — в сущности, абстракция, не обращенная непосредственно к народному благу.

Николай Устинов, самый светлый из лебяжинских умов, находит радость и в работе, и в познании мира, и в заботах о детях и внуках. Его зять Шурка видит смысл жизни в удовольствиях. Для «земляного мужика» Половинкина жизнь целиком исчерпывается работой. У кулака Гришки Сухих совсем иные «идеалы». Ему и богатство необходимо не ради богатства и не ради власти над людьми, а для ощущения своей силы и своей независимости от всего мира, от человечества, которое, оказывается, только для того и годится, чтобы «плевать в его».

Все это многообразие духовных интересов — богатых ли, бедных, замкнутых в собственном мирке герои или требующих при-

общения к ним всей Лебяжки, а то и всего белого света — создает в романе особую, весьма напряженную атмосферу. Ее обуславливает еще и многое такое, что ни в какую «плоскость» романа не укладывается: и фронтовые эпизоды, вспоминающиеся Устинову, и драматичная история дачницы, приехавшей в Лебяжку ради прощальных встреч со своим смертельно больным возлюбленным, и рассуждения Смирновского о русской армии, которая всегда была гуманна по отношению к побежденным ею врагам, и сказки о парнях-кержаках и полуявских девках, от которых и пошли лебяжинские семьи.

Нравственный план переплетается с социально-историческим и духовным, а в совокупности своей они и создают в романе его объемное пространство, в котором движутся по своим орбитам объемные же человеческие миры. И безмерно богатые, как устиновский, и мелочно-корыстные, как мир Игнашки Игнатова, и безмятежные, как мир Домны Устиновой, и полные неистовой энергии, как мир Зинаиды Панкратовой.

Почти ни об одном из героев романа нельзя сказать, что он является носителем таких-то нравственных черт, представителем такого-то слоя. Любое представительство предполагает некую однородность среды, которая представляется, и более или менее полное соответствие всех черт и качеств героя чертам и качествам этой среды. В «Комиссии» же нет ни такой однородности, ни такого полного соответствия. Можно ли поставить в один ряд, скажем, Дерябина, Кудеяра и Мишку Горячкина — людей, принадлежащих, видимо, к одному социальному слою, но в высшей степени различных по своему духовному складу и нравственным основам? Невозможно соединить и Половинкина со Смирновским или Устинова и Гришку Сухих с братьями Кругловыми.

Все это отнюдь не ведет к размыванию социально-политической атмосферы романа. Она остается достаточно определенной и отражает вполне конкретную историческую обстановку. Но то, чем полны участники событий: их тревоги, устремления, противоречия, — выходит далеко за границы этого исторического времени.

Впрочем, если ставить вопрос о том, насколько злободневен роман С. Зальгина, разговором о живучести этих идей и концепций не обойтись. В сущности, многообразные лебяжинские конфликты и противо-

речия, при всем том, что это подлинные исторические конфликты, являются своего рода моделью или, лучше сказать, прообразом той сложнейшей политической и идеологической борьбы, которой в наши дни охвачен весь мир. И потому особенно ценны и актуальны исторические уроки, которые заключает в себе роман.

С. Зальгину удалось на основе событий, происходивших в маленькой сибирской деревне, развернуть широкую картину многообразнейших человеческих отношений, всякий из его героев так многогранен, что, кажется, невозможно исчерпать всех связей и противоречий, которые возникают или могут возникнуть у него с другими героями, как невозможно исчерпать их в самой жизни.

Нет никакого авторского произвола в том, что чаще всего в центре событий оказывается фигура одного и того же героя — Николая Леонтьевича Устинова, таков уж он, Николай Леонтьевич, что всем до него есть дело, все ищут дружбы с ним. А коль не получается дружба, становятся не просто недругами — смертельными его врагами.

Чем же примечателен Устинов?

Прежде всего, по-видимому, тем, что это человек большого и разностороннего таланта, включающего и такое качество, как жажда человеческой справедливости на земле. В основе устиновского таланта — тонкое чувство природы, способность слышать ее зовы и предостережения, откуда бы они ни исходили: от земли, или неба, или собственной его души. Как и всякий истинный талант, он по-своему видит мир. И сущность человека он способен улавливать исключительно зорко.

И Смирновского со всем его недюжинным умом и начитанностью, и Гришку Сухих, противоречивую и темную натуру, и «блажного» Кудеяра, и Половинкина — всех их Устинов понимает полнее и глубже, чем сами они понимают себя или друг друга. И потому к нему тянутся все.

Умышленно ли, неволью ли, но параллельно с Устиновым выведен в романе и другой высокоодаренный человек — Кирилл Панкратов, мастер виртуозной резьбы по дереву. Панкратов не менее талантлив, чем Устинов. Но он раб своего таланта, он весь в заморожившем его искусстве и служит ему одному — не людям. Он может не задумываясь положить за него собственную жизнь и на чужую поднять руку. Но в конечном итоге оно оказывается искусством

для искусства, не отражающим жизни и даже в известном смысле нелепым, как нелепо резное, удивительной красоты Кириллово крыльцо, приделанное им к обыкновенной, грубой работы избе. Не случайно оно вызывает у солдат проходящего через деревню отряда такое раздражение, что они готовы даже поджечь его.

В таланте Кирилла есть нечто болезненное, рахитичное. Талант Устинова — само здоровье. Физическое, духовное, нравственное, социальное. И эстетическое.

Если бы и сам автор и всякий из этих героев постоянно восторгался Устиновым, образ его в конце концов оказался бы сусальным и, несомненно, утратил бы обаяние своей глубокой реалистичности. Но в том-то и дело, что никто с ним не носитя. И поберечь его никто не пытается от странной и опять-таки очень точно подмеченной автором уверенности, что уж кому другому, а Николаю Леонтьевичу, от которого каждый чего-то ждет, «ничего... не сделается». Между тем из всех лебяжинских мужиков, которые взяли на себя общественное дело, по словам Саморукова, «нынче сильно рисковое», как раз Устинову и суждено было стать первой жертвой темных сил.

В этом есть своя неумолимая логика. Поделить Устинова нельзя. Оставить «ничейным» тоже. Его надо либо привлечь к себе, либо, если это не удастся, уничтожить, чтобы не оказался он в одном стане с противником. Потому что с Устиновым всякий противник станет во сто крат сильнее. А то, что Николаю Устинову оказалось не по пути ни с Гришкой Сухих, ни с «колчаками», что путь его медленно да верно вел к защитникам завоеваний революции, совершенно очевидно. Он ведь не такая уж и новая в нашей литературе фигура. В нем немало общего, скажем, с Вершининым Вс. Иванова. А еще больше с другим зальгинским образом — Степаном Чаузовым в повести «На Иртыше». От обоих этих героев, и от Чаузова в особенности, Устинов отличается не столько какими-то чертами души и характера, сколько тем, что он глубже и подробнее рассмотрен художником. Но именно поэтому он оказался типом, которому, несомненно, суждено занять в литературе особое место.

Как и со всяким другим персонажем «Комиссии», с фигурой Устинова ни в коей мере нельзя связать какого-либо «представи-

тельства». Слишком он для этого живой, осязаемый. Но вполне можно сказать, что и натура его и характер — квинтэссенция лучших качеств народа. А если взять всех ведущих героев романа со всеми их достоинствами и недостатками, то вкупе они создают живое и глубокое представление о народном характере, о духовных и интеллектуальных возможностях народа — именно это, как мне кажется, и выдвигает роман в число видных произведений последних лет.

Гибель Николая Леонтьевича, а вслед за ним и всей лебяжинской Комиссии — неизбежный финал попыток примирить враждебные друг другу классы, идеи, добро и зло; и, конечно, вывод, к которому этот финал приводит, достаточно важен. Однако еще важнее те истины, которые вскрываются на пути к нему.

Что все-таки может объединить людей, привести их к согласию, коль всякий из них — сложный и непохожий мир? Многое может объединить. И власть, если она самими этими людьми избрана. И закон, если он «назначен», как говорит Калашников, по крайней мере с их согласия, и всякие идеи, светлыми умами рожденные, если зерна этих идей ложатся в готовую принять их почву. И общий труд, если это не тот «без ума, без расчета, не говоря уже о веселом слове», труд, который забирает жизнь человека всю без остатка.

Но для того и нужны Устиновы, чтобы было к кому «прислониться», набраться ума и тепла да рано или поздно порешить все эти «если».

Можно заметить, что в романе С. Зальгина маловато действия, что он перегружен речами и рассуждениями героев, и кое-кто из читателей найдет эти рассуждения чересчур мудрыми для обыкновенных крестьян, а дебаты их затянутыми и порою утомительными.

Все это, по-видимому, связано со стремлением автора на крохотном клочке исторической действительности уместить и по своему решить столь широкий круг проблем — философских и нравственных, исторических и социальных. Но стремление это в целом безусловно увенчалось успехом.

Говорят, можно увидеть мир в капле воды. Зальгинская Лебяжка именно такой каплей и оказалась.

**В. БОБОРЫКИН.**

## ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

**В. С. Сурганов. Человек на земле. Историко-литературный очерк. М. «Советский писатель». 1975. 560 стр.**

В критике и раньше были периоды, когда статьи о крестьянской литературе, деревенских писателях не сходили с газетных и журнальных страниц. Конец 60-х — начало 70-х годов совпали с широкой дискуссией по поводу деревенской темы в художественной литературе. Сегодняшняя дискуссия — не в пример давнишним — длится долго, это не кампания, по прошествии которой остается осадок недоумения: спорили рьяно, а что заложили в историко-литературные закрома?..

Участники нынешних споров тяготеют к историко-литературным ретроспекциям, выводы строят, согласуясь с достижениями современной науки, отмечая вульгарный социологизм 20-х годов, диктовавший, в частности, обязательное выделение крестьянской (пролетарской, буржуазной, новобуржуазной и т. д.) литературы в феномен абсолютно исключительный, а потому требующий к себе особенного — крестьянского — эстетического подхода. Современные суждения о писателях-«деревенщиках» не замыкаются в тесном пространстве заранее оговоренных (скажем, «крестьянских») тем, конфликтов, характеров. Состояние творческой дискуссии оказало положительное влияние на литературную науку. Один из примеров тому — появление большого историко-литературного очерка В. С. Сурганова «Человек на земле».

У книги Сурганова твердо очерченные тематические рамки, продуманная архитектура, определенно выраженная целенаправленность. Качества, как известно, появляющиеся в результате сложения многих творческих компонентов. Главные среди них: профессионально безукоризненное знание материала, четкое представление о целях предпринимаемого исследования, умение последовательно и строго выстроить научное повествование. Работа Сурганова зиждется на прочном фундаменте историко-литературных фактов. Обширным был бы список имен и названий, пожелай издательство и автор приложить его к книге. Однако стремление к показной («академической») полноте чуждо Сурганову. Для него важен отбор, а не эмпирическое описание фактов.

Главы книги — действительно разделы единого исследования, а не ряд статей или автономных очерков, собранных под одной

обложкой. Главы связывает внутренняя логика, научная концепция. Очерк словно бы реализует пожелание, неоднократно высказанное в последней дискуссии о писателях-«деревенщиках»: настало время проследить, что менялось в крестьянстве на разных этапах развития общества и что запечатлелось в слове.

При необходимости автор вступает в доказательный спор с теми, для кого крестьянство — олицетворение «отсталости». Здесь у него прочная опора — свидетельства жизни, художественной литературы (вспомним в этой связи «Поднятую целину» М. Шолохова), достижения социальных наук. Сурганов привлекает для своих доказательств анализ экономических, социальных, литературных явлений, связанных с изменениями в русской деревне вскоре после отмены крепостного права, во время революции 1905—1907 годов, в эпоху Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Естественно, центральное место в очерке занимает коллективизация и художественная литература, ею порожденная. Линия исследования простирается до наших дней. Впрочем, обстоятельный разбор деревенской темы в русской советской литературе самых последних лет оставлен на потом, здесь же автор ограничился общим обзором и обещанием еще одной книги, целиком посвященной 60—70-м годам.

Опираясь на фундаментальные положения В. И. Ленина, его высказывания о русском крестьянстве, содержащиеся, в частности, в статьях о Л. Толстом, Сурганов отмечает проявление социальной активности там, где иные из исследователей-предшественников не видели ничего, кроме аргументов в пользу инертности, застоя деревенского уклада. Историзм книги в том, что в ней четко прослежено, как возникают и меняются во времени формы классовой борьбы в деревне. В этом смысле по-особому интересны страницы о событиях весны 1861 года в селении Безднá Спасского уезда Казанской губернии, рассказ о правдоискателе Антоне Петрове — Антоне Петровиче Сидорове. Раздел этот, примечательный прежде всего с точки зрения концептуальной, дает возможность оценить характерное в творческой индивидуальности критика — имею в виду его умение легко, непринуж-

денно строить изложение, богатство и разнообразие изобразительных средств, чем далеко не всегда радуют нас авторы историко-литературных трудов.

Единство анализа живых литературных фактов и концептуального взгляда на их совокупность чрезвычайно рельефно проявилось в наблюдениях критика над романами Ф. Панферова «Раздумье», Е. Мальцева «Войди в каждый дом», Н. Шундика «В стране синеокой». Сурганова привлекают здесь образы партийных руководителей — Морева, Протопова, Буянова. Заметив типологическое сходство характеров, исследователь подчеркнул, что Панферов, Шундик, Мальцев, создавая образы секретарей обкомов, исследовали и глубоко учитывали чрезвычайно важные жизненные обстоятельства, связанные с решительным искоренением нашей партией волюнтаристских методов в хозяйственной и организационной работе.

Анализируя эти романы, рассматривая весьма сложную эволюцию их персонажей, Сурганов демонстрирует, каких убедительных результатов может достигнуть писатель, стремящийся раскрыть глубину сложных, подчас противоречивых социальных явлений, проанализировать их с подлинно партийных позиций.

Говоря о недостатках книги «Человек на земле», я прежде всего отметил бы известную ее разностильность. Так, читая страницы, посвященные роману Д. Зорина «Русская земля», видишь, как у автора меняется не только манера изложения, но и метод исследования. На смену весьма удачному сплаву жизненных зарисовок и профессионального литературоведческого анализа приходит знакомый по книгам других авторов прием пересказа, обильного цитирования и т. д.

Во второй половине книги появляется перекличка интонация. Здесь дает о себе знать влияние жанра литературно-критического портрета. Уже не крестьянский ха-

рактер на различных этапах его развития в фокусе исследования, а творческий облик того или иного писателя. Впрочем, как мы помним, автор называет последнюю главу предварительными заметками о проблемах, которым собирается посвятить новую книгу.

Книга Вс. Сурганова появилась на гребне устойчивого интереса литературоведов к деревне и деревенской теме в художественной литературе. Не рискуя власть в преувеличение, можно утверждать: вклад наших прозаиков в разработку «деревенской» тематики и вклад критиков последних лет вполне соизмеримы. Напомню, кроме того: следуя плодотворной и прочной традиции, активизировали в послевоенные годы критическую деятельность В. Овечкин, Г. Николаева, Е. Дорощ, С. Зальгин, Г. Коновалов и другие писатели. Причем крестьянская тематика рассматривалась ими в широком контексте социальных и сугубо литературных проблем. Содержание «деревенских» статей Л. Теракопьяна, В. Новикова, В. Оскоцкого, В. Гусева, В. Баранова, Ф. Кузнецова (да разве только их!) выходит далеко за рамки анализа локальных явлений, нередко обретая широкий методологический смысл. Вообще в критических работах последнего времени отражение крестьянской жизни в художественной литературе рассматривается как органическая часть современного литературного процесса.

В такой атмосфере активных и дружных творческих поисков и появилась книга Вс. Сурганова — явление примечательное и отрадное. Созданная в лучших традициях советского литературоведения, она значительно обогащает наше представление о закономерностях воплощения в художественном творчестве важнейших сторон социального и нравственного бытия крестьянства.

М. ШАТАЛИН.

Баку.



## ПРОЩАНИЕ С ВИЗАНТИЕЙ

Ирвин Шоу. Вечер в Византии. Роман. Перевод с английского К. Чугунова. «Иностранная литература», 1975, № 9, 10.

В новом романе известного американского писателя Ирвина Шоу «Вечер в Византии» на вопрос журналистки Гейл Маккиннот «почему вы в Канне?» герой романа Джесс Крейг, кинопродюсер, вот уже лет пять как переставший снимать фильмы, с

неожиданной откровенностью объяснит: «Я в Канне, чтобы спасти свою жизнь». Нетрадиционный ответ на традиционный вопрос репортера. Правда, журналисты, которые на Каннском фестивале бесцеремонно «потрошат души», об этом ответе Джесса

так ничего и не узнают. Он разорвет его потом вместе с вопросником. Но мы, читатели романа, знакомясь с личностью, характером, образом мыслей, отношением к искусству, с нележкой судьбой Джесса Крейга, поймем, что он не солгал. Речь действительно шла о спасении жизни, и эксперимент затевался нешуточный. Ради этого он и приехал в Канн. Надо было попробовать снова окунуться в атмосферу, которая постоянно напоминала бы ему о прошлом, прежде чем решить, достанет ли у него энергии, таланта, воли когда-нибудь возвратиться в кинематограф или же придется молча покориться приговору приятеля Гейл, который статью о нем предлагал озаглавить: «Человек с несостоявшимся будущим».

С большей или меньшей степенью драматизма вопрос, заданный Джессу, волнует многих персонажей романа Ирвина Шоу — и тех, которые уже приехали на фестиваль знаменитыми, чтобы здесь закрепить свой успех, и тех, которые во что бы то ни стало жаждут уехать отсюда знаменитыми, и тех, конечно, которые когда-то были знамениты, а теперь неуклонно скользят вниз, хотя все еще продолжают надеяться на чудо, как, например, спившийся, полузабытый читателями талантливый романист, или вышедший из моды, безработный кинорежиссер, или продюсер, два десятка лет назад державший в страхе весь Голливуд.

Значит, извечная история о неудачнике, о человеке, отставшем от века, исчерпавшем себя, свои творческие силы, свои возможности и, по-видимому, обреченном на гибель? Не зря роман начинается с эпизода, который можно истолковать как символическое предостережение Крейгу: подлетая к Канну, он чуть было не стал жертвой авиационной катастрофы. Так не предрешает ли писатель тем самым заранее фатальный исход эксперимента?

Впрочем, поторопившись с выводами, мы только рискуем обеднить содержание образа Джесса Крейга. Замысел автора глубже, сложнее. Крейга трудно назвать неудачником в обычном, житейском смысле этого слова. Он был преуспевающим продюсером одиннадцати пьес и двенадцати фильмов, но, достигнув известности, сам отправив себя в «академический отпуск». Что же толкнуло его на столь неожиданный шаг? Роман не дает однозначного ответа. Семейные неурядицы? Разочарование в себе? В значении своего труда? Да, наверное. Или, может быть, боязнь обесчестить себя? Созна-

ние невозможности сохранить в мире кино со всеми его интригами, компромиссами, унижениями, жестокостью и непостоянством верность своим взглядам и убеждениям? Скорее всего и то, и другое, и третье. Но последнее обстоятельство имело, пожалуй, самое решающее значение. Как бы там ни было, а кинематограф становится беднее, когда расстается с такими людьми, как Джесс, или же когда они сами расстаются с кинематографом, что, в сущности, одно и то же. Ведь Ирвин Шоу изображает своего героя на голову выше всех, кто его окружает, — человеком незаурядным, чей опыт, ум, вкус, честность и прямота суждений не могут не внушать симпатии и уважения. К тому же Крейг с детства воспитал в себе благоговейное отношение к искусству. А это тоже много значит.

Но так ли уж необходим сегодняшней киноиндустрии этот незаурядный Джесс Крейг? Как утверждает в романе его старый друг и соратник Брайан Мэрфи, в томто и заключается один из пороков киноиндустрии, что она выбивает из колеи таких людей, как Джесс, людей, которые все еще не расстались со старомодными убеждениями, что хорошие фильмы «делают, потому что их нельзя не делать, потому что они нужны тем, кто их делает, как и вообще любое произведение искусства». И уж конечно, Джесс Крейг не станет перекраивать свои картины в угоду бродвейскому рынку и угождать запросам праздной публики, которая в субботний вечер заполняет кинотеатры, чтобы посмотреть пустые, развлекательные фильмы.

Мир западного, буржуазного кино предстает у Ирвина Шоу как мир большого бизнеса. И в разгар Каннского фестиваля зависимость кинематографа от алчных и беспощадных кинодельцов, повелевающих судьбами людей и произведений (хотя и умеющих прятать под внешним обаянием свои хищные повадки), раскрывается во всей своей неприглядности. Не станем преувеличивать, но не будем и преуменьшать роль и значение Канна как равноправного участника всех происходящих в романе событий: Канн не просто живописный, экзотический фон. Две недели каннского праздника, Каннского фестиваля — этого сплошного безумия кино, по-разному отозвались в душе Джесса Крейга, не внушив ему, однако, праздничного и карнавального настроения. В отличие от романиста Йэна Уодли, который безоговорочно посылает фестиваль со всеми

его грязными фильмами и грязной политикой к чертям собачьим и с особым удовольствием называет «нужником», Джессс придерживается не столь разрушительных, негативных идей. Но его ироническому, печальному и в то же время беспощадному взгляду в многоликом Канне открывается куда больше, чем ослепленному ненавистью и обидой Йэну Уодли. «В залах, на террасах, на пляже, на званных вечерах киноискусство или кинопроизводство — называйте это как угодно — предстало перед ним (Джесссом Крейгом.— Б. Г.) за эти несколько дней во всей своей наготе».

Художник социальный, Ирвин Шоу не боится прямых и резких обобщений. Они прежде всего в горьких раздумьях самого Джессса Крейга, в откровенных суждениях его приятелей и друзей, в словах Йэна Уодли, когда он произносит одну из самых гневных своих тирад против преуспевающих торговцев живым товаром, которые умеют вовремя бросить уже ненужного им человека, не считаясь с дружбой, преданностью, талантом. И конечно же, Крейг остро ощущает атмосферу всеобщей купли-продажи на просмотре очередного фильма, когда убеждается, что делали его люди талантливые, но искалеченные, изломанные своими антрепренерами. Или же неплохие профессионалы, но в погоне за долларом бессовестно спекулирующие на сексе и кровопролитии.

Мне доводилось не раз бывать в Канне в дни фестиваля, когда весь город на две недели был отдан во власть кинематографа, когда из одного кинозала в другой переносили эти плоские, круглые, блестящие жестяные коробки, заключавшие в себе сотни сюжетов — от порно, каннибальских и патологических до младенчески-невинных; когда в холлах и номерах отелей, на террасах ресторанов, в залах заседания дворца кино продавались и покупались уже готовые фильмы и заключались миллионные сделки на бестселлеры, которые еще предстояло снять; когда репортерам, «потрошителям душ», представлялись заманчивые возможности взять интервью у «звезды» порнофильмов, имя которой в этом году впервые появилось в титрах, или у человека, еще недавно лечившегося от безумия, теперь же сыгравшего роль безумца в новом западногерманском фильме. Давно миновали времена, когда перед премьерой фильма «Леопард» очаровательная исполнительница главной роли в сопровождении

толпы зевак прогуливалась по набережной Круазетт с ручным гепардом как с собакой. Невинная приманка! В наши дни киноиндустрия требует и рекламу хлесткую — ошарашивающую, сногшибательную.

И все-таки роман Ирвина Шоу назван «Вечер в Византии». А слово «Византия», поясняет переводчик К. Чугунов (он отлично перевел роман), использовано автором как олицетворение искусства, побеждающего время и смерть. И когда в Канне или где-нибудь в другом месте Джессс встречается в полутемном кинозале с настоящим искусством, заставляющим его и смеяться и плакать, он перестает мучить себя вопросом, не обесчестил ли себя тем, что «в век войн и неисчислимых бедствий погрузился в мир вымыслов и теней», и горько сожалеет о том, что сам уже больше не участвует в создании фильмов, что давно уже не испытывал муки творчества и восторг победы. Так сложно, конфликтно и противоречиво раскрывается в романе духовная жизнь Джессса Крейга, человека, который знает, что навсегда связан с кино, и все болезненнее ощущает, что сам же наказывает себя, надолго лишившись этой радости.

Да, как бы ни дорожил Джессс своими гуманными идеалами, своей независимостью, своими принципами, своей решительностью снимать и показывать только то, что достойно внимания, и каким бы безумным ни предстало перед ним в Канне царство кино — эта «зона бедствия», как назвал киноиндустрию кто-то из друзей Джессса, — все равно он понимает, что дальше жить в гордом одиночестве невозможно, и впервые после долгого перерыва здесь, в Канне, вновь начинает завязывать деловые отношения с людьми из мира кино. Сценарием Джессса заинтересовался продюсер. Знаменитый режиссер готовится приступить к съемкам фильма.

Значит, поездка в Кани оказалась бесполезной? Но можно ли сказать, что эксперимент удался и тем более что сражение выиграно? Откуда же тогда эта непреходящая усталость и душевная опустошенность? Откуда эта болезнь, внезапно налетевшая на Джессса? Этот щемящий финал? Это равнодушные к предстоящим съемкам и, что гораздо страшнее, тревожное ощущение банкротства, безысходности, невозвратимости надежд, желаний, чувств? И еще — полного одиночества?

Распадаются на протяжении романа семейные связи, любовные, дружеские, твор-

ческие. Сужается круг близких людей. Уходит Эдвард Бреннер, чью первую пьесу «Пехотинец» Джесс с успехом когда-то представил публике, а следующую пьесу не оценил, ошибся в своем суждении о ней. Жену Пенелопу Джесс сам вычеркивает из своей жизни, возбуждая дело о разводе. В больнице происходит размолвка с дочерью Энн. Расстается с ним Констанс, женщина, о которой Джесс всегда думал с нежностью. И это было очень важно для Джесса, потому что он давно уже замечал, что люди относятся друг к другу недостаточно нежно, и страдал от всеобщего эгоизма. «Они говорят, что любят друг друга,— думал Джесс,— но в действительности стремятся лишь использовать друг друга, опекать друг друга, властвовать друг над другом, терзать друг друга, уничтожать друг друга, плакать друг о друге». Даже Энн, любимая его дочь, оказалась в числе таких людей. Энн, но не Констанс, которая всегда была ему бескорыстно преданна. А теперь и Констанс прощается с Джессом, как бы уступая дорогу юной Гейл Маккиннон.

Образ Гейл, волевой и решительной, с ее резкостью, откровенностью, с ошеломляющей прямоотой ее суждений, с ее дразнящей красотой, полон своеобразной привлекательной силы. А на берегу моря, в лучах солнца Гейл кажется Джессу каким-то прекрасным морским созданием. И образ Энн тоже полон своеобразной привлекательности. Хотя Энн и моложе Гейл, и мягче, и романтичнее, обе они воплощают в романе современное молодое поколение. Но, поддавшись влечению, верит ли Джесс, что юная Гейл будет ему бескорыстно преданна? Что она не заражена эгоизмом? Что Гейл спасет Джесса от одиночества, поможет вернуть веру в себя, в свои силы? Верит ли в то, что Энн, влюбившись в Йэна Уодли или, может быть, по ошибке приняв жалость за любовь, облегчит жизнь этому бесприютному человеку, который к тому же вдвое старше ее? С грустным скептицизмом он оценивает ситуацию: «Бедная моя девочка. Сколько было до тебя женщин, которые погубили себя, вообразив вот так же, что они — и только они — могут спасти писателя, музыканта, художника».

В раздумьях Джесса можно, наверное, услышать и приговор самому себе, своему чувству к Гейл. Было и прошло! И не надо спасать Джесса от самого себя. Грустно подумать, что отношения с Гейл могли бы омрачиться желанием опекать друг друга,

терзать друг друга, властвовать друг над другом. Как тот очень старый человек, который в сценарии Джесса полюбил очень молодую девушку, Джесс хочет быть счастливым тем, кто любил и сохранил память об этой любви.

Как бы интересен сам по себе ни был образ Гейл, в драматической ситуации, предложенной для нее автором, и в желании эту ситуацию искусственно обострить я вижу фальшь, натяжку, уступку той самой субботней публике, которая ищет на экране только развлекательные сюжеты и которой Джесс, снимая свои фильмы, ни на йоту не хотел уступать. Тайна окружает поведение Гейл. Зачем она так настойчиво преследует Джесса, вызываясь дразнит и злит? В конце романа, прощаясь с Джессом, и, наверное, навсегда, она признается ему, что хотела причинить Джессу как можно больше зла и кое в чем преуспела. Тайна же, оказывается, заключалась в том, что Гейл мстила Джессу за свою мать, за то, что в молодости он прошел мимо, не заметив, не запомнив ее, а она всегда восхищалась Джессом, его жизнью и никогда не была удовлетворена своей собственной. И вот Гейл с детства захотелось узнать, что же за человек этот Джесс Крейг, каков он на самом деле. Но узнав, поняла, что к нему нельзя относиться неприязненно, что он достоин любви и т. д. и т. п.

Мимо таких сюжетных мотивировок, вероятно, можно было пройти не задерживаясь, если бы во второй половине романа писатель не отдал дань внешней занимательности. Выясняя запутанные отношения Джесса с женщинами, он, разумеется, разжигает читательский интерес и любопытство. Однако как при этом не почувствовать, что повествование становится более внешним, поверхностным, что слабеет важнейшая пружина сюжета, та, что дает движение социальному конфликту? Я имею в виду отношения художника с буржуазным обществом, или, говоря конкретнее, художника с киноиндустрией, подчиняющей творческую личность жестоким законам коммерции, голому чистогану.

И все-таки главный вызов (об одиночестве человека в буржуазном обществе, где связи между людьми, не только деловые, но и интимные, личные — между мужчиной и женщиной,— определяет холодный эгоистический расчет, взаимные унижения, интриги и компромиссы) раскрывается в романе со всей отчетливостью.



Имя Ирвина Шоу хорошо знакомо советским читателям. Его произведения не раз переводились на русский язык. Переведен один из самых известных романов — «Молодые львы», посвященный событиям второй мировой войны, на сценах наших театров ставились его пьесы. В новой книге Шоу сохранил верность своей писательской манере, используя в построении диалогов богатый опыт драматурга, в разворачивании напряженного, почти кинематографического монтажа событий — свое профессиональное знание законов кинематографа; а в то же время в изображении характеров своих персонажей, широкой картины быта и нравов, современных социальных конфликтов оставаясь приверженцем просторной формы романа. Герой Шоу, как и многие герои современной зарубежной литературы, мечущийся в поисках истины, не имеет ни намерения, ни силы активно бороться, сопротивляться. Он может протестовать, замкнувшись в позе гордого одиночества, хотя глубоко при этом сознает, что калечит самого себя, свой талант, может погибнуть молча под гнетом

жестоким социальной действительности. Но думает он и судит всегда остро, бескомпромиссно.

Шоу как будто бы ничего не высказывает сам, предоставляя обо всем судить и высказываться своим героям. В этом смысле «Вечер в Византии» он строил так же, как Джесс Крейг свой сценарий «Три горизонта». «Используя собственные наблюдения над друзьями, врагами, знакомыми, он старался показать своих героев в естественной драматической взаимосвязи — так, чтобы к концу фильма они без видимого авторского участия, своими словами и поступками раскрыли перед зрителем его, Джесса Крейга, представление...»

Но оттого, что автор не взял на себя роль прямого посредника между читателем и своим героем, оттого, что он как бы намеренно отошел в тень, разве на страницах его романа мы не ощущаем гражданский темперамент художника, боль и страсть самого Ирвина Шоу?

Б ГАЛАНОВ.



## ДОСТОЕВСКИЙ КАК ИЗДАТЕЛЬ И РЕДАКТОР

В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. М. «Наука». 1975. 304 стр.

По признанию В. Нечаевой, замысел ее книг о журналах М. М. и Ф. М. Достоевских «Время» и «Эпоха» восходит к 1920-м годам, когда ей посчастливилось неоднократно беседовать с дочерью Михаила Михайловича — Е. М. Манасеиной-Достоевской. Понятен налет горечи в словах исследовательницы о том, что задуманное ей удалось осуществить спустя полвека. Но трудно согласиться с самокритичной оценкой своего труда как «очень запоздавшего». Напротив, в полной мере он мог быть осуществлен именно сейчас, после публикации архива Достоевского 60-х годов, его записных тетрадей и книжек, которые писатель вел в период редактирования журналов.

Этот труд в двух объемистых книгах, вышедший уже после юбилея писателя, воплощает характерные черты достоевковедения последних лет — свободное владение материалом, бережное и предельно уважительное отношение к наследию великого писателя, стремление безбоязненно ставить самые сложные проблемы его мировоззрения, преодолевая односторонность и ограниченность некоторых устоявшихся суждений.

В центре обеих книг — оценка направления журналов, рассмотренных в контексте политической и литературной борьбы того времени. Критика сложившегося представления о журнале «Время» как органе «почвенников», направления, близкого к славянофилам, составила пафос первой книги. Завершая ее, В. Нечаева так охарактеризовала последующие события, как бы наметив «программу» дальнейшего исследования: «Война нового «Современника» и «Времени» была прервана закрытием последнего в апреле 1863 г., но возобновилась и усилилась с первой книги следующего издания Достоевских — «Эпохи». Здесь же «почвенники» должны были логически пересмотреть свое отношение к изданиям Аксакова и Каткова и увидеть в них уже не врагов, а возможных союзников».

Проблемы идейной борьбы, обострившейся журнальной полемики — в центре и второй книги исследовательницы.

Известно, что в отличие от «Времени» на страницах «Эпохи» не появлялось полемических статей против журналов Каткова или Аксакова, полемика велась преимущественно

но против «Современника» и «Русского слова». Казалось бы, в этом проявлялась определенная логика развития «почвенничества» — сближение со славянофилами и «виляние» (по характеристике М. Антоновича) перед Катковым.

Однако В. Нечаева приковывает наше внимание к идейной неоднородности как содержания статей, опубликованных в «Эпохе», так и позиций ее участников. Было бы неверным, утверждает исследовательница, рассматривать направление «Эпохи» — вслед за Н. Страховым — как «сознательно славянофильское». Такая оценка соответствует позиции самого Страхова, который курил фимиам аксаковскому «Дню», но оказывается неприложимой к Достоевскому — редактору журнала. «Разделяя отдельные положения славянофилов», он «критически оценивал в целом их направление». Об этом свидетельствует, например, такой отзыв Достоевского в записной тетради 1864 года: «Славянофилы, нечто торжествующее, нечто вечно славящееся, а из-под этого проглядывает нечто ограниченное».

Не менее сложным оказывается и отношение Достоевского к Каткову. В черновых тетрадях писателя немало резкой, неприемлемой критики в адрес издателя «Московских ведомостей» и «Русского вестника». В нем нет самого дорогого для Достоевского — положительной ценности, «нравственной приманки». «Не в господине же Каткове совокупились русская красота», — бросает он. Но боязнь испортить отношения с Катковым и этим вызвать цензурные осложнения удерживала сотрудников «Эпохи» от открытой полемики.

Автор книги призывает нас помнить о конкретных условиях, принимать в расчет множество фактов и факторов, прежде чем давать идейную оценку позиции журнала. И в этом В. Нечаева безусловно права.

В деятельности «Эпохи» проявилась одна общая тенденция, которая объективно сближала журнал Достоевских с охранительно-реакционной линией Каткова. Не только философские статьи Страхова и Владиславлева, но даже компиляции по материалам русской истории пронизывала, как подчеркивает исследовательница, тенденция «борьбы с западной цивилизацией, которая рассматривалась в качестве основы материалистического мировоззрения, чуждого русской «почве». Известно, что эта же тенденция пронизывает и «Записки из подполья» До-

стоевского, о чем обстоятельно пишут многие исследователи.

Задача В. Нечаевой — подчеркнуть, выделить не то, что сближает, а то, что отличает Достоевского от Страхова и других. «Позиция «философов» «Эпохи», Страхова и Владиславлева, выражалась в их последовательной защите идеализма и критике вульгарно понимаемого материализма, и она в какой-то мере отвечала философским раздумьям Достоевского этих месяцев», — пишет она.

Страхова и Достоевского, казалось бы единомышленников, к полемике с материалистическими и социалистическими идеями 60-х годов приводили разные побудительные мотивы: одного защита идеализма, а другого?.. «Заветнейшая мысль» Достоевского была принципиально иной. «По глубине замысла, по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет далее, вступает в область предвидений и предчувствий, которые оставляют цель не непосредственных, а отдаленнейших исканий человечества», — писал позднее Н. Щедрин об авторе «Идиота».

Как показывают черновые записи Достоевского 1861—1865 годов, особенно набросок статьи «Социализм и христианство», уже тогда, в период ведения двух журналов, мысль писателя билась над разрешением «отдаленнейших исканий человечества». В этой связи нужно по достоинству оценить стремление В. Нечаевой отметить не одни лишь полемические, но и позитивные цели «Эпохи», как они нашли отражение в документах, разработанных Достоевским-редактором: поиски положительных начал в русском народе, идеи «самобытности и оригинальности» «русского прогресса» и т. д.

Дать четкое представление о своем идеале — неизменная установка Достоевского — художника и публициста.

В этом же смысл и журнальная полемика, которая, по Достоевскому, «есть чрезвычайно удобный способ к разъяснению мысли». И потому цензурные изъятия из текста «Записок из подполья», где он вывел «потребность веры и Христа», обесмысливают, по его убеждению, произведение.

Нет, Достоевский здесь отнюдь не страж религиозной ортодоксии — он стремится сформулировать свой нравственный идеал.

В одной из черновых записей тех лет читаем: «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я — и отдать это все самовольно для всех».

А ранее, в «Зимних заметках о летних впечатлениях», уже была развернута мысль об истинном и ложном «братстве». Ложность западных социалистических учений, по Достоевскому, в том, что они стремятся основать будущее «братство» на идее экономической пользы, «выгоды», а не добровольного, осознанного его принятия как высшего идеала. Достоевский, как и социалисты, убежден, что будущее человечества — в едином общежитии, в преодолении индивидуалистической обособленности. Но «формы социальных стремлений, форма рисуемого вдали для России идеала должны быть не те, а наши, собственные наши, органический наш продукт».

Так в период ведения журналов возникает общая концепция, которая прослеживается затем в социально-философских романах вплоть до «Братьев Карамазовых», до «позмы» о Великом инквизиторе. Эта концепция и сближает Достоевского с социалистическими учениями и противопоставляет его им.

Социалистическая ориентированность нравственных исканий Достоевского обусловила их глубоко гуманное, общечеловеческое значение. Но убеждение писателя, что будущее «братство» явится не как закономерный итог исторического развития человечества, а как торжество «русской идеи», «братского начала», якобы искони присущего русскому человеку, придает этой концепции реакционный, антиисторический характер. Именно здесь обнаруживается связь Достоевского с славянофильской идеологией.

Философские и нравственные искания Достоевского 60-х годов нашли отражение и в его трактовке задач журнала «Эпоха», как они заявлены в редакционных «Объявлениях» о подписке. Но реализовать выдвинутые цели («Разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном» — «главная цель нашего издания») он не мог. Этим целям сочувствовали далеко не все его сотрудники; собственных же усилий Достоевского-редактора оказалось недостаточно для

успеха. Обо всем этом убедительно рассказано в книге В. С. Нечаевой.

Могучее творческое дарование Достоевского было реализовано прежде всего в его художественной деятельности, гораздо меньше — в публицистической. Философские искания оказывались важной, необходимой прелюдией к исканиям творческим. «Шваховат я в философии, — признавался позднее Достоевский и добавлял: — Но не в любви к ней». Художественная деятельность усиливала в Достоевском стремление к непосредственно публицистическому и философскому обобщениям (на этой основе и возник позднее его «Дневник писателя»).

Взаимосвязь публицистической и художественной деятельности Достоевского наглядно выявила В. Нечаева, показав, как проблемы, трактовавшиеся на страницах журнала, затем находили свое развитие в романах писателя. Так, его удачно показано, что очерки Н. М. Соколовского «Острог и жизнь» или научные статьи Страхова и Владиславлева, критиковавших повсеместную популяризацию «массового материализма», могут служить реальным комментарием к «Преступлению и наказанию».

Работа над изданиями журналов, — подытоживает В. Нечаева, — чрезвычайно расширила и обострила всегда присущий Достоевскому интерес к «текущему», его познанию и осмыслению, интерес, лежавший в основе всего его художественного творчества».

Ведение журналов явилось для Достоевского той лабораторией философских идей и художественных замыслов, которая непосредственно способствовала его творческому взлету как романиста.

Федор Михайлович Достоевский любил повторять: «...правда, рано ли поздно ли, а всегда открывается». И требовал «правды и искренности» в освещении даже незначительных фактов, потому что это небезразлично для русской литературы.

Книга В. Нечаевой приподнимает завесу над множеством фактов, из которых складывалась духовная биография писателя в один из наиболее трудных и насыщенных периодов его жизни. Исследовательница показывает, что ключ к «творческим тайнам» Достоевского — в его неразрывной связи с историей, с общественными запросами времени.

**В. ЭТОВ,**  
кандидат филологических наук.



Политика и наука**СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ**

**В. Михеев. Социально-психологические аспекты управления. Стиль и метод работы руководителя. М. «Молодая гвардия». 1975. 368 стр.**

**В** последнее время появился ряд новых книг, в том числе и фундаментального характера, в которых исследуются проблемы управления. Автор рецензируемой монографии ставит целью обобщить имеющиеся ныне «в науке управления знания организационно-социальных и социально-психологических закономерностей, действующих в отношениях между людьми на производстве и в учреждениях».

Актуальность такого рода обобщений исключительно велика, так как они дают возможность решать одну из важных задач коммунистического строительства, на значение которой указывал Л. И. Брежнев, а именно: «Поднять уровень всей работы по управлению, привести его в соответствие с современными требованиями...» Совершенствование структуры и методов управления, развитие эффективных форм привлечения трудящихся к управлению производством — одна из важнейших задач в создании материально-технической базы коммунизма.

В книге В. Михеева процесс руководства рассматривается с позиций системного анализа, который в последние годы получил широкое распространение и признание. Автор рассматривает взаимодействие между руководителем и подчиненным как своеобразный кибернетический цикл, в ходе которого осуществляется процесс передачи информации от руководителя к подчиненным и обратно. Тремя этапами такого цикла обусловлена и структура книги. Первая глава посвящена вопросам сбора информации о социально-психологических процессах и организации труда, вторая — ее обработке и принятию управленческого решения, третья — проблемам передачи управленческой информации исполнителям.

Поскольку на всех этапах действуют люди, то естественно, что их личностные особенности и социально-психологические закономерности их поведения не могут не влиять на процесс управления. Каким образом следует поступать руководителю, чтобы полнее учесть влияние социально-психологических факторов, — этой проблеме и посвящена рецензируемая книга.

В сжатой и доступной форме излагаются

основные положения системных исследований: «закон единства организации», «закон необходимого разнообразия», понятие «коэффициента респонсивности» и другие; показаны возможности их применения для изучения организационного и психологического состояния трудового коллектива. По существу, автор предпринял попытку разработать «типовой план» системного анализа организационных и социально-психологических процессов в трудовых коллективах. В определенной степени эта попытка ему удалась.

То, что автор вышел за рамки собственно социально-психологических проблем управления и рассмотрел их в широком контексте системного подхода, является новым в социально-психологических исследованиях и делает работу особенно интересной в методологическом отношении.

В книге поднимаются и анализируются сложные и глубокие проблемы организации, такие, как демократический и авторитарный стиль руководства, причины бюрократизма, личность и авторитет руководителя, взаимодействие формальной и неформальной структуры, создание благоприятного социально-психологического климата в учреждении и ряд других.

Широкое обсуждение проблем перед принятием решения, убеждение как основной метод передачи распоряжения, доверие к коллективу — главные черты демократического стиля управления, органически вытекающего из самой природы социалистического строя. Этот стиль и создает все предпосылки для максимального раскрытия творческого потенциала трудящихся.

Как же руководить людьми, стимулировать их инициативу, заинтересованность, стремление активно участвовать в производственном процессе и делах коллектива? Решение этой проблемы связано с умением руководителя создать благоприятный психологический климат в коллективе, выработать у подчиненных соответствующую мотивацию, а главное, с активным привлечением их к управлению делами производства. Достоинством книги является то, что в ней обстоятельно анализируются психологические аспекты привлечения трудящихся к

управлению, делегирования им ответственности, показано, что широкое развитие принципиальной критики и самокритики есть признак здоровья организации.

В соответствии с логикой системного анализа автор рассматривает не только процесс воздействия руководителя на подчиненных, но и обратный процесс, что является плодотворным подходом для социально-психологического исследования. Так, например, анализируя причины авторитарического стиля руководства, он убедительно показывает, что в его становлении не последнюю роль играют те подчиненные, которых устраивает автократ. Свою неспособность к работе они, как правило, подменяют угодничеством.

В книге показано, что всякая организация обладает определенной психологической инерцией, которую нельзя игнорировать, так как это может вызвать не созидательный, а разрушительный эффект.

Как в случае глубоких перестроек должен поступать руководитель, как учесть психологическую инерцию и преодолеть ее? Вопрос не только теоретический, но и сугубо практический, и достоинство книги в том, что она одна из немногих, где поставлен данный вопрос и сделана попытка ответить на него.

Автор считает, что хотя в нашей стране ликвидированы социальные причины для возникновения бюрократизма и рутины, тем не менее остаются причины социально-психологического порядка. «Волокиту и «безошибочное безделье», — пишет он, — может порождать обыкновенная лень, психастения, консерватизм и конформизм мышления, нерешительность, корсаковский комплекс в мышлении, развившийся в результате злоупотребления алкоголем, и т. д.». Наиболее опасным проявлением бюрократизма автор считает ориентацию на служение лицам, а не делу, приспособленчество, использование личных связей и «стремление «убрать» неугодных им людей — более умных, способных и принципиальных, указывающих на недостатки вообще и самого бюрократа в частности».

Широко используя то положительное, что содержится в исследованиях проблем управления у буржуазных социологов, автор в то же время дает критику их теоретических концепций в области управления, в том числе и новейших, таких, как «неорационализм», и показывает, что социально-психологические исследования в нашей стране

служат принципиально иным целям, чем в капиталистических странах. «Историческое преимущество социализма, — подчеркивает он, — возникает в том числе по причине совершенно иного психологического климата на производстве в связи с ликвидацией эксплуатации человека человеком».

При несомненных достоинствах книги не все решения поднятых проблем, предложенные автором, являются бесспорными. В частности, неверной представляется точка зрения на процесс преодоления авторитарического стиля руководства. Представляется, что эта проблема не может быть разрешена лишь в рамках взаимоотношений между руководителем и подчиненными, а должна решаться путем создания достаточных стимулов, экономических и моральных, для высокопроизводительного труда.

Сильная сторона книги — широта охвата проблем — одновременно определила и ее недостатки. Многие вопросы рассматриваются неполно, фрагментарно. В результате — некоторая неровность в уровне научной аргументации. Поверхностно, на наш взгляд, написан раздел, в котором излагается метод психологического тестирования.

Системный подход к проблемам руководства потребовал от автора рассмотрения широкого круга социально-психологических и организационных вопросов, начиная от сложнейших теоретических и до сугубо практических — как лучше провести беседу, деловое совещание, передать распоряжение и т. п.

В этой связи уместно остановиться на одной из особенностей социологических исследований. С проблемами, которые изучают социологи, сталкивается практически каждый человек. Это обстоятельство приводит к тому, что, прочитав книгу по конкретной социологии или социальной психологии, каждый чувствует себя достаточно компетентным, чтобы подвергнуть ее выводы и рекомендации критике.

Показательна в этом отношении полемика вокруг книги В. Шепеля «Руководитель и подчиненный». В «Новом мире» (1973, № 6) было помещено «сердитое» письмо читателя В. Латышева, в котором тот обвиняет автора, что этические ситуации в книге «просто банальны», что «автор просто повторяет общие фразы», а «психологические глубины книги можно перейти вброд, не замочив щиколоток». Публикация письма вызвала справедливые возражения производителей.

Группа руководящих работников завода «Электроконтакт» из города Кинешма резонно замечает: «Книга В. Шепеля, видимо, не без недостатков, но для практических работников она очень нужна. Из нее мы получаем полезные советы, она заставляет размышлять, делать критические оценки своим действиям».

Оценивать выводы и рекомендации социологов необходимо не с точки зрения их «банальности», а по их достоверности, по-

лезности для практики. Книга В. Михеева заставляет задуматься над многими проблемами управления, увидеть их в новом ракурсе. Фактически автор стремился изложить все наиболее ценное, получившее известность в советской и зарубежной литературе, что может иметь значение для практических целей управления.

**В. ЯКУШЕВ,**

*кандидат философских наук.*



## АФРИКА: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

**Л. А. Обухов.** Африка: борьба за умы. Средства массовой информации и идеологическая экспансия империализма в странах Тропической Африки. М. «Мысль». 1975. 229 стр.

Последние десятилетия, ознаменовавшиеся крупными успехами сил демократии и социализма на международной арене, были поистине поворотными и для народов Африки. Только в минувшем году на политической карте континента появилось пять новых независимых государств: Мозамбик, Ангола, Острова Зеленого Мыса, Коморские острова, Острова Сан-Томе и Принсипи. Народная Республика Ангола, добившаяся независимости 11 ноября минувшего года, стала сорок седьмым суверенным государством континента.

Освобождение большинства африканских народов от колониального гнета — одно из существенных достижений мирового революционного процесса. Важную роль в ускорении ликвидации колониального режима в Африке сыграла историческая декларация Генеральной Ассамблеи ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятая в 1960 году по инициативе Советского Союза. В Программе мира, провозглашенной XXIV съездом КПСС, подчеркивалось вновь, что «должны быть полностью претворены в жизнь решения ООН о ликвидации оставшихся колониальных режимов. Проявления расизма и апартеида подлежат всеобщему осуждению и бойкоту».

Литература о всех областях весьма разнообразной жизни, борьбы и труда африканских народов пока небогата. Что же касается работ о средствах информации на континенте, то их считанные единицы. Поэтому книга Л. Обухова, рассматривающая малоизученную тему — становление и

развитие печати, радиовещания и телевидения в странах Черного континента, представляет несомненный интерес.

Перед освободившимися странами Африки встали важные и серьезные проблемы: строительство национальной экономики и культуры, ликвидация последствий колониального прошлого. Эти проблемы решаются в условиях острейшей идеологической борьбы между силами прогресса, демократии, национальной независимости и силами реакции, агентурой западных монополий и буржуазной пропагандой. Нет никакого сомнения, что средства массовой информации играют в этой борьбе одну из основных, если не ведущую роль.

Возникновение и развитие мировой системы социализма открыло новые перспективы перед народами африканского континента в борьбе против империализма, за свободу и независимость, за прогрессивные социально-экономические преобразования. Ряд африканских стран осуществляет коренные изменения в многовековом укладе жизни своих народов, которые создают предпосылки для построения в будущем социалистического общества.

На смену органам информации, находящимся в услужении у монополий, приходят печать и радио, контролируемые национальными правительствами. Ныне эти средства информации мобилизуют народные массы на борьбу за укрепление политической и экономической независимости молодых африканских стран. «Становится ясным, — указывает орган Демократической партии Гвинеи газета «Хоройя», — что движение

к социализму — необратимый закон. Никакие маневры и контрнаступления империализма не могут его нарушить».

В таких странах, как Гвинейская Республика, Народная Республика Конго, Сомалийская Демократическая Республика, Объединенная Республика Танзания, трудно переоценить значение печати в ориентации трудящихся на создание предпосылок для построения социалистического общества.

Печать этих стран выполняет большую работу по развитию и укреплению дружественных связей с социалистическими странами, выступает за полную независимость от Запада. Она борется с реакционными теориями, распространяемыми службами информации международного империализма и имеющими своей целью дискредитировать идеи научного социализма.

Впервые в истории африканских стран средства массовой информации получили возможность служить интересам трудящихся, а не кучке колонизаторов. Меткую характеристику роли печати в странах континента дал один из выдающихся политических деятелей Африки, президент Танзании Джулиус Ньерере. «Печать и радио в молодых независимых странах,— заявил он,— должны играть положительную роль в национальной жизни. Их долг состоит в том, чтобы способствовать росту взаимопонимания между людьми в различных частях страны и быть связующим звеном между правительством и народом».

Состояние и развитие средств массовой информации в Африке определяется прежде всего тремя основными факторами: экономическим, политическим и культурным. Именно они повлияли на формирование африканской прессы, весьма отличающейся от печати других стран и континентов. Одна из особенностей — необычайное многообразие языков на континенте. Количество которых достигает 800, причем многие народности не имеют письменности. Отсюда и мизерные тиражи газет как на английском, так и на местных языках хауса, йоруба, фульбе и других. В 1961 году на континенте выпускалась 231 ежедневная газета, общий тираж составлял всего 3 миллиона экземпляров.

По подсчетам ЮНЕСКО, из 25 наиболее бедных стран мира 16 приходится на африканский континент. Это также не могло не сказаться на состоянии средств массовой информации. В Африке в среднем на 100 человек населения приходится пока всего 1,3

экземпляра ежедневных газет; в одной же Эфиопии и того меньше — 0,2 газеты на 100 человек населения и 20 тысяч телевизионных приемников на всю страну с двадцатипятимиллионным населением. Однако и действующие в Африке радиовещание и телевидение в силу известной их зависимости от стран Запада как от источника информации часто не являются подлинно национальными средствами информирования населения.

«Колониальную дипломатию канонеров XIX века» ныне, как пишет автор, заменяет «дипломатия средств массовой информации». Из 128 центров, которыми Информационное агентство США (ЮСИА) располагает в мире, 60 находятся в Африке. Будучи напечатанными в местной прессе, материалы ЮСИА как бы приобретают африканскую окраску и в качестве таковых проникают в широкие массы местного населения. Английские монополисты берут в своей стране по 3 тысячи фунтов стерлингов за час эфирного времени, а в Африке они довольствуются символической платой в 25 фунтов за то же количество времени.

Несмотря на то, что большинство стран континента уже добились независимости, еще продолжает существовать иностранная, чуждая африканским народам печать, располагающая большими материальными и техническими возможностями и квалифицированными кадрами журналистов. Западные органы печати внедряют в сознание африканцев такие вредные теории, как отсутствие опасности колониализма, который якобы навсегда умер. Признание такого тезиса означало бы прекращение борьбы против засилья иностранных монополий и происков неоколонизаторов, замаскированных терминами «помощь», «сотрудничество» и т. п. Особый упор западная пропаганда делает на теорию «деидеологизации», призванную идейно разоружить национально-освободительное движение. Среди многих реакционных теорий, имеющих хождение на страницах африканской печати, мы встречаем подброшенную маоистами концепцию о «богатых» и «бедных» странах, подменяющую действительное основное противоречие современности этим надуманным тезисом.

«Все инструменты воздействия на умы, находящиеся в руках буржуазии,— печать, кино, радио,— говорил на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев,— мобилизованы на то, чтобы вводить в заблуждение людей, внушать им представление о чуть ли не

райской жизни при капитализме, клеветать на социализм». Монополисты стремятся оградить молодые независимые государства от всякого прогрессивного влияния извне, и прежде всего от сближения со странами социалистического содружества.

Как отмечает автор, одной из особенностей идеологической борьбы в Африке, развернувшейся в последние годы, является создание национальных средств массовой информации и пропаганды, способных противостоять массивным выступлениям буржуазных информационно-монополий. Прежде всего это относится к странам, вставшим на путь некапиталистического развития, органы информации которых в значительной мере защищены от тлетворного влияния буржуазной пропаганды Запада. Контроль над средствами массовой информации стал первейшей необходимостью для правительств и правящих партий этих стран. Печать и радио, кино и телевидение выполняют здесь не только информационную, пропагандистскую, организаторскую, но и образовательную функцию. Эта последняя имеет немаловажное значение, поскольку

ку огромные массы африканцев тянутся к светочу знаний и ликвидируют свою неграмотность, в частности, и через органы массовой информации. Характеризуя роль журналиста в новой Африке, танзанийский «Нэшнелист» указывал, что «этот единственный в своем роде африканский профессионал должен быть пропагандистом, агитатором, организатором, учителем и революционером. Он не может обойтись без этого, так как Африка переживает период революции».

При всех положительных сторонах книги необходимо отметить одно явно ошибочное утверждение автора, полагающего, что сейчас можно условно говорить о «мирном» проникновении империализма в Африку. Его наступление носит-де ныне скорее экономический и идеологический характер, чем военный. Жизнь опровергает это утверждение. Продолжающееся иностранное вмешательство в Анголе, а также события 60-х годов в Конго и Нигерии говорят о том, что империализм вовсе не отказался от применения военных средств.

**В. МОЛЧАНОВ.**



## ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

**Н. Н. Болховитинов. Русско-американские отношения 1815—1832 гг. М. «Наука». 1975. 626 стр.**

Существует длительная традиция интереса к прошлому и настоящему Соединенных Штатов. О борьбе североамериканских колоний за независимость писал Радищев. Характер политического и государственного устройства США интересовал декабристов и Пушкина. Историческая наука и в прошлом неоднократно обращалась к процессам, происходившим в этой стране.

Возникшая в советское время школа историков-американистов много и плодотворно занимается Соединенными Штатами. Ее успехи общеизвестны: по подсчетам профессора Г. Н. Севостьянова, с 1945 по 1970 год по истории США в нашей стране издано 662 работы. Но означает ли это, что все периоды и все темы американского прошлого уже изучены с одинаковой тщательностью? Одной из крупных исторических тем, требующих более пристального внимания, является история взаимоотношений между нашей страной и США на протяжении двух столетий. Ее актуальность

трудно переоценить. В период позитивных перемен в советско-американских отношениях крайне важно точно знать, каковы они были в прошлом. Комплексным исследованием такого рода и занялся известный советский американист доктор исторических наук Н. Н. Болховитинов, выпустивший еще в 1966 году обширное исследование «Становление русско-американских отношений, 1775—1815». Продолжением этой фундаментальной работы и является рецензируемый том, охватывающий период 1815—1832 годов.

Тонкий знаток отечественной истории покойный академик С. Б. Веселовский писал, что «люди науки, и в том числе историки, давно утратили наивную веру в чудеса и твердо знают, что сказать что-либо новое в исторической науке не так легко, что для этого необходим большой и добросовестный труд над первоисточниками, новый фактический материал и совершенно недостаточно вдохновения, хотя бы и само-



го благожелательного». Не знаю, как относительно всех историков, но в данном конкретном случае слова эти можно поставить эпиграфом к исследовательской работе Болховитинова. Только специалист, пожалуй, в состоянии оценить объем и интенсивность труда в бумажных «копях» архивов, где алмазы находок так же редки, как и в природе. Учтем также, что в исследуемый период люди писали от руки, что орфография и стилистика отличались от нынешних. Добавим, наконец, что разыскание документов велось автором по крайней мере в 20—25 советских и американских архивах. Это необходимо, чтобы с какой-то степенью приближенности понять, что скрывается за сухой фразой аннотации к книге: «Работа основана на тщательном изучении русских, американских и западноевропейских источников».

Н. Болховитинов нарисовал чрезвычайно обширную и в то же время исключительно подробную картину русско-американских связей на рубеже XVIII и XIX веков, опрокидывающую ряд неточных, а иногда и грубо неверных представлений о взаимоотношениях обеих стран в прошлом. Им, в частности, документально, на огромном историческом материале доказана необоснованность возникшей в реакционной историографии еще в период разветвления «холодной войны» теории о некоей «извечной враждебности» между Россией и США. Сторонники этой «теории» путем тенденциозного подбора фактов пытались создать впечатление о существовании исторически перманентной напряженности в русско-американских отношениях. Между тем хорошо известно, что обе страны — Россия и Соединенные Штаты — никогда не воевали друг с другом, а их взаимные связи развивались в целом в благоприятном направлении.

Н. Болховитинов не рисует идиллии. Реальный исторический процесс не выглядит в его книге «выпрямленным». Автор вовсе не пытается создать впечатление, что между Россией и Америкой в прошлом не было никаких разногласий и противоречий, осложнявшихся к тому же различием в государственном строе. Как подчеркивает Н. Болховитинов, «игнорировать классовые противоречия, писать об «искренней» и «забытой» дружбе царей и президентов, как это делают некоторые современные авторы, столь же неверно, как пропагандировать тезис о существовании

между Россией и США «извечной враждебности». Главный урок русско-американских отношений состоит не в отсутствии противоречий и спорных проблем, а в исторически доказанной возможности их преодоления путем переговоров, не прибегая к оружию.

Вторым важным, на наш взгляд, итогом исследования Н. Болховитинова является преодоление бытующего до сих пор взгляда об «узости» русско-американских отношений в тот период. Конечно, обращаясь к концу XVIII — первой трети XIX века, не следует забывать, что отношения с Америкой были для России, в общем, производными от ее европейской, а отчасти и восточной политики. Однако связи между обеими странами были достаточно обширными. К тому же они не ограничивались официальным, правительственным уровнем. Уместно напомнить о подписании в декабре 1832 года в С.-Петербурге первого торгового договора между Россией и США, заключения которого американцы настойчиво добивались со времен войны за независимость. Этим договором официально закреплялся в торговле между обеими странами принцип наибольшего благоприятствования. Показательно, что условия данного договора стали основой для развития торговли между Россией и Америкой на протяжении XIX — начала XX века (вплоть до 1913 года). Приводимые в монографии Н. Болховитинова статистические данные позволяют скорректировать традиционное представление об объеме русско-американской торговли. Как показывают материалы русской статистики, общий объем американского экспорта в Россию в начале 1830-х годов составлял 20—25 миллионов рублей (примерно 4—5 миллионов долларов). В конце первой трети XIX века на долю Соединенных Штатов приходилось около 5 процентов русского экспорта.

Комплексный характер работы позволил наряду с исследованием политических и экономических связей уделить достаточно внимания научным, общественным и литературным контактам между Россией и США. Они нашли свое выражение, в частности, в избрании в первой половине XIX века членами Американского философского общества в Филадельфии и Американской академии искусств и наук в Бостоне таких крупных русских ученых, как В. Я. Струве, М. В. Остроградский, Я. В. Виллие, К. М. Бэр и другие. Когда в 1840 году в Вашинг-

тоне был основан Национальный (впоследствии Смитсоновский) институт, его членами-корреспондентами стали директор Ботанического сада в С.-Петербурге Ф. Б. Фишер, известный мореплаватель и ученый Ф. П. Литке, географ П. А. Чихачев и другие. Тщательное изучение Н. Болховитиновым американской печати первой половины XIX века показало сравнительную осведомленность американской общественности относительно состояния русской литературы. Американцам были известны имена, а частично в переводах и произведения М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова, А. С. Пушкина.

Значительную роль в распространении первых сведений о русской литературе XVIII — начала XIX века в Соединенных Штатах сыграла небольшая, но тщательно составленная антология русской поэзии в переводе Д. Боуринга, вышедшая в 1821 году в Лондоне, а в следующем году переизданная в Бостоне. В сборник были включены произведения тринадцати русских писателей, в том числе М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова, К. Н. Батюшкова, И. Ф. Богдановича, И. И. Хемницера и других. Во вступительной статье к антологии составитель называл русский язык «одним из наиболее богатых, если не самым богатым» в Европе. По словам Д. Боуринга, русский язык является «изменчивым, гармоничным, полным ритма, богатым по звучанию и обладающим всеми поэтическими элементами». Составитель охарактеризовал М. В. Ломоносова как «отца русской поэзии», а пальму первенства среди поэтов отдал Г. Р. Державину. Во вступительной статье затрагивалось также творчество А. П. Сумарокова и Д. И. Фонвизина.

Имя нашего великого Пушкина стало известно американской публике значительно позднее. В Гарвардском университете сохранился редкий перевод «Талисмана» и еще нескольких стихотворений, изданных в С.-Петербурге в 1835 году лишь в ста экземплярах. Однако уже в 1846 году в Нью-Йорке был опубликован перевод «Капитанской дочки», а в 1849 году «Бахчисарайского фонтана». Характерна эволюция взглядов на роль Пушкина в русской литературе. Еще в 1834 году, публикуя свой обзор русской литературы, Т. Робинсон писала о великом русском поэте как об «имитаторе Байрона». Вскоре исследовательница изменила свое мнение. В книге «Исторический

взгляд на язык и литературу славянских наций», изданной в 1850 году, Т. Робинсон подчеркнула, что Пушкин стоит во главе русской поэзии «вне конкуренции». Американская исследовательница рассматривала Пушкина как совершенно исключительное явление, как почти единственного русского поэта, «который даже мыслил стихами».

Значительное внимание в монографии Н. Болховитинова уделяется теме «Декабристы и Америка». Хорошо известно, что участники декабристского движения были знакомы с законодательными актами США, трудами американских просветителей, деятелей войны за независимость. Блестящий знаток истории создания конституционного проекта Никиты Муравьева академик Н. М. Дружинин указывал, что автору этого проекта были известны конституции 23 североамериканских штатов. Приведенные в книге Н. Болховитинова факты показывают, что декабристы были весьма начитанны в американской истории, высоко оценивали американскую революцию XVIII века, деятельность Д. Вашингтона, Б. Франклина. Они активно интересовались текущими событиями в Соединенных Штатах, читали работы американских авторов. Все это, однако, не означает, что американские материалы послужили основным источником и стимулом декабристского движения, что декабристы некритически воспринимали и копировали американский опыт.

Позитивно оценивая отдельные стороны американской действительности, декабристы не закрывали глаза на отрицательные явления, имевшие место в заокеанской республике. Они осуждали истребление индейцев, рабство негров, культ денег. «Рабство, не совместное с духом времени, — горестно констатировал М. С. Лунин, — поддерживается только невежеством и составляет источник явных противоречий по мере того, как народы успевают на попрание гражданственности. Прискорбный, но полезный пример этой истины представляют Американские Штаты, где рабство утверждено законом. Признав торжественно равенство людей перед законом как основное начало их Конституции, они виселицею доказывают противное и приводят оттенки цвета в оправдание злодейств, оскорбляющих человечество».

Уже из перечисленных проблем, затронутых Н. Болховитиновым (а мы перечислили их далеко не полностью), очевиден энци-

клопедический характер рецензируемой книги. Однако не случайно говорят, что наши недостатки являются продолжением наших достоинств. Слишком большое число сюжетов привело к тому, что внимание и исследователя и читателя рассеивается. Не всегда последовательно соблюдается приоритет более важного над менее значительным. Отдельные интерпретации нуждаются, на наш взгляд, в корректировке. Так, вряд ли точно писать, что Александр I сочетал «в одном лице и либерального реформатора и крайнего реакционера». Несколько преу-

величено влияние американской литературы на русскую (в частности, В. Ирвинга на А. С. Пушкина). Но сделанные замечания не меняют самой высокой оценки, которую заслуживает новая книга Н. Болховитинова. Созданное им фундаментальное исследование не только дает более правильное и полное представление о развитии русско-американских отношений в прошлом, но и позволяет извлечь некоторые полезные уроки для будущего.

**Б. МАРУШКИН,**  
*доктор исторических наук.*





ший в этих тонкостях читатель, по вполне понятной причине: так оно солиднее. Ведь всем известно, что сценарий — не самоценное художественное произведение, а, так сказать, полуфабрикат. Недаром же, рецензируя фильм, мы обычно пишем с этойкой великолепной небрежностью: «Фильм Ролана Быкова». Или: «Фильм Александра Митты». Имя сценариста обычно не упоминается.

Книга М. Львовского имела бы безусловное право на существование и доставила бы радость читателю даже и в том случае, если бы она и в самом деле представляла собой лишь собрание сценариев, легших в основу трех фильмов. Но жанровое определение, стоящее на авантитуле, тут отнюдь не фиговый листок, прикрывающий наготу «полуфабриката». Перед нами и в самом деле три повести, три литературных произведения, живущие полноценной художественной жизнью, самостоятельной и совершенно независимой от своего экранного воплощения.

Все три повести М. Львовского подчинены движению и развитию одной «длинной фанатической мысли», присутствие которой Александр Блок считал непременным признаком художественного создания.

«... обожаю жить в отелях, — легкомысленно роняет героиня одной из повестей Львовского. — По-моему, дом современного человека — это хороший чемадан... Зарубежные психологи недавно установили, что для хорошего настроения очень полезно раз в неделю со всей семьей ночевать где-нибудь не в родимых стенах, раз в месяц переставлять в квартире мебель, раз в год...»

Много разных событий произойдет, прежде чем та же героиня убежденно воскликнет: «Современному человеку нужны папа и мама... И, по возможности, дедушка и бабушка. Ему нужны братья и сестры, тети и дяди... Я хочу выходить из дому, и чтоб меня узнавали соседи».

Человеку нужен весь мир. Человек не улитка, он никогда не сумеет замкнуться в тесную скорлупу личного, домашнего существования. Человек — существо общественное. Все это так. Но эти истины мы повторяли так часто, что совсем забыли другую. И оттого эта простая истина прозвучала для нас как открытие: человеку нужен дом, нужна любовь родных и близких, нужен прочный семейный уклад, семейные реликвии, семейные святыни. От того, какова нравственная атмосфера семьи, атмосфера того «микромира», которой человек начинает дышать с самых первых лет своего существования, во многом зависит, кем он вырастет, каким станет. И, как ни странно, именно этим, быть может, прежде всего определяется не только личный, индивидуальный, но и гражданский его облик. Вот она — та «длинная фанатическая мысль», которая пронизывает насквозь все три повести М. Львовского.

Старые, заученные наизусть, со школьной скамьи знакомые нам слова, что семья — это ячейка общества, Львовский сумел наполнить новым, живым и удивительно злободневным содержанием.

Читая повести М. Львовского, живешь одной жизнью с их героями, всей душой сочувствуешь и сопереживаешь им. А дочитав до конца и оставшись наедине с собой, еще долго не забываешь про них, продолжаешь чувствовать и размышлять вместе с ними. Размышлять не об искусстве. О жизни.

Б. Сарнов.



Э. КУЗНЕЦОВ. Пиросмани. Серия «Жизнь в искусстве». Л. «Искусство». 1975. 168 стр.

Книга Э. Кузнецова вышла в свет вовремя: Пиросмани сейчас знают, любят, больше того — Пиросмани нынче в моде. А там, где мода, там часто поверхностная торопливость суждений и власть общих мест. Э. Кузнецов идет против моды и навстречу серьезному интересу к творчеству этого загадочного художника.

Автор сразу и прямо заявляет о том, что первые противники в его работе — легенда и стереотип. Он ни разу не подменяет незнание (а о Пиросмани известно крайне мало, начиная с отсутствия точных дат рождения и смерти) храбрый и прельстительной догадкой, он скрупулезно проверяет легенду — пусть даже самую поэтически красноречивую — теми свидетельствами, за которыми реальность фактического подтверждения и правомочность чудом сохранившегося документа. Он не боится идти против наших представлений, не только привычных, но и, казалось бы, самых обоснованных: к примеру, о том, что полотна Пиросмани дают бесценные в своей документальности историко-этнографические памятки о жизни Грузии той поры, или о том, что живописец был певцом богемы, кутящих князей и кинто. На страницах его книги убеждающе раскрывается сущность художника поистине эпического склада. Истина для него как для исследователя и истолкователя заключена в том определении самой сути творчества Пиросмажи, которое принадлежит другому замечательному художнику Закавказья — Георгию Якулову: Пиросмани был, по слову Якулова, рыцарем поэтического образа своей страны. Лучше не скажешь. Образ мира, явленный нам в творчестве величайшего грузинского живописца, которого мы привычно называем примитивистом, раскрывается в этой на редкость серьезной и строго написанной книге как образ человеческого бытия в его наивысшем обобщении. Э. Кузнецов берет за доказательство — и с успехом доказывает, — что, к примеру, все эти пиросманиевские «компании», «кутежи», «пиры», которые представляются нам жанровыми сценами, бытовыми зарисовками, есть на самом деле изображения трапезы в ее жизнеутверждающей эпической силе: «У его трапез нет начала и конца — они вечны». Если же перед нами натюрморт, то это опять же предметы в высшей обобщенности их существования.

Э. Кузнецов с пристальностью историка искусства и с практической осведомленностью художника, по существу, впервые анализирует технику Пиросмани — состав его

красок, характер мазка, самый выбор материалов для картины. Он вносит ясность и в легенду о том, что Пиросмани, повинуясь минутному порыву и по бедности не имея возможности купить настоящий холст, сдериывал со стола духана клеенку «с пятнами масла, с лиловыми кружками от винных стаканов и с крошками хлеба», чтобы писать на ней...

Да, нищий и бездомный, да, работавший в духанах за стакан вина, Пиросмани был строгим, бесконечно ответственным перед своим искусством мастером, и его знаменитая клеенка была выбрана им по подсказу художественного метода и определенной творческой цели.

Э. Кузнецов великолепно изучил городскую жизнь пиросманиевского Тифлиса — не только прельстительную экзотику его уличного быта, его духанов, бань, садов, его кинто, но прежде всего ту его духовную культуру, которая выражала себя в торжественном обряде застолья, в поэтической строке, украшавшей речь простолоудина. Пиросмани, который, опять же по слову Г. Якулова, «принужден был учиться у своего инстинкта», стал велик потому, что за ним стояла великая художественная культура его народа, создавшего фрески Гелати и стены Джвари, «Хохульскую богоматерь» и чеканки братьев Опизари, грозную гармонию воинственных песен мужчин и несравненную грацию танца женщин.

Книга Э. Кузнецова учит не умиляться свысока «примитивами» художника-самоучки, не жалеть его сентиментально за пропащую жизнь, а понимать творчество Нько Пиросманашвили так, как оно того заслуживает — в чреде достижений всемирной художественной культуры, где ему удалось сказать свое слово.

В. Шитова.



**ЭДУАРД БУРМАКИН.** Балкон без перил. Повесть. «Сибирские огни», 1975, № 6.

Был этот балкон без перил на четвертом этаже, и ребята испытывали на нем силу своего духа. Для этого требовалось выйти на самую кромку балкона и какое-то время простоять там неподвижно. Было, конечно, очень страшно: перед тобой пропасть и, стоя, ты чувствуешь, как тебя обдувает «совсем другой ветер — ветер высоты». Желающих испытать себя находилось не много, но рассказчик решился. Впрочем, тут не обошлось без обмана: его привел кто-то из старших ребят и некоторое время по уговору держал за руку, а потом разжал пальцы и тихонько ушел. И вот «когда я это обнаружил, то будто окаменел. При всем желании я не смог бы сдвинуться с места. Голоса тоже не было. И я все стоял и стоял. Неизвестно, сколько бы времени я так простоял — самостоятельно вернуться назад я не мог, я это отчетливо понимал, все мои физические и духовные силы ушли только на то, чтобы не упасть, чтобы стоять, не сдвигаясь с места. Я не слышал, не понимал, что там происходит, что говорят за моей спиной. Должно быть, меня окликали, велели вер-

нуться... В подъезде я стал трястись и всхлипывать без слез».

Так раскрывается название этой маленькой повести. «И сколько раз,— продолжает автор,— в совершенно других обстоятельствах мне вдруг казалось, что сама жизнь опять вывела меня на этот страшный балкон... Не раз оказывался на самом краешке балкона без перил мой бурлинский дядя Федя, который почему-то более всего заставляет сегодня меня все это вспоминать».

Самое главное, однако, в рассказе о жизни дяди Федя был не дикий ветер высоты, не стремление выдюжить и выстоять на этой высоте, куда его забросила жизнь, а внезапная утрата чувства локтя и то мужество, с которым он принял эту утрату. Ни одна из трудностей эпохи не миновала этого сильного и спокойного человека. В его биографию вписаны голодное детство и годы войн. Автор ничего не замалчивает и ничего не приукрашивает. Даже то, что в последние годы он «особенно ясно замечал... как теряет он [дядя Федя.— Ю. Д.] многое из самых привлекательных своих черт». Стал прикладываться к бутылке, ссорился с соседями, шумел со старухами и с удовольствием рассказывал об этом племяннику. И в то же время работал, мастерил, не обращал внимания на болезни и бюллетени и за всем этим даже, пожалуй, не заметил, как к нему пришла смерть. «Работал, вышел покурить к ящику с песком. Присел на скамеечку, достал свой зеленый пластмассовый портсигар со смесью махорки с легким табаком, свернул сигарку, прикурил и тут же повалился на бок. Его подхватили, а он уже не дышал». Вот и все. Такова история дяди Федя.

Откладываясь журнал с каким-то щемящим чувством. Личность героев этого немудрящего повествования, дяди Федя и брата его, веселого талантливого Виталия, овевана элегической грустью и светлой печалью. И тут вспоминаешь, что над каждой страницей ты улыбался. Это и в самом деле немного странно — ведь война, смерти, разлуки, измена одной жены, уход другой, одиночество, а ты читаешь, и тебе легко. Психологи давно заметили, что смех гасит жалость, то есть нельзя смеяться над человеком и в то же время ему сочувствовать. Наверное, это так и есть. Но вот улыбка и сочувствие, даже любовь очень часто сопровождают друг друга, а дядя Федя умел смеяться даже в самые горькие минуты. Он как-то очень ясно и просто усвоил ту великую и высокую истину, о которой Шекспир написал так: «Если ограбленный смеется, то он грабит самого вора, а если плачет, то грабит самого себя». И это заповедь не только человеческой мудрости, но, пожалуй, даже завет для писателя. Простота и ясность — непременная составная часть всякого мужества. И как хорошо, если мужеству сопутствует улыбка. Об этом и написал автор.

А в общем, очень хорошая, ясная, как бы вся овеванная ветром высоты повесть о жизни мужественного рабочего человека появилась на наших полках. И, как мне кажется, создал ее писатель с немалым будущим.

Юрий Домбровский.



**Е. ШАПОВАЛОВ.** *Знамя парижских коммунаров.* М. «Московский рабочий». 1975. 126 стр.

В Центральном музее В. И. Ленина в Москве бережно хранится знамя парижских коммунаров, развевавшееся над одной из последних баррикад в рабочем квартале Бельвиль.

Автор сообщает ценные сведения о людях, так или иначе связанных с судьбой знамени. Это член Парижской коммуны Эдуар Вайян, сохранивший знамя; Альфред Кост, руководитель коммунистов XX секции Сенского округа, привезший его в Москву в дар коммунистам Москвы; Николай Кириллович Антипов, секретарь МК РКП(б), принявший знамя Коммуны; Жорж Марран, доставивший в Париж ответный дар московских коммунистов — знамена МК РКП(б) и боевой дружины Красной Пресни.

Важное место в повествовании занимает рассказ о торжествах в Москве на Октябрьском поле 6 июля 1924 года по случаю передачи знамени. Основываясь на архивном (в том числе и иллюстративном) материале, значительная часть из которого публикуется впервые, автор рисует яркую картину грандиозной манифестации трудящихся Москвы, в которой участвовало более четырехсот тысяч человек.

На торжественной церемонии выступили с речью М. И. Калинин, А. Кост, Н. К. Антипов. На ней присутствовали видные деятели Коммунистической партии и Советского правительства, а также посланцы зарубежных коммунистических партий — В. Коларов, К. Цеткин, Б. Кун, О. Куусинен, Г. Димитров, Э. Тельман.

А вскоре, 27 июля 1924 года, алое знамя — ответный дар коммунистов Москвы — уже реяло над колоннами трудящихся Парижа во время демонстрации, организованной ФКП и Унитарной всеобщей конфедерацией труда.

Первые годы знамени парижских коммунаров хранилось в Мавзолее В. И. Ленина, затем — в Музее Революции СССР. В годы войны его вывезли за Урал. В начале 1945 года знамя коммунаров вернулось в Москву и до 1957 года хранилось в Оружейной палате. С 1957 года эта бесценная реликвия — на одном из главных стендов Центрального музея В. И. Ленина.

На большом фактическом материале автор прослеживает многолетние традиции боевой солидарности трудящихся России, а затем Советского Союза и трудящихся Франции. Например, читателю будет интересно узнать, что в интернациональных встречах в Москве летом 1924 года приняли деятельное участие члены ФКП Люнион и Нгуен Ай Куок, позже известный во всем мире под именем Хо Ши Мина.

В заключение два замечания. Следуя за В. Б. Арендтом, Е. Шаповалов (впрочем, как и некоторые другие), утверждает, что одна из русских участниц Коммуны, Анна Пустовойтова, погибла на баррикадах Парижа. На самом деле от ран умерла ее родственница Антонина Пустовойтова, медсестра в отряде В. Врублевского. Самой же Анне Теофиловне удалось избежать расправы

версальских палачей. Она скончалась в 1881 году и похоронена в Париже на кладбище Монпарнас (см. статью Ю. Юрова «Русские на баррикадах Парижа» в журнале «Москва», 1971, № 3).

Подробнее стоило бы рассказать об откликах во Франции на русскую революцию 1905 года. Дело не ограничилось только митингами с выражением сочувствия трудящимся России, о которых пишет автор. Движение солидарности привело к созданию «Общества друзей русского народа и присоединенных народов», развившего весьма широкую и плодотворную деятельность.

**В. Дунаевский,**  
*доктор исторических наук.*



**А. А. ЛЕОНОВ, В. И. ЛЕБЕДЕВ.** *Психологические проблемы межпланетного полета.* М. «Наука». 1975. 248 стр.

«...не за горами время, когда экипажи могучих космических кораблей весом во много десятков тонн, оснащенных всевозможной научной аппаратурой, покинут Землю и отправятся в дальний путь... к Марсу, Венере и другим планетам».

Эти слова принадлежат академику С. П. Королеву.

Книга летчика-космонавта А. Леонова и кандидата медицинских наук В. Лебедева посвящена сложной и малоизученной проблеме психологии межпланетного полета. В ней рассматриваются вопросы психологической совместимости членов экипажа межпланетного корабля в условиях групповой изоляции, длительного воздействия невесомости на психические процессы человека, влияния информационного «голода» на психическое состояние, подвергаются анализу и многие другие вопросы, связанные с трудом и отдыхом космонавтов.

Это не обычный научный труд: результаты его исследований обращены не в прошлое, не в настоящее, а в будущее. Поэтому, весьма вероятно, не все выводы авторов покажутся читателям бесспорными, не все вопросы исчерпанными. Но несомненно одно — они ставят перед психологической наукой новые задачи, кладут начало дискуссии о перспективах развития самой молодой ее области — космической психологии.

Психологические аспекты полета в космос интересовали людей издавна, задолго до старта Ю. А. Гагарина. Но, как ни странно, не столько специалистов, сколько писателей, стремившихся в своих произведениях нарисовать жизнь на кораблях, летящих к туманности Андромеды или другой галактике, проникнуть в духовный мир звездолетчиков, на долгие годы покидавших родную планету. Заметим кстати, что многое подмечено и угадано ими верно.

С началом полетов человека в космос, с претворением мечты в реальность психологическими проблемами космонавтики всерьез занялись ученые. Поначалу, когда пребывание космонавтов на борту кораблей, орбитальных станций исчислялось днями

ми, в лучшем случае неделями, многие психологические аспекты как бы оставались в тени, им не придавалось большого значения. Положение коренным образом меняется с увеличением продолжительности полетов. Далеко не безразлично становится, кто находится с тобой на борту, начинают бросаться в глаза неурядицы быта. Множество «мелочей» вдруг приобретает важный смысл и неожиданную значимость...

Известно, что предмет психологии — закономерности отражения сознанием человека объективной действительности, формирования его психических свойств: потребностей, интересов, привычек, способностей, темперамента, характера. Все это испокон века привлекало пристальное внимание писателей, художников, деятелей искусства. Вот почему авторы за подтверждением высказываемых ими положений обращаются к произведениям Л. Толстого, Д. Фурманова, К. Станиславского. Авторам в их поисках помогают летчики и мореплаватели, историки и путешественники: мы встречаемся на страницах книги с Ф. Нансеном, И. Папаниным, Г. Береговым, М. Галлаем, Ю. Сенкевичем и многими другими.

При подготовке межпланетных полетов специалистам необходимо заранее представить себе условия, в которых экипажу придется находиться в корабле многие месяцы (полет к Марсу, например, самое малое продлится около трех лет). И не только представить, но и подготовить космонавтов к ним, раскрыть суть возникающих при этом многочисленных психологических проблем, разработать средства для снижения всякого рода неблагоприятных последствий...

Несмотря на то, что книга А. Леонова и В. Лебедева рассчитана в основном на специалистов — космонавтов, психологов, врачей, философов, ее с интересом прочтут все, кто интересуется космонавтикой.

И. Юдин.



**В. ДАВИДОВИЧ, Р. АБОЛИНА.** Кто ты, человечество? Теоретический портрет. М. «Молодая гвардия». 1975. 176 стр.

Ответить на вопрос, поставленный на обложке книги, задача далеко не простая. Авторы ее — советские философы — задумали нарисовать своеобразный теоретический портрет человечества. Их попытка дать людям возможность всмотреться в собственный облик, в свою историю, в будущее оправданна. Пусть проблема человек — человечество, ставшая в наше время одним из возбудителей острейших идеологических схваток, раскрыта на страницах книги фрагментарно, пусть некоторые суждения пока-

жутся спорными — этот публицистический очерк заставит задуматься.

Человечество как объект познания, взгляд на него с позиций естествознания, обществоведения, человек и человечество через призму духовно-практического освоения мира, социально-политический аспект проблемы — таков весьма широкий круг рассматриваемых в книге вопросов.

Единство и целостность человечества в его историческом развитии, в отношении к природе, Вселенной не могут скрыть действующих в нем противоречий, социальных антагонизмов, углубляющегося противоборства общественных сил. Авторы книги справедливо концентрируют на этом внимание читателя. Приведенное в книге известное ленинское положение, требующее за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов, является исходным, основополагающим.

На страницах книги подвергнуты критике буржуазные идеологи, их реформистские и ревизионистские последние, показана теоретическая бессодержательность и практическая бесплодность радетелей за «всечеловеческое единство», за «человека» вообще, без различия его классовых интересов и социальных побуждений. В этой связи необходимо отметить и острополемические страницы книги, изобилующие писания В. Шламма, Герберта Маркузе, Раймона Арона. Критика нигилистических «откровений» Стюарта Чейза, Олвина Тоффлера, отказывающих человечеству в «самостоятельной сущности», в «единстве цивилизации», дополняется разбором «сенсаций» футурологов по поводу экологического кризиса, выдаваемого за «самоубийство человечества», «отравление Земли» и т. п. Рассмотрены некоторые стороны так называемого демографического взрыва.

Два частных замечания. Первое. Книга, рассчитанная на юношескую аудиторию (она вышла в библиотеке «Университет молодого марксиста»), явно перенасыщена терминами вроде «негэнтропийный эффект», «териология», «местная популяция», «неразорванный ареал» и т. д. Очевидно, эти и подобные им понятия следовало объяснить. Второе. Авторы взяли для рассмотрения необъятный материал, размеры же книги невелики — и в результате некоторая поверхностность, перескакивание с проблемы на проблему. Отсюда иногда неясность, недомолвки.

В целом же, представив «теоретический портрет» человечества, указав на происходящие в нем процессы, классовые катаклизмы, авторы излагают единственно верный марксистский вывод, что будущее человечества зависит в первую очередь от решения социально-экономических проблем.

Я. Поварков.





# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

- К. Маркс, Ф. Энгельс.** Манифест Коммунистической партии. 63 стр. Цена 7 к.  
**К. Маркс.** Критика Готской программы. 48 стр. Цена 7 к.  
**В. И. Ленин.** Избранные произведения в 3-х тт. Т. 3. Октябрь 1918—март 1923. 856 стр. Цена 1 р. 54 к.  
**В. Выгодский.** Экономическое обоснование теории научного коммунизма. 303 стр. Цена 1 р. 15 к.  
**Э. Герек.** Избранные статьи и речи. Перевод с польского. 280 стр. Цена 78 к.  
**М. И. Калинин.** О воспитании коммунистической сознательности. Избранные речи, доклады и статьи. 288 стр. Цена 39 к.  
**Н. Эйдельман.** Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. («Пламенные революционеры») 391 стр. Цена 79 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- В. Адмони.** Поэтика и действительность. Из наблюдений над зарубежной литературой XX века. 310 стр. Цена 91 к.  
**М. Белкина.** Дождь перестал. Очерки. 295 стр. Цена 58 к.  
**Е. Винокуров.** Контрасты. Стихи. 127 стр. Цена 31 к.  
**И. Гринберг.** Три грани лирики. Современная баллада, ода и элегия. 407 стр. Цена 1 р. 6 к.  
**В. Конечный.** Морские сны. 344 стр. Цена 72 к.  
**В. Орлов.** Происшествие в Никольском. Роман. 326 стр. Цена 61 к.  
**А. Саар.** Заколдованный круг. Повести, рассказы и зарисовки. Перевод с эстонского. 271 стр. Цена 68 к.  
**В. Субботин.** Как кончаются войны. Рассказы и очерки. 320 стр. Цена 61 к.  
**Л. Татьяничева.** Междузурье. Стихи. 142 стр. Цена 45 к.  
**С. Шляху.** Надежный человек. Роман. Перевод с молдавского. 320 стр. Цена 69 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Ф. Абрамов.** Избранное. В 2-х тт. Предисловие Б. Панкина. Т. 1. Братья и сестры.— Две зимы и три лета. Романы. 567 стр. Це-

на 1 р. 6 к. Т. 2. Пути-перепутья. Роман.— Повести.— Рассказы. 527 стр. Цена 99 к.

- М. Бахтин.** Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. 502 стр. Цена 1 р. 45 к.  
**А. Вознесенский.** Дубовый лист виолончельный. Избранные стихотворения и поэмы. 589 стр. Цена 1 р. 69 к.  
**А. Коган.** Перечитывая войну. Литературно-критические очерки. 318 стр. Цена 76 к.  
**В. Синорский.** Избранные стихотворения. Предисловие Е. Винокурова. 511 стр. Цена 93 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

- А. Баянов.** Зимние цветы. Стихи и поэмы. Перевод с татарского. («Новинки «Современника») 78 стр. Цена 27 к.  
**М. Ефимов.** Спутники над Туймазом. Стихи и поэмы. Перевод с якутского. 126 стр. Цена 50 к.  
**Д. Лихачев.** Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. («Любителям российской словесности»). 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- А. Анбаров.** Зульфия. Литературный портрет. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 200 стр. Цена 41 к.  
**А. Алимжанов.** Сувенир из Отрара. Роман. Алма-Ата. «Жазушы». 277 стр. Цена 61 к.  
**День поэзии.** Стихи дагестанских поэтов. Переводы. Под редакцией Р. Гамзатова. Махачкала. Дагкнигоиздат. 120 стр. Цена 11 к.  
**А. Дробиная.** Черно-белые улицы. Рассказы и повести. Лениздат. 280 стр. Цена 56 к.  
**С. Конкин.** Николай Огарев. Жизнь, идейно-творческие искания, борьба. Саранск. Мордовское книжное издательство. 432 стр. Цена 1 р. 26 к.  
**Нарты.** Абазинский народный эпос. Черкесск. Ставропольское книжное издательство. Карачаево-Черкесское отделение. 335 стр. Цена 1 р. 7 к.  
**Тропинка в жизнь.** Повести молодых прозаиков Кубани. Краснодар. Книжное издательство. 174 стр. Цена 39 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашк**у (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеля, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/II 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/II 1976 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/8</sup>. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 09118. Тираж 185 000 экз. Зак. 4382.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47. Брест Литовский проспект. 94. Зак. 01914.

Цена 70 коп.

70636